

The image shows the front cover of a book. The cover is a dark blue color with a fine, woven texture. It features a decorative border consisting of a double-line rectangular frame with ornate, scroll-like flourishes at each of the four corners. In the center of the cover, there is a small, light-colored, rectangular label with rounded corners. The label contains the name "H. Frost" written in a cursive, handwritten style.

H. Frost

# Николай Васильевич Гоголь

## **Том 8. Статьи** (Полное собрание сочинений в четырнадцати томах #8)

В восьмом томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя печатаются его критические и публицистические статьи, относящиеся к двум различным периодам жизни и творчества Гоголя. Значительная их часть приходится на годы 1831–1836, другая часть падает на последние годы жизни писателя, 1845–1850. В промежутке между этими периодами Гоголь написал лишь одну небольшую рецензию на альманах «Утренняя заря» на 1842 год, напечатанную в «Москвитянине» 1842 г. со значительными дополнениями М. П. Погодина.

В данной электронной редакции опущены разделы "Другие редакции" и "Варианты".

<http://ruslit.traumlibrary.net>

# Содержание

#1	0011
Статьи из «Арабесок»	0012
Предисловие к «Арабескам»	0012
Скульптура, живопись и музыка *	0013
О средних веках *	0022
О преподавании всеобщей истории *	0046
Взгляд на составление Малороссии *	0073
Несколько слов о Пушкине *	0093
Об архитектуре нынешнего времени *	0104
Ал-Мамун *	0144
Жизнь *	0156
Шлецер, Миллер и Гердер *	0161
О малороссийских песнях *	0171
Мысли о географии *	0186
Последний день Помпеи *	0203
О движении народов в конце V века *	0218
Статьи и рецензии, 1831-1842	0272
Женщина *	0272
Борис Годунов. Поэма Пушкина	0281
О поэзии Козлова *	0291
О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году *	0295
Петербургские записки 1836 года *	0338
Рецензии из «Современника»	0365
Рецензии, не вошедшие в «Современник»	0379

Рецензия для «Москвитянина» . . . . .	0404
Выбранные места из переписки с друзьями	0407
Предисловие *	0407
Завещание *	0413
Женщина в свете *	0423
Значение болезней *	0432
О том, что такое слово *	0434
Чтения русских поэтов перед публикою *	0441
О помощи бедным *	0445
Об Одиссее, переводимой Жуковским *	0449
Несколько слов о нашей церкви и духовенстве *	0466
О том же *	0470
О лиризме наших поэтов *	0474
Споры *	0502
Христианин идет вперед *	0506
Карамзин *	0511
О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности *	0514
Предметы для лирического поэта в нынешнее время *	0536
Советы *	0544
Просвещение *	0547
Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ» *	0553
Нужно любить Россию *	0582
Нужно проездиться по России *	0585
Что такое губернаторша *	0601

Русской помещик *	0629
Исторический живописец Иванов *	0643
Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России *	0663
Сельской суд и расправа *	0671
Страхи и ужасы России *	0674
Близорукому приятелю *	0682
Занимающему важное место *	0686
Чей удел на земле выше *	0724
Напутствие *	0726
В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность *	0729
Светлое воскресенье *	0816
О Современнике и др.	0835
О Современнике *	0835
Авторская исповедь *	0857
Учебная книга словесности для русского юношества *	0932
О сословиях в государстве *	0973
Приложения	0984
I.	0984
II.	0988
Комментарии	1009
#1.	1009
#2.	1034
#3.	1035
#4.	1037

#5	1042
#6	1046
#7	1051
#8	1056
#9	1058
#10	1060
#11	1062
#12	1063
#13	1066
#14	1068
#15	1071
#16	1073
#17	1074
#18	1076
#19	1086
#20	1092
#21	1093
#22	1093
#23	1094
#24	1094
#25	1095
#26	1095
#27	1096
#28	1099
#29	1099
#30	1100
#31	1101
#32	1101

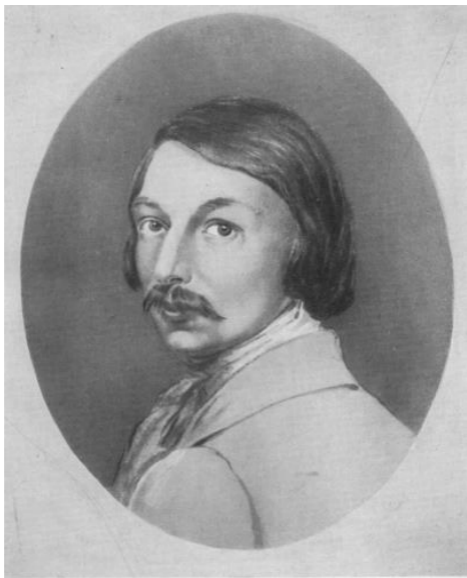
#33	1103
#34	1103
#35	1104
#36	1104
#37	1104
#38	1105
#39	1105
#40	1106
#41	1106
#42	1107
#43	1107
#44	1108
#45	1108
#46	1109
#47	1142
#48	1143
#49	1145
#50	1146
#51	1147
#52	1149
#53	1150
#54	1150
#55	1153
#56	1154
#57	1154
#58	1156
#59	1157
#60	1157

#61	1158
#62	1160
#63	1161
#64	1161
#65	1162
#66	1165
#67	1165
#68	1166
#69	1168
#70	1170
#71	1171
#72	1172
#73	1173
#74	1175
#75	1175
#76	1177
#77	1177
#78	1178
#79	1183
#80	1183
#81	1189
#82	1191
#83	1203
#84	1204
#85	1207
#86	1208
#87	1210
Иллюстрации	1211





**Николай Васильевич Гоголь**  
**Полное собрание сочинений**  
**в четырнадцать томах**  
**Том 8. Статьи**



**Н.** В. Гоголь. Акварель И. Жерена. 1836 г.  
Институт русской литературы (Пушкин-  
ский Дом) Академии Наук СССР.

# Статьи из «Арабесок»

## Предисловие к «Арабескам»

Собрание это составляют пьесы\*, писанные мною в разные времена, в разные эпохи моей жизни. Я не писал их по заказу. Они высказывались от души, и предметом избирал я только то, что сильно меня поражало. Между ними читатели, без сомнения, найдут много молодого. Признаюсь, некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это собрание, если бы издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим старым трудам. Но вместо того, чтобы строго судить свое *прошедшее*, гораздо лучше быть неумолимым к своим занятиям *настоящим*. Истреблять прежде написанное нами, кажется, так же несправедливо, как позабывать минувшие дни своей юности. Притом если сочинение включает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить несовершенство целого.

Я должен сказать о самом издании: когда я прочитал отпечатанные листы, меня самого испугали во многих местах неисправности в слоге, излишности и пропуски, происшедшие от моей неосмотрительности. Но недосуг и обстоятельства, иногда не очень приятные, не позволяли мне пересматривать спокойно и внимательно свои рукописи, и потому смею надеяться, что читатели великодушно извинят меня.

## **Скульптура, живопись и музыка\***

**Б**лагодарность зиждителю мириад за благость и сострадание к людям! Три чудные сестры посланы им украсить и усладить мир: без них он бы был пустыня и без пения катился бы по своему пути. Дружнее, союзнее сдвинем наши желания и — первый кубок за здравие скульптуры! Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю. Она — мгновенное явление. Она — оставшийся след того народа, который весь заключился в ней, со всем своим духом и жизнью. Она — ясный призрак того светлого, греческого мира, который ушел от нас в глубокое удаление веков,

скрылся уже туманом и до которого достигает одна только мысль поэта. Мир, увитый виноградными гроздьями и масличными лозами, гармоническим вымыслом и роскошным язычеством; мир, несущийся в стройной пляске, при звуке тимпанов, в порыве вакхических движений, где чувство красоты проникло всюду: в хижину бедняка, под ветви платана, под мрамор колонн, на площадь, кипящую живым, своенравным народом, в рельеф, украшающий чашу пиршества, изображающий всю вьющуюся вереницу грациозной мифологии, где из пены волн стыдливо выходит богиня красоты, тритоны несутся, ударяя в ладони, Посейдон выходит из глубины своей прекрасной стихии серебряный и белый; мир, где вся религия заключилась в красоте, в красоте человеческой, в богоподобной красоте женщины, — этот мир весь остался в ней, в этой нежной скульптуре; ничто кроме ее не могло так живо выразить его светлое существование. Белая, млечная, дышащая в прозрачном мраморе красотой, негой и сладострастием, она сохранила одну идею, одну мысль: красоту, гордую красоту человека. В

каком бы ни было пылу страсти, в каком бы ни было сильном порыве, но всегда в ней человек является прекрасным, гордым и невольно остановит атлетическим, свободным своим положением. Всё в ней слилось в красоту и чувственность: с ее страдающими группами не сливаешь страдающий вопль сердца, но, можно сказать, наслаждаешься самым их страданием; так чувство красоты пластической, спокойной пересиливает в ней стремление духа! Она никогда не выражала долгого глубокого чувства, она создавала только быстрые движения: свирепый гнев, мгновенный вопль страдания, ужас, испуг при внезапности, слезы, гордость и презрение и наконец красоту, погруженную саму в себя. Она обращает все чувства зрителя в одно наслаждение, в наслаждение спокойное, ведущее за собою негу и самодовольство языческого мира. В ней нет тех тайных, беспредельных чувств, которые влекут за собою бесконечные мечтания. В ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переверотов жизни. Она прекрасна, мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмех-

нувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей. Она очаровательна, как жизнь, как мир, как чувственная красота, которой она служит алтарем. Она родилась вместе с языческим, ясно образовавшимся миром, выразила его — и умерла вместе с ним. Напрасно хотели изобразить ею высокие явления христианства, она так же отделялась от него, как самая языческая вера. Никогда возвышенные, стремительные мысли не могли улечься на ее мраморной сладострастной наружности. Они поглощались в ней чувственностью.

Не таковы две сестры ее, живопись и музыка, которых христианство воздвигнуло из ничтожества и превратило в исполинское. Его порывом они развились и исторгнулись из границ чувственного мира. Мне жаль моей мраморно-облачной скульптуры! Но... светлее сияй, покал мой, в моей смиренной келье, и да здравствует живопись! Возвышенная, прекрасная, как осень в богатом своем убранстве мелькающая сквозь переплет окна, увитого виноградом, смиренная и обширная, как вселенная, яркая музыка очей — ты прекрас-



на! Никогда скульптура не смела выразить твоих небесных откровений. Никогда не были разлиты по ней те тонкие, те таинственно-земные черты, вглядываясь в которые, слышишь, как наполняет душу небо, и чувствуешь невыразимое. Вот мелькают, как в облачном тумане, длинные галереи, где из старинных позолоченных рам выказываешь ты себя живую и темную от неумолимого времени, и перед тобою стоит, сложивши накрест руки, безмолвный зритель; и уже нет в его лице наслаждения, взор его дышит наслаждением не здешним. Ты не была выражением жизни какой-нибудь нации; нет, ты была выше: ты была выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее, задумчивую, опустившую на руку прекрасную свою голову: как вдохновенен и долог ясный взор ее! Она не схватывает одного только быстрого мгновения, какое выражает мрамор; она длит это мгновение, она продолжает жизнь за границы чувственного, она похищает явления из другого безграничного мира, для названия которых нет слов. Всё неопределенное, что не в

силах выразить мрамор, рассекаемый могучим молотом скульптора, определяется вдохновенною ее кистью. Она также выражает страсти, понятные всякому, но чувственность уже не так властвует в них; духовное невольно проникает всё. Страдание выражается живее и вызывает сострадание, и вся она требует сочувствия, а не наслаждения. Она берет уже не одного человека, ее границы шире: она заключает в себе весь мир; все прекрасные явления, окружающие человека, в ее власти; вся тайная гармония и связь человека с природою — в ней одной. Она соединяет чувственное с духовным.

Но сильнее шипи, третий покал мой! Ярче сверкай и брызгай по золотым краям его, звонкая пена, — ты сверкаешь в честь музыки. Она восторженнее, она стремительнее обеих сестер своих. Она вся — порыв; она вдруг за одним разом отрывает человека от земли его, оглушает его громом могущих звуков и разом погружает его в свой мир. Она властительно ударяет, как по клавишам, по его нервам, по всему его существованию и обращает его в один трепет. Он уже не насла-

ждается, он не сострадает, он сам превращается в страдание; душа его не созерцает непостижимого явления, но сама живет, живет своею жизнью, живет порывно, сокрушительно, мятежно. Невидимая, сладкогласная она проникла весь мир, разлилась и дышит в тысяче разных образов. Она томительна и мятежна; но могущественней и восторженней под бесконечными, темными сводами катедралей, где тысячи поверженных на колени молельщиков стремится она в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горè, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни.

Как сравнить вас между собою, три прекрасные царицы мира? Чувственная, пленительная скульптура внушает наслаждение, живопись — тихой восторг и мечтание, музыка — страсть и смятение души; рассматривая мраморное произведение скульптуры, дух невольно погружается в упоение; рассматривая произведение живописи, он превращается в созерцание; слыша музыку, — в болез-

ненный вопль, как бы душою овладело только одно желание вырваться из тела. Она — наша! она — принадлежность нового мира! Она осталась нам, когда оставили нас и скульптура, и живопись, и зодчество. Никогда не жаждали мы так порывов, воздвигающих дух, как в нынешнее время, когда наступает на нас и давит вся дробь прихотей и наслаждений, над выдумками которых ломает голову наш XIX век. Всё составляет заговор против нас; вся эта соблазнительная цепь утонченных изобретений роскоши сильнее и сильнее порывается заглушить и усыпить наши чувства. Мы жаждем спасти нашу бедную душу, убежать от этих страшных обольстителей и — бросились в музыку. О, будь же нашим хранителем, спасителем, музыка! Не оставляй нас! буди чаще наши меркантильные души! ударяй резче своими звуками по дремлющим нашим чувствам! Волнуй, разрывай их и гони, хотя на мгновение, этот холодно-ужасный эгоизм, силящийся овладеть нашим миром. Пусть, при могущественном ударе смычка твоего, смятенная душа грабителя почувствует, хотя на миг, угрызение совести,

спекулятор растеряет свои расчеты, бесстыдство и наглость невольно выронит слезу пред созданием таланта. О, не оставляй нас, боже-ство наше! Великий зиждитель мира поверг нас в немеющее безмолвие своею глубокою мудростью: дикому, еще не развернувшемуся человеку он уже вдвинул мысль о зодчестве. Простыми, без помощи механизма, силами он ворочает гранитную гору, высоким обрывом громоздит ее к небу и повергается ниц перед безобразным ее величием. Древнему, ясному, чувственному миру послал он прекрасную скульптуру, принесшую чистую, стыдливую красоту — и весь древний мир обратился в фимиам красоте. Эстетическое чувство красоты слило его в одну гармонию и удержало от грубых наслаждений. Векам беспокойным и темным, где часто сила и неправда торжествовали, где демон суеверия и нетерпимости изгонял всё радужное в жизни, дал он вдохновенную живопись, показавшую миру неземные явления, небесные наслаждения угодников. Но в наш юный и дряхлый век ниспослал он могущественную музыку, стремительно обращать нас к нему. Но если и музыка нас

оставит, что будет тогда с нашим миром?  
1831.

## О средних веках\*

**Н**икогда история мира не принимает такой важности и значительности, никогда не показывает она такого множества индивидуальных явлений, как в средние веки. Все события мира, приближаясь к этим векам, после долгой неподвижности, текут с усиленною быстротою, как в пучину, как в мятежный водоворот, и, закружившись в нем, перемешавшись, переродившись, выходят свежими волнами. В них совершилось великое преобразование всего мира; они составляют узел, связывающий мир древний с новым; им можно назначить то же самое место в истории человечества, какое занимает в устройении человеческого тела сердце, к которому текут и от которого исходят все жилы. Как совершилось это всемирное преобразование? какие удержались в нем старые стихии? что прибавлено нового? каким образом они смешались? что произошло от этого смешения? как образовалось величественное, стройное здание веков

новых? — Это такие вопросы, которым равные по важности едва ли найдутся во всей истории. Всё, что мы имеем, чем пользуемся, чем можем похвалиться перед другими веками, всё устройство и искусное сложение наших административных частей, все отношения разных сословий между собою, самые даже сословия, наша религия, наши права и привилегии, нравы, обычаи, самые знания, совершившие такой быстрый прогрессивный ход, — всё это или получило начало и зародыш, или даже развилось и образовалось в темные, закрытые для нас средние века. В них первоначальные стихии и фундамент всего нового; без глубокого и внимательного исследования их не ясна, не удовлетворительна, не полна новая история; и слушатели ее похожи на посетителей фабрики, которые изумляются быстрой отделке изделий, совершающейся почти перед глазами их, но позабывают заглянуть в темное подземелье, где скрыты первые всемогущие колеса, дающие толчок всему: такая история похожа на статую художника, не изучившего анатомии человека.

Отчего же, несмотря на всю важность этих необыкновенных веков, всегда как-то неохотно ими занимались? Отчего, приближаясь к ним, всегда спешили скорее пройти их и отделаться от них, и редкие, очень редкие, пораженные величием предмета, возлагали на себя труд разрешить некоторые из приведенных вопросов? Мне кажется, это происходило оттого, что средней истории назначали самое низшее место. Время ее действия считали слишком варварским, слишком невежественным, и оттого-то оно и в самом деле сделалось для нас темным, раскрытое не вполне, оцененное не по справедливости, представленное не в гениальном величии. Невежественным можно назвать разве только одно начало, но это невежественное время уже имеет в себе то, что должно родить в нас величайшее любопытство. Самый процесс слияния двух жизней, древнего мира и нового, это резкое противоречие их образов и свойств, эти дряхлые, умирающие стихии старого мира, которые тянутся по новому пространству, как реки, впавшие в море, но долго еще не сливающие своих пресных вод с солеными волнами;



эти дикие, мощные стихии нового, упорно не допускающие к себе чуждого влияния, но наконец невольно принимающие его; это старание, с каким европейские дикари кроют по своему римское просвещение; эти отрывки или, лучше сказать, клочки римских форм, законов, среди новых, еще неопределенных, не получивших ни образа, ни границ, ни порядка; самый этот хаос, в котором бродят разложенные начала страшного величия нынешней Европы и тысящелетней силы ее, — они все для нас занимательнее и более возбуждают любопытства, нежели неподвижное время всесветной Римской империи под управлением ее бессильных императоров.

Другая причина, почему неохотно занимались историею средних веков, это — мнимая сухость, которую привыкли сливать с понятием о ней. На нее глядели, как на кучу происшествий нестройных, разнородных, как на толпу раздробленных и бессмысленных движений, не имеющих главной нити, которая бы совокупляла их в одно целое. В самом деле ее страшная, необыкновенная сложность с первого раза не может не показаться чем-то

хаосным, но рассматривайте внимательнее и глубже, и вы найдете и связь, и цель, и направление; я однако же не отрицаю, что для самого умения найти всё это нужно быть одарену тем чутьем, которым обладают немногие историки. Этим немногим предоставлен завидный дар увидеть и представить всё в изумительной ясности и стройности. После их волшебного прикосновения происшествие оживляется и приобретает свою собственность, свою занимательность; без них оно долго представляется для всякого сухим и бессмысленным. Всё, что было и происходило, — всё занимательно, если только о нем сохранились верные летописи, выключая разве совершенное бесстрашие народов; везде есть нить, как во всякой ткани есть основа, хотя она иногда совершенно бывает заткана утком: как в лучистом камне есть невидимый свет, который он отливает, будучи обращен к солнцу, — она исчезает только с утратою известий. Так и в первоначальных веках средней истории сквозь всю кучу происшествий невидимую нитью тянется постепенное возращание папской власти и развивается фео-

дализм. Казалось, события происходили совершенно отдельно и блеском своим затемняли уединенного, еще скромного римского первосвященника; действовал сильный государь или его вассал и действовал лично для себя, а между тем существенные выгоды незаметно текли в Рим. И всё, что ни происходило, казалось, нарочно происходило для папы. Гильдебрандт только отдернул занавес и показал власть, уже давно приобретенную папами.

История средних веков менее всего может назваться скучною. Нигде нет такой пестроты, такого живого действия, таких резких противоположностей, такой странной яркости, как в ней: ее можно сравнить с огромным строением, в фундаменте которого улегся свежий, крепкий как вечность гранит, а толстые стены выведены из различного, старого и нового материала, так что на одном кирпиче видны готфские руны, на другом блестит римская позолота; арабская резьба, греческий карниз, готическое окно — всё слепилось в нем и составило самую пеструю башню. Но яркость, можно сказать, только

внешний признак событий средних веков; внутреннее же их достоинство есть колоссальность исполинская, почти чудесная, отвага, свойственная одному только возрасту юноши, и оригинальность, делающая их единственными, не встречающими себе подобия и повторения ни в древние, ни в новые времена.

Бросим взгляд на те из событий, которые произвели сильное влияние. Главный сюжет средней истории есть папа. Он — могущественный обладатель этих молодых веков, он движет всеми силами их и, как громовец, одним мановением своим правит их судьбою. Словом, вся средняя история есть история папы. Его непреодолимое желание властвовать, его постоянные средства, исполненные проницательности и мудрости, следствия старческого возраста, его деспотизм и деспотизм бесчисленных легионов его могущественного духовенства — ревностных подданных духовного монарха, наложивших свои железные оковы на все углы мира, куда ни проникло знамение креста, — представляют явление единственное, колоссальное и не повторя-

шеися никогда. Не стану говорить о злоупотреблении и о тяжести оков духовного деспота. Проникнув более в это великое событие, увидим изумительную мудрость провидения: не схвати эта всемогущая власть всего в свои руки, не двигай и не устремляй по своему желанию народы — и Европа рассыпалась бы, связи бы не было; некоторые государства поднялись бы, может быть, вдруг, и вдруг бы развернулись; другие сохранили бы дикость свою на гибель соседям; образование и дух народный разлились бы неровно; в одном уголку выказывалось бы образование, в другом бы чернел мрак варварства; Европа бы не устоялась, не сохранила того равновесия, которое так удивительно ее содержит; она бы долее была в хаосе, она бы не слилась железною силою энтузиазма в одну стену, устранившую своею крепостью восточных завоевателей, и, может быть, без этого великого явления Европа уступила бы их напору, и магометанская луна горделиво вознеслась бы над нею, вместо креста. Невольно преклонишь колена, следя чудные пути провидения: власть папам как будто нарочно дана была

для того, чтобы в продолжение этого времени юные государства окрепли и возмужали; чтобы они повиновались прежде, нежели достигнут возраста повелевать другими; чтобы сообщить им энергию, без которой жизнь народов бесцветна и бессильна. И как только народы достигли состояния управлять собою, власть папы, как исполнившая уже свое предназначение, как более уже ненужная, вдруг поколебалась и стала, разрушаться, несмотря на все сильные меры, на всё желание удержать гибнущие силы свои. Власть их в этом отношении была то же, что подмости и лес для постройки здания; вначале они выше и кажутся значительнее самого строения, но как только строение достигло настоящей высоты, они как ненужные принимаются прочь.

С мыслию о средних веках невольно сливается мысль о крестовых походах — необыкновенном событии, которое стоит как исполин в середине других, тоже чудесных и необыкновенных. Где, в какое время было когда-нибудь равное ему своею оригинальностью и величием? Это не какая-нибудь война за похищенную жену, не порождение ненави-

сти двух непримиримых наций, не кровопролитная битва между двумя алчными властителями за корону или за клочок земли, даже не война за свободу и народную независимость. Нет! ни одна из страстей, ни одно собственное желание, ни одна личная выгода не входят сюда: все проникнуто одною мыслию — освободить гроб божественного спасителя! Народы текут с крестами со всех сторон Европы; короли, графы в простых власяницах; монахи, препоясанные оружием, становятся в ряды воинов; епископы, пустынные с крестами в руках предводят несметными толпами — и все текут освободить свою веру. Владычество одной мысли объемлет все народы. Нет ли чего-то великого в этой мысли? И напрасно крестовые походы называются безрассудным предприятием. Не странно ли было бы, если бы отрок заговорил словами рассудительного мужа? Они были порождение тогдашнего духа и времени. Предприятие это — дело юноши, но такого юноши, которому определено быть гением. А какие бесчисленные, какие удивительные и непредвиденные следствия крестовых походов! Нужно бы-

ло всю массу образовать и воспитать, дать ей увидеть свет, который часто заслоняло духовенство, и вся масса для этого извергается в другую часть света, где потухающее аравийское просвещение силится передать ей свой пламень, и — вся Европа вояжирует по Азии. Не вправе ли мы изумляться? Обыкновенно какой-нибудь выходец из земли образованной один приносит просвещение и первые сведения в неизвестную страну и постепенно образует дикарей; но образование это тянется медленно, неровно. Здесь же, напротив, народы сами всею своею массою приходят за образованием и, несмотря на долгое пребывание, не сливаются с своими учителями, ничего не перенимают у них роскошного и развратного, удерживают свою самобытность, при всем заимствовании множества азиатских обыкновений, и возвращаются в Европу европейцами, а не азиатцами. Я уже не говорю о тех следствиях, тех переменах в феодальном правлении, для которых нужно было временное удаление многих сильных.

Но бросим взгляд на другие происшествия, наполняющие среднюю историю. Они хотя в



сравнении с крестовыми походами могут почесться второстепенными, но тем не менее все исполнены чудесности, сообщающей средним векам какой-то фантастический свет, все — порождение юношества прекрасного, исполненного самых сильных и великих надежд, часто безрассудного, но пленительного и в самой безрассудности. Рассмотрим их по порядку времени; возьмем то блестящее время, когда появились аравитяне — краса народов восточных. И одному только человеку и созданной им религии, роскошной, как ночи и вечера Востока, пламенной, как природа, близкая к Индийскому морю, важной и размышляющей, какую только могли внушить великие пустыни Азии, — обязаны они всем своим блестящим, радужным существованием! С непостижимою быстротою они, эти смуглые чалмоносцы, воздвигают свои калифаты с трех сторон Средиземного моря. И воображение их, ум и все способности, которыми природа так чудно одарила араба, развиваются в виду изумленного Запада, отпечатываясь со всею роскошью на их дворцах, мечетях, садах, фонтанах, и так же

внезапно, как в их сказках, кипящих изумрудами и перлами восточной поэзии. Век вперед — и уже он исчез, этот необыкновенный народ, так что в раздумьи спрашиваешь себя: точно ли он жил и существовал, или он — самое прекрасное создание нашего воображения?

Как чудесно и какой сильной исполнено противоположности появление норманнов — народа, которого гневный Север свирепо выбросил из ледяных недр своих. Горсть людей дерзких, за которыми как будто гонятся по пятнам мрачный их Один и снеговые горы Скандинавии, наводит панический страх на обширные государства! По Северному океану плывут их движущиеся королевства под начальством морских своих королей, — и всё падает ниц перед этими малолюдными пришлецами, воспитанными бурей, морями, страшною бедностью Скандинавии и дикою религиею.

Колоссальные завоевания и распространение монголов были также делом почти сверхъестественным. Необъятная внутренность Азии, которая была скрыта от глаз всех

народов, осветилась вдруг в самом страшном величии. Эти степи, которым нет конца, озера и пустыни исполинского размера, где всё раздалось в ширину и беспредельную равнину, где человек встречается как будто для того, чтобы собою увеличить еще более окружающее пространство; степи, шумящие хлебом, никем не сеянным и не собираемым, травую, почти равняющуюся ростом с деревьями, степи, где пасутся табуны и стада, которых от века никто не считал, и сами владельцы не знают настоящего количества, эти степи увидели среди себя Чингис-Хана, давшего обет перед толпами своих узкоглазых, плосколицых, широкоплечих, малорослых монголов завоевать мир, и — многолюдный Пекин горит целый месяц, миллион народа выстреливается монгольскими стрелами, государь тунгусский гибнет с сотнями тысяч подданных на замерзшем озере, стада пригоняются к границам Индии, табуны кишат при Волге. Словом, как будто на завоеваниях их отразилась колоссальность Азии. Такого быстрого распространения тоже не видала ни древняя, ни новая история.

Я уже ничего не говорю о важной торговле Венеции — этого небольшого лоскутка земли, которую всю занимал один город, и город без государства, выжимая золото со всего мира, и коего царственные купцы своими кораблями, горделиво обошедшими все моря, и дворцами при Адриатическом море далеко превосходили многих монархов. Этого явления я не считаю единственным и необыкновенным. Оно повторяется в истории мира часто, хотя в других формах и с разными изменениями. Несравненно оригинальнее жизнь Европы во время и после крестовых походов, когда в ней всё еще темны и неопределенны границы государств; когда еще государь звучит одним именем своим, и вместо того миллионы владельцев, из которых каждый — маленькой император в своей земле; когда вся Европа облекается в неприступные замки с башнями и зубцами, и твердые крепости усеивают ее поверхность; когда воспитанная взаимным страхом и битвами сила рыцарей делается почти львиною и заковывается с ног до головы в железо, тяжести которого еще не выносил человек, и грубо, независимо развивается са-

мостоятельная гордость души. Казалось, эта дикая храбрость должна бы совершенно закалить их и сделать так же бесчувственными, как непроницаемые их латы. Но как удивительно они были укрощены, и таким явлением, которое представляет совершенную противоположность с их нравами! это — всеобщее беспредельное уважение к женщинам. Женщина средних веков является божеством; для ней турниры, для ней ломаются копья, ее розовая или голубая лента вьется на шлемах и латах и вливает сверхъестественные силы; для ней суровый рыцарь удерживает свои страсти так же мощно, как арабского бегуна своего, налагает на себя обеты изумительные и неподражаемые по своей строгости к себе, и всё для того, чтобы быть достойным повергнуться к ногам своего божества. Если эта возвышенная любовь изумительна, то влияние ее на нравы и того более. Всё благородство в характере европейцев было ее следствием. А вся эта странническая жизнь, которая обратила Европу в какую-то движущуюся столицу, доставившая тысячи опытов и приключений каждому и произведшая впоследствии в евро-

пейцах жажду к открытию новых земель! Как самые их взаимные брани и битвы, вечно беспокойное положение, вместо того, чтобы ослабить всеобщий дух и напряжение, как то обыкновенно делается в периодах истории, когда роскошь разъедает раны нравственной болезни народов и алчность выгод личных выводит за собою низость, лесть и способность устремиться на все утонченные пороки, — вместо этого они только укрепили и развили их! Пороки народов образованных не смели коснуться рыцарства Европы. Казалось, провидение бодрствовало над ним неусыпно и с заботливостью преданного наставника берегло его. Едва только возникли улучшения для жизни, которые подносила Венеция и Ганза, и начали отдалять рыцарей от их обетов и строгой жизни, подогревать желание наслаждений и уменьшать энтузиазм религиозный, как появившиеся чудные, небывалые никогда дотоле общества стали грозными соглядатаями, неумолимою совестью перед народами Европы. Никогда история не представляла обществ, связанных такими неразрывными узами, как эти духов-

ные ордена рыцарей. Ничего для своей пользы или для своего существования, что всегда составляло цель обществ! Уничтожить всё, что составляет желание человека, и жить для всего человечества; жить, чтобы быть грозными хранителями мира, чтобы носить в себе одно: защиту веры Христовой; всё принести ей в жертву и отказаться от всего, что отзывается выгодой жизни! Не чудесно ли это явление! Эта энергия и сила для него могла быть только вычерпнута из средних веков. И как только ордена рыцарские стали уклоняться от своей цели и обращать глаза на другие, как только начали заражаться желанием добычи и корысти, и роскошь заставляла их живее привязываться к собственной жизни, и они стали походить сами на тех, за которыми наложили на себя сами же смотрение, — как возникают уже страшные тайные суды, неумолимые, неотразимые, как высшие предопределения, являющиеся уже не совестью перед ветренным миром, но страшным изображением смерти и казни. Ни сила, ни обширные земли, ни даже самая корона не спасают и не отменяют произнесенного ими при-

говора. Незнаемые, невидимые как судьба, где-нибудь в глуши лесов, под сырým сводом глубокого подземелья, они взвешивали и разбирали всю жизнь и дела того, которому посреди необъятных своих земель и сотни покорных вассалов и в мысль не приходило, есть ли где в мире власть выше его. И если эти подземные судьи раз произносили обвиняющее слово — всё кончено. Напрасно властитель грозой могущества своего затрудняет к себе приближение, напрасно его золото залепляет уста и заставляет всех прославлять его — неумолимый кинжал настигает его на конце мира, крадетя мимо пышной толпы и разит его из-за плеча друга. Не составляет ли это чудесности почти сказочной? Только там так неотразимо, так сверхъестественно, так неправильно действует человек, оторванный от общества, лишенный покровов законной власти, не знающий, что такое слово: невозможность.

А самый образ занятий, царствовавший в середине и конце средних веков, — это всеобщее устремление всех к чудесной науке, это желание выпытать и узнать таинственную



силу в природе, эта алчность, с какою все уда-  
рились в волшебство и чародейственные нау-  
ки, на которых ясно кипит признак европей-  
ского любопытства, без которого науки нико-  
гда бы не развились и не достигли нынешне-  
го совершенства! Самая даже простодушная  
вера их в духов и обвинения в сообщении с  
ними имеют для нас уже необыкновенную за-  
нимательность. А занятия алхимиею, считав-  
шеюся ключом ко всем познаниям, венцом  
учености средних веков, в которой заключи-  
лось детское желание открыть совершенней-  
ший металл, который бы доставил человеку  
всё! Представьте себе какой-нибудь герман-  
ский город в средние веки, эти узенькие,  
неправильные улицы, высокие, пестрые готи-  
ческие домики и среди их какой-нибудь вет-  
хий, почти валяющийся, считаемый необитае-  
мым, по растреснувшимся стенам которого  
лепится мох и старость, окна глухо заколочен-  
ны — это жилище алхимика. Ничто не гово-  
рит в нем о присутствии живущего, но в  
глухую ночь голубоватый дым, вылетая из  
трубы, докладывает о неусыпном бодрствован-  
ии старца, уже поседевшего в своих искани-

ях, но всё еще неразлучного с надеждою, — и благочестивый ремесленник средних веков со страхом бежит от жилища, где, по его мнению, духи основали приют свой, и где вместо духов основало жилище неугасимое желание, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже от неудачи — первоначальная стихия всего европейского духа, — которое напрасно преследует инквизиция, проникая во все тайные мышления человека: оно вырывается мимо и, облеченное страхом, еще с большим наслаждением предается своим занятиям.

А самая инквизиция? Какое мрачное и ужасное явление! Инквизиция свирепая, слепая, владевшая бесчисленными сводами и подземельями монастырей, не верящая ничему, кроме своих ужасных пыток, на которых человек показал адскую изобретательность; инквизиция, выпускавшая из-под монашеских мантий свои железные когти, хватавшие всех без различия, кто только ни предавался странному и необыкновенным занятиям; подтвердившая великую истину, что если

может физическая природа человека, доведенная муками, заглушить голос души, то в общей массе всего человечества душа всегда торжествует над телом.

Не единственны ли все эти явления? Не дают ли они права назвать средние века веками чудесными? Чудесное прорывается при каждом шаге и властвует везде во всё течение этих юных десяти веков; юных потому, что в них действует всё молодое, кипящее отвагою, порывы и мечты, не думавшие о следствиях, не призывавшие на помощь холодного соображения, еще не имевшие прошедшего, чтобы оглянуться. Всё было в них — поэзия и безотчетность. Вы вдруг почувствуете перелом, когда вступите в область истории новой. Перемена слишком ощутительна, и состояние души вашей будет похоже на волны моря, прежде воздымавшиеся неправильными, высокими буграми, но после улегшиеся и всею своею необозримою равниною мерно и стройно совершающие правильное течение. Действия человека в средних веках кажутся совершенно безотчетны; самые великие происшествия представляют совершенные кон-

трасты между собою и противоречат во всем друг другу. Но совокупление их всех вместе в целое являет изумительную мудрость. Если можно сравнить жизнь одного человека с жизнью целого человечества, то средние века будут то же, что время воспитания человека в школе. Дни его текут незаметно для света, деяния его не так крепки и зрелы, как нужно для мира: об них никто не знает, но зато они все — следствие порыва и обнажают за одним разом все внутренние движения человека, и без них не состоялась бы будущая его деятельность в кругу общества.

Теперь рассмотрите, между какими колоссальными событиями заключается время средних веков! Великая империя, повелевавшая миром, двенадцативековая нация, дряхлая, истощенная, падает; с нею валится полсвета, с нею валится весь древний мир с полужыческим образом мыслей, безвкусными писателями, гладиаторами, статуями, тяжестью роскоши и утонченностью разврата. Это их начало. Оканчиваются средние века тоже самым огромным событием: всеобщим взрывом, поднимающим на воздух всё и обращаю-

щим в ничто все страшные власти, так деспотически их обнявшие. Власть папы подрывается и падает, власть невежества подрывается, сокровища и всемирная торговля Венеции подрываются, и когда всеобщий хаос переворота очищается и проясняется, пред изумленными очами являются монархи, держащие мощною рукою свои скипетры; корабли, расширенным взмахом несущиеся по волнам необъятного океана мимо Средиземного моря; в руках у европейцев вместо бессильного оружия — огонь; печатные листы разлетаются по всем концам мира; и всё это результаты средних веков. Сильный напор и усиленный гнет властей, казалось, были для того только, чтобы сильнее произвести всеобщий взрыв. Ум человека, задвинутый крепкою толщею, не мог иначе прорваться, как собравши все свои усилия, всего себя. И оттого-то, может быть, ни один век не представляет таких гигантских открытий, как XV; век, которым так блистательно оканчиваются средние века, величественные, как колоссальный готический храм, темные, мрачные, как его пересекаемые один другим своды, пестрые, как разно-

цветные его окна и куча изузоривающих его украшений, возвышенные, исполненные порывов, как его летящие к небу столпы и стены, оканчивающиеся мелькающим в облаках шпцем.

## **О преподавании всеобщей истории\***

### **I.**

**В**сеобщая история, в истинном ее значении, не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи, без общего плана, без общей цели, куча происшествий без порядка, в безжизненном и сухом виде, в каком очень часто ее представляют. Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине всё человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи. Показать весь этот великий процесс, который выдержал свободный дух человека кровавыми трудами, борясь от самой колыбели с невежеством, природой и исполинскими препятствиями: вот цель всеобщей истории! Она должна собрать в одно все народы мира,

разрозненные временем, случаем, горами, морями, и соединить их в одно стройное целое; из них составить одну величественную полную поэму. Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда. Все события мира должны быть так тесно связаны между собою и цепляться одно за другое, как кольца в цепи. Если одно кольцо будет вырвано, то цепь разрывается. Связь эту не должно принимать в буквальном смысле. Она не есть та видимая, вещественная связь, которою часто насильно связывают происшествия, или система, создающаяся в голове независимо от фактов и к которой после своевольно притягивают события мира. Связь эта должна заключаться в одной общей мысли: в одной неразрывной истории человечества, перед которою и государства и события — временные формы и образы! Мир должен быть представлен в том же колоссальном величии, в каком он являлся, проникнутый теми же таинственными путями промысла, которые так непостижимо на нем означались. Интерес необходимо должен быть доведен до высочайшей степени, так, чтобы слушателя

мучило желание узнать далее; чтобы он не в состоянии был закрыть книгу или не дослушать, но если бы и сделал это, то разве с тем только, чтобы начать сизнова чтение; чтобы очевидно было, как одно событие рождает другое и как без первоначального не было бы последующего. Только таким образом должна быть создана история.

## II.

Всё, что ни является в истории: народы, события — должны быть непременно живы и как бы находиться пред глазами слушателей или читателей, чтоб каждый народ, каждое государство сохраняли свой мир, свои краски, чтобы народ со всеми своими подвигами и влиянием на мир проносился ярко, в таком же точно виде и костюме, в каком был он в минувшие времена. Для того нужно собрать не многие черты, но такие, которые бы высказывали много, черты самые оригинальные, самые резкие, какие только имел изображаемый народ. Для того, чтобы извлечь эти черты, нужен ум, сильный схватить все незаметные для простого глаза оттенки, нужно терпение перерыть множество иногда самых неин-



тересных книг. Но что уже один узнал, то другим передается легко; и потому слушатели должны узнать это, не роясь в архивах.

### III.

Преподаватель должен призвать в помощь географию, но не в том жалком виде, в каком ее часто принимают, т. е. для того только, чтобы показать место, где что происходило. Нет! География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им; как часто гора, вечная граница, взгроможденная природою, дала другое направление событиям, изменила вид мира, преградив великое разлитие опустошительного народа или заключивши в неприступной своей крепости народ малочисленный; как это могучее положение земли дало одному народу всю деятельность жизни, между тем как другой осудило на неподвижность; каким образом оно имело влияние на нравы, обычаи, правление, законы. Здесь-то они должны увидеть, как образуется правление; что его не люди совершенно устанавливают, но нечувствительно

устанавливает и развивает самое положение земли; что формы его оттого священны, и изменение их неминуемо должно навлечь несчастье на народ.

#### IV.

События и эпохи великие, всемирные, должны быть означены ярко, сильно, должны выдвигаться на первом плане со всеми своими следствиями, изменившими мир: не так, как делают иногда преподаватели, которые, сказавши, что такое-то происшествие есть великое, тем и отделяются или приводят близорукие следствия в виде отрубленных ветвей, тогда как должно развить его во всем пространстве, вывести наружу все тайные причины его явления и показать, каким образом следствия от него, как широкие ветви, распростираются по грядущим векам, более и более разветвляются на едва заметные отпрыски, слабеют и наконец совершенно исчезают или глухо отдаются даже в нынешние времена, подобно сильному звуку в горном ущельи, который вдруг умирает после рождения, но долго еще отзывается в своем эхе. Эти события должно показать в таком виде, что-

бы все видели ясно, что они великие маяки всеобщей истории; что на них она держится, как земля держится на первоначальных границах, как животное на своем скелете.

## V.

Теперь об образе преподавания. Слог профессора должен быть увлекательный, огненный. Он должен в высочайшей степени овладеть вниманием слушателей. Если хоть один из них может предаться во время лекции посторонним мыслям, то вся вина падает на профессора: он не умел быть так занимателен, чтобы покорить своей воле даже мысли слушателей. Нельзя вообразить не испытавши, какое вредное влияние происходит от того, если слог профессора вял, сух и не имеет той живости, которая не дает мыслям ни на минуту рассыпаться. Тогда не спасет его самая ученость: его не будут слушать; тогда никакие истины не произведут на слушателей влияния, потому что их возраст есть возраст энтузиазма и сильных потрясений; тогда происходит то, что самые ложные мысли, слышимые ими стороною, но выраженные блестящим и привлекательным языком, мгновенно

увлекут их и дадут им совершенно ложное направление. Что же тогда, когда профессор еще сверх того облечен школьною методою, схоластическими мертвыми правилами и не имеет даже умственных сил доказать их; когда юный, развертывающийся ум слушателей, начиная понимать уже выше его, причаётся презирать его? Тогда даже справедливые замечания возбуждают внутренний смех и желание действовать и умствовать наперекор; тогда самые священные слова в устах его, как-то: преданность к религии и привязанность к отечеству и государю, превращаются для них в мнения ничтожные. Какие из этого бывают ужасные следствия, это видим к сожалению нередко. И потому-то не должно упускать из внимания, что возраст слушателей есть возраст сильных впечатлений; и потому нужно иметь всю силу, всю увлекательность, чтобы обратить этот энтузиазм их на прекрасное и благородное; чтобы рассказ профессора дышал сам энтузиазмом. Его убеждения должны быть так сильны, так выведены из самой природы, так естественны, чтобы слушатели сами увидели истину еще прежде,

нежели он совершенно укажет на нее. Рассказ профессора должен делаться по временам возвышен, должен сыпать и возбуждать высокие мысли, но вместе с тем должен быть прост и понятен для всякого. Истинно высокое одето величественною простотою: где величие, там и простота. Он не должен довольствоваться тем, что его некоторые понимают; его должны понимать все. Чтобы делаться доступнее, он не должен быть скуп на сравнения. Как часто понятное еще более поясняется сравнением! и потому эти сравнения он должен всегда брать из предметов самых знакомых слушателям. Тогда и идеальное и отвлеченное становятся понятным. Он не должен говорить слишком много, потому что этим утомляется внимание слушателей и потому что многосложность и большое обилие предметов не дадут возможности удержать всего в мыслях. Каждая лекция профессора непременно должна иметь целость и казаться оконченною, чтоб в уме слушателей она представлялась стройною поэмою; чтобы они видели в начале, что она должна заключать в себе и что заключает: чрез это они сами в сво-

ем рассказе всегда будут соблюдать цель и целостность. А это необходимее всего в истории, где ни одно событие не брошено без цели.

## VI.

План же для преподавания, после многих наблюдений, испытаний себя и слушателей, я полагаю лучшим следующий:

Прежде всего почитаю необходимым представить слушателям эскиз всей истории человечества, в немногих, но сильных словах и в нераздельной связи, чтобы они вдруг обняли всё то, о чем будут слышать, иначе они не так скоро и не в такой ясности постигнут весь механизм истории. Всё равно, как нельзя узнать совершенно город, исходивши все его улицы: для этого нужно взойти на возвышенное место, откуда бы он виден был весь, как на ладони. Я набрасываю здесь эскиз для того, чтобы показать вместе, в каком виде и в какой связи должна быть история.

Прежде всего я должен представить, каким образом человечество началось Востоком. Я должен изобразить Восток с его древними патриархальными царствами, с религиями, облеченными в глубокую таин-

ственность, так непонятную для простого народа, кроме религии евреев, между которыми сохранилось чистое, первобытное ведение истинного бога; как эти древние государства оградились друг от друга, будто неприступною стеною, нетерпимостью и китайскою осторожностью; как один только народ финикийский, первые мореплаватели древнего мира, приводил невольно своею промышленностью в сообщение эти почти неподвижные государства, и каким образом первый всемирный завоеватель, Кир, с свежим и сильным народом, персами, подверг весь Восток своей власти и насильно соединил разнохарактерные народы; но нравы, религия, формы правления остались в государствах те же, цари только обратились в сатрапов, и весь Восток видел над собою одну верховную власть царя царей, персидского повелителя; как постепенно от взаимного сообщения эти народы теряли свою особенность и национальность и вместе с своим царем царей, почти богом, невидимым для народа, поверглись в азиатскую роскошь. — Здесь я останавливаюсь и обращаюсь к другой части древнего мира, к

Европе. Я должен изобразить, как возник в ней этот цвет его, народ греческий, с живым, любопытным умом, республиканским духом, совершенно противоположными формами правления, поэтической религией, ясными, живыми идеями, так противоборствующими важной таинственности Востока; как развернулось у них просвещение в таком необыкновенном блеске, и как наконец один честолюбивый грек подверг их своей монархической власти, как этот великий грек задумал гигантское дело: соединить Восток с Европою и разнести везде греческое просвещение. И вот, чтобы связать теснее три части света, строится город Александрия; герой умирает, всесветная монархия падает вместе с ним. Но подвиги его живы, плоды зреют: настает знаменитый александрийский век, когда весь древний мир толпится у гавани александрийской, когда греческие ученые во всех городах, и национальность опять исчезает, народы опять смешиваются! А между тем в Италии, почти невидимо от всех, созревает железная сила римлян.

Я должен изобразить, как этот суровый, во-



инственный народ покоряет одно за другим государства, обогащается награбленными богатствами, поглощает весь Восток. Легионы его проникают в те земли Европы, где владение уже не доставляет ничего нужного для человека. Уже Цезарь заносит ногу в Британию, римские орлы на скалах Албиона..., между тем неведомые степи Средней Азии извергают толпы неведомых народов, которые теснят и гонят пред собою других, вгоняют их в Европу, сами несутся по пятам их и грозно останавливаются на севере, как зловещая кара, ожидающая обреченной жертвы, скрытые от римлян германскими лесами и непроходимыми болотами. А между тем уже ни одного не остается независимого царства. Весь мир разделен на римские провинции. Римляне перенимают всё у побежденных народов, сначала пороки, потом просвещение. Всё мешается опять. Все делается римлянами и ни одного настоящего римлянина! И когда развратные императоры, своевольное войско, отпущенники и содержатели зрелищ тиранствуют над миром, — в недрах его неприметно совершается великое событие: в ветхом мире зарож-

дается новый! воплощается неузнанный миром божественный спаситель его; и вечное слово, не понятое властелинами, раздается в темницах и пустынях, таинственно выжидая новых народов. Наконец на весь древний мир непостижимо находит летаргический сон, та страшная неподвижность, то ужасное онемение жизни, когда просвещение не двигается ни вперед, ни назад, сила и характер исчезают, всё обращается в мелкий, ничтожный этикет, жалкую, развратную бесхарактерность. А в Азии между тем новый толчок, как электрическая искра, пробегает по всей цепи: один народ теснит и гонит перед собою другой, который в свою очередь сгоняет третий, и самые крайние появляются уже на римских границах, тогда как жалкие победители мира употребляют все усилия спасти себя: сначала откупаются золотом, потом из них же составляют себе войско защитников, потом отдают им одну за другою все свои провинции, наконец предают им Рим, и те, которые сохраняли еще слабые остатки познаний, бегут на восток, прочие, невежественные и слабые, исчезают в сильных толпах нового народа.

Я должен изобразить, как начинается новая жизнь в Европе; как основываются и принимают крещение дикие государства в границах, назначенных природою, с феодальными правами, с вассальными владениями, и как могущественный папа, прежде только римский первосвященник, делается государем, незаметно присоединяет к своей сильной религиозной власти светскую. Между тем, на Востоке остатки римлян теснятся и покоряются новым сильным народом, мгновенно, как бы фантастически возродившимся на своем каменном аравийском полуострове, подвинутом до исступления религией, совершенно восточной, основанной полупомешанным энтузиастом Магометом; как этот народ, с азиатской саблей в руках, распространял магометанство на место прежних остатков греческого просвещения, и как изумительно, быстро этот чудесный народ из завоевателей делается просветителем, развертывается во всем блеске, с своей роскошной фантазией, глубокими мыслями и поэзией жизни, и как он вдруг меркнет и затмевается выходцами из-за моря Каспийского, которым оставляет в на-

следство одно магометанство, как почти в то же время в Европе корсары северных морей, норманны, с неслыханною дерзостью, в малом числе, грабят и овладевают целыми государствами, наконец переменяют дикую религию свою на христианство и прибавляют Европе свою силу и нравы; а между тем папа мало-помалу делается неограниченным монархом всей Европы, и самый император немецкий, которого уважали все народы, не смеет противустать ему, и как по мановению его целые народы, вассалы, короли оставляют свои земли, богатства, кладут пламенный крест на рамена и спешат с энтузиазмом в Палестину; как вся Европа, двинувшись с мест, валится в Азию, Восток сшибается с Западом, и две грозные силы, христианство — с магометанством; как это великое событие порождает рыцарство, обнявшее всю Европу; как возникли орденские общества, осудившие себя на безбрачную, одинокую жизнь, чтобы быть верными одной цели, и произошел самый сильнорелигиозный христианский век; как энтузиазм к вере перешел потом границы, начертанные десницею божественного

спасителя; и как в то же время невидимо от всей Европы совершается великий эпизод всемирной истории: создается беспримерная по величине монархия Чингисханова, поглотившая все азиатские земли, неизвестные европейцам. В Европе одни только монастыри имеют землю и оседлость; всё обратилось в рыцарство, всё кочует, всё беспокойно: каждый вместе и воин и полководец, и вассал и повелитель, и слушается и не слушается, — век величайшего разъединения и вместе единства! Каждый управляется своей волей, и между тем все согласны в одной цели и мыслях. Бедные поселяне, вытерпев чашу бед, наконец решаются соединиться независимо от своих повелителей в города. Возникает среднее сословие граждан, города начинают богатеть, и на севере Европы, в отпор рыцарям, образуется Ганзейский союз, связывающий всю северную Европу своей торговлей. Между тем на юге возникает порождение крестовых походов — страшная торговлею Венеция, эта царица морей, эта чудная республика, с таким замысловатым и необыкновенно устроенным правлением. Все богатства Европы и

Азии невидимо перешли в ее руки, и как папа религиозною властью, так Венеция непомерным богатством повелевала Европою. Духовный деспот употреблял все силы убить ее торговлю, но всё было напрасно — пока наконец генуэзский гражданин не убил ее открытием Нового Света. Наконец я должен представить, как вдруг расширился круг действий; как пала торговля Средиземного моря. Европейцы с жадностью спешат в Америку и вывозят кучи золота; Атлантический и Восточный океаны в их власти; и в то же время папские миссии проникают в северо-восточную Азию и Африку — и мир открывается почти вдруг во всей своей обширности. Между тем в Европе понемногу сомневаются в справедливости папской власти и, как прежде торговлю Венеции убил бедный генуэзец, так власть папы сокрушил августинский монах Лютер. Как образовалась эта мысль в голове смиренного монаха, как сильно и упрямо защищал он свои положения! Как, при падении своем, папа становился грознее и изобретательнее: ввел ужасную инквизицию и страшный невидимую силою орден иезуитский, который вдруг

рассыпался по всему свету, проник во всё, прошел везде и тайно сообщался между собою на двух розных концах мира. Но чем грознее становился папа, тем сильнее против него работали типографские станки. Вся Европа разделилась на две партии, и эти партии наконец схватились за оружие, и война жестокая внутри и вне государств, долгая, обхватила вдруг всю Европу. Но уже не копьями и не стрелами производилась она. Нет! пушками, ядрами, громом и огнем, ужасным и благодетельным изобретением монаха-алхимиста разыгралась эта великая тяжба. Духовная власть пала. Государи становятся сильнее. Я должен изобразить, как изменилась Европа после этих войн. Государства, народы сливаются плотнее в нераздельные массы. Нет того разъединения власти, как в средние века. Она сосредоточивается более в одном лице. И как оттого сильные характеры становятся виднее, круг государей, министров, полководцев обширнее! Сам собою, невольно завязывается в Европе политический союз, полагающий защищать оружием неприкосновенность каждого государства. А между тем неумолимые

купцы-голландцы, вырвавшие свою землю у моря, овладевают островами Восточного океана, берут миллионы за разводимые на них плантации драгоценных растений юга и, как прежде Венеция, схватывают торговлю всего мира, пока один необыкновенный государь не подрывает ее и не покушается на неприкосновенность государств. Я должен изобразить блестящий век, произведенный этим государем (Лудовиком XIV), когда Франция закипела изделиями роскоши, фабриками, писателями, когда Париж сделался всемирною столицею, куда съезжались со всей Европы, и французский язык, французские нравы, французский этикет и обычаи распространились по всей Европе. Но, нарушивши неприкосновенность чужих владений, этот честолюбивый король хотя и расстроивает торговлю голландцев, но вместе разоряет свое государство и сам убивает свое величие. Как быстро пользуются этим островитяне британские, которые до того медленно, но верно близились к своей цели, наконец очутились почти вдруг обладателями торговли всего мира: ворочают миллионами в Индии, собирают дань с Аме-



рики, и где только море, там британский флаг. Им преграждает путь исполин XIX века, Наполеон, и уже действует другим орудием: совершенно военным деспотизмом; своими быстрыми движеньями оглушает Европу и налагает на нее железное свое протекторство. Напрасно гремит против него в английском парламенте Питт и составляет страшные союзы. Ничто не имеет духа ему противиться, пока он сам не набегаёт на гибели свою, вторгнувшись в Россию, где неведомые ему пространства, лютость климата и войска, образованные суворовскою тактикою, погубляют его. И Россия, сокрушившая этого исполина о неприступные твердыни свои, останавливается в грозном величии на своем огромном северо-востоке. Освобожденные государства получают прежний вид и прежние формы, утверждают снова союз и неприкосновенность владений. Просвещение, не останавливаемое ничем, начинает разливаться даже между низшим классом народа; паровые машины доводят мануфактурность до изумительного совершенства; будто невидимые духи помогают во всем человеку и делают силу

его еще ужаснее и благодетельнее; и он, в священном трепете, видит, как слово из Назарета обтекло наконец весь мир.

Когда история мира будет удержана в таком кратком, но полном эскизе и происшествия будут так связаны между собою, тогда ничто не улетит из головы слушателей, и в уме их невольно составитя целое. Наконец этот эскиз, развившись в великом объеме, составит полную историю человечества.

## VII.

После изложения полной истории человечества, я должен разобрать отдельно историю всех государств и народов, составляющих великий механизм всеобщей истории. Натурально та же полнота, та же целость должна быть видна и здесь в обозрении каждого порознь. Я должен обнять его вдруг с начала до конца: как оно основалось, когда было в силе и блеске, когда и отчего пало (если только пало), и каким образом достигло того вида, в каком находится ныне; если же народ стерся с лица земли, то каким образом на место его образовался новый и что принял от прежнего.

## VIII.

Чтоб еще глубже всё сказанное вошло в память, по окончании курса необходимы повторительные обзоры. Но чтобы повторение было успешнее, нужно стараться давать ему интерес и занимательность новизны. После истории всего мира и отдельно каждой земли и народа, не мешает сделать обзор каждой части света и тут показать всё отличие как их, так и народов, в них находящихся, чтоб слушатели сами могли вывести результат:

Во-первых, об Азии, этой обширной колыбели младенчеству человечества — земле великих переворотов, где вдруг возрастают в страшном величии народы и вдруг стираются другими; где столько наций невозвратно пронесли, одна за другою, а между тем формы правления, дух народов одни и те же: всё так же важен, так же горд азиатец, так же быстро воспламеняется и кипит страстями, так же скоро предается лени и бездейственной роскоши. И вместе с сим эта часть света есть земля разительных противоположностей и какого-то великого беспорядка: еще один народ кочует беззаботно в необозримом

многолюдстве с необозримыми табунами, а между тем на другом конце, где-нибудь в пустыне, исступленный изувер изнуряя себя бесконечным постом, замышляет новую религию, которая впоследствии обхватит всю Азию, оденет народ, как непроницаемой броню, своим исступленным вдохновением и поведет его на разрушение; и тут же, может быть, недалеко от него находится народ, уже перешедший все эти явления и кризисы, уже погруженный в роскошь, утомленный азиатским пресыщением. Только здесь может находиться та странная противоположность, которой удивимся в дереве юга, где на одной ветке, в одно время, один плод цветет, между тем как другой наливается, третий зреет, четвертый переспелый валится на землю.

Потом о Европе, история которой означена совершенно противоположною характеристикою, где существование народов, напротив, долго и мощно; где всё, напротив, порядок и стройность: народы разом подвигаются такт в такт, как регулярные европейские войска; государства все почти в одно время растут и совершенствуются; при всех характерных отли-

чиях наций, в них видно общее единство, и каждая из них так чудно запутана с другими, что становится совершенно понятною только в соединении со всей Европою, и вся Европа кажется одним государством. И в этой небольшой части света решилась долгая тяжба: человек стал выше природы, а природа обратилась в искусство; самая бедность и скудость ее вызвали наружу весь безграничный мир скрывавшийся в человеке, дали ему почувствовать, во сколько он выше земного, и превратили всю страну в вечную жизнь ума. В этой одной только части света могущественно развился высокий гений христианства, и необъятная мысль, осененная небесным знаменем креста, витает над нею, как над отчизною.

Потом об Африке, представляющей в противоположность Европе смерть ума, где природа всегда деспотически властвовала над человеком; где она во всем своем царственном величии и всегда почти возвращала его в первобытное состояние, в жизнь чувственную; где ни один коренной туземный народ не прожил мощною жизнью и не отбросил от се-

бя ярких лучей на мир; где даже переселенцы с других земель напрасно вступали в борьбу с палящею природою африканскою; чем далее погружались они в Африку, тем глубже повергались в чувственность.

Наконец об Америке, этой всемирной колонии, вавилонском смешении наций, где столкнулись три противуречащие части света, смешались, но еще не слились в одно, и потому еще не имеющей покамест никакого единства, даже единства религии; невзирая на частную характерность, не получившей общего характера; несмотря на огромную массу, всё еще состоящей из первоначальных стихий, разложенных начал; несмотря на независимые государства, всё еще похожей на колонию.

Быстрый обзор истории каждой части света, во всей ее резкой характерности, не поверхностный, но глубокий — результат веков и событий, потому необходим, что он наводит на мысли и заставляет слушателей думать. Ум тогда быстрее развивается, когда сам предлагает себе великий и поэтический вопрос. Этот обзор каждой части тем более еще необ-

ходим, что показывает часто с новой стороны те же предметы. А для полного уразумения нужно, чтобы предмет был освещен со всех сторон. «Только тогда вы знаете хорошо историю, — говорит Шлецер, — когда знаете ее и вдоль и поперек, и вкось, и во всех направлениях».

## IX.

И для того в виде эпилога после окончания курса хорошо рассмотреть за одним разом весь мир по столетиям. Тогда всеобщая история представит у меня великую лестницу веков. Я должен непременно показать, чем ознаменовано начало, середина и конец каждого столетия, потом дух и отличительные черты его. Чтобы лучше определить каждый век и избежать монотонности числ, я назову его именем того народа, или лица, который стал в нем выше других и ярче действовал на поприще мира. Эта лестница столетий есть лучшее средство к утверждению в памяти слушателей современности событий, лиц и явлений.

## X.

Мне кажется, что такой образ преподава-

ния будет действительнее и ближе к истине. По крайней мере глубоко понимающий величие истории увидит, что он не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира; что составить эскиз общий, полный истории всего человечества, хотя даже столь краткий, как здесь, можно не иначе, как когда узнаешь и постигнешь самые тонкие и запутанные нити истории, и что одна любовь к науке, составляющей для меня наслаждение, понудила меня объявить мои мысли; что цель моя — образовать сердца юных слушателей той основательной опытностью, которую развертывает история, понимаемая в ее истинном величии; сделать их твердыми, мужественными в своих правилах, чтобы никакой легкомысленный фанатик и никакое минутное волнение не могло поколебать их; сделать их кроткими, покорными, благородными, необходимыми и нужными сподвижниками великого государя, чтобы ни в счастии, ни в несчастии не изме-



нили они своему долгу, своей вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными отечеству и государю. 1832.

## **Взгляд на составление Малороссии\*** **[1]**

**Г.** Какое ужасно-ничтожное время представляет для России XIII век! Сотни мелких государств единоверных, одноплеменных, одноязычных, означенных одним общим характером и которых, казалось, против воли соединяло родство, — эти мелкие государства так были между собою разъединены, как редко случается с разнохарактерными народами. Они были разъединены не ненавистью, сильные страсти не досягали сюда, ни постоянною политикою — следствием непреклонного ума и познания жизни. Это был хаос браней за временное, за минутное, браней разрушительных, потому что они мало-помалу извели народный характер, едва начинавший принимать отличительную физиогномию при сильных норманнских князьях. Религия, которая более всего связывает и образует народы, мало на них действовала. Религия не срос-

лась тогда тесно с законами, с жизнью. Монахи, настоятели, даже митрополиты были схимники, удалившиеся в свои кельи и закрывшие глаза для мира; молившиеся за всех, но не знавшие, как схватить с помощью своего сильного оружия, веры, власть над народом и возжечь этой верой пламень и ревность до энтузиазма, который один властен соединить младенчествующие народы и построить их к великому. Здесь была совершенная противоположность Западу, где самодержавный папа, как будто невидимую паутину, опутал всю Европу своею религиозною властью, где его могущественное слово прекращало брань или возжигало ее, где угроза страшного проклятия обуздывала страсти и полудикие народы. Здесь монастыри были убежищем тех людей, которые кротостью и незлобием составляли исключение из общего характера и века. Изредка пастыри из пещер и монастырей увещали удельных князей; но их увещания были напрасны: князья умели только поститься и строить церкви, думая, что исполняют этим все обязанности христианской религии, а не умели считать ее зако-

ном и покоряться ее велениям. Самые ничтожные причины рождали между ими бесконечные войны. Это были не споры королей с вассалами или вассалов с вассалами: — нет! это были брани между родственниками, между родными братьями, между отцом и детьми. Не ненависть, не сильная страсть воздымала их: — нет! брат брата резал за клочок земли или просто, чтобы показать удалство. Пример ужасный для народа! Родство рушилось, потому что жители двух соседних уделов, родственники между собою, готовы были каждую минуту восстать друг против друга с яростью волков. Их не подвигала на это наследственная вражда, потому что кто был сегодня друг, тот завтра делался неприятелем. Народ приобрел хладнокровное зверство, потому что он резал, сам не зная за что. Его не разжигало ни одно сильное чувство, ни фанатизм, ни суеверие, ни даже предрассудок. Оттого, казалось, умерли в нем почти все человеческие сильные благородные страсти, и если бы явился какой-нибудь гений, который бы захотел тогда с этим народом совершить великое, он бы не нашел в нем; ни од-

ной струны, за которую бы мог ухватиться и потрясти бесчувственный состав его, исключая разве физической железной силы. Тогда история, казалось, застыла и превратилась в географию: однообразная жизнь, шевелившаяся в частях и неподвижная в целом, могла почтяться географическою принадлежностью страны.

II. Тогда случилось дивное происшествие. Из Азии, из середины ее, из степей, выбросивших столько народов в Европу, поднялся самый страшный, самый многочисленный, совершивший столько завоеваний, сколько до него не производил никто. Ужасные монголы, с многочисленными, никогда дотоле невиданными Европою табунами, кочевыми кибитками, хлынули на Россию, осветивши путь свой пламенем и пожарами — прямо азиатским буйным наслаждением. Это нашествие наложило на Россию двухвековое рабство и скрыло ее от Европы. Было ли оно спасением для нее, сберегши ее для независимости, потому что удельные князья не сохранили бы ее от литовских завоевателей, или оно было наказанием за те беспрерывные брани:

как бы то ни было, но это страшное событие произвело великие следствия: оно наложило иго на северные и средние русские княжения, но дало между тем происхождение новому славянскому поколению в южной России, которого вся жизнь была борьба и которого историю я взялся представить.

III. Южная Россия более всего пострадала от татар. Выжженные города и степи, обгорелые леса, древний, разрушенный Киев, безлюдье и пустыня — вот что представляла эта несчастная страна! Испуганные жители разбежались или в Польшу, или в Литву; множество бояр и князей выехало в северную Россию. Еще прежде народонаселение начало заметно уменьшаться в этой стороне. Киев давно уже не был столицею; значительные владения были гораздо севернее. Народ, как бы понимая сам свою ничтожность, оставлял те места, где разнovidная природа начинает становиться изобретательницею; где она раскинула степи прекрасные, вольные, с бесчисленным множеством трав почти гигантского роста, часто неожиданно среди них опрокинула косогор, убранный дикими вишнями,

черешнями, или обрушила рытвину всю в цветах и по всем вьющимся лентам рек разбросала очаровательные виды, протянула во всю длину Днепр с ненасытными порогами, с величественными гористыми берегами и неизмеримыми лугами, и всё это согрела умеренным дыханием юга. Он оставлял эти места и столплялся в той части России, где местоположение, однообразно-гладкое и ровное, везде почти болотистое, истыканное печальными елями и соснами, показывало не жизнь живую, исполненную движения, но какое-то прозябение, поражающее душу мыслящего. Как будто бы этим подтвердилось правило, что только народ, сильный жизнью и характером, ищет мощных местоположений или что только смелые и поразительные местоположения образуют смелый, страстный, характерный народ.

IV. Когда первый страх прошел, тогда мало-помалу выходцы из Польши, Литвы, России начали селиться в этой земле, настоящей отчизне славян, земле древних полян, северян, чистых славянских племен, которые в Великой России начинали уже смешиваться с

народами финскими, но здесь сохранялись в прежней цельности со всеми языческими поверьями, детскими предрассудками, песнями, сказками, славянской мифологией, так простодушно у них смешавшейся с христианством. Возвращавшиеся на свои места прежние жители привели по следам своим и выходцев из других земель, с которыми от долговременного пребывания составили связи. Это население производилось боязненно и робко, потому что ужасный кочевой народ был не за горами: их разделяли или, лучше сказать, соединяли одни степи. Несмотря на пестроту населения, здесь не было тех браней междоусобных, которые не переставали во глубине России: опасность со всех сторон не давала возможности заняться ими. Киев — древняя мать городов русских — сильно разрушенный страшными обладателями табунов, долго оставался беден и едва ли мог сравниться со многими, даже не слишком значительными городами северной России. Все оставили его, даже монахи-летописцы, для которых он всегда был священ. Известия о нем разом прервались, и несмотря на то,

что там оставалась еще отрасль князей русских, ничто не спасло его от полувекового забвения. Изредка только, как будто сквозь сон, говорят летописцы, что он был страшно разорен, что в нем были ханские баскаки, — и потом он от них задернулся как бы непроницаемою завесою.

V. Между тем как Россия была повергнута татарами в бездействие и оцепенение, великий язычник Гедимин вывел на сцену тогдашней истории новый народ — народ, бедный и жизнью и средствами для жизни, населявший дикие сосновые леса нынешней Белоруссии, еще носивший звериную кожу вместо одежды, еще боготворивший Перуна и поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший прежде дань русским князьям, известный под именем литовцев. И этот народ при своем князе Гедимине сделался самым видным на огромном северо-востоке Европы! Тогда города, княжества и народы на западе России были какие-то отрывки, обрезки, оставшиеся за гранью татарского порабощения. Они не составляли ничего целого, и потому литовский завоеватель



почти одним движением языческих войск своих, совершенно созданных им, подверг своей власти весь промежуток между Польшей и татарской Россией. Потом двинул он войска свои на юг, во владения волынских князей. Весьма естественно, что успех сопровождал его везде. В Луцке однако ж князь Лев сильно сопротивлялся, но не в силах был отстоять земель своих. Гедимин, назначив старост и начальников, шел далее на юг, к самому сердцу южной России, к Киеву. Убежавший луцкий князь Лев успел кое-как уговорить киевского князя Станислава выйти с своими немногочисленными дружинами навстречу грозному победителю: дружины были усилены союзниками-татарами; но всё бежало перед мощным литовцем. Гедимин, сильно поразив их при реке Ирпени, вступил с торжеством в Киев, носивший на себе свежую печать татарского посещения, и постановил в нем правителем князя Миндова Ольшанского, принявшего греческую веру. Итак, литовский завоеватель у самых татар вырвал почти перед глазами их находившуюся землю! Это должно бы, казалось, возбудить борь-

бу между двумя народами, но Гедимин был человек ума крепкого, был политик, несмотря на видимую свою дикость и свое невежественное время. Он умел сохранить дружбу с татарами, владея: отнятыми у них землями и не платя никакой дани. Этот дикий политик, не знавший письма и поклонявшийся языческому богу, ни у одного из покоренных им народов не изменил обычаев и древнего правления; всё оставил по-прежнему, подтвердил все привилегии и старшинам строго приказал уважать народные права; нигде даже не означил пути своего опустошением. Совершенная ничтожность окружающих его народов и прямо исторических лиц придают ему какой-то исполинский размер. Он умер в 1340 году; мертвый был посажен на коня с своим оруженосцем, с охотничьими собаками, соколами и сожжен по языческому обычаю литовцев. Вслед за ним такие же два сильные характера, Ольгерд и Ягайло, вознесли Литву, употребляя ту же самую политику с присоединенными народами.

VI. И вот южная Россия, под могущественным покровительством литовских князей, со-

вершено отделилась от северной. Всякая связь между ими разорвалась; составились два государства, называвшиеся одинаким именем — Русью. Одно под татарским игом, другое под одним скипетром с литовцами. Но уже сношений между ими не было. Другие законы, другие обычаи, другая цель, другие связи, другие подвиги составили на время два совершенно различные характера. Каким образом это произошло, — составляет цель нашей истории. Но прежде всего нужно бросить взгляд на географическое положение этой страны, что непременно должно предшествовать всему, ибо от вида земли зависит образ жизни и даже характер народа. Многие в истории разрешает география.

Эта земля, получившая после название Украины, простирающаяся на север не далее  $50^{\circ}$  широты, более ровна, нежели гориста. Небольшие возвышенности встречаются очень часто, но ни одной гористой цепи. Северная ее часть перемежается лесами, содержащими прежде в себе целые шайки медведей и диких кабанов; южная вся открыта, вся из степей, кипевших плодородием, но только

изредка засевавшихся хлебом. Девственная и могучая почва их своевольно произращала бесчисленное множество трав. Эти степи кипели стадами сайг, оленей и диких лошадей, бродивших табунами. С севера на юг проходит великий Днепр, опутанный ветвями впадающих в него рек. Правый берег его горист и представляет пленительные и вместе дерзкие местоположения; левый весь из лугов, покрытых рощами, потоплявшимися водою. Двенадцать порогов — выросших из дна реки скал, недалеко от впадения его в море, преграждают течение и делают плавание по нем чрезвычайно опасным. Около порогов водился род диких коз — *сугаки* с белыми лоснящимися рогами, с мягкой, атласною шерстью. Прежде воды в Днепре были выше, разливался он шире и далее потоплял луга свои. Когда воды начинают опадать, тогда вид поразителен: все возвышенности выходят и кажутся бесчисленными зелеными островами среди необозримого океана воды. В Днепр впадает только одна судоходная река, Десна, проходящая в северной Украине, с лесистыми берегами, почти с обеих сторон потопляемыми во-

дою; но и эта река только в некоторых местах судоходна. Кроме того на севере Остер и часть Сейма, на юге Сула, Псел, с цепью видов, Хорол и другие; но ни одна из них не судоходна. Сообщения никакого нет; произведения не могли взаимно размениваться — и потому здесь не мог и возникнуть торговый народ. Все реки разветвляются посередине; ни одна из них не протекала на рубеже и не служила естественною гранью с соседственными народами. К северу ли с Россией, к востоку ли с кипчакскими татарами, к югу ли с крымскими, к западу ли с Польшей — везде она граничила полем, везде равнина, со всех сторон открытое место. Будь хотя с одной стороны естественная граница из гор или моря — и народ, поселившийся здесь, удержал бы политическое бытие свое, составил бы отдельное государство. Но беззащитная, открытая земля эта была землей опустошений и набегов, местом, где сшибались три враждующие нации, унавожена костями, утучнена кровью. Один татарский наезд разрушал весь труд земледельца: луга и нивы были вытаптываемы конями и выжигаемы, легкие жилища сносимы до ос-

нования, обитатели разгоняемы или угоняемы в плен вместе со скотом. Это была земля страха; и потому в ней мог образоваться только народ воинственный, сильный своим соединением, народ отчаянный, которого вся жизнь была бы повита и взлелеяна. войною. И вот выходцы вольные и невольные, бездомные, те, которым нечего было терять, которым жизнь — копейка, которых буйная воля не могла терпеть законов и власти, которым везде грозила виселица, расположились и выбрали самое опасное место в виду азиатских завоевателей — татар и турков. Эта толпа, разросшись и увеличившись, составила целый народ, набросивший свой характер и, можно сказать, колорит на всю Украину, сделавший чудо — превративший мирные славянские поколения в воинственные, известный под именем козаков, народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу.

VII. Если не к концу XIII, то к началу XIV ве-

ка можно отнести появление козачества, к тем векам, когда святая, сильная ревность к религии еще не остыла в Европе, когда почти вдруг во всех концах беспрестанно образовывались братства и ордена рыцарские, составлявшие странную противоположность с тогдашним разъединением, с изумительным самоотвержением разрушившие и отвергнувшие условия обыкновенной жизни, безбрачные, суровые, неотразимые соглядатаи дел мира, железные поборники веры Христовой. Чем слабее была связь тогдашних государств, тем сильнее росла ужасная сила этих обществ. Разлитие магометанства и магометанских новых сильных народов, уже врывавшихся в Европу, увеличивало их еще более. Дух этих братств распространился везде и не между рыцарями и не для подобных предназначений. В это время явился близ порогов городок, или острог Черкасы, построенный удалыми выходцами, имя которого звучит обитателями Кавказа, которого даже построение многие приписывают им, и где было главное сборище и местопребывание козаков. Вначале частые нападения татар на северную часть

Украины заставляли жителей спасаться бегством, приставать к козакам и увеличивать их общество. Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными. Это скопище людей не имело никаких укреплений, ни одного замка. Землянки, пещеры и тайники в днепровских утесах, часто под водою, на днепровских островах, в гуще степной травы, служили им укрытием для себя и для награбленных богатств. Гнездо этих хищников было невидимо; они налетали внезапно и, схвативши добычу, возвращались назад. Они поворотили против татар их же образ войны, те же азиатские набеги. Как жизнь их определена была на вечный страх, так точно с своей стороны они решились быть страхом для соседей. Татары и турки должны были всякой час ожидать этих



неумолимых обитателей порогов. Магометанский сосед не знал, как назвать этот ненавистный народ. Если кто хотел к кому выразить величайшее презрение, то называл его козаком.

VIII. Большая часть этого общества состояла однако ж из первобытных, коренных обитателей южной России. Доказательство — в языке, который, несмотря на принятие множества татарских и польских слов, имел всегда чисто славянскую южную физиономию, приближавшую его к тогдашнему русскому, и в вере, которая всегда была греческая. Всякой имел полную волю приставать к этому обществу, но он должен был непременно принять греческую религию. Это общество сохраняло все те черты, которыми рисуют шайку разбойников; но, бросивши взгляд глубже, можно было увидеть в нем зародыш политического тела, основание характерного народа, уже вначале имевшего одну главную цель — воевать с неверными и сохранять чистоту религии своей. Это однако ж не были строгие рыцари католические: они не налагали на себя никаких обетов, никаких постов; не обузды-

вали себя воздержанием и умерщвлением плоти; были неукротимы, как их днепровские пороги, и в своих неистовых пиршествах и бражничестве позабывали весь мир. То же тесное братство, которое сохраняется в разбойничьих шайках, связывало их между собою. Всё было у них общее — вино, цехины, жилища. Вечный страх, вечная опасность внушали им какое-то презрение к жизни. Козак больше заботился о доброй мере вина, нежели о своей участи. Но в нападениях видна была вся гибкость, вся сметливость ума, всё умение пользоваться обстоятельствами. Нужно было видеть этого обитателя порогов в полутатарском, полупольском костюме, на котором так резко отпечаталась пограничность земли, азиатски мчавшегося на коне, пропадавшего в густой траве, бросавшегося с быстротою тигра из неприметных тайников своих или вылезавшего внезапно из реки или болота, обвешанного тиною и грязью, казавшегося страшилищем бегущему татарину. Этот же самый козак после набега, когда гулял и бражничал с своими товарищами, сорил и разбрасывал награбленные сокровища,

был бессмысленно пьян и беспечен до нового набега, если только не предупреждали их татары, не разгоняли их пьяных и беспечных и не разрывали до основания городка их, который, как будто чудом, строился вновь, и опустошительный, ужасный набег был отмщением. После чего снова та же беспечность, та же разгульная жизнь.

IX. Казалось, существование этого народа было вечно. Он никогда не уменьшался: выбывшие, убитые, потонувшие заменялись новыми. Такая разгульная жизнь приманивала всякого. Тогда было то поэтическое время, когда всё добывалось саблею; когда каждый в свою очередь стремился быть действующим лицом, а не зрителем. Это скопление мало-помалу получило совершенно один общий характер и национальность, и чем ближе к концу XV века, тем более увеличивалось приходящими вновь. Наконец целые деревни и сёла начали поселяться с домами и семействами около этого грозного оплота, чтобы пользоваться его защитой, с условием за то некоторых повинностей. И таким образом места около Киева начали пустеть, а между тем по

ту сторону Днепра люднели. Семейные и женатые мало-помалу от обращения и сношения с ними получали тот же воинственный характер. Сабля и плуг сдружились между собою и были у всякого селянина. Между тем разгульные холостяки вместе с червонцами, цехинами и лошадьми стали похищать татарских жен и дочерей и жениться на них. От этого смешения черты лица их, вначале разнохарактерные, получили одну общую физиогномию, более азиатскую. И вот составился народ, по вере и месту жительства принадлежавший Европе, но между тем по образу жизни, обычаям, костюму совершенно азиатский, народ, в котором так странно столкнулись две противоположные части света, две разнохарактерные стихии: европейская осторожность и азиатская беспечность, простодушие и хитрость, сильная деятельность и величайшая лень и нега, стремление к развитию и усовершенствованию — и между тем желание казаться пренебрегающим всякое совершенствование. 1832.

## Несколько слов о Пушкине\*

При Имени Пушкина тотчас осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле, никто из поэтов наших не выше его и не может более назваться национальным; это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось всё богатство, сила и гибкость нашего языка. Он более всех, он далее раздвинул ему границы и более показал всё его пространство. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла.

Самая его жизнь совершенно русская. Тот же разгул и раздолье, к которому иногда позабывшись стремится русской и которое всегда нравится свежей русской молодежи, отразились на его первобытных годах вступления в

свет. Судьба как нарочно забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характерностью; где гладкая неизмеримость России перерывается подоблачными горами и обвеивается югом. Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ, среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую читать Россию. Рисует ли он боевую схватку чеченца с козаком — слог его молния; он так же блещет, как сверкающие сабли, и летит быстрее самой битвы. Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии и великолепными крымскими ночами и садами. Может быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее там, где ду-

ша его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою, и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу: им изумлялись даже те, которые не имели столько вкуса и развития душевных способностей, чтобы быть в силах понимать его. Смелое более всего доступно, сильнее и просторнее раздвигает душу, а особенно юности, которая вся еще жаждет одного необыкновенного. Ни один поэт в России не имел такой завидной участи, как Пушкин. Ничья слава не распространялась так быстро. Все кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какие-нибудь ярко сверкающие отрывки его поэм. Его имя уже имело в себе что-то электрическое, и стоило только кому-нибудь из досужих мараблей выставить его на своем творении, уже оно расходилось повсюду.[2]

Он при самом начале своем уже был национален, потому что истинная национальность состоит не в описании сарафана, но в самом духе народа. Поэт даже может быть и тогда национален, когда описывает совер-

шенно сторонний мир, но глядит на него глазами своей национальной стихии, глазами всего народа, когда чувствует и говорит так, что соотечественникам его кажется, будто это чувствуют и говорят они сами. Если должно сказать о тех достоинствах, которые составляют принадлежность Пушкина, отличающую его от других поэтов, то они заключаются в чрезвычайной быстроте описания и в необыкновенном искусстве немногими чертами означить весь предмет. Его эпитет так отчетист и смел, что иногда один заменяет целое описание; кисть его летает. Его небольшая пьеса всегда стоит целой поэмы. Вряд ли о ком из поэтов можно сказать, чтобы у него в коротенькой пьесе вмещалось столько величия, простоты и силы, сколько у Пушкина.

Но последние его поэмы, писанные им в то время, когда Кавказ скрылся от него со всем своим грозным величием и державно возносящеюся из-за облак вершиною, и он погрузился в сердце России, в ее обыкновенные равнины, предался глубже исследованию жизни и нравов своих соотечественников и захотел быть вполне национальным по-



этом, — его поэмы уже не всех поразили тою яркостью и ослепительной смелостью, какими дышит у него всё, где ни являются Эльбрус, горцы, Крым и Грузия.

Явление это, кажется, не так трудно разрешить: будучи поражены смелостью его кисти и волшебством картин, все читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерыв, чтобы отечественные и исторические происшествия сделались предметом его поэзии, позабывая, что нельзя теми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить более спокойный и гораздо менее исполненный страстей быт русской. Масса публики, представляющая в лице своем нацию, очень странна в своих желаниях; она кричит: изобрази нас так, как мы есть, в совершенной истине, представь дела наших предков в таком виде, как они были. Но попробуй поэт, послушный ее велению, изобразить всё в совершенной истине и так, как было, она тотчас заговорит: это вяло, это слабо, это не хорошо, это нимало не похоже на то, что было. Масса народа похожа в этом случае на женщину, приказывающую

художнику нарисовать с себя портрет совершенно похожий, но горе ему, если он не умел скрыть всех ее недостатков. Русская история только со времени последнего ее направления при императорах приобретает яркую живость; до того характер народа большею частью был бесцветен; разнообразие страстей ему мало было известно. Поэт не виноват; но и в народе тоже весьма извинительное чувство придать больший размер делам своих предков. Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, говорить с жаром о том, что само в себе не сохраняет сильного жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или быть верну одной истине, быть высоким там, где высок предмет, быть резким и смелым, где истинно резкое и смелое, быть спокойным и тихим, где не кипит происшествие. Но в этом случае прощай толпа! ее не будет у него, разве когда самый предмет, изображаемый им, уже так велик и резок, что не может не произвести всеобщего энтузиазма. Первого средства не избрал поэт, потому что хотел

остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. Никто не станет спорить, что дикий горец в своем воинственном костюме, вольный как воля, сам себе и судья и господин, гораздо ярче какого-нибудь заседателя, и несмотря на то, что он зарезал своего врага, притаясь в ущельи, или выжег целую деревню, однако же он более поражает, сильнее возбуждает в нас участие, нежели наш судья в истертом фраке, запачканном табаком, который невинным образом посредством справок и выравок пустил по миру множество всякого рода крепостных и свободных душ. Но тот и другой, они оба — явления, принадлежащие к нашему миру: они оба должны иметь право на наше внимание, хотя по естественной причине то, что мы реже видим, всегда сильнее поражает наше воображение, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта — нерасчет перед его многочисленною публикою, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего досто-

инства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей. Мне пришло на память одно происшествие из моего детства. Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянув на картину, покачал головою и сказал: «Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое». В детстве мне казалось досадно слышать такой суд, но после я из него извлек мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпе. Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух. Потому что чем предмет обыкно-

веннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина. По справедливости ли оценены последние его поэмы? Определил ли, понял ли кто Бориса Годунова, это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней, неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа? — по крайней мере печатно нигде не произнеслась им верная оценка, и они остались донныне нетронуты.

В мелких своих сочинениях, этой прелестной антологии, Пушкин разносторонен необыкновенно и является еще обширнее, виднее, нежели в поэмах. Некоторые из этих мелких сочинений так резко ослепительны, что их способен понимать всякой, но зато большая часть из них и притом самых лучших кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтобы быть доступною понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние. Нужен вкус выше того, который может понимать только одни слишком резкие и

крупные черты. Для этого нужно быть в некотором отношении сибаритом, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ест птичку не более наперстка и услаждается таким блюдом, которого вкус кажется совсем неопределенным, странным, без всякой приятности привыкшему глотать изделия крепостного повара. Это собрание его мелких стихотворений — ряд самых ослепительных картин. Это тот ясный мир, который так дышит чертами, знакомыми одним древним, в котором природа выражается так же живо, как в струе какой-нибудь серебряной реки, в котором быстро и ярко мелькают ослепительные плечи, или белые руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темных кудрей, или прозрачные гроздия винограда, или мирты и древесная сень, созданные для жизни. Тут всё: и наслаждение, и простота, и мгновенная высота мысли, вдруг объемлющая священным холодом вдохновения читателя. Здесь нет этого каскада красноречия, увлекающего только многословием, в котором каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением

всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною. Здесь нет красноречия, здесь одна поэзия; никакого наружного блеска, всё просто, всё прилично, всё исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг; всё лаконизм, каким всегда бывает чистая поэзия. Слов немного, но они так точны, что обозначают всё. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт. Отсюда происходит то, что эти мелкие сочинения перечитываешь несколько раз, тогда как достоинства этого не имеет сочинение, в котором слишком просвечивает одна главная идея.

Мне всегда было странно слышать суждения об них многих, слывающих знатоками и литераторами, которым я более доверял, покамест еще не слышал их толков об этом предмете. Эти мелкие сочинения можно назвать пробным камнем, на котором можно испытывать вкус и эстетическое чувство разбирающего их критика. Непостижимое дело! казалось, как бы им не быть доступными всем! Они так просто возвышенны, так ярки, так пламенны, так сладострастны и вместе

так детски чисты. Как бы не понимать их! Но увы! это неотразимая истина: что чем более поэт становится поэтом, чем более изображает он чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы, и наконец так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей. 1832.

## **Об архитектуре нынешнего времени\***

**М**не всегда становится грустно, когда я гляжу на новые здания, беспрерывно строящиеся, на которые брошены миллионы и из которых редкие останавливают изумленный глаз величием рисунка, или своевольною дерзостью воображения, или даже роскошью и ослепительною пестротой украшений. Невольно втесняется мысль: неужели прошел невозвратно век архитектуры? неужели величие и гениальность больше не посетят нас, или они — принадлежность народов юных, полных одного энтузиазма и энергии и чуждых усыпляющей, бесстрастной образованности? Отчего же те народы, перед которыми мы так самодовольно гордимся, которым едва



даем место в истории мира, отчего же они так возвышаются перед нами созданиями своего темного, не освещенного дробью познаний, ума? Отчего же колоссальные памятники индусов так величавы и неизмеримы, отчего аравийские так роскошны и очаровательны? отчего у нас в Европе в средние века так много воздвиглось их в изумительном величии?

Не хотелось бы убедиться в этой грустной мысли, но всё говорит, что она истинна. Они прошли, те века, когда вера, пламенная, жаркая вера, устремляла все мысли, все умы, все действия к одному, когда художник выше и выше стремился вознести создание свое к небу, к нему одному рвался и пред ним, почти в виду его, благоговейно подымал молящуюся свою руку. Здание его летело к небу; узкие окна, столпы, своды тянулись нескончаемо ввышину; прозрачный, почти кружевной спиц, как дым, сквозил над ними, и величественный храм так бывал велик перед обыкновенными жилищами людей, как велики требования души нашей перед требованиями тела.

Была архитектура необыкновенная, хри-

стианская, национальная для Европы — и мы ее оставили, забыли, как будто чужую, пренебрегли, как неуклюжую и варварскую. Не удивительно ли, что три века протекло, и Европа, которая жадно бросалась на всё, алчно перенимала всё чужое, удивлялась чудесам древним, римским и византийским, или уродовала их по своим формам, — Европа не знала, что среди ее находятся чуда, перед которыми было ничто всё ею виденное, что в недре ее находятся Миланский и Кельнский соборы и еще донныне чернеют кирпичи недоконченной башни Страсбургского мюнстера.

Готическая архитектура, та готическая архитектура, которая образовалась пред окончанием средних веков, есть явление такое, какого еще никогда не производил вкус и воображение человека. Ее напрасно производят от арабской, идеи этих двух родов совершенно расходятся: из арабской она заимствовала только одно искусство сообщать тяжелой массе здания роскошь украшений и легкость; но самая эта роскошь украшений вылилась у ней совершенно в другую форму. Она обширна и возвышенна, как христианство. В ней

всё соединено вместе: этот стройный и высоко возносящийся над головою лес сводов, окна огромные, узкие, с бесчисленными изменениями и переплетами, присоединение к этой ужасающей колоссальности массы самых мелких, пестрых украшений, эта легкая паутина резьбы, опутывающая его своею сетью, обвивающая его от подножия до конца шпица и улетающая вместе с ним на небо; величие и вместе красота, роскошь и простота, тяжесть и легкость — это такие достоинства, которых никогда кроме этого времени не вмещала в себе архитектура. Вступая в священный мрак этого храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, поднявши глаза кверху, где теряются пересекаясь стрельчатые своды один над другим, один над другим, и им конца нет, — весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святыни, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека.

Но она исчезла, эта прекрасная архитектура! Как только энтузиазм средних веков угас и мысль человека раздробилась и устремилась на множество разных целей, как только

единство и целость одного исчезло — вместе с тем исчезло и величие. Силы его, раздробившись, сделались малыми; он произвел вдруг во всех родах множество удивительных вещей, но истинно великого, исполинского уже не было. Византийцы, убежавши из своей развратной столицы, занятой мусульманами, перепортили вкус европейцев и колоссальную их архитектуру. Византийцы давно уже не имели древнего аттического вкуса; они уже не имели и первоначального византийского и принесли только испорченные остатки его. Они языческие, круглые, пленительные, сладострастные формы куполов и колонн тщились применить к христианству и применили так же неудачно, как неудачно привили христианство к своей языческой жизни, дряхлой, лишенной свежести. Купол вытянулся вверх и сделался почти угловатым, стройные линии, фронтоны как-то странно изломались и произвели ничтожные формы. В таком виде получили эту архитектуру европейцы, которые с своей стороны изменили ее еще более, потому что в душе своей еще носили первоначальный образ готический и

мысль, совершенно противоположную расслабленной многосторонности греков. Тогда произошли тяжелые дворцы с колоннами, полуколоннами без всякой цели. Всё это было робко, мелко. Это была не роскошь, но искаженность простоты. Множество мифологических голов и украшений без смысла, облепив тяжелую массу, не придали ей никакой легкости, не смягчили крепких черт ее нежными и не выразили никакой идеи. Стремление в высоту, сообщавшее величие и легкость самым тяжелым массам, исчезло; вместо того они разъехались в ширину.

Но церкви, строенные в XVII и начале XVIII века, еще менее выражают идею своего назначения. Глядя на них, кажется, чувствуешь то же, как если бы человек грубый начал подделываться под светскую утонченность. В них прямая линия без всякого условия вкуса соединялась с выгнутою и кривою; при полуотической форме всей массы, они ничего не имеют в себе готического, окна мелкие, сбитые в кучу, или раскиданные без всякой гармонии, пилястры, не тянувшиеся во всю длину здания, но приклеенные иногда вверху

под куполом, иногда на середине, коротенькие, неуклюжие, сверх которых часто находился другой этаж таких же колонн, маленьких, некрасивых, крыша из ломаных линий; при этом часто удерживался и готической шпиц, но уже не тот легкий и прозрачный, который под рукою художника средних веков принимал такую воздушность, но тяжелый, массивный, который уже вовсе не летел к небу. Всё, что только отзывалось высокими, устремленными кверху готическими деталями, было оставлено как безвкусное.

Хотя в продолжение XVIII века вкус несколько улучшился, но из этого не выиграли мы ровно ничего: он улучшился в веригах чужих форм. Тяжесть готическая была справедливо изгнана совершенно, потому что она в греческой форме была уже до невозможности безобразна. Тогда еще с большим рвением стали изучать древние формы, но изучали так, как робкие ученики, копирующие с точностью мелочные подробности оригинала и позабывающие об идее целого. Брали части и с необыкновенным излишеством лепили в огромную массу, показавшую еще никогда до-

толе небывалое разъединение в целом. Колонны и купол, больше всего прельстившие нас, начали приставлять к зданию без всякой мысли и во всяком месте: они уже не были главною идеею строения, а только частями или, лучше, украшениями его. Размер самого строения мы увеличили гораздо более, а размер купола в отношении к строению уменьшили. Мы не посмотрели в увеличительное стекло на строение, которое избрали моделью; не взглянули на него, отошедши на известное расстояние, но смотрели вблизи. Купол сделался ничтожным, малым. Видя его пустынную и одиночество наверху здания, прибавили к нему несколько других, возвысили для этого под ними башни — и куполы стали походить на грибы. И купол, это лучшее, прелестнейшее творение вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый, который должен был обнять всё строение и роскошно отдыхать на всей его массе белою, облачною своею поверхностью, исчез совершенно. Я люблю купол, тот прекрасный, огромный, легко-выпуклый купол, который возродил роскошный вкус греков в александрийский

век и позже, в век наслаждений и эгоизма, век утонченного раздробления жизни, век антологии легкой, душистой, дышащей сладострастием, ленью и роскошью, когда каждый принадлежал себе, жил для себя, а не для общества, когда на великолепных роскошных банях, везде был виден этот смело выпуклый, как небесный свод, купол. Ничто не может так сладострастно, так пленительно украсить массу домов, как такой купол. Но для этого он должен быть помещен только на том здании, которое неизмеримо своею шириною и как можно более захватывает пространства; он должен лечь на всей обширной его платформе; он должен быть светлее самого здания и лучше, если он весь белый. Ослепительная белизна сообщает неизъяснимую очаровательность и полноту его легко выпуклой форме, — он тогда лучше, роскошнее и облачнее круглится на небе. И доньше города сирийские и антиохские имеют необыкновенную прелесть через то, что удержали некоторое подобие этих куполов; и доньше на Востоке можно встретить их в величавом и огромном виде.



Портик с колоннами, это ясное произведение аттического стройного вкуса, который не терпел над собою никаких надстроек, у нас тоже пропал: ему не догадались дать колоссального размера, раздвинуть во всю ширину здания, возвысить во всю вышину его; его не развили, не увеличили, но стали употреблять в обыкновенном виде. Удивительно ли, что здания, которые требовались огромные, казались пусты, потому что фронтоны с колоннами лепились только над крыльцами их. Грозимые над ними в церквах, дворцах башни и массы, вовсе ему не отвечавшие, подавили и уничтожили его совершенно. Таким самым образом поэт, не имеющий обширного гения, всегда недоволен одним простым сюжетом и вместо того, чтобы развить его и сделать огромным, он привязывает к нему множество других; его поэма обременяется пестротой разных предметов, но не имеет одной господствующей мысли и не выражает одного целого.

В начале XIX столетия вдруг распространилась мысль об аттической простоте и так же, как обыкновенно бывает, обратилась в моду

и отразилась вдруг на всем, начиная с дамских костюмов, преобразовавшихся в небрежное, легкое одеяние гетер. Казалось, еще ближе присмотрелись к древним; еще глубже изучили их дух; но всё, что ни строили по их образцу, всё носило отпечаток мелкости и миниатюрности: узнали искусства более связывать и гармонировать между собою части, но не узнали искусства давать величие всему целому и определить ему размер, способный вызвать изумление. Это новое стремление решительно было издержано на мелочные беседки, павильоны в садах и подобные, небольшие игрушки. Они носили в себе много аттического, но их нужно было рассматривать в микроскоп. В огромных же публичных зданиях не считали за нужное ими руководствоваться: они сделались наконец просты до плоскости. Самое вредное направление архитектуре внушила мысль о соразмерности, не о той соразмерности, которая должна быть в строении в отношении к нему самому, но просто о соразмерности в отношении к окружающим его зданиям. Это всё равно, если бы гений стал удерживаться от оригинального и

необыкновенного, потому только, что перед ним будут слишком уже низки и ничтожны обыкновенные люди. Эта соразмерность состояла еще в том, чтобы строение, как бы велико ни было в своем объеме, но непременно чтобы казалось малым. Его стали уединять и помещать на такой огромной и обширной площади, что оно казалось еще более ничтожным. Как будто бы старались нарочно внушить мысль, что великое совсем не велико, как будто бы насильно старались истребить в душе благоговение и сделать человека равнодушным ко всему.

Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Дома старались делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей. Совершенно гладкая их форма ничуть не принимала живости от маленьких правильных окон, которые в отношении ко всему строению были похожи на зажмуренные глаза. И этою архитектурою мы еще недавно тщеславились, как совершенством вкуса, и настроили целые города в ее духе!

Осмелился бы кто-нибудь даже теперь, среди этой гладко-однообразной кучи, воздвигнуть здание, носившее бы на себе печать особенной, резкой архитектуры, осмелился бы кто-нибудь возле строения в аттическом вкусе непосредственно воздвигнуть готическое — его бы сочли едва ли не сумасшедшим. Оттого новые города не имеют никакого вида: они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен и больше ничего. Напрасно ищет взгляд, чтобы одна из этих беспрерывных стен в каком-нибудь месте вдруг возросла и выбросилась на воздух смелым переломленным сводом или изверглась какою-нибудь башней-гигантом. Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению. Даже вид какого-нибудь восточного города с высокими, тонкими минаретами, с восточными пестрыми куполами, потонувшими в садах, имеет более характера, более дышит поэзией и воображе-

нием, нежели наши европейские города позднейшей архитектуры.

Башни огромные, колоссальные необходимы в городе, не говоря уже о важности их назначения для христианских церквей. Кроме того, что они составляют вид и украшение, они нужны для сообщения городу резких примет, чтобы служить маяком, указывавшим бы путь всякому, не допуская сбиться с пути. Они еще более нужны в столицах для наблюдения над окрестностями. У нас обыкновенно ограничиваются высотой, дающею возможность обглядеть один только город. Между тем как для столицы необходимо видеть по крайней мере на полтораста верст во все стороны и для этого, может быть, один только или два этажа лишних — и всё изменяется. Объем кругозора по мере возвышения распространяется необыкновенною прогрессией. Столица получает существенную выгоду, обозревая провинции и заранее предвидя всё; здание, сделавшись немного выше обыкновенного, уже приобретает величие; художник выигрывает, будучи более настроен колоссальностию здания к вдохновению и сильнее

чувствуя в себе напряжение.

Это направление архитектуры старалось как будто нарочно скрывать свое величие, вместо того, чтобы как можно более выказывать его пространству. Нет, не таков закон великого: строение должно неизмеримо возвышаться почти над головою зрителя; чтобы он стал, пораженный внезапным удивлением, едва будучи в состоянии окинуть глазами его вершину. И потому строение всегда лучше, если стоит на тесной площади. К нему может идти улица, показывающая его в перспективе, издали, но оно должно иметь поражающее величие вблизи. Чтобы дорога проходила мимо его! Чтобы кареты гремели у самого его подножия! Чтобы люди лепились под ним и своею малостью увеличивали его величие! Дайте человеку большое расстояние — и он уже будет глядеть выше, гордо на находящиеся пред ним предметы; ему покажется всё малым. Мы так непостижимо устроены, наши нервы так странно связаны, что только внезапное, оглушающее с первого взгляда, производит на нас потрясение. И потому вышину строения подымайте в соразмерности с пло-

щадью, на которой оно стоит. Если оно с последнего края площади кажется малым, и зритель не ощущает изумления, но должен для этого близко подходить к нему, то здание пропало, а вместе с ним пропали труды и издержки, употребленные на сооружение его.

Но возвращаюсь к простоте архитектуры, которая заразила наш XIX век. Сами греки чувствовали, что одни прямые линии и совершенная простота строений будут казаться уже чересчур плоскими, особенно если множество такого рода строений соединятся вместе. Они чувствовали, что строгая правильность и гладкость строения должна непременно иметь возле себя какую-нибудь противоположность, чтобы быть более оригинальной и заметной. И потому простирали над ними навес древесный. Белизна прямолинейной стены или стройного с колоннами фронтона, выказываясь из-за темной гущи зелени, действительно хороша, потому что составляет контраст с облачным расположением дерева, почти всегда неправильно, но красиво раскидывающего свои ветви. Как только здание их окружалось другими и находилось

среди города, они чувствовали излишнюю простоту его и старались придать сколько можно более игры. Мысль о дереве и о природе прежде всего приходила им в голову. Но в городе дерево — драгоценность; тогда они чаще начали употреблять не гладкие дорические колонны, но большую часть коринфские с капителью из завитых листьев. Вообще убирать строения листьями, вьющимися гроздьями винограда или украшениями,носящими неясный образ ветвей дерева, было инстинктом у всех народов. Они невольно, слепо следовали тайному внушению своего вкуса. В готической архитектуре более всего заметен отпечаток, хотя неясный, тесно сплетенного леса, мрачного, величественного, где топор не звучал от века. Эти стремящиеся нескончаемыми линиями украшения и сети сквозной резьбы не что другое, как темное воспоминание о стволе, ветвях и листьях древесных. И потому смело возле готического строения ставьте греческое, исполненное стройности и простоты: оно будет стоять между ними, как между величественными, прекрасными деревьями. И готическое и гре-



ческое получают от этого двойную прелесть. Истинный эффект заключен в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте. Контраст тогда только бывает дурен, когда располагается грубым вкусом или, лучше сказать, совершенным отсутствием вкуса, но, находясь во власти тонкого, высокого вкуса, он первое условие всего и действует ровно на всех. Разные части его гармонируют между собою по тем же законам, по которым цвет палевый гармонирует с синим, белый с голубым, розовый с зеленым и так далее. Всё зависит от вкуса и от умения расположить. Не мешайте только в одном здании множества разных вкусов и родов архитектуры. Пусть каждое носит в себе что-то целое и самобытное, но пусть противоположность между этими самобытными в отношении их друг к другу будет резка и сильна. Чем более в городе памятников разных родов зодчества, тем он интереснее; тем чаще заставляет осматривать себя, останавливаться с наслаждением на каждом шагу. Неужели было бы хорошо, если бы в английском саду вместо беспрерывных, неожи-

данных видов гуляющий находил ту же самую дорожку или, по крайней мере, так похожую своими окрестностями на виденную им прежде, что она кажется давно известною?

Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет для художества. Все роды хороши, когда они хороши в своем роде. Какая бы ни была архитектура: гладкая массивная египетская, огромная ли, пестрая индусов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая — все они хороши, когда приспособлены к назначению строения; все они будут величественны, когда только истинно постигнуты.

Если бы однако ж потребовалось отдать решительное преимущество которой-нибудь из этих архитектур, то я всегда отдам его готической. Она чисто европейская, создание европейского духа и потому более всего прилична нам. Чудное ее величие и красота превосходит все другие. Но из милости, из сострадания ее ломайте, не коверкайте ее! Смотрите чаще на знаменитый Кельнский собор; там всё ее совершенство и величие. Лучшего памятника никогда не производили ни древ-

ние, ни новые веки. Я предпочитаю потому еще готическую архитектуру, что она более дает разгула художнику. Воображение живее и пламеннее стремится в высоту, нежели в ширину. И потому готическую архитектуру нужно употреблять только в церквях и строениях, высоко возносящихся. Линии и бескарнизные готические пилястры, узко одна от другой, должны лететь через всё строение. Горе, если они отстоят далеко друг от друга, если строение не перевысило по крайней мере вдвое своей ширины, если не втрое! Оно тогда уничтожилось само в себе. Возносите его таким, каким оно быть должно: чтобы выше, выше, сколько можно выше, поднимались его стены, чтобы гуще, как стрелы, как тополи, как сосны, окружали их бесчисленные угóльные столбы! никакого перереза, или перелома, или карниза, давшего бы другое направление или уменьшившего бы размер строения! чтобы они были ровны от основания до самой вершины! Огромнее окна, разнообразнее их форму, колоссальнее их высоту! воздушнее, легче шпиц! чтобы всё, чем более подымалось кверху, тем более бы летело

и сквозило. И помните самое главное: никакого сравнения высоты с шириною. Слово ширина должно исчезнуть. Здесь одна законодательная идея — высота.

Я уверен, что некоторые будут утверждать, что постройка здания слишком высокого бесполезна, потому что нам нужно больше места, что высота ни к чему не служит и даром истрачивает материалы. Но я вовсе не советую этот готический образ строений употреблять на театры, на биржи, на какие-нибудь комитеты и вообще на здания, назначаемые для собраний веселящегося, или торгующего, или работающего народа. Со мною согласится всякой, что нет величественнее, возвышеннее и приличнее архитектуры для здания христианскому богу, как готическая. И что же должны мы тогда уничтожить, чего лишиться? — Величественного, колоссального, при взгляде на которое мысли устремляются к одному и отрывают молеельщика от низкой его хижины. Весьма не мешает вспомнить великую старую истину, что народ не в силах понять религии в такой же самой чистоте и бестелесности, как получившие высшее образо-

вание, что на него более всего производят впечатление видимые предметы; что чем меньше этот видимый предмет на него действует, тем слабее его энтузиазм и простая вера. Великолепие повергает простолюдима в какое-то онемение и оно-то единственная пружина,двигающая диким человеком. Необыкновенное поражает всякого, но тогда только, когда оно смело, резко и разом бросается в глаза. Здесь уже прочь всякое скряжничество и расчет! В противном случае этот расчет будет не расчет; и выгода, возникшая из него, будет выгода одного человека перед выгодою целого человечества.

Вальтер Скотт первый отряхнул пыль с готической архитектуры и показал свету всё ее достоинство. С того времени она быстро распространилась. В Англии все новые церкви строят в готическом вкусе. Они очень милы, очень приятны для глаз, но, увы, истинного величия, дышащего в великих зданиях старины, в них нет. Они, несмотря на стрельчатые окна и шпицы, не сохраняют в целом истинно готического вкуса и уклонились от образцов. Во-первых, они сами по себе вовсе не

огромны (великий недостаток готического строения); во-вторых, весь этот лес четырехгранных тонких столбов и линий, союдно стремящихся чрез всё строение, позабыт или отвергнут вовсе, оставшаяся чрез это гладкость нечувствительно дает им совершенно другое выражение.

Могущественным словом Вальтер Скотта вкус к готическому распространился быстро везде и проникнул во всё. Еще не сделавшись великим, он уже сделался мелким: сельские домики, шкафы, ширмы, столы, стулья — всё обратилось в готическое. И эти величественные, прекрасные украшения употреблены были на игрушки. Век наш так мелок, желания так разбросаны по всему, знания наши так энциклопедически, что мы никак не можем усредоточить на одном каком-нибудь предмете наших помыслов и оттого поневоле раздробляем все наши произведения на мелочи и на прелестные игрушки. Мы имеем чудный дар делать всё ничтожным. Египетскую архитектуру, которой весь эффект в колоссальности, мы издерживаем на небольшие мостики, на ворота, вершину которых проезжающий

кучер может достать рукою. Из готической мы делаем серьги, футляры для часов; греческую мы употребляем в беседках. В публичных же и огромных зданиях показываем такую архитектуру, которую вряд ли можно признать особенным родом. В ней столько безмыслия, такое негармоническое соединение частей, такое отсутствие всякого воображения, что недостает сил назвать ее имеющею свой характер архитектурю.

Есть рудник, о котором едва только знают, что он существует; есть мир совершенно особенный, отдельный, из которого менее всего черпала Европа. Это — архитектура восточная. Архитектура, которая создана одним только воображением, воображением восточным, горячим, чудесным, облекшимся в гиперболу и аллегория, пролетевшим мимо жизни и прозаических нужд ее. Жизнь азиатцев никогда не имела такого многостороннего развития, как европейцев: никогда потребности их не были так разнообразны и бесчисленны как наши, и потому очень естественно, что обыкновенные жилища их лишены пестроты, ясности и стройности; они уеди-

ненны, однообразны, так же скучны отсутствием всякой мысли, как самый азиатец во время своего покоя. Но зато везде, куда ни проникала только азиатская роскошь, огромная, великолепная, та роскошь, которая блещет в их волшебных сказках, везде, куда ни проникала эта увешенная ожерельями дочь восточного воображения, там стоят донныне дворцы, великолепие которых изумительно. Строение их захватывало целые веки; целый народ, целая нация над ним трудилась, и предки верили, как в неотразимое предопределение, что здание будет окончено их потомками. Везде, куда ни проникала эта всемогущая массивная роскошь или дикий энтузиазм первоначальной их религии, везде громоздились памятники, ужасные своею огромностью, перед которыми мысль немеет от изумления, когда вспомнишь, как бедны были их средства и познания; как ничтожны их машины для поднятия и укрепления этих страшных масс. Еще более изумление овладевает духом, когда видишь, как почти дикий, неразвившийся человек развился внезапно на этом гигантском здании; как был он про-



никнут и восторжен мыслью о божестве, что невольно показал разоблачение своего гения и упредил медленные годы векового образования.

Взгляните на этот массивный, величественный Триченгурский храм у индусов, едва ли не одно из первых зданий по величине своей. Это пирамидальное склонение массы кверху, постепенное уменьшение этажей, бездна индейских портиков, облепливающих их стены, пилястры, громоздящиеся над пилястрами, колонны над колоннами, как будто ступающие одна на другую, чтобы скорее достать вершины этой массы — всё это явление совершенно оригинального вкуса. Но если Триченгурский храм слишком уже тяжел и дышит язычеством, взгляните на стройный, прекрасный Кутуб-Минар, которым по справедливости славятся Дельфи. Я не знаю в мире башни, которая бы при простоте почти аттической столько дышала глубиною красоты, где бы воображение вылилось так чисто и величаво. Если этот род не может быть совершенно усвоен нами, то европейцы вообще могут заимствовать с пользою это пирамидаль-

ное или конусообразное устремление кверху — резкое отличие индейского стиля.

Восточная архитектура дворцов представляет совершенно противоположный род: здесь царство азиатской роскоши. Строение раздается пространнее в ширину. Огромный восточный купол, или совершенно круглый, или выгибающийся, как сладострастная ваза, опрокинутая вниз, или в виде шара, или обремененный, облепленный резьбою и украшениями, как богатая митра, патриархально властвует над всем зданием; внизу, у самого подножия строения небольшие куполы целую оградою обходят его пространные стены, как покорные рабы; со всех сторон летят тонкие минареты, представляющие самый очаровательный контраст своею легкою, веселою торньюрою с важным, величественным видом всего здания. Так величественный магометанин в широком, убранном золотом и камнями, платье возлежит среди гурий стройных, обнаженных, ослепительных своею белизною.

Нигде зодчество не принимало столько разнообразных форм, как на Востоке. Там

каждое здание выливалось, можно сказать, всегда мимо прежних условий, или, лучше сказать, оно выливалось, облеченное новыми условиями собственного предчувствия, сходствовавшими с прежними разве только в самом отдаленном начале религиозном или национальном. Вся Индия усеяна прекрасными зданиями. Каждое из них сохраняет свое резкое отличие, свой особый отпечаток, до такой степени, что их совершенно нельзя подвести под одну категорию. Множество разных куполов всех возможных форм, вовсе не похожих один на другого, украшений и убранств, совсем отличных и всегда новых, — всё говорит о необыкновенном воображении их, которое не стеснялось никакими правилами. Впрочем, причину этого разнообразия, может быть, было бесчисленное множество сект, наполняющих Индию, производивших вечную оппозицию, вечную раздражительность воображения. Но более исполнены роскоши очаровательной, которою говорит восточная природа, те здания, которых коснулся вкус аравитян. В Азии, во время этих разрушительных встреч новых и старых народов, особен-

но магометан, произошло необыкновенное смешение архитектур, произошли самые дерзкие отступления. Но никогда, нигде не соединялось смелое с такою прекрасною роскошью, как у аравитян. Они заимствовали от природы всё то, что есть в ней верх прекраснейшего. Их архитектура не носит на себе печати дремучих лесов; она вся состоит из цветов. Она убрана цветами, она потоплена целым морем цветов, прекрасных, роскошных, какими убрана нежная долина Кашемира. Их узорные колонны увенчаны тюльпаном; их резьба в виде незабудок и цветов с четырьмя лепестками или развивающихся роз; их галереи похожи на ветви пальм, вершинами своими образующих своды. Всё отозвалось необыкновенной роскошью цветистого их вкуса. Эта архитектура как-то именно создавалась для жизни, отданной наслаждениям, для веселых, светлых жилищ человека. Она решительно изгнала из себя всё мрачное. Здание так прелестно, очаровательно, как восточная красавица с черными, яркими как молния глазами, в пестром своем убранстве и драгоценных ожерельях.

Восточная архитектура имеет у себя то, чего никогда еще не употребляли европейцы. Это колонны, не гладкие, но расщепленные украшениями от пьедестала до капители. Иногда эти колонны бывают совершенно сквозные и прозрачные: резьба проникает их насквозь. Они составляют пленительнейшее изобретение восточного вкуса. Здание, как бы ни было громоздко, но с такими колоннами кажется воздушно. Почему бы, казалось, нам не перенести их на свою почву? Но ум и вкус человека представляют странное явление: прежде нежели достигнет истины, он столько даст объездов, столько наделает несообразностей, неправильностей, ложного, что после сам дивится своей недогадливости. Обо всех сих памятниках Европа и не заботилась. Один только вкус китайцев, который можно назвать самым мелким, самым ничтожным из всех восточных народов, каким-то поветрием занесся к нам в конце XVIII столетия. Хорошо, что европейцы, по обыкновению своему, тотчас обратили его на мостики, павильоны, вазы, камины, а не вздумали приспособить к большим строениям. Этот вкус точно

был недурен в безделках, потому что европейцы его тотчас усовершенствовали по-своему и дали ему ту прелесть, которой он сам в себе не имеет, так же как и его народ не имеет энергии, несмотря на всю свою образованность.

Есть еще особенный род архитектуры, совершенно отличный от всего, доселе показанного мною. Это архитектура катакомб индейских и египетских, где эти два народа так удивительно сошлись между собою и дали повод подозревать древнее между ими родство. Главный характер ее — тяжесть. Здесь всё должно соединиться в массу и толщу; здание тяжело ступает, как на слоновых пядях, на коротких, тяжелых колоннах, которых ширина своим диаметром равняется почти с высотой. Здесь уже совершенно всё ширина и масса. На ней как будто отпечаталась тяжесть земли, внутри которой она скрывает тяжелое свое величие. То, что порок в других родах ее, то здесь достоинство. Эта подземная архитектура имеет что-то также величавое, хотя внушает совершенно другие мысли. Здесь тяжесть не безобразна, а величественна, пото-

му что составляет главную идею всего здания. Если художник предположил создать тяжелое и массивное и выполнил это, его творение верно будет хорошо; но когда начертал он план тяжелого, а из него вышло вовсе не тяжелое, или наоборот, когда он замыслил произвести легкое, а вышло тяжелое, то это уже решительно дурно. Здание это, когда с него сбрасывали землю и оно выходило на свет, представляло всегда странный и вместе страшный вид; как будто бы земля выказывала свою глубокую внутренность, как будто бы мрак очутился вдруг среди яркого света, мрак, только освещаемый светом, а не прогоняемый им, как египетская урна или мертвая голова среди пиршеств. Мне кажется, напрасно эту архитектуру вгоняют в землю: показавшись вдруг, нечаянно, среди светлых, легких домиков, она должна непременно поразить всякого и произвести свой эффект. Одно такого рода строение среди многолюдного города было бы прелесть, но только одно, не более. В строениях такого рода все части состоят из тяжестей, но при всем том отношения их между собою исполнены какой-то внутренней;

несколько страшной гармонии и создать в этом роде совершенное весьма нелегко.

Египетская архитектура надземная составляет совершенно другой род: она массивна тоже; но стройность и простота в высшей степени с нею неразлучны; главный же ее характер — колоссальность. Чем она глаже снизу доверху, без всяких разделений и резких украшений, тем лучше. Но не употребляйте её на небольшие мостики: без колоссальности эта архитектура менее нежели ничто. Еще раз повторяю: всякая архитектура прекрасна, если соблюдены все ее условия и если она выбрана совершенно согласно назначению строения. Без этой благонамеренной, беспристрастной терпимости не будет ни истинных талантов, ни истинно величественных произведений. Прочь этот схолацизм, предписывающий строения ранжировать под одну мерку и строить по одному вкусу! Город должен состоять из разнообразных масс, если хотим, чтобы он доставлял удовольствие взорам. Пусть в нем совокупится более различных вкусов. Пусть в одной и той же улице возвышается и мрачное готическое, и обреме-



ненное роскошью украшений восточное, и колоссальное египетское, и проникнутое стройным размером греческое. Пусть в нем будут видны: и легко выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиг, и восточная митра, и плоская крыша итальянская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск. Пусть как можно реже дома сливаются в одну ровную, однообразную стену, но клонятся то вверх, то вниз. Пусть разных родов башни как можно чаще разнообразят улицы. Неужели найдется такой смельчак или, лучше сказать, несмельчак, который бы ровное место в природе осмелился сравнить с видом утесов, обрывов, холмов, выходящих один из-за другого?

Архитектор-творец должен иметь глубокое познание во всех родах зодчества. Он менее всего должен пренебрегать вкусом тех народов, которым мы в отношении художеств обыкновенно оказываем презрение. Он должен быть всеобъемлющ, изучить и вместить в себе все бесчисленные изменения их. Но самое главное: должен изучить всё в идее, а не

в мелочной наружной форме и частях. Но для того, чтобы изучить в идее, нужно быть ему гением и поэтом.

Но обратимся к архитектуре городов. Город нужно строить таким образом, чтобы каждая часть, каждая отдельно взятая масса домов представляла живой пейзаж. Нужно толпе домов придать игру, чтобы она, если можно так выразиться, заиграла резкостями, чтобы она вдруг врезалась в память и преследовала бы воображение. Есть такие виды, которые век помнишь, и есть такие, которых при всех усилиях не можешь заметить в памяти. Зодчество грубее и вместе колоссальнее других искусств, как-то: живописи, скульптуры и музыки, и потому эффект его — в эффекте. Масса города имеет уже тем выгоду, что ее вдруг можно изменить, исправить по своему произволу. Иногда одно только строение среди ее — и она совершенно изменяет вид свой, принимает другое выражение; так, как всякой рисунок ученика вдруг оживляется под кистью или карандашом его учителя, который в одном месте подкрепит, в другом отделит, в третьем только тронет, — и всё уже не то. При-

том самые ошибки уже подают идею о том, как избежать их, бесхарактерное подает мысль о характерном, мелкое и плоское вызывают в противоположность дерзкое и необыкновенное, углубление вниз подает идею о возвышении вверх и наоборот. Гений — богач страшный, перед которым ничто весь мир и все сокровища.

При построении городов нужно обращать внимание на положение земли. Города строятся или на возвышении и холмах, или на равнинах. Город на возвышении менее требует искусства, потому что там природа работает уже сама, то подымает дома на величественных холмах своих и кажет их великанами из-за других домов, то опускает их вниз, чтобы дать вид другим. В таком городе можно менее употреблять разнообразия. В нем можно более употреблять гладких и одинаковых домов, потому что неровное положение земли уже дает им некоторым образом разнообразие, помещая их в разных местоположениях. Нужно наблюдать только, чтобы дома показывали свою вышину один из-за другого, так, чтобы стоящему у подошвы казалось, что

на него глядит двадцатипятиэтажная масса. Там мало нужно искусства, где природа одолевает искусство; там искусство, только для того, чтобы украсить ее. Но где положение земли гладко совершенно, где природа спит, там должно работать искусство во всей силе. Оно должно пропестрить, если можно сказать, изрыть, скрыть, равнину, оживить мертвенность гладкой пустыни. Здесь однообразие и простота домов будет большая погрешность. Здесь архитектура должна быть как можно своенравнее: принимать суровую наружность, показывать веселое выражение, дышать древностью, блестеть новостью, обдавать ужасом, сверкать красотой, быть то мрачной, как день, обхваченный грозой с громовыми облаками, то ясною, как утро в солнечном сиянии. Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе. Чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жиз-

ни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения.[3]

Неужели однако же невозможно создание (хотя для оригинальности) совершенно особенной и новой архитектуры, мимо прежних условий? Когда дикий и малоразвившийся человек, которому одна природа, еще грубо им понимаемая, служит руководством и вдохновением, создает творение, в котором является и красота и тайный инстинкт вкуса, отчего же мы, которых все способности так обширно развились, которые более видим и понимаем природу во всех ее тайных явлениях, — отчего же мы не производим ничего совершенно проникнутого таким богатством нашего познания? Идея для зодчества вообще была черпана из природы, но тогда, когда человек сильно чувствовал на себе ее влияние; теперь же искусство поставил он выше самой природы, — разве не может он черпать своих идей из самого искусства или, лучше сказать, из гармонического слияния природы с искус-

ством? Рассмотрите только, какую страшную изобретательность показал он на мелких изделиях утонченной роскоши; рассмотрите все эти модные безделицы, которые каждый день являются и гибнут, рассмотрите их, хотя в микроскоп, если так они не останавливают вашего внимания. Какого они исполнены тонкого вкуса! какие принимают они совершенно небывалые прелестные формы! Они создаются в таком особенном роде, который еще никогда не встречался. Резьба и тонкая отделка их так незаимствованы и вместе с тем так хороши, что мы иногда долго любуемся ими, и увы! вовсе не ощущаем жалости при виде, как гибнет вкус человека в ничтожном и временном, тогда как он был бы замечен в неподвижном и вечном. Разве мы не можем эту раздробленную мелочь искусства превратить в великое? Неужели всё то, что встречается в природе, должно быть непременно только колонна, купол и арка! Сколько других еще образов нами вовсе не тронуто! Сколько прямая линия может ломаться и изменять направление, сколько кривая выгибаться, сколько новых можно ввести украше-

ний, которых еще ни один архитектор не внес в свой кодекс! В нашем веке есть такие приобретения и такие новые, совершенно ему принадлежащие стихии, из которых бездну можно заимствовать никогда прежде невоздвигаемых зданий. Возьмем, например, те висящие украшения, которые начали появляться недавно. Покамест висящая архитектура только показывается в ложах, балконах и в небольших мостиках. Но если целые этажи повиснут, если перекинутся смелые арки, если целые массы вместо тяжелых колонн очутятся на сквозных чугунных подпорах, если дом обвесится снизу доверху балконами с узорными чугунными перилами, и от них висящие чугунные украшения в тысячах разнообразных видов облекут его своею легкою сетью, и он будет глядеть сквозь них, как сквозь прозрачный вуаль, когда эти чугунные сквозные украшения, обвитые около круглой, прекрасной башни, полетят вместе с нею на небо, — какую легкость, какую эстетическую воздушность приобретут тогда дома наши! Но какое множество есть разбросанных на всем намеков, могущих зародить совершенно

необыкновенную живую идею в голове архитектора, если только этот архитектор — творец и поэт.[4] 1831.

## **Ал-Мамун\***

### **(Историческая характеристика)**

**Н**и один государь не принимал правления в такую блестящую эпоху своего, государства, как Ал-Мамун. Грозный калифат величественно возвышался на классической земле древнего мира. Он обнимал на востоке всю цветущую юго-западную Азию и замыкался Индию, на западе он простирался по берегам Африки до Гибралтара. Сильный флот покрывал Средиземное море; Багдад, столица этого нового чудесного мира, видел повеления свои исполняющимися в отдаленных краях провинций; Бассора, Нигабур и Куфа зрели новообращенную Азию, стекающуюся в свои блестящие школы; Дамаск мог одеть всех сластолюбцев дорогими тканями и снабдить всю Европу стальными мечами, и араб уже думал, как бы осуществить на земле рай Магомета, создавал водопроводы, дворцы, целые леса пальм, где сладострастно били фонтаны и ды-



мились благовония Востока. И к такому развитию роскоши еще не успела привиться ни одна нравственная болезнь политического общества. Все части этой великой империи, этого магометанского мира были связаны довольно сильно, и связь эта укреплена была волею необыкновенного Гаруна, который постигнул все разнообразные способности своего народа. Он не был исключительно государь-философ, государь-политик, государь-воин или государь-литератор. Он соединял в себе всё, умел ровно разлить свои действия на всё и не доставить перевеса ни одной отрасли над другою. Просвещение чужеземное он прививал к своей нации в такой только степени, чтобы помочь развитию ее собственно. Уже арабы перешли эпоху своего фанатизма и завоеваний, но всё еще были исполнены энтузиазма, и огненные страницы Корана перелистывались с тем же благоговением, исполнялись так же раболепно. Гарун умел ускорить весь административный государственный ход и исполнение повелений страхом своей вездесущности. Наместники и эмиры, из которых каждый обыкновенно стре-

мится быть деспотом, опасались встретить всезрящего, переодетого калифа — и правление без законов двигалось крепко и определенно. В таком виде принял государство Ал-Мамун, государь, которого Царьград назвал великодушным покровителем наук, которого имя история внесла в число благодетелей человеческого рода и который замыслил государство политическое превратить в государство муз. Он был одарен всею живостию и способностию к долговому изучению. Его характер исполнен был благородства. Желание истины было его девизом. Он был влюблен в науку и влюблен совершенно бескорыстно: он любил науку для нее же самой, не думая о ее цели и применении. Он предался ей с исключительною страстью. Тогда аравитяне только что отрыли Аристотеля. Многообъемлющий и точный философ Греции не мог сойтись с их воображением, слишком стремительным, слишком колоссальным и восточным, но аравийские ученые, занимаясь долгое время коптливою работою, уже несколько привыкнули к точности и формальности и оттого принялись за него с ученым энтузиазмом. Эти

бесконечные выводы, это облечение в видимость и порядок того, что они прежде чувствовали в душе пламенными отрывками, не могли не околдовать тогдашних ученых. Воспитанный под их влиянием Ал-Мамун, исполненный истинной жажды просвещения, употреблял все старания ввести в свое государство этот чуждый дотоле греческий мир. Багдад распротер дружелюбные длани всему ученому тогдашнему свету. Милости калифа были открыты всякому, кто принадлежал к какому бы то ни было званию, какой бы ни был он религии, каких бы ни был исполнен противоречащих начал. Естественно, что тогда более всего приносили свои познания в Багдад те, которые еще сохраняли в душе своей образ политеизма, облеченного христианскими формами, которые готовы были стать грудью за Аммония Саккаса, Плотина и других последователей новоплатонизма, которые уже не находили поля для своих ученых ристаний в Царьграде, слишком занятом спорами о догмах христианства. Багдад превратился в республику разнородных отраслей познаний и мнений. Венценосный араб вслуши-

вался внимательно в усыпительную музыку ученых толкований и тонкостей. Правители государственных мест не могли не увлечься примером государя, и тогда высшие ступени государства обняла какая-то литературная мономания. Визири и эмиры старались окружить свой двор учеными пришельцами. Очевидно, что административная часть была как будто чем-то второстепенным, что правители должны были многое, относящееся к управлению, поверять усмотрению своих секретарей и любимцев, что эти любимцы были иногда вовсе невежды, часто получали пронырствами места, что всё это должно было отозваться на народе и впоследствии времени обрушиться на самих правителей. Толпа теоретических философов и поэтов, занявших правительственные места, не может доставить государству твердого правления. Их сфера совершенно отдельна; они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге. Отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, ко-

торых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чествуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца.

Благородный Ал-Мамун истинно желал сделать счастливыми своих подданных. Он знал, что верный путеводитель к тому — науки, клонящиеся к развитию человека. Он всеми силами заставлял своих подданных принимать вводимое им просвещение. Но просвещение, вводимое Ал-Мамуном, менее всего отвечало природным элементам и колоссальности воображения арабов. Лишенные энергии начала политеизма, обратившиеся в кучу слов, дерзко обезображенные идеи христианства, странно озарившие тогдашние науки, не слившиеся с ними, но, можно сказать, уничтожившие их своим преобладанием — представляли совершенный контраст пламенной природе араба, у которого воображение слишком потопляло тощие выводы хо-

лодного ума. Этот чудный народ не шел, а летел к своему развитию. Гений его вдруг оказывался в войне, торговле, искусствах, мануфактурах и роскошной поэзии Востока. Его доселе небывалые в истории человечества стихии вспыхнули богато, ярко, странно и совершенно оригинально. Казалось, этот народ обещал дотоле невиданное совершенство нации. Но Ал-Мамун не понял его. Он упустил из вида великую истину: что образование черпается из самого же народа, что просвещение наносное должно быть, в такой степени заимствовано, сколько может оно помогать собственному развитию, но что развиваться народ должен из своих же национальных стихий. Но для араба поле подвигов было заграждено этим бесплодным чужестранным просвещением. Самый космополитизм Ал-Мамуна, открывавшего вход в государство ученым всех партий, уже зашел несколько далеко. Выгоды, которые в государстве получали христиане, не могли не возродить в собственных его подданных ненависти, а вместе и презрения к самым даже полезным их учреждениям, — и народ уже терял любовь к свое-

му калифу. В правлении Ал-Мамун был больше философ-теоретик, нежели философ-практик, каким бы должен быть государь. Он знал жизнь своего народа из описаний, из рассказов других, а не изведal сам, как очевидец, как изведal его великий Гарун. В азиатских образах правления, не имеющих определенных законов, вся административная часть падает на самого монарха, и потому деятельность его должна быть необыкновенна, внимание его должно быть вечно напряжено; он не может ввериться совершенно никому, и глаз его должен иметь многосторонность Аргуса: минуту засни он — и его полномочные наместники вдруг возрастают, и государство наполняется миллионами деспотов. Но Ал-Мамун в своем Багдаде жил как в государстве муз, им же самим созданном и совершенно отдельном от мира политического. Христиане, которые стали наконец вмешиваться в административные должности, не могли узнать народного духа и обычаев земли. Притом самое иноверство их было невыносимо для араба, еще сохранявшего энтузиазм и нетерпимость. И когда имя Ал-Мамуна повторялось

на устах ученых тогдашнего века, когда его гостеприимство привлекало пестрые флаги к берегам сирийским, власть его внутри государства становилась между тем слабее. Жители провинций, никогда не видавшие своего калифа, мало дорожили его именем. Военная сила ослабла. Просвещение обыкновенно стремилось из Багдада, как из центра, уменьшаясь и угасая по мере приближения к отдаленным границам. На границах арабы еще сохраняли свой первый период. На границах стояли войска, еще полные фанатизма, еще стремившиеся огнем и мечом водружать веру Магомета. Сильные эмиры их, почувствовавши слабость связи Багдада, думали о независимости, и Ал-Мамун уже при жизни своей видел отторжение Персии, Индии и дальних провинций Африки. Но, может быть, всё это неверное направление администрации было бы еще исправимое зло, если бы Ал-Мамун не простер уже слишком далеко своей любви к истине. Он захотел быть религиозным реформатором своей нации. Исполненный ума чисто теоретического, будучи выше суеверий и предрассудков, будучи ближе познакомлен с



некоторыми догмами христианства, нежели его предшественники, он не мог не видеть всех бесчисленных противоречий, пламенных нелепостей, которые вырывались всеместно в постановлениях исступленного творца Корана. Он решился очистить и преобразовать священную книгу магометан и — в то самое время, когда еще все низшие государственные ступени, вся чернь была уверена, что она принесена с неба и когда усомниться в маловажном постановлении ее уже считалось величайшим преступлением. Полугреческой образ мыслей Ал-Мамуна чуждался совершенно слепого энтузиазма его подданных. Первым шагом к образованию своего народа он почитал истребление энтузиазма, того энтузиазма, который составлял существование народа аравийского, того энтузиазма, которому он обязан был всем своим развитием и блестящею эпохою, подорвать который значило подорвать политический состав всего государства. Ему нелепее, несообразнее всего казался Магометов рай, куда араб переносил всю чувственную земную жизнь свою, жизнь, назначенную для насла-

ждения и сладострастия. Но Ал-Мамун не принял в соображение того, что это постановление изверглось из огненного аравийского климата, из огненной природы араба, — что этот рай для магометанина есть великий оазис среди пустыни его жизни, что надежда в этот рай одна только заставляла чувственного араба терпеливо сносить бедность, притеснение, подавлять в душе своей зависть при виде утопающего в роскоши сибарита. Мысль, что и он будет наконец находиться среди гурий, среди роскоши, превышающей роскошь земных владык, одна могла быть доступна для такой чувственности и цветистости воображения, какими природа наделила араба, и что, может быть, с дальнейшим только развитием его могла нечувствительно очиститься его вера. Но Ал-Мамун не постигал азиатской природы своих подданных.

Можно себе представить силу негодования многочисленного класса народа, когда распространились вести о преобразованиях калифовых. Как должен был принять это народ, который уже за одно покровительство христианам и привязанность к иностранцам об-

винял гласно калифа в мотализме, или ереси? Грубая толпа прежних точных исполнителей Корана жестоким упорством своим наконец заставила калифа взяться за оружие. И благородный, великодушный Ал-Мамун, проникнутый истинною любовью к человечеству, явился гонителем своих подданных. Гонением своим он воскресил опять в арабах дикой фанатизм, но уже не тот фанатизм, который сдвинул прежде кочевых обитателей Аравии в одну массу, — он произвел оппозиционный фанатизм, который растерзал массу, который посеял плевелы к недрах государства, который разбудил дикие страсти араба, который дал нож и яд ненависти в руки исступленных последователей ислама, который произвел множество ослепленных сект и ужаснее всего секту карматианов, долго еще свирепствовавшую под именем Сирийских Убийц, во время крестовых походов. Среди волнений, оказывавшихся в разных концах государства, среди смут и партий, рассыпая одною рукою благодеяния и милости на школы, фабрики, искусства, поражая другою непокорных, исступленных подданных, умер благородный Ал-Ма-

мун. Умер, не поняв своего народа, не понятый своим народом. Во всяком случае он дал поучительный урок. Он показал собою государя, который при всем желании блага, при всей кротости сердца, при самоотвержении и необыкновенной страсти к наукам, был между прочим невольно одною из главных пружин, ускоривших падение государства.

## Жизнь\*

**Б**едному сыну пустыни снился сон: Лежит и расстилается великое Средиземное море, и с трех разных сторон глядят в него: палящие берега Африки с тонкими пальмами, сирийские голые пустыни и многолюдный, весь изрытый морем берег Европы.

Стоит в углу над неподвижным морем древний Египет. Пирамида над пирамидою; граниты глядят серыми очами, обтесанные в сфинксов; идут бесчисленные ступени. Стоит он величавый, питаемый великим Нилом, весь убранный таинственными знаками и священными зверями. Стоит и неподвижен, как очарованный, как мумия, несокрушимая

тлением.

Раскинула вольные колонии веселая Греция. Кишат на Средиземном море острова, потопленные зелеными рощами; кинамон, виноградные лозы, смоковницы помагают облитыми медом ветвями; колонны, белые как перси девы, круглятся в роскошном мраке древесном; мрамор страстный дышит, зажженный чудным резцом, и стыдливо любит свою прекрасную наготову; увитая гроздиями, с тирсами и чашами в руках, она остановилась в шумной пляске. Жрицы молодые и стройные с разметанными кудрями вдохновенно вонзили свои черные очи. Тростник, связанный в цевницу, тимпаны, мусикийские орудия мелькают, перевитые плющом. Корабли как мухи толпятся близ Родоса и Корциры, подставляя сладострастно выгибающийся флаг дыханию ветра. И всё стоит неподвижно, как бы в окаменелом величии.

Стоит и распростирается железный Рим, устремляя лес копий и сверкая грозною сталью мечей, вперив на всё завистливые очи и протянув свою жилистую десницу. Но он неподвижен, как и всё, и не тронется львины-

ми членами.

Весь воздух небесного океана висел сжатый и душный. Великое Средиземное море не шелохнет, как будто бы царства предстали все на страшный суд перед кончиною мира.

И говорит Египет, помавая тонкими пальцами, жилицами его равнин, и устремляя иглы своих обелисков: «Народы, слушайте! я один постиг и проник тайну жизни и тайну человека. Всё тлен. Низки искусства, жалки наслаждения, еще жалче слава и подвиги. Смерть, смерть властвует над миром и человеком! Всё пожирает смерть, всё живет для смерти. Далеко, далеко до воскресения, да и будет ли когда воскресение. Прочь желания и наслаждения! Выше строй пирамиду, бедный человек, чтобы хоть сколько-нибудь продлить свое бедное существование».

И говорит ясный, как небо, как утро, как юность, светлый мир греков, и, казалось, вместо слов, слышалось дыхание цевницы: «Жизнь сотворена для жизни. Развивай жизнь свою и развивай вместе с нею ее наслаждения. Всё носи ему. Гляди, как выпукло и прекрасно всё в природе, как дышит всё со-

гласием. Всё в мире; всё, чем ни владеют боги, всё в нем; умей находить его. Наслаждайся, богоподобный и гордый обладатель мира; венчай дубом и лавром прекрасное чело свое! мчись на колеснице, проворно правя конями, на блистательных играх. Далее корысть и жадность от вольной и гордой души! Резец, палитра и цевница созданы быть властителями мира, а властительницею их — красота. Увивай плющом и гроздием свою благовонную главу и прекрасную главу стыдливой подруги. Жизнь создана для жизни, для наслаждения — умей быть достойным наслаждения!»

И говорит покрытый железом Рим, потрясая блестящим лесом копий: «Я постигнул тайну жизни человека. Низко спокойствие для человека; оно уничтожает его в самом себе. Мал для души размер искусств и наслаждений. Наслаждение в гигантском желании. Презренна жизнь народов и человека без громких подвигов. Славы, славы жаждай, человек! В порыве нерасказанного веселия, оглушенный звуком железа, несись на сомкнутых щитах бранноносных легионов!

Слышишь ли, как у ног твоих собрался весь мир и, потрясая копьями, слился в одно восклицание? Слышишь ли, как твое имя замирает страхом на устах племен, живущих на краю мира? Всё, что ни объемлет взор твой, наполняй своим именем. Стремись вечно: нет границ миру — нет границ и желанию. Дикий и суровый, далее и далее захватывай мир — ты завоюешь наконец небо».

Но остановился Рим и вперил орлиные очи свои на восток. К востоку обратила и Греция свои влажные от наслаждения, прекрасные очи; к востоку обратил Египет свои мутные, бесцветные очи.

Камениста земля; презренен народ; немногочисленная весь прислонилась к обнаженным холмам, изредка, неровно оттененным иссохшею смоковницею. За низкою и ветхою оградой стоит ослица. В деревянных яслях лежит младенец; над ним склонилась непорочная мать и глядит на него исполненными слез очами; над ним высоко в небе стоит звезда и весь мир осияла чудным светом.

Задумался древний Египет, увитый иероглифами, понижая ниже свои пирамиды; бес-



покойно глянула прекрасная Греция; опустил очи Рим на железные свои копья; приникла ухом великая Азия с народами-пастырями; нагнулся Арарат, древний прапращур земли... 1831.

## Шлецер, Миллер и Гердер\*

**Ш**лецер, Миллер и Гердер были великие создатели всеобщей истории. Мысль о ней была их любимой мыслью и не оставляла их во всё время разнообразного их поприща. Шлецер, можно сказать, первый почувствовал идею об одном великом целом, об одной единице, к которой должны быть приведены и в которую должны слиться все времена и народы. Он хотел одним взглядом обнять весь мир, всё живущее. Казалось, как будто бы он силился иметь сто аргусовых глаз, для того чтобы разом видеть сбывающееся во всех отдаленных углах мира. Его слог — молния, почти вдруг блестящая то там, то здесь и освещающая предметы на одно мгновение, но зато в ослепительной ясности. Я не знаю, исполнил ли бы он в самом деле то, что резко показывал другим, но по крайней мере никто

так сильно не поражен был сам своим предметом, как он. Он имел достоинство в высшей степени сжимать всё в малообъемный фокус и двумя, тремя яркими чертами, часто даже одним эпитетом обозначать вдруг событие и народ. Его эпитеты удивительно горячи, дерзки, кажутся плодом одной счастливой минуты, одного внезапного вдохновения и так исполнены резкой, поражающей правды, что не скоро бы пришли на ум определившему себя на долгое глубокое исследование, выключая только, если этот исследователь будет сам Шлецер. Он не был историк, и я думаю даже, что он не мог быть историком. Его мысли слишком отрывисты, слишком горячи, чтобы улечься в гармоническую, стройную текучесть повествования. Он анализировал мир и все отжившие и живущие народы, а не описывал их; он рассекал весь мир анатомическим ножом, резал и делил на массивные части, располагал и отделял народы таким же образом, как ботаник распределяет растения по известным ему признакам. И оттого начертание его истории, казалось бы, должно быть слишком скелетным и сухим; но, к удивле-

нию, всё у него сверкает такими резкими чертами, могущественный удар его глаза так верен, что, читая этот сжатый эскиз мира, замечаешь с изумлением, что собственное воображение горит, расширяется и дополняет всё по такому же самому закону, который определил Шлецер одним всемогущим словом, иногда оно стремится еще далее, потому что ему указана смелая дорога. Будучи одним из первых, тревожимых мыслью о величии и истинной цели всеобщей истории, он долженствовал быть непременно гением оппозиционным. Это положение сообщило ему сильную энергию, жар и даже досаду на близорукость предшественников, прорывающиеся очень часто в его сочинениях. Он уничтожает их одним громовым словом, и в этом одном слове соединяется и наслаждение, и сардоническая усмешка над пораженным, и вместе несокрушимая правда; его справедливее, нежели Канта, можно назвать всесокрушающим. Всегда действующие в оппозиционном духе слишком увлекаются своим положением и в энтузиастическом порыве держатся только одного правила: противоречить всему

прежнему. В этом случае нельзя упрекнуть Шлецера: германский дух его стал неколебим на своем месте. Он как строгий, всезрящий судья; его суждения резки, коротки и справедливы. Может, быть, некоторым покажется странным, что я говорю о Шлецере, как о великом зодчем всеобщей истории, тогда как его мысли и труды по этой части улеглись в небольшой книжке, изданной им для студентов, — но эта маленькая книжка принадлежит к числу тех, читая которые, кажется, читаешь целые томы; ее можно сравнить с небольшим окошком, к которому приставивши глаз поближе можно увидеть весь мир. Он вдруг осеняет светом и показывает, как нужно понять, и тогда сам собою наконец видишь всё.

Миллер представляет собою историка совершенно в другом роде. Спокойный, тихий, размышляющий, он представляет противоположность Шлецере. Он с какою-то очаровательною, особенною любовью предается своему предмету. Его слог не блещит тем резким отличием, каким означен слог Шлецера; нет тех порывов, того меткого лаконизма, какими

исполнен Шлецер. Он не схватывает вдруг за одним взглядом всего и не сжимает его мощною рукою, но он исследывает всё находящееся в мире спокойно, поочередно, не показывая той быстроты и поспешности, с какою выражается автор, опасаящийся, чтобы у него не перехватил кто-нибудь мысли и не предупредил его. Слово исследование весьма идет к его стилю; его повествование именно исследовательное. Как человек государственный, он более всего занимается изложением форм правления и законов существующих и минувших государств; но он не предпочитает эту сторону до такой степени, чтобы оставить совершенно в тени все другие, к чему способен бывает историк односторонний и чего не мог избежать и Герен, напротив того, он обращает внимание и на всё сопредельное. Всё, что не ясно в истории, что менее разоблачено, всё это более другого подвергается его исследованию. Заметно даже, что он охотнее занимается временами первобытными и вообще теми эпохами, когда народ еще не был подвержен образованности и порокам, сохранял свои простые нравы и независимость. Это

время изображает он с ясною подробностью, с тихим жаром, как будто позабываясь и воображая видеть себя среди своих добрых швейцарцев. Главный результат, царствующий в его истории, есть тот, что народ тогда только достигает своего счастья, когда сохраняет свято обычаи своей старины, свои простые нравы и свою независимость. Везде в нем видны старческая мудрость и младенческая ясность души. Благородство мыслей и любовь к свободе проникают всё его творение. Мысль о единстве и нераздельной целостности не служит такою целью, к которой бы явно устремлялось его повествование; он даже никогда не говорит о нем, но единство чувствуется в целом творении несмотря на то, что он, кажется, забывает вовсе дела всего мира, занявшись одним народом. История его не состоит из непрерывной движущейся цепи происшествий; драматического искусства в нем нет; везде виден размышляющий мудрец. Он не выказывает слишком ярко своих мыслей; они у него таятся так скромно, иногда в таком незаметном уголке, что не ищущий не найдет их никогда; но зато они так высоки и глубо-

ки, что открывшему их открывается, по выражению Вагнера в Фаусте, на земле небо. Этот скромный, незаметный слог его и отсутствие ослепляющей яркости производит в душе невольное сожаление: чрез него Миллер очень мало известен или, лучше сказать, не так известен, как должен бы быть. Одни сильно проникнутые мыслью о истории и способные к тонкому развитию могут только вполне понимать его, другим же он кажется легким и не глубокомысленным.

Гердер представляет совершенно отличный образ воззрения. Он видит уже совершенно духовными глазами. У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества. Он выпытывает глубоко, вдохновенно, как брамин природы, — название, которое придают ему немцы. У него крупнее группируются события; его мысли все высоки, глубоки и всемирны. Они у него являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только чистого ее горнила. Оттого они у него не имеют исторической осяза-

тельности и видимости. Если событие колоссально и заключается в идее — оно у него развертывается всё, со всеми своими сокровенными явлениями; но если слишком коснулось жизни и практического, оно у него не получает определенного колорита. Если он нисходит до частных лиц и деятелей истории, они у него не так ярки, как общие группы; они принимают слишком общую физиогномию; они у него или добрые, или злые; все бесчисленные оттенки характеров, всё смешение и разнообразие качеств, познание которых достаётся в удел взирающему с недоверчивостию на других, все эти оттенки у него исчезли. Он мудрец в познании идеального человека и человечества, но младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни. Как поэт он выше Шлецера и Миллера. Как поэт он всё создает и переваривает в себе, в своем уединенном кабинете, полный высшего откровения, избирая только одно прекрасное и высокое, потому что это уже принадлежность его возвышенной и чистой



души. Но высокое и прекрасное вырываются часто из низкой и презренной жизни или же вызываются натиском тех бесчисленных и разнохарактерных явлений, которые беспрестанно пестрят жизнь человеческую и которых познание редко дается отвлеченному от жизни мудрецу. Стиль его более нежели у кого другого, исполнен живописи и широкого размера, потому что он поэт и этим резко отличается от Миллера, философа-законодателя, всегда спокойного и размышляющего, и Шлецера, философа-критика, всегда почти резкого и недовольного.

Мне кажется, что если бы глубокость результатов Гердера, нисходящих до самого начала человечества, соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопною мудростию Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю. Но при всем том ему бы еще много кое-чего недоставало: ему бы недоставало высокого драматического искусства, которого не видно ни у Шлецера, ни у Миллера, ни у Гердера. Я разумею однако ж под словом драматического искусства не то

искусство, которое состоит в умении вести разговор, но в драматическом интересе всего творения, который сообщил бы ему неодолимую увлекательность, тот интерес, который иногда дышит в исторических отрывках Шиллера и особенно в *тридцатилетней войне* и которым отличается почти всякое немногосложное происшествие. Я бы к этому присоединил еще в некоторой степени занимательность рассказа Вальтера Скотта и его умение замечать самые тонкие оттенки; к этому присоединил бы шекспировское искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах, и тогда бы, мне кажется, составилась такой историк, какого требует всеобщая история. Но до того времени Миллер, Шлецер и Гердер долго останутся великими путеводителями. Они много, очень много осветили всеобщую историю, и если в нынешнее время мы имеем несколько замечательных сочинений, то этим обязаны им одним. 1832.

## О малороссийских песнях\*

Только в последние годы, в эти времена стремления к самобытности и собственной народной поэзии, обратили на себя внимание малороссийские песни, бывшие до того скрытыми от образованного общества и державшиеся в одном народе. До того времени одна только очаровательная музыка их изредка заносилась в высший круг; слова же оставались без внимания и почти ни в ком не возбуждали любопытства. Даже музыка их не появлялась никогда вполне. Бездарный композитор безжалостно разрывал ее и клеил в свое бесчувственное, деревянное создание.[5] Но лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стелящими иволгами.

Я не распространяюсь о важности народных песен. Это народная история, живая, яр-

кая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он при всей многосторонности ее не получил высшей цивилизации, то весь пыл, всё сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгробный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — всё: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о прошедшем быте этой цветущей части России. Историк не должен искать в них показания дня и числа битвы или точного объяснения места, верной реляции: в этом отношении немногие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волнений, страданий, веселий изображаемого народа, когда захочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего целого и порознь каждо-

го частного, тогда он будет удовлетворен вполне; история народа разоблачится перед ним в ясном величии.

Песни малороссийские могут вполне назваться историческими, потому что они не отрываются ни на миг от жизни и всегда верны тогдашней минуте и тогдашнему состоянию чувств. Везде проникает их, везде в них дышит эта широкая воля козацкой жизни. Везде видна та сила, радость, могущество, с какою козак бросает тишину и беспечность жизни домовитой, чтобы вдаться во всю поэзию битв, опасностей и разгульного пиршества с товарищами. Ни чернобровая подруга, пылающая свежестью, с карими очами, с ослепительным блеском зубов, вся преданная любви, удерживающая за стремя коня его, ни престарелая мать, разливающаяся как ручей слезами, которой всем существованием завладело одно материнское чувство, — ничто не в силах удержать его. Упрямый, непреклонный, он спешит в степи, в вольницу товарищей. Его жену, мать, сестру, братьев — всё заменяет ватага гульливых рыцарей набегов. Узы этого братства для него выше всего,

сильнее любви. Сверкает Черное море; вся чудесная, неизмеримая степь от Тамана до Дуная — дикий океан цветов колышется одним налетом ветра; в беспредельной глубине неба тонут лебеди и журавли; умирающий козак лежит среди этой свежести девственной природы и собирает все силы, чтоб не умереть, не взглянув еще раз на своих товарищей.

*То ще добре козацька голова зна-  
ла,  
Що без вийська козацького не вми-  
рала.*

Увидевши их, он насыщается и умирает. Выступает ли козацкое войско в поход с тишиною и повиновением; извергает ли из самопалов потоп дыма и пуль; кружает ли вольно мед, вино; описывается ли ужасная казнь гетмана, от которой дыбом подымается волос, мщение ли козаков, вид ли убитого козака, с широко раскинутыми руками на траве, с разметанным чубом, клеткы ли орлов в небе, спорящих о том, кому из них выдирать козацкие очи: всё это живет в песнях и окинуто смелыми красками. Остальная половина песней изображает другую половину жизни

народа: в них разбросаны черты быта домашнего; здесь во всем совершенная противоположность. Там одни козаки, одна военная, бивачная и суровая жизнь; здесь, напротив, один женский мир, нежный, тоскливый, дышащий любовью. Эти два пола виделись между собою самое короткое время и потом разлучались на целые годы. Годы эти были проводимы женщинами в тоске, в ожидании своих мужей, любовников, мелькнувших перед ними в своем пышном военном убранстве, как сновидение, как мечта. Оттого любовь их делается чрезвычайно поэтической. Свежая, невинная, как голубка, молодая супруга вдруг узнала всё блаженство, весь рай женщины, которая вся создана для любви. Всё начало весны ее, проведенное с этим мощным, вольным питомцем войны, столпило для нее радость всей жизни в одно быстро мелькнувшее мгновение. Против него ничто вся остальная жизнь; она живет одним этим мгновением. Тоскуя, ждет она с утра до вечера возврата своего чернобрового супруга.

*Ой черные бровенята!  
Лыхо мини з вами:*

*Не хотите ночеваты  
Ни ноченьки сами.*

Она вся живет воспоминанием. Всё, на что они глядели вместе, куда они вместе ходили, что вместе говорили, — всё это припоминает она, не упуская ни одной мелкой черты. Она обращается ко всему, что ни видит в природе, дышащей жизнью, и даже к бесчувственным предметам, и всем им говорит и жалуется. И как просты, как поэтически просты ее исполненные души речи! Ко всему применяет она состояние свое и не может наговориться, потому что человек многоречив всегда, когда в его грусти заключается тайная сладость. Наконец с тихим, но безнадежным отчаянием говорит она:

*Да вжееж мини не ходыты,  
Куды я ходыла!  
Да вжееж мини не любиты,  
Кого я любила!  
Да вжееж мини не ходыты  
Ранком по-пид замком!  
Да вжееж мини не стояты  
Из моим коханком!  
Да вжееж мини не ходыты*



*В лиски по орешки!  
Да вжееж мини минулися  
Дивоцкие смишки!*

Чтобы сколько-нибудь сделать доступною для незнающих малороссийского языка глубину чувств, рассыпанных в этих песнях, привожу одну из них в переводе.

*Рассердился, разгневался на меня  
мой милый! Вот он седлает сво-  
его вороного коня и едет дале-  
ко-далеко от меня.*

*«Куда же ты, мой милый, голуб-  
чик мой сизый, куда ты уезжа-  
ешь? Кому ты меня, беззащит-  
ную, молодую, кому оставля-  
ешь?»*

*«Оставляю тебя, моя милая, од-  
ному богу. Жди меня, пока не воз-  
вращусь из дальней дороги».*

*О, если б я знала, если бы видела,  
откуда будет ехать мой милый:  
я бы ему по всей дороге мостила  
мосты из зеленого тростника и  
всё бы ждала его в гости.*

*Боже всесильный! выровняй все до-  
лины и горы, чтобы везде было  
равно, чтобы оттоле ему до са-*

мого дому было хорошо ехать.  
Чу! луга шумят, берега звенят, по  
дороге зеленеет трава — это он!  
это мой милый едет!

Чу! луга шумят, берега звенят,  
расцветает калина — верно где-  
нибудь мой милый, голубчик мой  
сизый, с другою разговаривает.  
«Зачем же ты не приехал, зачем  
не прилетел, как я тебе говорила?  
Коня ли не имел, дороги ли не  
знал, или мать не велела тебе?»  
«Я коня имею; я и дорогу знаю, и  
мать еще вчера с вечера велела  
мне седлать коня.

Но только лишь сяду на коня,  
только лишь выеду за ворота, как  
уже бежит за мною другая и так  
жалко стонет, так плачет, что  
тоска ее хватает за самое серд-  
це».

Можно привести до тысячи подобных пе-  
сен, может быть, даже гораздо лучших. Все  
они благозвучны, душисты, разнообразны  
чрезвычайно. Везде новые краски, везде про-  
стота и невыразимая нежность чувств. Где же  
мысли в них коснулись религиозного, там

они необыкновенно поэтически. Они не изумляются колоссальным созданиям вечно-го творца: это изумление принадлежит уже ступившему на высшую ступень самопознания; но их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к богу, как дети к отцу; они вводят его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное его изображение становится у них величественным в самой простоте своей. От этого самые обыкновенные предметы в песнях их облекаются невыразимою поэзией, чему еще более помогают остатки обрядов древней славянской мифологии, которые они покорили христианству. Часто тоскующая дева умоляет бога, чтобы он засветил на небе восковую свечку, пока ее милый перебредет через реку Дунай. На всем печать чистого первоначального младенчества, стало быть и высокой поэзии. Изложение песней их, как женских, так и козацких, почти всегда драматическое — признак развития народного духа и деятельной, беспокойной жизни, долго обнимавшей народ. Песни их почти никогда не обращают-

ся в описательные и не занимают долго изображением природы. Природа у них едва только скользит в куплете; но тем не менее черты ее так новы, тонки, резки, что представляют весь предмет: впрочем, к ним прибегают для того только, чтобы сильнее выразить чувства души, и потому явления природы послушно влекутся у них за явлениями чувства. То же самое у них представляется разом и во внешнем и во внутреннем мире. Часто вместо целого внешнего находится только одна резкая черта, одна часть его. В них нигде нельзя найти подобной фразы: *был вечер*; но вместо этого говорится то, что бывает вечером, напр<имер>

*Шли коровы из дубровы, а овечки с поля.*

*Выплакала кари очи, край милого стоя.*

Оттого весьма многие, не поняв, считали подобные обороты бессмыслицей. Чувство у них выражается вдруг, сильно, резко и никогда не охлаждается длинным периодом. Во многих песнях нет одной общей мысли, так что они походят на ряд куплетов, из которых

каждый заключает в себе отдельную мысль. Иногда они кажутся совершенно беспорядочными, потому что сочиняются мгновенно, и так как взгляд народа жив, то обыкновенно те предметы, которые первые бросаются на глаза, первые помещаются и в песни. Но зато из этой пестрой кучи вышибаются такие куплеты, которые поражают самую очаровательную безотчетностью поэзии. Самая яркая и верная живопись и самая звонкая звучность слов разом соединяются в них. Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушное, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят его от всего. Это примечается даже в самых заунывных песнях, которых раздирающие звуки с болью касаются сердца. Они никогда не могли излиться из души человека в обыкновенном состоянии, при настоящем воззрении на предмет. Только тогда, когда вино перемешает и разрушит весь прозаический порядок мыслей, когда мысли непостижимо странно в

разногласии звучат внутренним согласием, в таком-то разгуле, торжественном, больше нежели веселом, душа, к непостижимой загадке, изливается нестерпимо-унылыми звуками. Тогда прочь дума и бдение! Весь таинственный состав его требует звуков, одних звуков. Оттого поэзия в песнях неуловима, очаровательна, грациозна, как музыка. Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; и потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием.

Стихосложение малороссийское самое выгодное для песен: в нем соединяются вместе и размер, и тоника, и рифма. Падение звуков в них скоро, быстро; оттого строка никогда почти не бывает слишком длинна; если же это и случается, то цезура посередине с звонкою рифмою перерезывает ее. Чистые, протяжные ямбы редко попадаются. Большею частью быстрые хореи, дактили, амфиврахии летят шибко один за другим, прихотливо и

вольно мешаются между собою, производят новые размеры и разнообразят их до чрезвычайности. Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих. Верность и музыкальность уха — общая принадлежность их. Часто вся строка созвучивается с другою, несмотря, что иногда у обеих даже рифмы нет. Близость рифм изумительна. Часто строка два раза терпит цезуру и два раза рифмуется до замыкающей рифмы, которой сверх того дает ответ вторая строка, тоже два раза созвукнувшись на середине. Иногда встречается такая рифма, которую по-видимому нельзя назвать рифмою, но она так верна своим отголоском звуков, что нравится иногда более, нежели рифма, и никогда бы не пришла в голову поэту с пером в руке.

Характер музыки нельзя определить одним словом: она необыкновенно разнообразна. Во многих песнях она легка, грациозна; едва только касается земли и, кажется, шалит, резвится звуками. Иногда звуки ее принимают мужественную физиогномию; становятся сильны, могучи, крепки; стопы тяжело ударяют в землю, и кажется, как будто бы под них

можно плясать одного только гопака. Иногда же звуки ее становятся чрезвычайно вольны, широки, взмахи гигантские, силящиеся обхватить бездну пространства, вслушиваясь в которые танцующий чувствует себя исполином: душа его и всё существование раздвигается, расширяется до беспредельности. Он отделяется вдруг от земли, чтобы ударить в нее блестящими подковами и взнестись опять на воздух. Что же касается до музыки грусти, то она нигде не слышна так, как у них. Тоска ли это о прерванной юности, которой не дали довеселиться; жалобы ли это на бесприютное положение тогдашней Малороссии..., но звуки ее живут, жгут, раздирают душу. Русская заунывная музыка выражает, как справедливо заметил М. Максимович, забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью — звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят: говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как



будто бы коснулось к нему острое железо. Безотрадное, равнодушное отчаяние иногда слышится в ней так сильно, что заслушавшийся забывается и чувствует, что надежда давно улетела из мира. В другом месте отрывистые стенания, вопли, такие яркие, живые, что с трепетом спрашиваешь себя: звуки ли это? Это невыносимый вопль матери, у которой свирепое насилие вырывает младенца, чтобы с зверским смехом расшибить его о камень. Ничто не может быть сильнее народной музыки, если только народ имел поэтическое расположение, разнообразие и деятельность жизни; если натиски насилий и непреодолимых вечных препятствий не давали ему ни на минуту уснуть и вынуждали из него жалобы и если эти жалобы не могли иначе и нигде выразиться, как только в его песнях. Такова была беззащитная Малороссия в ту годину, когда хищно ворвалась в нее уния. По ним, по этим звукам, можно догадываться о ее минувших страданиях, так точно, как о бывшей буре с градом и проливным дождем можно узнать по бриллиантовым слезам, унизывающим снизу до вершины освеженные деревья,

когда солнце мечет вечерний луч, разреженный воздух чист, вдали звонко дребезжит мычание стад, голубоватый дым — вестник деревенского ужина и довольства — несется светлыми кольцами к небу, и вечер, тихий, ясный вечер обнимает успокоенную землю. 1833.

## **Мысли о географии\***

### **(Для детского возраста)**

**В**елика и поразительна область географии: край, где кипит юг и каждое творение бьется двойною жизнью, и край, где в искаженных чертах природы прочитывается ужас и земля превращается в оледенелый труп; исполины-горы, парящие в небо, наброшенный небрежно, дышащий всюю роскошью растительной силы и разнообразия вид, и раскаленные пустыни и степи, оторванный кусок земли посреди безграничного моря, люди и искусство, и предел всего живущего! Где найдутся предметы, сильнее говорящие юному воображению! Какая другая наука может быть прекраснее для детей, может быстрее возвысить поэзию младенческой души их! И не больно ли, если показывают им, вместо

всего этого, какой-то безжизненный, сухой скелет, холодно говоря: «Вот земля, на которой живем мы, вот тот прекрасный мир, подаренный нам непостижимым его зодчим!» Этого мало: его совершенно скрывают от них и дают им вместо того грызть политическое тело, превышающее мир их понятий и несвязное даже для ума, обладающего высшими идеями. Невольно при этом приходит на мысль: неужели великий Гумбольдт и те отважные исследователи, принесшие так много сведений в область науки, истолковавшие дивные иероглифы, коими покрыт мир наш, — должны быть доступны немногочислу ученых? а возраст, более других нуждающийся в ясности и определительности, должен видеть перед собою одни непонятные изображения?

\* \* \*

Детский возраст есть еще одна жажда, одно безотчетное стремление к познанию. Он всего требует, всё хочет узнать. Его более всего интересуют отдаленные земли: как там? что там такое? какие там люди? как живут — эти вопросы стремятся у него толпою, и все

они относятся прямо к физической географии, и потому мир в его физическом состоянии — величественный, роскошный, грозный, пленительный — должен более и обширнее занять его.

\* \* \*

Во многих заведениях наших, по невозможности воспитанников узнать в один год всей географии, читают ее в двух и даже в трех классах. Это хорошо, и география стоит, чтоб ее проходили не в одном классе; но преподаватели впадают в большую ошибку: размежевывают земной шар на две или, смотря по классам, на три части, и самому начальному классу достается Европа, рассматриваемая обыкновенно в политическом отношении с подробнейшими подробностями, тогда как высшие классы блуждают по степям и пескам африканским и беседуют с дикарями. Не говоря уже о безрассудности и странной форме такого преподавания, нужно иметь необыкновенную память, чтобы удержать в ней всю эту нестройную массу. Если же и допустить такой феномен в природе, то в голове этого феномена никогда не удержится одно пре-

красное целое. Это будут тщательно отделанные, разрозненные части, которыми не управляет одна мощная жизнь, бьющая ровным пульсом по всем жилам. Это народ, созданный для монархического правления и утративший его в буре политических потрясений.

Гораздо лучше, если воспитанник будет проходить географию в два разные периоды своего возраста. В первом он должен узнать один только великий очерк всего мира, но очерк такой, который бы пробудил всю внимательность его, который бы показал всю обширность и колоссальность географического мира. В этот курс должны ниспослать от себя дань и естественная история, и физика, и статистика, и всё, что только соприкасается к миру, чтобы мир составил одну яркую, живописную поэму, чтобы сколько возможно открыть ему все концы его. Ничего в подробности; но только одни резкие черты, но только, чтобы он чувствовал, где стужа, где более растительность, где выше мануфактурность, где сильнее образованность, где глубже невежество, где ниже земля, где стремительнее горы.

Во втором периоде его возраста этот мир должен быть перед ним раздвинут. Он должен рассмотреть в микроскоп те предметы, которые доселе видел простым глазом. Тогда уже он узнает все исключения и переходы, менее резкие и более исполненные тонкого отличия.

\* \* \*

Воспитанник не должен иметь вовсе у себя книги. Она, какая бы ни была, будет сжимать его и умерщвлять воображение: перед ним должна быть одна только карта. Ни одного географического явления не нужно объяснять, не укрепивши на месте, хотя бы это было только яркое, живописное описание. Чтобы воспитанник, внимая ему, глядел на место в своей карте и чтобы эта маленькая точка как бы раздвигалась перед ним и вместила бы в себе все те картины, которые он видит в речах преподавателя. Тогда можно быть уверенным, что они останутся в памяти его вечно: и, взглянувши на скелетный очерк земли, он его вмиг наполнит красками.

\* \* \*

Фигура земли прежде всего должна удерж-

жаться в его памяти. Черчение карт, над которым заставляют воспитанников трудиться, мало приносит пользы. Множество мелких подробностей, множество отдельных государств может только в голове их уничтожиться одно другим. Гораздо лучше дать им прежде сильную, резкую идею о виде земли: для этого я бы советовал сделать всю воду белую и всю землю черною, чтобы они совершенно отделились, резкостью своею невольно вторгнулись в мысли их и преследовали бы их неотступно неправильною своею фигурою. После этого будет им гораздо легче начертить вид земли, но никак не допускать до подробностей, т. е. означать все мелкие мысы и искривления берегов. Пусть лучше они вначале совсем не знают их, но зато удержат общий вид земли.

Гораздо лучше проходить вначале разом весь мир, глядеть разом на все части света, чрез это очевиднее будут их взаимные противуположности. Заметивши их в общей массе, они могут тогда погрузиться глубже в каждую часть света. Но в порядке частей света я бы советовал лучше следовать за постепенным

развитием человека, стало быть вместе и за постепенным открытием земли: начать с Азии, с его колыбели, с его младенчества, перейти в Африку, в его пламенное и вместе грубое юношество, обратиться к Европе, к его быстрому разоблачению и зрелости ума, шагнуть вместе с ним в Америку, где развитый и властительный встретился он с первообразным и чувственным, и окончить разрозненными по необозримому океану островами.

Такое разделение, мне кажется, будет гораздо естественнее. Прежде всего воспитанник должен составить себе общее характеристическое понятие о каждой из них. Во-первых, об Азии, где всё так велико и обширно, где люди так важны, так холодны с вида и вдруг кипят неукротимыми страстями; при детском уме своем думают, что они умнее всех; где всё гордость и рабство; где всё одевается и вооружается легко и свободно, всё наездничает; где турок рад просидеть целый век, поджав ноги и куря кальян свой, и где бедуин как вихорь мчится по пустыне; где вера переходит в фанатизм, и вся страна — страна вероисповеданий, разлившихся отсюда по



всему миру. Об Африке, где солнце жжет и океаны песчаных степей растягиваются на неизмеримое пространство, львы, тигры, кокосы, пальмы и человек, мало чем разнящийся наружностью и своими чувственными наклонностями от обезьян, кочующих по ней ордами; и т<ак> далее.

\* \* \*

Начертив вид части света, воспитанник указывает все высочайшие и низменные места на ней, рассказывает, как разветвляются по ней горы и протягивают свои длинные, безобразные цепи. В этом смысле можно с пользою употреблять Риттереву барельефное изображение Европы, хотя оно не совсем еще удобно для детей, по причине неясного отделения света от теней. Всего бы лучше на этот случай отлить из крепкой глины или из металла настоящий барельеф. Тогда воспитаннику стоило бы только взглянуть на него, чтобы сохранить навсегда в памяти все высокие и низменные места.

\* \* \*

Так как горы сообщили форму всей земле, то познание, их должно составить, так ска-

зять, начало всей географии. Показав разветвление их по лицу земли, должно показать вид их, форму, состав, образование и наконец характер и отличие каждой цепи, всё это не сухо, не с подробною ученостью, но так, чтобы он знал, что такая-то цепь из темных и твердых гранитов, что внутренность другой белая, известковая или глинистая, рыхлая, желтая, темная, красная или наконец самых ярких цветов земель и камней. Можно даже рассказать, как в них лежат металлы и руды и в каком виде — и можно рассказать занимательно. Что же касается до поверхности их, то само собою разумеется, что нужно показать высочайшие точки, примечательные явления на них и высоту, до которой подымался человек.

\* \* \*

Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. Тут все явления и факты дышат исполинскою колоссальностью. Здесь встречаются целые массы. Тут на всем отпечаток величественных

потрясений земли; душа сильнее чувствует великие дела творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли. Часть этих явлений, будучи слегка открыта юному воспитаннику, нельзя чтоб не тронула его воображения.

\* \* \*

Процесс и расселение растительной силы по земле должно показать на карте лестницею градусов: где растение юга — хозяин, куда перешло оно как гость, под каким градусом умирает, где начинается растение севера, где и оно наконец, гибнет, прозябение прекращается, природа обмирает в объятиях студеного океана и чудный полюс закутывается недоступными для человека льдами. Таким же образом и расселение животных. Но почва требует другого деления земли по полосам, из которых каждая должна заключать в себе особенный вид ее.

\* \* \*

Произведения искусства вообще являются

доселе у географов отрывисто. Перехода нет никакого от природы к произведениям человека. Они отрублены как топором от своего источника. Я уже не говорю о том, что у них не представлен вовсе этот брачный союз человека с природою, от которого рождается мануфактурность. Итак, прежде нежели воспитанник приступит к обозрению мануфактур и произведений рук человека, нужно, чтобы он был приуготовлен к тому произведениями земли, чтобы он сам собою мог вывести, какие мануфактуры должны быть в таком-то государстве; если же встретится исключение, тогда необходимо показать, отчего оно произошло, может быть, беспечный характер народа, может, сторонние обстоятельства: или излишнее богатство соседей, или невозможность дальнейших сообщений, или другие подобные им, воспрепятствовали. Приуготовивши себя мануфактурностью, он может уже переходить к торговле, которая без того будет тоже незанимательна и непонятна.

\* \* \*

При исчислении народов преподаватель необходимо обязан показать каждого физио-

гномию и те отпечатки, которые принял его характер, так сказать, от географических причин. Все народы мира он должен сгруппировать в большие семейства и представить прежде общие черты каждой группы, потом уже разветвление их. И потом физическую их историю, т. е. историю изменения их характера, чтоб объяснилось, отчего например тевтонское племя среди своей Германии означено твердостью флегматического характера и отчего оно, перейдя Альпы, напротив, принимает всю игривость характера легкого.

\* \* \*

Весьма полезны для детей карты, изображающие расселение просвещения по земному шару. Эта польза превращается в необходимость, когда проходят они Европу. Но как у нас нет таких карт, то преподавателю небольшого труда стоит сделать оные самому. Места, где просвещение достигло высочайшей степени, означать светом и бросать легкие тени, где оно ниже. Тени сии становятся чем далее, тем крепче и наконец превращаются в мрак, по мере того, как природа дичает и человек оканчивается бездушным эскимосом.

Величину земель, государств, никогда нельзя заучивать исчислением квадратных миль. Нужно только смотреть на карту — вот одно средство узнать ее. Не мешало бы вырезать каждое государство особенно, так, чтобы оно составляло отдельный кусок и, будучи сложено с другими, составило бы часть мира. Тогда будет видима и величина их и форма.

\* \* \*

При изображении каждого города непременно должно означить резко его местоположение: подымается ли он на горе, опрокинут ли вниз; его жизнь, его значительность, его средства — и вообще сильными и немногими чертами обозначить характер его. Преподаватель обязан исторгнуть из обширного материала всё, что бросает на город отличие и отмечает его от множества других. Пусть воспитанник знает, что такое Рим, что Париж, что Петербург. Пусть не меряет своим масштабом, составившимся в его понятиях при виде Петербурга, других городов Европы. Всё общее городам должно быть исключено в определении отдельно каждого города. Во многих наших географиях и до сих пор еще в определе-

ниях губернского города рассказывается, что в нем есть гимназия, соборная церковь; уездного, что в нем есть уездное училище и т. п. К чему? воспитаннику довольно сказать сначала, что у нас гимназии во всех губернских городах, церкви также. Но Кремля, Ватикана, Палерояля, Фальконетова Петра, Киевопечерской лавры, Кинг-Бенча нет других в мире. Об них дитя верно потребует подробного сведения. Не нужно заниматься ничтожным и скучным для воспитанника вычислением числа домов, церквей, разве только в таком случае, когда оно, по своей величине или отрицательно, выходит из категории обыкновенного. Вместо этого, можно занять его архитектурой города, в каком вкусе он выстроен, колоссальны ли, прекрасны ли его строения. Если он древний, то как величественна даже в самой странности своей его старинная, повитая столетиями и на чудо взлелеянная, самими потрясениями архитектура и как, напротив того, легка и изящна архитектура другого города, созданного одним столетием. При мысли о каком-нибудь германском городке ученик тотчас должен представить себе тес-

ные улицы, небольшие, узенькие и высокие домики, где всё так просто, так мило, так буколически, и рядом с ними угловатые, просекающие острием воздух, шпицы церквей. При мысли о Риме, где глухо отозвался весь канувший в пучину столетий древний мир, у него должна быть неразлучна с тем мысль о зданиях-исполинах, которые, свободно поднявшись от земли и опершись на стройные портики и гигантские колонны, дряхлеют, как бы размышляя об утекших событиях великой своей юности. Для этого не мешает чаще показывать фасады примечательнейших зданий: тогда необыкновенный вид их врежется в памяти, притом это послужит невольно и нечувствительно к образованию юного вкуса.

\* \* \*

История изредка должна только озарять воспоминаниями географический мир их. Протекшее должно быть слишком разительно и разве уже происходить из чисто географических причин, чтобы заставить вызывать его. Но если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать



область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей.

\* \* \*

Слог преподавателя должен быть увлекающий, живописный; все поразительные местоположения, великие явления природы должны быть окинуты яркими красками. Что действует сильно на воображение, то не скоро выбьется из головы. Слог его должен более подходить к слогу путешественника. Строгая аналитическая систематика не может удержаться в голове отрока, особливо если она распространена в мелочах. Дитя тогда только удерживает систему, когда не видит ее глазами, когда она искусно скрыта от него. Его система — интерес, нить происшествий или нить описаний. Всё, что истинно нужно, что более относится к нашей жизни, что более можем мы впоследствии приспособить к себе, всё это уже интересно. Да впрочем, что не интересно в географии? Она такое глубокое море, так раздвигает наши самые действия, и, несмотря на то, что показывает границы каждой земли, так скрывает свои собственные, что даже для взрослого представляет филосо-

фически-увлекательный предмет. Короче, нужна стараться познакомить сколько можно более с миром, со всем бесчисленным разнообразием его, но чтобы это никак не обременило памяти, а представлялось бы светло нарисованною картиною. Богатый для сего запас заключается в описаниях путешественников, которых множество и из которых, кажется, доньне в этом отношении мало умели извлекать пользы.

---

Леность и непонятливость воспитанника обращаются в вину педагога и суть только вывески его собственного нерадения; он не умел, он не хотел овладеть вниманием своих юных слушателей; он заставил их с отвращением принимать горькие свои пилюли. Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти. Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за неспособного ни к чему, обиженного природою, — слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не оживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались

черты беспокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого внимания в пользу науки? 1829.

## Последний день Помпеи\*

### (Картина Брюлова)

Картина Брюлова — одно из ярких явлений 19 века. Это — светлое воскресение живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полуплетаргическом состоянии. Не стану говорить о причине этого необыкновенного застоя, хотя она представляет занимательный предмет для исследования, замечу только, что если конец 18 столетия и начало 19 ничего не произвели полного и колоссального в живописи, то зато они много разработали ее части. Она распалась на бесчисленные атомы и части. Каждый из этих атомов развит и постигнут несравненно глубже, нежели в прежние времена. Заметили такие тайные явления, каких прежде никто не подозревал. Вся та природа, которую чаще видит человек, которая его окружает и живет с ним, вся эта видимая природа, вся эта мелочь, которою пренебрегали великие художники, достигли изу-

мительной истины и совершенства. Все напереерыв старались заметить тот живой колорит, которым дышит природа. Всё тайное в ее лоне, весь этот немой язык пейзажа подмечены или, лучше сказать, украдены, вырваны из самой природы; хотя всё это украдено отрывками, хотя все произведения этого века похожи более на опыты или, лучше сказать, записки, материалы, свежие мысли, которые наскоро вносит путешественник в свою книгу с тем, чтобы не позабыть их и чтобы составить из них после нечто целое. Живопись раздробилась на низшие ограниченные ступени: гравировка, литография и многие мелкие явления были с жадностью разрабатываемы в частях. Этим обязаны мы 19 веку. Колорит, употребляемый 19 веком, показывает великий шаг в знании природы. Взгляните на эти беспрестанно появляющиеся отрывки, перспективы, пейзажи, которые решительно в 19 веке определили слияние человека с окружающей природою: как в них делится и выходит окинутаая мраком и освещенная светом перспектива строений! как сквозит освещенная вода, как дышит она в сумраке ветвей!

как ярко и знойно уходит прекрасное небо и оставляет предметы перед самыми глазами зрителя! какое смелое, какое дерзкое употребление теней там, где прежде вовсе их не подозревали! и; вместе, при всей этой резкости, какая роскошная нежность, какая подмечена тайная музыка в предметах обыкновенных, бесчувственных! Но что сильнее всего достигнуто в наше время, так это освещение. Освещение придает такую силу и, можно сказать, единство всем нашим творениям, что они, не имея слишком глубокого достоинства, показывающего гений, необыкновенно приятны для глаз. Они общим выражением своим не могут не поразить, хотя, внимательно рассматривая, иногда увидишь в творце их необширное познание искусства.

Возьмите все беспрестанно являющиеся гравюры, эти отпрыски яркого таланта, в которых дышит и веет природа так, что они кажутся как будто оцвечены колоритом. В них заря так тонко светлеет на небе, что всматриваясь, кажется, видишь алый отблеск вечера; деревья, облитые сиянием солнца, как будто покрыты тонкою пылью; в них яркая белизна

сладострастно сверкает в самом глубоком мраке тени. Рассматривая их, кажется, боишься дохнуть на них. Весь этот эффект, который разлит в природе, который происходит от сражения света с тенью, весь этот эффект сделался целию и стремлением всех наших артистов. Можно сказать, что 19 век есть век эффектов. Всякой от первого до последнего — торопится произвести эффект, начиная от поэта до кондитера, так что эти эффекты, право, уже надоедают, и, может быть, 19 век по странной причуде своей наконец обратится ко всему безэффектному. Впрочем, можно сказать, что эффекты более всего выгодны в живописи и вообще во всем том, что видим нашими глазами. Там, если они будут ложны и неуместны, то их ложность и неуместность тотчас видна всякому. Но в произведениях, подверженных духовному оку, совершенно другое дело. Там они, если ложны, то вредны тем, что распространяют ложь, потому что простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее. В руках истинного таланта они верны и превращают человека в исполнителя, но когда они в руках поддельного талан-

та, то для истинного понимающего они отвратительны, как отвратителен карло, одетый в платье великана, как отвратителен подлый человек, пользующийся незаслуженным знаком отличия. Но всё это однако ж не относится к нынешнему делу. Должно признаться, что в общей массе стремление к эффектам более полезно, нежели вредно: оно более двигает вперед, нежели назад, и даже в последнее время подвинуло всё к усовершенствованию. Желая произвести эффект, многие более стали рассматривать предмет свой, сильнее напрягать умственные способности. И если верный эффект оказывался большею частью только в мелком, то этому виною безлюдие крупных гениев, а не огромное раздробление жизни и познаний, которым обыкновенно приписывают. Притом стремление к эффектам обделало многие мелкие части чрезвычайно удовлетворительно и резкою своею очевидностию сделало их доступными для всех. Не помню, кто-то сказал, что в 19 веке невозможно появление гения всемирного, обнявшего бы в себе всю жизнь 19 века. Это совершенно несправедливо, и такая мысль ис-

полнена безнадежности и отзывается каким-то малодушием. Напротив: никогда полет гения не будет так ярок, как в нынешние времена. Никогда не были для него так хорошо приготовлены материалы, как в 19 веке. И его шаги уже верно будут исполински и видимы всеми от мала до велика.

Картина Брюлова может назваться полным, всемирным созданием. В ней всё заключилось. По крайней мере, она захватила в область свою столько разнородного, сколько до него никто не захватывал. Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы и выбирает сильные кризисы, чувствуемые целою массою. Всякому известны прекрасные создания, к которым принадлежат Видение Валтазара, Разрушение Ниневии и несколько других, где в страшном величии представлены великие катастрофы, которые составляют совершенство освещения, где молния в грозном величии озаряет ужасный мрак и скользит по верушкам голов молящегося народа. Общее вы-



ражение этих картин поразительно и исполнено необыкновенного единства. Но в них вообще только одна идея этой мысли. Они похожи на отдаленные виды; в них только общее выражение. Мы чувствуем только страшное положение всей толпы, но не видим человека, в лице которого был бы весь ужас им самим зримого разрушения. Ту мысль, которая виделась нам в такой отдаленной перспективе, Брюлов вдруг поставил перед самыми нашими глазами. Эта мысль у него разрослась огромно и как будто нас самих захватила в свой мир. Создание и обстановку своей мысли произвел он необыкновенным и дерзким образом: он схватил молнию и бросил ее целым потоком на свою картину. Молния у него залила и потопила всё, как будто бы с тем, чтобы всё выказать, чтобы ни один предмет не укрылся от зрителя. Оттого на всем у него разлита необыкновенная яркость. Фигуры он кинул сильно такую рукою, какою мечет только могущественный гений: эта вся группа, остановившаяся в минуту удара и выразившая тысячи разных чувств, этот гордый атлет, издавший крик ужаса, силы, гордости

и бессилия, закрывшийся плащом от летящего вихря камней, эта грянувшая на мостовую женщина, кинувшая свою чудесную, еще никогда не являвшуюся в такой красоте руку, этот ребенок, вонзивший в зрителя взор свой, этот несомый детьми старик, в страшном теле которого дышит уже могила, оглушенный ударом, которого рука окаменела в воздухе с распростертыми пальцами, мать, уже не желающая бежать и непреклонная на моления сына, которого просьбы, кажется, слышит зритель, толпа, с ужасом отступающая от строений и со страхом, с диким забвением страха, взирающая на страшное явление, наконец знаменующее конец мира, жрец в белом саване, с безнадежною яростью мечущий взгляд свой на весь мир, — всё это у него так мощно, так смело, так гармонически сведено в одно, как только могло это возникнуть в голове гения всеобщего.

Я не стану изъяснять содержания картины и приводить толкования и пояснения на изображенные события. Для этого у всякого есть глаз и мерило чувства; притом же это слишком очевидно, слишком касается жизни

человека и той природы, которую он видит и понимает, потому-то они доступны всем от мала до велика; я замечу только те достоинства, те резкие отличия, которые имеет в себе стиль Брюлова, тем более, что эти замечания вероятно сделали немногие. Брюлов первый из живописцев, у которого пластика достигла верховного совершенства. Его фигуры, несмотря на ужас всеобщего события и своего положения, не вмещают в себе того дикого ужаса, наводящего содрогание, каким дышат суровые создания Микеля-Анжела. У него нет также того высокого преобладания небесно-непостижимых и тонких чувств, которыми весь исполнен Рафаэль. Его фигуры прекрасны при всем ужасе своего положения. Они заглушают его своею красотою. У него не так, как у Микеля-Анжела, у которого тело только служило для того, чтобы показать одну силу души, ее страдания, ее вопль, ее грозные явления, у которого пластика погибала, контура человека приобретала исполинский размер, потому что служила только одеждою мысли, эмблемою, у которого являлся не человек, но только его страсти. Напротив того, у

Брюлова является человек для того, чтобы показать всю красоту свою, всё верховное изящество своей природы. Страсти, чувства, верные, огненные, выражаются на таком прекрасном облике, в таком прекрасном человеке, что наслаждаешься до упоения. Когда я глядел в третий, в четвертый раз, мне казалось, что скульптура, которая была постигнута в таком пластическом совершенстве древними, что скульптура эта перешла наконец в живопись, и сверх того проникнулась какой-то тайной музыкой. Его человек исполнен прекрасно-гордых движений, женщина его блещет, но она не женщина Рафаэля, с тонкими, незаметными, ангельскими чертами, она женщина страстная, сверкающая, южная, италианка во всей красе полудня, мощная, крепкая, пылающая всю роскошью страсти, всем могуществом красоты, прекрасная как женщина. Нет ни одной фигуры у него, которая бы не дышала красотой, где бы человек не был прекрасен. Все общие движения групп его дышат мощным размером и в своем общем движении уже составляют красоту. В создании их он так же крепко и силь-

но правит своим воображением, как житель пустыни арабским бегуном своим. Оттого вся картина упруга и роскошна.

Вообще во всей картине выказывается отсутствие идеальности, т. е. идеальности отвлеченной, и в этом-то состоит ее первое достоинство. Явись идеальность, явись перевес мысли, и она бы имела совершенно другое выражение, она бы не произвела того впечатления; чувство жалости и страстного трепета не наполнило бы души зрителя, и мысль прекрасная, полная любви, художества и верной истины, утратилась бы вовсе. Нам не разрушение, не смерть страшны; напротив, в этой минуте есть что-то поэтическое, стремящее вихрем душевное наслаждение; нам жалка наша милая чувственность, нам жалка прекрасная земля наша. Он постигнул во всей силе эту мысль. Он представил человека как можно прекраснее; его женщина дышит всем, что есть лучшего в мире. Ее глаза светлые как звезды, ее дышащая негою и силою грудь обещают роскошь блаженства. И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели наряду

с последним презренным творением, которое недостойно было и ползать у ног ее. Слезы, испуг, рыдание — всё в ней прекрасно.

Видимое отличие, или манера Брюлова уже представляет тоже совершенно оригинальный, совершенно особенный шаг. В его картинах целое море блеска. Это его характер. Тени его резки, сильны, но в общей массе тонут и исчезают в свете. Они у него так же, как в природе — незаметны. Кисть его можно назвать сверкающею, прозрачною. Выпуклость прекрасного тела у него как будто просвечивает и кажется фарфоровою; свет, обливая его сиянием, вместе проникает его. Свет у него так нежен, что кажется фосфорическим. Самая тень кажется у него как будто прозрачною и при всей крепости дышит какою-то чистою, тонкою нежностью и поэзией.

Его кисть остается навеки в памяти. Я прежде видел одну только его картину: семейство Витгенштейна. Она с первого раза, вдруг врезалась в мое воображение и осталась в нем вечно в своем ярком блеске. Когда я шел смотреть картину: Разрушение Помпеи, у меня прежняя вовсе вышла из головы. Я

приближался вместе с толпою к той комнате, где она стояла, и на минуту, как всегда бывает в подобных случаях, я позабыл вовсе о том, что иду смотреть картину Брюлова, я даже позабыл о том, есть ли на свете Брюлов. Но когда я взглянул на нее, когда она блеснула передо мною, в мыслях моих, как молния, пролетело слово: Брюлов! я узнал его. Кисть его вмещает в себе ту поэзию, которую чувства наши всегда знают и видят даже отличительные признаки, но слова их никогда не расскажут. Колорит его так ярок, каким никогда почти не являлся прежде, его краски горят и мечутся в глаза. Они были бы нестерпимы, если бы явились у художника градусом ниже Брюлова, но у него они облечены в ту гармонию и дышат тою внутренней музыкою, которой исполнены живые предметы природы.

Но главный признак и что выше всего в Брюлове, так это необыкновенная многосторонность и обширность гения. Он ничем не пренебрегает: всё у него, начиная от общей мысли и главных фигур до последнего камня на мостовой, живо и свежо. Он силится обхватить все предметы и на всех разлить могучую

печать своего таланта. Обыкновенно художник прежних времен всегда почти избирал себе какую-нибудь одну сторону и в нее погружал весь талант свой, развивавшийся оттого в необыкновенном и каком-то отвлеченном величии. Рафаэль обыкновенно писал одни только лица, одно развитие на них небесных страстей и помышлений, всё прочее, даже одежду, бросал он доделывать ученикам своим. Все другие великие художники, настроенные высокостью религиозною или высокостью страстей, небрегли об окружающем и второстепенном в их картинах. У них небо является всегда бурое; облака похожи более на копны сена или на гранитные массы; дерево или детски однообразно своею правильностью, или негармонически-безобразно своею неправильностью. Но у Брюлова, напротив, все предметы от великих до малых для него драгоценны. Он силится схватить природу исплинскими объятиями и сжимает ее с страстью любовника. Может быть, в этом ему помогла много раздробленная разработка в частях, которую приготовил для него 19 век. Может быть, Брюлов, явившись прежде, не полу-



чил бы того разностороннего и вместе полного и колоссального стремления. Оттого-то его произведения, может быть, первые, которые живостью, чистым зеркалом природы, доступны всякому. Его произведения первые, которых могут понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество. Они первые, которым сужден завидный удел пользоваться всемирною славою, и высшею степенью их есть до сих пор: *Последний день Помпеи*, которую по необыкновенной обширности и соединению в себе всего прекрасного, можно сравнить разве с оперою, если только опера есть действительно соединение троичественного мира искусств: живописи, поэзии и музыки. 1834. Августа.

## О движении народов в конце V века\*

Великое странствие народов, произведшее нынешнее население Европы, касается началом своим глубокой древности. Оно было, может быть, современно основанию Рима, если еще не прежде. Когда Средиземное море омывало еще возрождающиеся государства, видело первые шаги возникающей торговли и развивался дух народов, составивших цвет древнего мира, — во глубине Азии скрывался другой, неведомый мир, которому определено было уничтожить, убить всё древнее величие, древний дух, древние формы прежнего и заместить его всем новым. Средняя Азия совершенно противоположна южной, юго-западной, африканским и европейским берегам Средиземного моря, где цветущее разнообразие природы, почвы, произведений, смесь земли и моря, куча бесчисленных островов, мысов, заливов, казалось, были созданы нарочно для того, чтобы быстро развить деятельность и ум человека. Природа Средней Азии совершенно другого рода: она однообразна и неизмерима. Степи ее безбрежны,

как-то огромно ровны, как будто похожи на пустынный океан, нигде не останавливаемый островом. Неподвижные озера беспредельных равнин не могли возбудить никакой деятельности. Казалось, сама природа определила эту землю народам пастушеским, чтобы по ним имели мы понятие о первобытной жизни первоначальных людей. Неизмеримость равнин не могла внушить человеку никакой идеи о постоянном жилище, которая обыкновенно возрождается у него при виде утесистой горы, берега, моря, острова и вообще где только есть возможность укрепиться. Где же природа усыплена и недвижима, там и человек беспечен: он заботится только о слишком нужном. Патриархальные обитатели степей питались только молоком, сыром, доставляемыми их полудикими животными, и редко питались мясом. Оттого стада их множились необыкновенным образом; владельцы их чаще должны были переходить с места на место; степей требовалось с каждым годом более и более — и те земли, которые ужасают донныне своею неизмеримостью, земли, бывшие вдвое более тогдашнего образованного

мира, земли, с которыми бы земледельцы всего света не знали, что делать — эти земли сделались тесными. Сильнейшие властители должны были вытеснить слабейших. Народы пастушеские, не имея неподвижной собственности, укрепленной давностию владения, легко уступают первому напору и уходят с своими стадами далее. И таким образом Азия сделалась народовержущим вулканом. С каждым годом выбрасывала она из недр своих новые толпы и стада, которые в свою очередь стогнали с мест изверженных прежде. Они перешли горы и потянулись в Европу. Народы, можно сказать, не шли вперед, а машинально сталкивали других с мест. Это не были завоеватели, а какие-то невольники, действовавшие только от страха наказания. Цепь народов от востока и северо-востока протянулась таким образом по всей Европе к самому югу. На юге они встретили первое сопротивление, ощутили огромную власть римлян и встретились с древним миром. Между тем Азия продолжала извергать новые толпы. Толчок от каждого нового извержения проходил по всей цепи: новые теснили прежних, предыду-

щие — последующих. Стремление народов становилось сильно, но зато и отпор со стороны римлян был очень силен, и потому-то на границах Римской империи накопилось такое множество народов. После каждого нового извержения это накопление становилось сильнее, и римлянам труднее было сопротивляться им. Наконец римляне уступили — и тогда орды стремительнее хлынули на юг Европы. Не имей Европа южною границею свою Средиземного моря или имей эти толпы народов какое-нибудь понятие о мореплавании, это переселение долго бы не остановилось, потому что Азия не переставала извергать новые толпы, народы перешли бы в Африку, Европа еще бы несколько лет не устоялась, хаос бы продолжился надолго, государства составились бы гораздо позже, и вообще весь ход образования отодвинулся бы на дальнейшие времена. Но как только народы, овладевшие югом Европы, увидели позади себя море и невозможность идти далее, то решились всеми силами сопротивляться нападавшим на них неприятелям. Сии последние, встретивши неожиданный отпор, решились

отразить и своих неприятелей, которые с своей стороны употребили то же с своими, и таким образом толчок получил обратное направление, и движение вдруг остановилось. Следствие этого почувствовалось даже в Азии, где некоторые пастушеские народы принуждены были заняться земледелием.

Это переселение совершилось бы гораздо быстрее, если бы Европа состояла из таких гладких, открытых равнин, какими исполнена Азия. Но в ней, напротив того, природа на небольшом пространстве показала страшную нерегулярность и разнообразие. Со всех сторон она изрыта морями, берега ее все из полуостровов и мысов, середина почти нигде не имеет ровной поверхности: она идет то вверх, то вниз, то подымается безобразными высокими горами, то опускается долинами, как будто провалившимися между ними. К этому нужно прибавить, что она в то время вся была облечена дремучим, непроходимым лесом и пронята топкими болотами. И потому движение народов, чем глубже касалось Европы, тем происходило медленнее: они должны были продирались сквозь леса, перелезать через

горы и обходить болота. Они селились оазами и были так скрыты один от другого лесами и неведомыми местами, что часто долго были безопасны от всяких нападений. И когда новое наводнение толпы, слишком многочисленной, водимой предприимчивым повелителем, освещало Европу великолепными иллюминациями, зажигая вековые леса ее, и леса исчезали, — тогда изумленным глазам их представлялся народ, которого существования они даже и не подозревали и который нравами своими, хотя уже отделившись, всё еще сходствовал с ними. Вся Европа состояла, можно сказать, из клочков и отрывков, отторженных друг от друга самою природою, оттого покорение ее и соединение под одну власть было вовсе невозможно, и оттого произошли ее бесчисленные нации, которые, без всякого сомнения, слились бы и изгладились, если бы она состояла из открытых равнин. Это был новый невидимый мир, о котором древние просвещенные народы ничего не знали и который, можно сказать, сам мало знал себя.

Основу его составляло множество разных

отраслей германских племен, простиравшихся по всему западу. Берега Немецкого моря, Рейна и Дуная и вся середина Европы до Балтийского моря были заняты ими. Состояние их во время первого знакомства с ними римлян уже показывало давнюю оседлость в Европе и что переселение их совершилось в глубокой древности. Но что оно истекло из Азии, тому доказательством служит странное сходство некоторых коренных слов языка германского с персидским.[6] Выбросила ли Азия в первоначальной древности за одним разом племена на юг, образовавшиеся среди гор в народ персидский, и на север, превратившиеся в лесах Европы в германцев, или позже тяжелое влияние парфян, ринувшихся из середины Азии, принесло в язык персидский множество слов, раздававшихся дотоле в неизмеримых степях ее и распространившихся уже и в Европе.[7] Как бы то ни было, но первоначальное происхождение германцев было из Азии, и переселение их совершилось в отдаленные времена.

Эти народы представляли совершенно противоположный и вовсе отличный мир от



римского. Физическая и духовная их природа носила резкий отпечаток самобытности и особенности. Их организация физическая совершенно спорила с организацией народов древнего мира: черные блестящие глаза, темные волосы, выразительные, южные черты лица, казалось, дышавшие потребностью роскоши и пресыщающих наслаждений — общей физиогномией уже остановившегося древнего мира, встречали здесь совершенную противоположность: голубоглазые, светловолосые, рослые, крепкие, с одним только свирепым выражением войны на лице, германцы показали собою совершенно новую природу, которою означился новый мир. Их религия, их жизнь, их темперамент, первообразные стихии характера разнились во всем от образованных тогдашних народов. Религия германских народов отличалась особенною оригинальностью. Их божество и предмет поклонения была земля. Казалось, как будто мрачный вид тогдашней Европы внушил им идею этой религии. Будучи редко освещаемы солнцем и находясь вечно под мрачною тенью вековых дубов, роя пещеры для первона-

чальных своих жилищ или сохранения сокровищ, видя одну только землю, могущественно выбрасывавшую на поверхность растения, приносившие им бедную пищу, и величественные высокие деревья, шумевшие над ними, они почитали ее зиждительницею всего. От ней производили они бога своего Туистона, или Тевта, у которого был сын Ман, а от него различные ветви германских народов, которые, по мнению их, были древнейшими обитателями мира. По-видимому, такое понятие о религии совершенно отделяет их от Азии, но мы должны вспомнить, что власть природы и положение земли всегда было сильно. Природа деспотически властвует над первоначальным человеком. Развиваясь и зрея умом, он получает над нею верх и предписывает ей законы, но в первобытном, но в диком состоянии он должен сам исполнять ее законы: он раб ее. В Средней Азии небо всё открыто перед глазами. Там оно необозримо и велико. Земля перед ним кажется слишком низменною. Никакое высокое растение, никакая остроконечная, высокая, узкая скала не останавливает взора; рассти-

лающаяся по необозримым пространствам трава представляет ее еще низменнее. Солнце там течет величественно, обливая всё своим светом, звезды усыпают густо небесный небосклон и одни только могут остановить человека и препятствовать совратиться с пути. Оттого во всей Азии царствовало всегда поклонение солнцу и небесным светилам. Передвигаясь в Европу, народы реже виделись с солнцем. Густой и величественный мрак европейских лесов сильнее поражал их дикое воображение. Туманы севера и болотные испарения скрывали вовсе небо; самая необходимость заниматься иногда земледелием заставляла их более привязаться к земле. И потому-то у германских народов было очень слабо поклонение светилам; едва у немногих сохранилась о нем память. Во глубине и глуши лесов, непроницаемых солнцем, они приносили свои жертвы богине-матери Герте. Казалось, мрак считался у них чем-то священным, и потому-то их религия уже в самом начале не сходствовала с другими. Они верили в бессмертие. Но их небеса были мрачны. Они в своем Валгале видели продолжение воин-

ственной их жизни: туда переселяли они свои германские дубы, пылающие костры и гром оружий. Небеса облекали в свинцовые тучи и населяли темными тенями своих великих, уже погибших на войне героев. Поклонение Герте разошлось между всеми почти германскими племенами. К предметам поклонения их принадлежали также тени умерших героев, которых они представляли в колоссальном виде. Такие же почести разделяли их товарищи-кони, из которых белые почитались по свидетельству Тацита священными и хранились в заповедных рощах. Их впрягали в священную колесницу, за которою шел король, жрецы, и по храпению их узнавали будущее.

Германские народы долго сохраняли первобытный образ жизни. Они жили и веселились одною войною. Они трепетали при звуке ее, как молодые, исполненные отваги тигры. Думали о том только, чтобы померяться силами и повеселиться битвой. Их мало занимала корысть или добыча. Блеснуть бы только подвигом, чтобы после пересказали его дело в песнях. С именем прославившегося в боях со-

единылись у них все выгоды и счастье жизни. Его выбирали в предводители; к нему чувствовалось у всех народов уважение и изумление. Он был посредник и судья во всех спорах; на войне полный распорядитель добычи; ему даже чуждые, отдаленные племена присылали конные сбруи; ему родные и подвластные племена добровольно приносили в дар произведения полей своих: плоды, скот и лошади. Храбрость казалась чем-то божеским, под его знамена все спешили наперыв и сражались не для добычи, но чтобы показать перед ним и заслужить его одобрительное слово. Его имя долго поминалось в песнях, и по смерти его в честь ему совершались пиршества, и долго племя, имевшее его, превозносилось его подвигами перед другими; тень его становилась божеством и служила предметом поклонения. Такой удел был завиден, потому что жажда бессмертия уже кипит и в неразвившемся человеке. Все наперыв стремились прошуметь подвигами; битвы были часты, и германцы по первому призыванию готовы были лететь с своими дикими силами.

Они сражались почти наги, выказывая во всей простоте атлетическую свою силу. Плащ, застегнутый вместо пряжки терновым шипом, кожа дикого зверя на плече — вот их убранство. Они строились густо, кучами, в виде клина; действовали вблизи и вдали короткими копьями, называемыми фрамеями; львиная сила мышц их бросала их так далеко, сколько нужно было, чтобы достать неприятеля; одни щиты их показывали роскошь, испещряемые яркими цветами; толпа жен, детей следовала за ними в битву; сопровождала их своим криком и была причиной нового мужества: они не мыслили предаться бегству при мысли о рабстве, ожидающем их жен и детей, усугубляли дикой напор свой, и неприятели уступали. Их жены тут же среди битвы высасывали раны мужей своих, залечивали их и даже уносили на плечах своих. Смерть предводителя вместо того, чтобы расстроить их, связывала железною силою мести и делала их несокрушимыми. Бросить щит было верх бесчестия, и несчастный, жертва всеобщего презрения, убивал сам себя. Предводитель силою одного уважения, без власти,

правил самовластно племенами, и воины с изумительною покорностью исполняли его веления. Предводя на войне, они оставляли при себе власть эту иногда и среди мира и назывались гериманами.[8]

Они были вольны и не хотели никакой иметь над собою власти. Правления у них почти не было. Они собирались на народные собрания, стекавшиеся при новолунии и полнолунии: каждого месяца, а в случаях чрезвычайных и во всякое время. На эти собрания они приходили лениво и медленно, желая показать, что делают это по своей воле; несколько дней протекало, покамест могло составить нужное число для совещания. Они сидели в полном вооружении; одни только жрецы могли приказать наблюдать молчание; председательствовали старейшины семейств, седовласые (grawion), после изменившие это название в графов; говорили князья и прославившиеся в битвах; речи их были просты, но исполнены того сильного и сжатого лаконизма, которым отличается бесхитростное красноречие народов свежих.

Они были просты, прямодушны: их пре-

ступления были следствие невежества, а не разврата. То, что было бесчестие и низость духа, называлось только преступлением: переметчики, изменники были вешаны и предаваемы мучительной казни, за низкие и бесчестные поступки бросали в болото, забрасывали тиною и фашинником, как бы желая скрыть то, что не должно бы никогда показываться. Жена, изменившая мужу, была в его власти, он мог отрезать ей волосы, лишить одеяния и обнаженную, покрытую стыдом, гнать розгами чрез веси и деревни, и никто не смел изъявлять сожаления, несмотря на всю красоту ее; но примеры эти были редки, потому что германцы были дики и жестки нравами и что у них были только обычаи, которые обыкновенно сильнее самих законов.

Они были беспечны, бездейственны в домашней жизни и представляли совершенную противоположность беспокойному быту воинскому. Они были бесчувственно ленивы и лежали в своих хижинах, не трогаясь с места. Чем более кто почитал себя храбрым, тем более считал для себя низким всякое занятие: поля обрабатывали старики, бессильные, ма-



лолетние и рабы, которые пользовались совершенною свободою и платили только небольшую подать от полей своих. Все домашние заботы лежали на женах. Жена не приносила мужу приданого; напротив, он должен был сам накануне свадьбы принести в дар быка в ярме, вооруженную лошадь и копье, как бы желая этим дать знать, что она должна разделить все его занятия.

Они одевались совершенно противоположно римскому миру и всем народам южным, любителям вольных, широких одежд: они носили платье узкое, которое совершенно обвивалось около их тела; звериные кожи, носимые ими, придавали им что-то дикое и зверообразное. Одежания жен их мало отличались от мужских: у иных платье было льняное алое, доходившее только до пояса, так что шея, грудь и руки были открыты. Дети были совершенно преданы своей воле и росли вместе с домашним скотом. Когда они достигали совершенного возраста, тогда только получали право носить оружие и заседать в собраниях. Гостеприимство, свойственное почти всем дикарям и первобытным нравам, было их

принадлежностью. Гости дарили подарками; не могший угостить его отводил сам к другому.

Но более всего можно было видеть древнего германца в его пиршествах, в которых проводили они напролет целые ночи, где зажженные дубы величественно освещали леса, и хлебный напиток из ячменя, может быть, пращур нынешнего пива, так употребительного в Германии, разрешал их мысли, речи и намерения. В этих-то пиршествах созревали все их предприятия. Тут они задумывали свои смелые и дерзкие дела, которые не всегда и не всем могли придти в голову во время медленных народных собраний. Они были стремительны, азартны и как только были разбужены, потрясены и выходили из своего хладнокровного положения, то уже не знали пределов своему стремлению. Азартность их более всего оказывалась в игре, в которую заигрывался дикий германец до того, что проигрывал свой дом, оружие, жену, детей, наконец самого себя и становился рабом, — состояние нестерпимее для него самой смерти! Эта азартность, может быть, служила

основанием тех дерзких, сильных страстей, которыми исполнены европейцы.

Таковы были народы германские — грубые стихии, из которых образовалась новая Европа. Они делились на бесчисленные племена и, как густые европейские леса, усеивали северную Европу. Чтобы яснее обозреть их, начнем с тех мест, где древний мир уже видел этих первоначальных зиждителей нового, т. е. от реки Дуная, служившего пределом для римлян. Тут обитали уже входившие в сношение с древним просвещенным Римом, всё еще вольные, но уже не столь одичавшие, как-то: гермундуры, нариски, маркоманы и квады. Потом великая цепь племен германских толпилась по Рейну от устья и вниз до впадения его в море: вангионы, трибоки, неметы, матиаки, убии; за ними следовали тенктеры, бывшие первыми наездниками, которых конница славилась и у римлян, которых всё имущество были лошади и оставлялись в наследство только храбрым; за ними узипетры и у самого впадения Рейна в море сильные батавы. Средине Германии, погруженная в леса, скрывала самых свирепых и сильных наро-

дов. Начиная с запада и на восток первые встречались хаты, предки нынешних гессенцев, жившие при реке Майне, где Германия состоит из частых возвышенностей. Народ, страшивший своею пехотою, регулярным устройством ее, осмотрительностию в нападениях и диким выражением лиц своих. Их обычаи невольно поражали своею оригинальностью. Ни один юноша не смел отрезать волос своих до тех пор, пока не омыл рук своих в крови неприятеля; в битвах они должны были находиться впереди и своими обросшими косматыми лицами наводили робость на врага. Всякой хат носил на руке своей железное кольцо, что считалось бесчестием, потому что напоминало цепи; сбросить его он мог тогда только, когда поражал собственною рукою неприятеля. На юг от хатов были херуски, обитатели Гарца; далее следовали фозы, сигамбры, бруктеры, ангруарии, хазуарии, наконец аряне, отличавшиеся совершенно особенным родом нападений, которые они производили в глухие мрачные ночи, и, желая облечь их страхом, выкрашивали тело, носили щиты, покрытые черною

краскою, и в виде погребальной процессии представлялись изумленным глазам неприятелей, не могших выносить такого зрелища. За ними на восток, в пространствах несколько более открытых, обитали свевы, состоявшие из множества разных племен и ведшие долго еще жизнь пастушескую, несмотря на то, что положение земли, еще болотной, мало представляло для ней удобства.

Вообще можно сказать: чем ближе к западу и юго-западу, тем более было занимавшихся земледелием, или по крайней мере оно мешалось у них с пастушескою жизнью; чем ближе к востоку, к Венгрии, Дакии и Польше, тем более преобладала пастушеская жизнь; чем глубже в леса Гарца, тем мрачнее и сильнее становились германские племена. Но самые опасные, которых римляне даже вовсе почти не знали и которые были истинные разрушители их владычества, это были все, населявшие берега морей и прибалтийские земли. Сюда никогда не досягали римляне. Здесь жили пираты, самые предприимчивые из германцев, которых уже положение земли и моря заставляло отваживаться на дерзкие

дела. Таким образом по Немецкому морю жили фризы и хавки; за ними самые сильные корсары севера — саксы, в Голштинии — кимвры, по Балтийскому морю — готы, варны, ругии, бургунды и в Пруссии — ломбарды, вандалы, герулы. Кроме того, в середине Германии находилось еще множество разных отродий, совершенно скрытых болотами и лесами, которые во время частых битв между ее племенами были вытесняемы и видели необходимость избирать неприступные места. Горы Альп и Карпата заключали в себе множество клочков или остатков разных племен гальских, германских и венецких, бандитствовавших в дикой Европе. Северо-восток ее, совершенною бедностью почвы, уединением и страшным пространством, не мог образовать и возрастить сильных народов. В рассеянных, бездомовных, бесприютных его обитателях финнах и отростках народов эстских замирала жизнь, как и в самой природе того края.

Вот каков был тот отдельный мир дикой Европы! Вот каковы были те народы, которых мощную силу прежде всего должны были ис-

пытать римляне. И если всемирная империя не пала гораздо ранее, то причиною этого были: чрезвычайное раздробление народов германских, положение Европы, препятствовавшее им слиться в одно, простота нравов, заставлявшая их довольствоваться грубыми произведениями своей земли, незнание корысти, так свойственной разрушающим дикарям, оседлость и любовь к свободе, заставлявшая их удаляться во глубину своих лесов. Римляне чувствовали всю опасность от этих свежих сил европейских народов. И оттого никакая из границ империи: ни восточно-азиатская, ни южно-африканская не была так защищена, как северо-европейская. Сюда, можно сказать, стеклась вся сила их. И должно признаться, что средства защиты при тогдашнем изнемогающем состоянии империи были приняты самые благоразумные. Империя отдавала опасные границы свои свежим воинственным народам, которые лучше всего могли защищать их и были довольны вначале немногим. Но к чести народов германских нужно сказать, что одна только сильная необходимость заставляла их принимать этот дар

римлян. Эта зависимость казалась для них рабством, и они спешили в глубину лесов своих, скрыть там свою свободу. Покушения римлян принуждали их составлять сильные между собою союзы, но эти союзы никогда не были нападательны; цель их была только привести в безопасность свою волю, бывшую для них дороже всего. Один из сих союзов, известный под именем союза франков, более других возрос и усилился благодаря благоприятному положению земли и умножавшимся натискам со стороны всех народов. Разнородные племена, его составившие, заняли часть Вестфалии и Гессена и так тесно слились, что составили наконец одну нацию под именем франков. Но этот союз не был бы так страшен для римлян, и вся Германия долее пребывала бы неподвижною, если бы не действовали на нее посторонние силы выходивших из Азии народов. Восточная часть Европы была очень страшна своими равнинами. Это были широкие ворота в Западную Европу, большая дорога, через которую переходили попеременно разноцветные народы; леса были здесь более выжжены, нежели в других местах; болота



скорее высохли, и с каждым столетием она становилась просторнее и удобнее для переходов. Открытые места ее давали средство народам и племенам соединяться в большие массы, представляли удобность для кочующей жизни, которая дает средства производить великие набеги. Народ вдруг мог подняться с легких жилищ своих и произвести всею массою самое страшное, ничем не отражимое, разрушительное нападение.

Одному из народов германских определено было прежде всех других произвести всеобщее движение. Этот народ был — готы,[9] народ, над которым, казалось, тяготело какое-то проклятие, осудившее его на скитание. Долго блуждал он и показывался то в Скандинавии, на противоположных берегах Балтийского моря, то наконец на широком востоке Европы. По свидетельству историка Иорнанда, он первобытную жизнь вел в Скандинавии. Может быть даже, что это был один из первоначальных народов Европы. Перебравшись из снеговой своей отчизны, он устремился на берег Пруссии и произвел страшный всемирный переворот, вытеснив оттуда

вандалов, ломбардов, герулов, бургундов и саксов, и против их собственной воли заставил их быть одними из ревностных деятелей в разрушении Западной империи. Всеобщее потрясение ощутилось во всей Европе: вся эта цепь сильных прибалтийских народов придвинулась ближе к границам римским, потеснила в горы и болота множество племен, сжала сильнее их силу, и римляне должны были завести новое знакомство: герулы, вандалы, ломбарды уже стали появляться в войсках их.

Между тем готы, прочистивши перед собою дорогу, отчасти разогнали, отчасти покорили придунайских народов: маркоманов, квадов; соединились в южных равнинах Даккии в многочисленные массы и, с приведенными под власть свою народами, устремились к Черному морю. Чем далее к югу, тем удобнее была им дорога и тем быстрее был их путь; наконец они очутились в середине Греции и в Малой Азии, выжгли берега Черного моря. Халцедон, Эфес были обращены в пепел; Афины были разграблены страшно, безжалостно. Император Деций видел опасность восточных границ обширной своей империи,

и между тем; как на западных границах войска его сражались с вандалами, свевами, герулами, сдвинутыми с мест готами, он сам предводил войсками на востоке и погиб с оружием в руках. Готы с великою добычею возвратились, заняли нынешнюю Россию, приобрели трактатом от римлян всю Дакию и остались здесь, владычествуя над придунайскими народами и тревожа присутствием своим беспечную империю. Тогда всемирные императоры, узнавшие несчастным опытом дикое мужество готов, составили план принимать их в свои войска и выдавать жалованье этим неодолимым дикарям. Сим приобрели они сильных защитников, но вместе с тем приобрели и сильных неприятелей, потому что открыли им тайну благоустроенной тактики, которая еще более могла придать им перевеса. Но, впрочем, тактика готов и без того была неодолима. Она соединяла в себе вместе и тактику народов легких и кочующих и тактику неподвижных народов. Они строились густыми, великими массами и сохраняли одинаковую крепость в порыве первого нападения, в разгаре битвы и в потухающей силе ее

окончания. Как бы долго ни длилась битва, их ряды невозможно было сдвинуть с места. Нападения свои они сопровождали так же, как и другие германские племена, песнями. В песнях провозглашались имена древних героев Фридигера, Видигана, Этесбамера и других. Власть религиозная заключалась в одном лице, который был вместе и царь, и предводитель войск, и верховный жрец, и при всем том зависел от совета храбрых.

У готов с незапамятных времен тянулось царственное поколение Бальтов, из которых только одних можно было избирать царей. Поклонялись Водану, бывшему в отдаленные веки их предводителем вместе с Оденом, этим северным Улисом.[10] Из всех народов германских готы более других способны были принять цивилизацию. До середины четвертого века власть готов признавалась более или менее народами на Дунае, на западе и на востоке нынешней России. Имя царя их Германриха было уважаемо от берегов Черного моря до Ливонии... Но владычество готов было смущено великим азиатским нашествием гуннов.

Гунны, или гионгну, по свидетельству Дегине, были племена сильные, занимавшие великие степи Татарии, Манжурии, потрясшие Китай, но не умевшие противиться китайской лукавой политике и обратившиеся впоследствии в данников китайских монархов. Однако же многочисленная часть поднялась с своими кибитками и табунами, направляясь на запад, заняла закаспийские земли и скрылась таким образом из виду Китая. Поселение их на берегах каспийских историки римские относят ко времени Домициана. Не мешает при этом заметить, что образованный тогдашний римско-греческий мир ничего не знал даже о том, существует ли на свете этот народ до времени императора Валента, т. е. до того времени, когда увидели вдруг извергавшиеся из гор Азии толпы гуннов и с ними аваров, гуннужуров, ульзингуров и других народов, которых имена дико звучали для утонченного и вместе испорченного слуха римлян — греков. Набег этих обитателей Азии, разрушительный, неотразимый, обычай их есть сырое мясо, пить из неприятельских черепов и приносить на окровавленном

костре в жертву теням своих предков первых попадавшихся пленников, самые их калмыцкие лица, плоские, неуклюжие, смуглые, наводившие робость одним своим свирепым движением, их приземистый рост, весь состоявший из одних мускул, привели в такой ужас азиатско-римские провинции, что жители не смели производить их от человеческого племени. Они думали, что маги и волшебники неизмеримых каспийских пустынь вошли в нечистое сношение с дьяволами и от этого союза произошли гунны.

Гунны, по какому-то странному инстинкту, или, может быть, испугавшись слишком пестрой поверхности римской Азии, усеянной садами и городами, которых всегда убегают кочевые народы, считающие их темницами, или не находя вольных пустынных степей, необходимых для их неисчисляемых стад, как бы то ни было, только они двинулись, вместо того чтобы на юг, на северо-запад; зацепили путем своим Кавказа, сорвали с его подошвы несколько народов кавказских и увлекли с собою. Вся эта кочевая толпа высыпала в Европу. Великий аванпост Европы

занят был, как мы уже видели, владычеством готов. Их многочисленные племена и покоренные ими народы были передовыми ее стражами и наполняли ее обширные ворота, к несчастью слишком обширные для такой небольшой части света, какова Европа. И готы, те готы, которые считались непобедимым ее оплотом и силою, уступили перед ними. Это так и долженствовало быть. Тайна азиатского многочисленного набега была совершенно неизвестна готам. Если бы они знали, что азиатское нападение более всего страшно силою первого порыва, что умение долее противустать ему и продлить битву одни только могут выиграть, если бы готы знали это, то гунны убрались бы снова за Кавказ, и Европа не почувствовала бы сильного потрясения, изменившего снова ее вид. Но эта тайна не была постигнута готами. Впрочем, надобно сказать и то, что нужно было иметь нечеловеческую храбрость и крепость духа, чтобы выдержать первый напор гуннов. Нападения их были производимы с таким ужасным криком; многочисленная масса их летела так густо и с такою силою на лошадях бешеных, по-

чти диких, как будто бы была сброшена с крутого утеса и не в состоянии была сама удерживать бега; узкий, почти пропадавший между пухлых щек их глаз был так быстр и верен; в одно мгновение они давали столько измененный ходу битвы, так быстро могли рассыпаться и исчезнуть из виду, так скоро собраться в кучи, так метко высылать летящий лес стрел, даже убегая так ловко, они умели отстреливаться, и всё это сопровождали таким диким оглушительным криком, — что вряд ли мог сыскаться предводитель, чей глаз не разбежался бы и голова не закружилась в битве с ними.

Погнавши готов, гунны заняли нынешний польский запад России да северные и дунайские земли — и география Европы изменилась снова. Занявши такое огромное пространство, гунны необходимо должны были произвести сильное потрясение и всеобщую перемену мест. Сдвинутые готы, хотя с трудом, но подались на запад и юг; вандалы и свевы, с которыми римляне или, лучше сказать, римские германцы мерялись уже на самых границах своими силами, ворвались



через Францию и Альпы в Испанию. И в Испании ко всеобщему изумлению столкнулись народы совершенно с противоположных стран света: свевы с берегов Балтики и снежной Скандинавии и алане, оторванные гуннским порывом с подошвы Кавказа.

Гунны бродили по степям России, переносили свои кибитки и перегоняли табуны в течение целых пятидесяти лет, не производя дальних завоеваний, потому что Западную Европу и на тот раз спасало лесистое и неровное положение и потому что гуннам не доставало предприимчивого предводителя. Они производили свои набеги на соседей, которые обыкновенно состояли в хищничестве жен, детей и в угонке стад в свои пределы. Эти хищничества более всего должны были испытать готы, как ближайшие к ним народы. Готы в это время разделились на две великие ветви: на визиготов, которых цари были избираемы из прежней царственной линии Бальтов, и остроготов, избиравших царей из новой царственной ветви Амалов. Столкнутые гуннами, они притеснились к самому югу нынешней Украины и Молдавии. Не нашед-

шая безопасности часть визиготов под начальством Фридигера, Алета, Сафраха обратилась с просьбою к римскому императору о позволении перейти через Дунай и, поселившись на южной стороне его, защищать провинции от нападения усиливавшихся варваров. Император Валентиниан, управлявший империей вместе с братом своим Валентом, принял с радостью неожиданную помощь — и визиготы перешли чрез Дунай. Между тем остроготы и часть визиготов, живших на юго-востоке, терпели часто голод и видели беспре-станно увеличивающиеся свои нужды, проси-ли императора Валента, который имел над-зор над восточными провинциями и жил в Константинополе, снабдить их нужными про-изведениями и позволить им торговать с та-мошними жителями. Император поручил удовлетворить их во всем фракийским прави-телям Луципину и Максиму, которые были совершенные греки времен византийских, коварные, готовые оказать злодейские по-ступки даже без побудительных причин и по-читавшие позволительными все поступки с варварами. Они не торговали, но просто гра-

били готов и доводили их до крайности продавать жен и детей; наконец под видом признания призывали доблестнейших готов и решились тайно умертвить их. Это пробудило мщение в диком, но сохранявшем первоначальные человеческие чувства народе. Многочисленные толпы готов ворвались во Фракию и до самого Константинополя жгли, грабили и обратили в пепел все находившиеся по дороге города и окрестности. Император Валент находился в весьма неблагоприятном положении. Он был ревностный арианец и потому гнал без милосердия противников секты, потому имел врагов, и сам брат его Валентиниан, императорствовавший в Риме, отказал подать ему помощь; кроме того, император Валент был жесток и ужасно подозрителен: ему предсказали, что гибель его последует от человека, которого имя начинается словом *Фео* — и он перерезал и передушил всех Феодориков, Феодотов и Феодисиев, которые только занимали какие-нибудь значительные должности. Само собою разумеется, что такие поступки не внушили его подданным излишнего жара защищать своего мо-

нарха. Притом и самые подданные были жалкой, бесхарактерный народ, войска умели только бунтоваться и готовы были бежать при первом случае; финансы разбрелись по рукам евнухов, любимцев, любовниц и пронырливого духовенства. Итак, Валенту наконец пришлось поплатиться за прежнюю жизнь свою. Оставленный бегущими войсками, он спрятался в бедную хижину и был сожжен вместе с нею мстительными готами. Константинополь уцелел благодаря незнанию готов осаждать города. Готы с торжеством, с бесчисленною добычею, возвратились в свои жилища, оставив римлянам страшную память своего посещения.

Скоро после этого произошло совершенное разделение Римской империи. Император Феодосий думал спасти ее чрез эту секуляризацию, приписывая слабость ее неизмеримости и невозможности одному управлять. Восточная империя, которая очень справедливо стала называться Греческою, а еще справедливее могла бы называться империей евнухов, комедиантов, любимцев, ристалищ, заговоров, низких убийц и диспутствующих монахов,

досталась Аркадию, которым управлял пронырливый опекун его Руфим; Западная, которая тоже весьма несправедливо называлась Римскою, потому что все административные значительные места были заняты выслужившимися варварами из готов, вандалов и других германцев, получивших только слабый наружный лоск римского образования, которая уже в собственном сердце своем видела насильно теснившихся врагов, которая в живом трупе своем видела и чувствовала онемение жизни, эта Западная империя вручена была малолетнему Гонорию, которым управлял Стиликон, родом вандал, бывший верным и храбрым при Феодосии и сделавшийся низким и слабым при ничтожном его сыне. Опекуны, правительствовавшие в разных углах Европы, ненавидели друг друга. Первый подарок, который Руфим, хитрый как византийский грек, препроводил к своему неприятелю Стиликону, состоял в сильных войсках визиготов, которых он настроил воевать Италию, обещая с своей стороны не подавать никакой помощи. Все визиготы поднялись с своих становищ в Дакии и с берегов Дуная и

вступили в Италию. Но Стиликон, вместо того чтобы утрашиться такого нашествия, втайне был рад ему. Он основывал на нем кучу планов. Прежде всего он думал этими свежими, многочисленными и сильными варварами истребить других варваров, уже втеснявшихся в самые пределы Римской империи. Тогда Галлия и принадлежала и не принадлежала римлянам. Сильный франкский союз стоял на границах ее вместе с накопленными под его эгидом племенами; на востоке и на юге, т. е. в недре самой Франции вольно расположились алеманы и бургунды. В Испании свевы, алане и вандалы захватили всю лучшую часть ее, т. е. юг. Среди их римские префекты и начальники играли самую жалкую роль, имели достоинство без власти. Казалось, вместо Римской империи лежала над полумиром одна только величественная длинная тень ее. Империя была похожа на тысячелетний дуб, который изумляет своею страшною толщиною и которого середина давно уже обратилась в гниль и прах. Стиликон искусно отклонил Алариха от желания поселиться в Италии и предложил ему богатую, цветущую Испанию.

Он даже замышлял обратить этих варваров против врага своего Руфима, вместе с тем он располагал даже в случае удачи объявить себя императором вместо слабого Гонория, но чересчур перехитрил, и собственная голова слетела с плеч его. Слабый, ничтожный Гонорий, не понявший ни одного прожекта Стиликона, велел одному из своих также нерассудительных полководцев напасть с тыла на готов, уже выступавших в Испанию, с тем чтобы нанести им какой-нибудь вред. Аларих вдруг обратился и очутился под стенами Рима. Гонорий по обыкновению бежал. Сенат, увидевши бессилие свое, умолил могущественного гота отступить, обещая дань, часть которой ему была выдана тогда же, остальной решил победитель ждать и отступил от Рима. Как только узнал Гонорий, что опасность миновалась, как уже вновь прибыл в Рим и во все не думал платить дани. На этот раз Аларих явился под стенами уже гневный, грозивший обратить в пепел вечный город. 23 августа 409 года стены всемирной столицы увидели среди себя предводителя готов. Великолепные дома и дворцы были разграблены, но

грозный Аларих запретил зажигательство и пролитие крови. Из этого можно видеть силу воли и власть, какую он имел над своими дикарями, удержав их от того, от чего иногда не властен удержать и начальник образованных войск. Гонория и следа уже не было в Риме, он давно умел скрыться. Но зато победитель показал в величайшей степени презрение, какое чувствовал к римлянам: возвел им царя их же префекта Атала и заставил его ползать у дверей палат своих. Насытив свое мщение, оставил он Рим и обратился на юг Италии. Здесь он замышлял великие планы, строил флот и намеревался перенести свои победительные знамена на берега Африки, но смерть остановила его подвиги. Для гробницы его визиготы отвели течение реки Везанто, вырыли на бывшем дне ее глубокую могилу, в которую зарыли труп, и потом снова возвратили ее на прежнее лоно, чтобы никто не мог осквернить и поругаться над могилою великого гота. Избранный после него Астольф наконец вывел готов в Испанию, где они быстро утвердились и составили сильное Готское королевство, изгнав не имевших значе-



ния римских начальников.

Вторжение визиготов было сильно почувствовано во всех концах Испании. Алане и свевы были крепко стеснены и большая часть их должна была признать власть готов. Даже вандалы, бывшие сильнейшими в Испании, были сильно притеснены и придвинуты к Средиземному морю. Уже король их Гензерих помышлял о переправе в Африку. Но одно происшествие как будто нарочно ускорило исполнение его мысли. В Риме управлял именем малолетнего Валентиниана и его матери знаменитый Аэций, предприимчивый, честолюбивый, хитрый, не слишком разборчивый на средства к достижению желаемого. Он имел сильного противника в Бонифации, правителе Африки, и решился его погубить; для этого призывал его именем императора в Рим. Бонифаций, проникнувши умысел, решился остаться в Африке и призвать на помощь Гензериха. В 427 году Гензерих с вандалами и частью аланов высадился на берег Африки и означил путь свой пожарами и опустошениями. Бонифаций увидел наконец свою ошибку, что призвал такого гостя. Он

успел уже примириться с императором и решился поставить преграду беспокойному своему союзнику. Но с Гензерихом не так было легко управиться. Бонифаций был разбит. Гензерих зажег Карфагену, ограбил дома, рубил жителей и извлек, где только могли скрываться, сокровища.

Быстрые успехи разожгли его хищное честолюбие. Скоро весь северный берег Африки подвергнулся его вандальскому владычеству. Огнем и мечом окрестил он его в арианство и составил сильнейшее в этот мятежный и темный век государство. С этого времени разгулялся Гензерих. Страшный флот его рассыпался по Средиземному морю и прекратил своим корсарством всякое плавание. Каждый год этот нумидийский лев появлялся у всех берегов Средиземного моря от Греции и Иллирии до Гибралтара, собирая, как жатву на собственном поле, всё, что могла только произвести цветущая населенность их. Испания, Сицилия, Сардиния, Далмация попеременно чувствовали ужасную, разрушительную руку этого венчанного пирата, который так быстро воздвигнул первое государство христианских

корсаров. Но наконец среди величия и награбленных богатств им овладело то состояние духа, та свирепая задумчивость, которая сушит, мучит душу и служит близким предвестием тиранства, ужасной нравственной болезни властителя. Он стал подозревать всех окружающих и подозрение наконец простер на жену свою, дочь визиготского короля; ему вообразилось, что она имеет умысел отравить его. Наполненный этою мыслию, он приказал отрезать ей нос и уши и в таком виде отправить к ее отцу. Но, испугавшись сам мщения готов, пригласил Аттилу, предводителя гуннов напасть с севера на Испанию и Италию.

Аттила имел свою резиденцию в Дакии, где недалеко от Дуная находилось становище из грубых деревянных юрт, среди которых возвышался неуклюжий дворец его. Аттила был именно такой предводитель, какого дотоле не доставало гуннам. Он показал, как может быть ужасна стремительная азиатская сила. Весь северо-восток Европы признавал его владычество. Цепь народов, несших дань непобедимому царю гуннов, начиналась у

Кавказа и оканчивалась у Рейна. Готы, гепиды, алане, герулы, аказиры, туринги и славяне очутились в границах его быстро раздавленной кочевой империи. Греческий император, испытывавший его презрение, униженно присылал ему дань и ползал перед его могуществом. Это был маленькой человек, почти карло, с огромною головою, с небольшими калмыцкими глазами, но так быстрыми, что ни один из подданных его не мог выносить их без невольного трепета. Одним этим взглядом он двигал всеми своими племенами, которые, несмотря на разбросанное свое положение, различие жизни нравов и обычаев, слились его словом в одну душу. Посреди своих придворных, блиставших награбленным золотом, этот необыкновенный человек носил грубую широкую одежду, лежал на простом войлоке, пил почти одну воду из деревянного котла, ни седло, ни лошадь его не видели на себе драгоценных камней, и сам себя называл бичом Божиим, посланным для того, чтобы исправить мир. Власть его над войском была беспредельна: оно верило, что у него находится чудесный меч, который дол-

жен завоевать ему весь мир. Повиновение покоренных народов было изумительно. Впрочем, невозможно было и думать им о возмущении потому, что Аттила мог выставить возле своей ставки такую пирамиду из отрубленных голов, глядя на которую немного находилось охотников. Он не любил заводить напрасно войны, особенно, когда мир мог ему доставить то же самое. Справедливость его была ужасна. Он показывал и великодушие, но только рабам, простертым у ног его. Мщение же Аттилы... но вызвать его мщение никто не имел духа.

Предложение Гензериха, казалось, упредило его собственную мысль. Властительно собрал он бесчисленные племена свои и шел на запад. Римская империя почувствовала всю опасность. Все народы, составлявшие тогда запад Европы, встревожились. И тогда случилось странное событие: вся западная дикая Европа сдвинулась в один союз. Римляне соединились с своими разрушителями, визиготами, аланами, франками. Народы кочующие и пастушеские шли на неподвижных и уже отчасти земледельцев. Стремительная и дес-

потическая Азия — на крепкую и вольную Европу. Нужно заметить, что германские народы, чем ближе к западу, тем более означались вольным духом. Альпы были древним хранилищем европейской свободы, и вокруг их на далекое расстояние племена хранят еще и доныне черты независимости. Равнинам близ Марны во Франции определено было быть театром этой единственной битвы. Западная вольная Европа из римлян, визиготов, арморикан, бреонов, бургундов саксонов, аланов и франков, под начальством королей, военных предводителей и под высшим распоряжением искусного Аэция, и восточная кочевая Европа из остроготов, аланов, гепидов, маркоманов, венедов, ломбардов, герулов, аказиров, авров, турингов, роксоланов и некоторых племен славянских, под начальством своих князей, королей и принцев и движимых одною всемогущею волею Аттилы, должны были решить многое важное в потомстве. Вольная Европа устояла. Неотразимая, разрушительная конница Аттилы была опрокинута вместе с союзными народами, и непобедимый гунн, употребивший всё возможное на-

пряжение своей воли, поворотил свои табуны и народы в равнины Венгрии и Панонии. Аэций, не желая дать перевеса визиготам, действовавшим сильнее других в этой кровопролитной сече, облегчил ему удаление. Великая лига, исполнявшая свое назначение, разошлась и обратилась в прежние начала, увидя минувшую опасность.

Но ужасный предводитель гуннов рвал на себе благородный клочок волос своих от гнева и через год, пополнивши свои войска новыми, вступил в Италию, где беспечный император Валентиниан и даже сам Аэций не мыслили об опасности. Первый город, испытавший его тяжелую руку, был Аквилея. Он его обратил в пепел и заставил горсть спасшихся жителей зародить на Адриатическом море Венецию. Отсюда прошел он всю Италию, действуя как огненный бич. Города: Конкордия, Бресча, Виченца, Падуа, Верона, Мантуа, Милан, Модена, Парма — представили одни обнаженные стены. «Клянусь, — гордо провозгласил дикой гунн, — что где коснется копыто коня моего, там более не вырастет трава!» Наконец и Рим увидел под стенами своими Аттилу. Ис-

пуганный папа, в облачении, со всем крестным ходом, вышел навстречу неумолимому гунну, и великолепный ли обряд христианства, или мысль, рассеянная между дикими, даже языческими народами, о пребывании чего-то священного в Риме, что бы то ни было, но Аттила отступил, взявши великой выкуп, и вышел из Италии.

Теперь предстояла очередь испытать его мщенье и силу соединенной лиге западных народов, — но внезапная смерть его спасла ее. Аттила умер необыкновенным образом. Суровый, воздержный, не позволявший золотым украшениям и камням убрать даже рукояти сабли и войлочного седла своего, он в один день изменил свою жизнь. Сочетавшись браком с дочерью бактрианского царя, необыкновенною красавицею, упоенный вином и пиршеством, он с таким неистовством предался сладострастию, что выпил за одним разом всю железную жизнь свою. Кровь у него пошла из ушей, из носа, изо рта — и он задохнулся.

В неведомой пустыне, среди глубокой ночи, копали могилу Аттиле, сопровождая пес-



нями о его подвигах. Тело его было положено в тройной гроб из золота, серебра и меди; с ним легли его оружия, его конные сбруи. На могиле его были заколоты все рабы и копавшие землю, чтобы никто из живущих не ведал о месте, где лежат кости великого человека.[11]

По смерти Атиллы гунны вдруг рассеялись и рассыпались, как всякой азиатский народ, связанный только могущественною волею предводителя. Тогда европейские народы шире и вольнее раздались и более приняли самостоятельности, и на востоке начали виднее показываться племена славян, которые мало-помалу разрослись в шестьдесят разных ветвей,[12] протянулись до Тироля, прошумели по уходе остроготов на границах империи Греческой и, углубившись в великие пространства, наконец превратились в мирных оседлых народов.

Италия еще дымилась после опустошений Атиллы, но и среди полуразрушенных развалин ее крылись еще происки. И в этом изнеможенном государстве еще нашлись жалкие честолюбцы! Сенатор Максим успел очернить

перед бессильным императором Валентинианом единственную опору его шаткого трона — Аэция, и неблагодарный Валентиниан убил его собственной рукою. Но, лишившись этой опоры, он сам погиб, умерщвленный Максимом, который надел на свою детски честолюбивую голову императорскую корону и женился на его вдове Евдоксии. Мстительная вдова, раздраженная низким умерщвлением своего супруга и мало заботившаяся об участи всей Италии, тайно пригласила Гензериха вступить в Рим и отмстить за смерть императора, его союзника и друга.

Гензерих не любил заставлять долго ждать себя, он немедленно поднялся с берегов Африки с толпами своих вандалов на пиратских судах и высадился в Италию. И что только уцелело от меча Аттилы, всё то истребил по своему обыкновению Гензерих. Он не очень разбирал, кто прав, кто виноват и кому он должен оказать помощь. Всё испытало равную участь. Гензерих имел необыкновенное искусство грабить: после него уже никто не мог ничем поживиться. Рим, который дотоле щажен был даже язычниками, был ограблен

без милосердия этим христианским королем; всё, что только можно было взять, он взял. Корабли свои он наполнил множеством пленников, с которыми сам не знал, что делать; вывез множество артистов и художников, увез даже супругу императора, к которой пришел сам на помощь, вместе с дочерьми ее, наконец даже сорвал золотой купол с Капитолия и утащил его вместе с другими сокровищами в Африку.

После всех этих событий Италия не походила и на тень прежней своей славы. Цветущая, прекрасная — венец европейской природы, она представила дикий вид опустошенной, уничтоженной страны. Титло императора едва слышалось в опустелых городах. Римский император уже не мог иметь никаких доходов. Он не был в состоянии даже платить жалованья собственному войску, набранному из герулов, ругиев и турцелингов. И тогда предводитель их Одоакр отрешил своего императора от должности; сделался неограниченным и независимым и уже не хотел принять императорского достоинства, но назвался просто королем герулов. Еще часть римско-

го войска находилась как бы отрезанною за Альпами в Галлии, и предводитель ее Сиагрий, не зная ничего о происшествиях в Италии, защищал несуществующую империю против соединенного франкского союза, который сделался уже слишком страшным потому, что имел предприимчивого короля и полководца Кловиса. Сиагрию, отрезанному от своего государства, не получавшему никаких подкреплений, трудно было противуборствовать этим свежим силам: он уступил — и Галлия потопилась франкскими народами. Скоро после того остроготы, предводимые Феодориком, двинулись с северных границ империи Восточной и заняли Италию, подчинив ее народы своей власти. Скоро после того англосаксы на своих неуклюжих дерзких кораблях перебрались через море и овладели Англиею — и потом великие эмиграции народов большими массами совершенно остановились, но в частности, и малыми силами, они производились непрерывно. Дикая охотники, воспитанные этими всеобщими странствиями и непрерывною переменою мест, получили страсть к приключениям и путеше-

ствиям, и вся Европа, несмотря на то, что, по-видимому, уже казалась неподвижною, двигалась и шевелилась подобно огромному рынку. Все нации перемешались между собою так, что уже невозможно было отыскать совершенно цельной; и только впоследствии постоянный образ правления или занятий сообщил главным из них некоторую особенность и некоторые признаки отличия. Тогда было четыре первенствующих великих собраний или масс народа, четыре главные пункта европейской силы. В Испании — визиготы, вторгнувшиеся туда с — частью покоренных народов и присоединившие к себе уже в Испании аланов, свевов, вандалов и разных подданных им народов, зародившие толпу сильных против себя бандитов в горах Астурийских. В Галлии — франки, уже составившие нацию из прежних соседей римлян, дунайских и рейнских германцев: узипетров, сигамбров, херусков, хатов, бруктеров, ангривариев, хазуариев и других, соединившиеся с туземцами римскими галлами, соединившиеся, но не слившиеся с покоренными армориканами, бретонами, алеманами, бургундами,

отчасти бауарами и фризами и простершие владычество за Альпы и Рейн. Это было одно из сильнейших собраний народов. В северной Германии — саксоны, страшные своею дикостью и пиратством, менее смешавшиеся с другими народами, и в Италии — остроготы, имевшие в толпах своих множество отродий народов, странствовавших по восточной Европе: свевских, аланских, аварских, славянских, гепидских, и под расторопным твердым правлением Феодорика получившие на время перевес в Европе. Сверх того еще все эти великие массы народов распространяли покровительственную власть свою над многими отдаленными племенами. Взаимные границы их часто терялись в неопределенных пространствах; в этих промежутках земли иногда чересполосно и независимо сохранялись многие народы. Таким образом, в средней Германии — ломбарды, потом блеснувшие в Италии, часть бауаров, все народы, жившие в неизмеримых прежде лесах Гарца и в гористых уклонениях Альп. Восток Европы занимали совершенно разбросанные племена славянские, которые, находясь под вечным угне-

тением всех стремившихся из Азии народов, еще не успели явиться деятелями всемирной истории. За означенным кругом на север и на восток рассеивались народы, еще покрытые темною недеятельностью.

Такова была Европа в это шумное окончание V века, когда непостижимою волею providения величественный хаос, носивший темные начала нового света, опустился на Европу, когда разрушающие народы безобразными массами текли на народы, колоссально совершались мрачные события, когда имена Алариха, Гензериха и Атиллы пронеслись беспокойными кометами, когда между тем древний мир долго дотлевал на востоке, робкое римское просвещение прижалось к берегам Сирии, Александрии, Цареграда, и ереси Нестория и Евтихия раздирали дряхлые, старческие его силы.

# Статьи и рецензии, 1831-1842

## Женщина\*

«**А**дское порождение! Зевс Олимпиец! О! Ты неумолим в своей ярости! Ты захотел наслать бич на мир, ты извлек весь яд, незаметно разлитый в недрах прекрасной земли твоей, сжал его в одну каплю, гневно бросил ее светодарною десницей и отравил ею чудесное творение свое: ты создал женщину! Тебе завидно стало бедное счастье наше, тебе не желалось, чтобы человек источал вечное благословение из недр благодарного сердца; пусть лучше проклятие сверкает на преступных устах его... Ты создал женщину!» — Так говорил, представ перед Платона, Телеклес, юный ученик его. Глаза его кидали пламя; по щекам бушевал пожар, и дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его с негодованием откидывала пурпуровые волны богатой одежды, и растянутая пряжка небрежно висела на девственной груди юноши. «Что, мой божествен-



ный учитель? не ты ли представлял нам ее в богоподобном, небесном облачении? Не твои ли благоуханные уста лили дивные речи про нежную красоту ее? Не ты ли учил нас так пламенно, так невестественно любить ее? Нет, учитель! твоя божественная мудрость еще младенец в познании бесконечной бездны коварного сердца. Нет, нет! и тень свирепого опыта не обхватывала светлых мыслей твоих, ты не знаешь женщины». — Огненные слезы брызнули из глаз его; окутав голову хитон и закрыв лицо руками, прислонился он к мраморной колонне, на которой роскошно покоилось богатое коринфское оглавие, осыпанное искрами лучей. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из груди юноши, как будто все тайные нервы души, все чувства и всё, что находится внутри человека, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясением по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, в бессилии рассказать бесмертные, вечные муки души, переродилась в один болезненный стон. Между тем вдохновенный мудрец в безмолвии рассматривал его, выражая на лице своем думы, еще напе-

чатленные прежним высоким размышлением. Так остатки дивного сновидения долго еще не расстаются и мешаются с началами идей, покамест человек совершенно не входит в мир действительности. Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в куполе на мудреца и обливал его сиянием; казалось, в каждой вдохновенной черте лица его светилась мысль и высокие чувства. «Умеешь ли ты любить, Телеклес?» — спросил он спокойным голосом. — «Умею ли любить я! — быстро подхватил юноша. — Спроси у Зевса, умеет ли он манием бровей колебать землю. Спроси у Фидия, умеет ли он мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе. Когда в жилах моих кипит не кровь, но острое пламя, когда все чувства, все мысли, я весь перерождаюсь в звуки, когда звуки эти горят и душа звучит одною любовью, когда речи мои — буря, дыхание — огонь... Нет, нет! я не умею любить! Скажи же мне, где тот дивный смертный, кто обладает этим чувством? Уж не открыла ли премудрая Пифия это чудо между людьми?»

— «Бедный юноша! Вот что люди называ-

ют любовью! Вот какая участь готовится для этого кроткого существа, в котором боги захотели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле! Бедный юноша! Ты бы сжег своим раскаленным дыханием это кроткое существо, ты бы возмутил бурю страстей это чистое сияние! Знаю, ты хочешь говорить мне об измене Алкиной. Твои глаза были сами свидетелями... но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершившихся в то время во глубине души твоей? Высмотрел ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих? а когда страсти узнавали истину? Чего хотят люди? они жаждут вечного блаженства, бесконечного счастья, и довольны одной минутной горечи, чтобы заставить их детски разрушить всё медленно строившееся здание! Пусть глазами твоими смотрела сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною изменой. Но спроси свою душу: что был ты, что была она в то время, когда ты и жизнь, и счастье, и море восторгов находил в алкиноиных объятиях? Переверни огненные листы

своей жизни и найдешь ли ты хотя одну страницу красноречивее, божественнее той? Захотел ли бы ты взять все драгоценные камни царей персидских, всё золото Ливии за те небесные мгновения? И что против них и первая почесть в Афинах, и верховная власть в народе! И существо, которое, как Промефей, всё, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар тебе, водворило небо со светлыми его небожителями в твою душу, — ты поражаешь преступным проклятием; когда вся твоя жизнь должна переродиться в благодарность, когда ты должен весь вылиться слезами и умилением и кротким гимном жизнедавцу Зевесу, да продлит прекрасную жизнь ее, да ответит облако печали от светлого чела ее.

«Устрями на себя испытующее око: чем был ты прежде и чем стал ныне, с тех пор, как прочитал вечность в божественных чертах Алкиной; сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу! Мы зреем и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совер-

шеннее постигаем женщину. Посмотри на роскошных персов: они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного — бесконечное море духовных наслаждений. У них не выбьется из сердца искра при виде богини Праксителевой; восторженная душа их не заговорит с бессмертною душою мрамора и не найдет ответных звуков. Что женщина? — Язык богов! Мы дивимся кроткому, светлому челу мужа; но не подобие богов созерцаем в нем: мы видим в нем женщину, мы дивимся в нем женщине и в ней только уже дивимся богам. Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. На нас горят ее впечатления, и чем сильнее и чем в большем объеме они отразились, тем выше и прекраснее мы становимся. Пока картина еще в голове художника и бесплотно округляется и создается — она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в осязаемость — она мужчина. Отчего же художник с таким несытым желанием стремится превратить бессмертную идею свою в грубое вещество, покорив его обыкновенным нашим чувствам? От-

того, что им управляет одно высокое чувство — выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину. И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего искусство юноши, что они ловят в бессмертной картине художника? видят ли они вещество в ней? Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея художника. Какими живыми песнями заговорят тогда духовные его струны! как ярко отзовутся в нем, как будто на призыв родины, и безвозвратно умчавшееся и неотразимо грядущее! как бесплотно обнимется душа его с божественною душою художника! Как сольются они в невыразимом духовном поцелуе! · · · Что б были высокие добродетели мужа, когда бы они не осенялись, не преображались нежными, кроткими добродетелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрение к пороку перешли бы в зверство. Отними лучи у мира — и погибнет яркое разнообразие цветов: небо и земля сольются в мрак, еще мрачнейший берегов Аида. Что та-

кое любовь? — Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где всё родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного бога, своих братьев — дотоле невыразимые землю чувства и явления — что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности...» Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: перед ними стояла Алкиноя незаметно вошедшая в продолжение их беседы. Опершись на истукан, она вся, казалось, превратилась в безмолвное внимание, и на прекрасном челе ее прорывались гордые движения богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амвросии, свободно удерживалась в воздухе; стройная, перевитая алыми лентами поножия нога, в обнаженном, ослепительном блеске, сбросив ревнивую обувь, выступила вперед и, казалось, не тро-

гала презренной земли; высокая, божественная грудь колебалась встревоженными вздохами, и полуприкрывавшая два прозрачные облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линиями на помост. Казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этот эфир облекся в видимость и стоял перед ними, освятив и обоготворив прекрасную форму человека. Небрежно откинутые назад, темные, как вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ее и лились сумрачным каскадом на блистательные плеча. Молния очей исторгала всю душу... — Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна, даже в то мгновенье, когда так чудно возродилась из пены девственных волн!.. В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки.



# Борис Годунов. Поэма Пушкина

*(Посвящается Петру Александровичу  
Плетневу)*

Книжный магазин блестел в бельэтаже \*\*\*ой улицы, лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обресе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием человеческих творений. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди, всё окидывалось легким трепетом, удвоившим пестроту картины. Сидельцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!» — отдавалось со всех сторон. «Что, батюшка, читали Бориса Годунова, нет? Ну, ничего же вы не читали хорошего» — бормотала кофейная шинель запылавшейся квадратной фигуре. «Каков Пушкин?» — сказал, быстро поворотившись, новоиспеченный гусарский корнет своему соседу, нетерпеливо разрезывавшему последние ли-

сты. — «Да, есть места удивительные!» — «Ну, вот наконец дождались и Годунова!» — «Как, Борис Годунов вышел?» «Скажите, что это такое Борис Годунов? как вам кажется новое сочинение?» — «Единственно! Единственно! еще бы некоторой картины... О, Пушкин далеко шагнул!» — «Мастерство-та, главное — мастерство; посмотрите, посмотрите, как он искусно того...» — трещал толстенькой кубик с веселыми глазками, поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое прозрачное яблоко. «Да, с большим, с большим достоинством! — твердил Сухощавый знаток, отправляя разом пол унции табаку в свое римское табакохранилище. — Конечно, есть места, которых строгая критика... Ну, знаете... еще молодость... Впрочем, произведение едва ли не первоклассное!» — «Насчет этого позвольте-с доложить, что за прочность» — присовокупил с довольным видом книгопродавец: — «ручается успешная-с выручка денег...» — «А самое-то сочинение действительно ли чувствительно написано?» — с смиренным видом заикнулся вошедший сенатский

рябчик. «И конечно чувствительно!» — подхватил книгопродавец, кинув убийственный взгляд на его истертую шинель: «если бы не чувствительно, то не разобрали бы 400 экземпляров в два часа!» Между тем лица беспрестанно менялись, выходя с довольною миною и книжкою в руках. В это самое время Элладий подошел к другу своему Поллиору, рассеянно глядевшему на жадную толпу покупателей. «Не правда ли, милый Поллиор! не правда ли, что ни с чем не можешь сравнить этого тихого восторга, напоющего душу при виде, как пламенно любимое нами великое творение неумолкно звучит и отдается сочувствием во всех сердцах, и люди, кажется, отбежавшие навеки от собственного, скрытого в самих себе, непостижимого для них мира души, насильно возвращаются в ее пределы!» Молчаливо и безмолвно пожал Поллиор ему руку. Они вышли. Но ни томительный, как слияние радости и грусти, свет луны, так дивно вызывающий из глубины души серебряный сонм видений, когда ночное небо бесплотно обнимется вдохновением и земля полна непонятной любви к нему, ни те живые чув-

ства, пробуждающиеся у нас мгновенно, когда чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов, которых окна, как бесчисленные огненные очи, кидают пламенные дороги на снежную мостовую, так странно сливающиеся с серебряным светом месяца, — ничто не в состоянии было его вывести из какой-то торжественной задумчивости; какая-то священная грусть, тихое негодование сохранялось в чертах его, как будто бы он слышал в душе своей пророчество о вечности, как будто бы душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного... «Что же ты до сих пор, — спросил его Элладий, когда они вошли в его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой, — не поверг от себя дани нашему великому творению, не принес сильного выражения — истолкователя чувств в чашу общего мнения?»

«Ты понимаешь меня, Элладий, к чему же ты предлагаешь мне этот несвязный вопрос? что мне принести? кому нужна, кто пожелает знать мои тайные движения? Часто, слушая,

как всенародно судят и толкуют о поэте, когда прения их воздымают бурю и запенившиеся уста горланят на торжищах — думаю во глубине души своей: не святотатство ли это? Не то же ли, если бы кто вздумал стремительно ворваться в площадь, где чернь кипит и суетится, исполняя обычные свои требы, и воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу? И что бы сказал я? — «Прекрасно! бесподобно, единственно!» Но выразят ли эти слова хотя одну струю безграничного океана чувств? Бессильные! они от частого повторения людьми потеряли даже бедное собственное значение. Но еще бессмысленнее, еще смешнее мне кажутся люди, которые дарят поэтов, будто чинами, жалкими эпитетами, называют их первоклассными, как будто поэты, как растения или безжизненные минералы, требуют системы, чтобы удержаться в голове. Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремится ко мне молнию огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши бога из своего беспредельного лона... что тогда? Если

бы небо, лучи, море, огни, пожирающие внутренность земли нашей, бесконечный воздух, объемлющий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы — и тогда бы я не выразил ими и десятой доли дивных явлений, совершающихся в то время в лоне невидимого меня. И что́ они все против души человека? против воплощения бога? В какие звуки, в какие светлые звуки превращается она, разрешаясь от всего, носящего образ выразимого и конечного, сильным порывом вонзаясь в безобразную грудь его! Как горит, как сохнет бранный страдальческий состав! Как дрожит, как стонет бессильное земное, пока всё не сольется в духовное море, пока потоп благодарных слез не хлынет дождем в размученную грудь, не прольет примирения между двумя враждующими природами человека. Как суетны люди, требующие отчета впечатлений, произведенных великим созданием поэта, зная наперед, что он не будет ответом на безрассудное желание их! Когда из безобразного земного черепа извлекают результат — ослепительный камень, когда из струн исторгают звуки — какой же они ре-

зультат хотят извлечь из звуков? Может быть, и исполнится это желание, только когда? Когда человек исчезнет и душа на ветхих его развалинах воздвигнется в величественном, необъятном здании».

«Итак, по-твоему, — спросил его после мгновенного молчания Элладий, — люди не должны делиться между собою впечатлениями и сообщать, как откровения, хотя неполные отчеты чувств, может быть, убедившие бы других в духовной изящности создания?»

«Нет, Элладий, нет. Кто здесь требует убеждения, тому будут бесплодны все твои попытки возму<тить> его душу. Разогни перед ним великое творение. Читайте вместе, и если дивные его буквы не ударят разом в тайные струны сердец ваших, обратив в непостижимый трепет все нервы, не брызнут ответными слезами и души ваши почувствуют разьединение — закрой книгу и не трать пустых слов. Но если встретишь ты пламенно понимающее тебя чувство — прекрасную половину прекрасной души твоей, — потребуете ли вы друг от друга отчета? К чему бы послужил он вам, когда вы так чудно сливаетесь в одно?»

И какая презренная радость сравнится с тем мгновением, когда творение разом читается в вас? Как понимаете вы его? «Боже! — часто говорю себе: — какое высокое, какое дивное наслаждение даруешь ты человеку, поселяя в одну душу ответ на жаркой вопрос другой! Как эти души быстро отыскивают друг друга, несмотря ни на какие разделяющие их бездны!»

«Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт! И когда передо мною медленно передвигается минувшее и серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне и страсти переживают<ся> сызнова в душе моей — чего бы не дал тогда, чтобы только прочесть в другом повторение всего себя?.. какими бы, казалось. Драгоценностями не искупил этого блага? «Возьмите, возьмите от меня всё, — воскликнул бы тогда с поднятыми руками к небесам, — и ниспошлите мне это понимающее меня существо. Всемогущий! зачем дал



ты мне неполную душу? или пополни ее, или возьми к себе и остальную половину».

«О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастья миру — и никто не понимал его... Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!.. И дивные картины твои блещут и раздаются всё необъятнее, всё необъятнее, всё необъятнее... И в груди моей снова муки!.. Ответные струны души гремят... Звон серебряного неба с его светлыми херувим<ам>и стремится по жилам... О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь в лоно творца, не оставя презренному телу ни одной их божественной капли...

«Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достоинства, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ни-

чтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть оболъется оно немолчным ядом, вопьется миллионами жал в невидимого меня, неугасимым пламенем упреков обовьет душу и раздастся по мне тем пронзительным воплем, от которого бы изныли все суставы и сама бы бессмертная душа застонала, возвратившись безответным эхом в свою пустыню... Но нет! оно как творец, как благодать! ему ли пламенеть казнью? Оно обнимет снова морем светлых лучей и звуков душу и слезою примирения задрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!..

»

## О поэзии Козлова\*

Светлый, полный — раздольное море жизни — мир древних греков не властен был дать направление поэзии Козлова. Когда весь блеск, всё разнообразие постоянно светлой, в бесчисленных формах проявляющейся жизни природы слились для него в одну ужасную единицу — в мрак, — могла ли душа жить прежними ясными явлениями? Как будто в исступлении, как будто подавляемая горестью, с порывом, с немолчною жаждою — торжествовать, возвыситься над собственным несчастьем, она искала другой встречи и в изумлении остановилась пред Байроном, так чудно обхватившим гигантскою мрачною душою всю жизнь мира и так дерзостно посмеявшимся над нею, может быть от бессилия передать ее индивидуальную светлость и величие. Душе нашего поэта желалось обвиться около этой гордо-одинокой души, исполински замышлявшей заключить в себе в замену отвергнутого собственный, ею же созданный, нестройный и чудный мир и, обвинившись около нее, горько улыбнуться уже не су-

ществующей для нее прежней Илиаде жизни. Кроткое христианское величие веры, так доступное человеку в то страшное мгновение перерождения его, — проникло и облекло чистым сиянием своим всё полученное им в сообществе с душою этого исполина, с которым меряться не имел он достаточных сил, и сообщило ему индивидуальность, без которой он был бы только бессильным подражателем. Но даже и в тихом порыве религиозной души своей, когда благословляет он тяжкий крест несчастий, вырывается у него скорбь, какое-то, можно сказать, даже злобное наслаждение души собственными муками. Он сильно дает чувствовать все великие, горькие траты сво<и>, часто собирает в один момент всё исчезнувшее, живо представляет его во всем ослепительном блеске, чтобы показать вместе, чего стоит ему позабыть и удалить мысль о нем. Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки: зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Они

могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не любовался ими, но верно и сильно сохранил об них воспоминание, которое росло и увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке. Но и в сих созданиях, в которых кажется он стремится позабыть всё грустное, касающееся собственной души, и ловит невидимыми очами видимую природу, и здесь, и под цветами горит тихая печаль. Он весь в себе. Весь нераздельный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него. Иногда стремление его центробежно и будто хочет разлиться во внешнем, но для того только, чтобы снова с большею силою устремиться к своему центру, самому себе, как будто угадывая, что там только его жизнь, что там только найдет ответ себе. Если он долго останавливается на внешнем каком-нибудь предмете, он уже лишает его индивидуальности, он проявляет уже в нем самого себя, видит и развивает в нем мир собственной души. Мне кажутся и донныне странными замечания и упреки многих Козлову, что в поэмах у него вечное торжество и однообразие жизни, что

лица его не имеют полной романической отделки и не живут собственной жизнью, что «Безумная» нимало не похожа на русскую крестьянку, словом, требуют от Козлова того, чего только вправе мы требовать от Пушкина, забывая, что для Козлова полная разнообразия внешняя жизнь не существует, что весь мир его сосредоточился в нем самом и его одного силен он следить в многообразных изменениях. А лица и герои у него только образы, условные знаки, в которые облекает он явления души своей. Что обнять во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь — удел гения всемирного и что наконец Козлов относится к Пушкину так, как часть к целому. Поэт понимает всё достоинство последнего. Оно лестнее жаркой душе его и кадил и безотчетных хвал. И для кого не блистательна, кому незавидна участь: быть частью необъятного Пушкина!![13]

## О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году\*

**Ж**урнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход всё выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы в обоих смыслах мертвым капиталом. Она — быстрый, своенравный обмен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностью литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не толковали бы, не судили, не говорили. Итак, журнальная литература во всяком случае

имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились, другие тянулись медленно и вяло; новых, кроме Библиотеки для чтения и впоследствии Московского наблюдателя, не показалось, между тем, как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи, и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она, такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудость, и постный вид наших журналов: Телеграф давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение, в отношении журналов петербургских. Телескоп наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это вре-



мя книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностью и добросовестностью, который один только, к стыду прочих недалёкозорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, книгопродавец Смирдин решился издавать журнал обширный, энциклопедической, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности г-н Сенковский взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактором г-н Греч, известный уже постоянным изданием двух журналов: Северной пчелы и Сына отечества. Не знаем, сами ли они взялись за сие дело или упрощены были г-ном Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множество литераторов, он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важ-

ном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякой журналист. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли *одного*, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны всё, чего публика вправе была *от него* требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необыкновенною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного числа осьмна-

дцати листов в месяц, выходило иногда вдвое более. Теперь рассмотрим, исполнили ли долги, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. — Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г-н Сенковский. Имя г-на Греча выставлено было только для формы, по крайней мере никакого действия не было заметно с его стороны. Г-н Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предпринимаемого периодического издания: так обыкновенно почтенного пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы. Но какая цель была редакции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г-н Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он вошел незаметно в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

Впрочем нельзя жаловаться и на это: положим, для журналиста необходим резкий тон и некоторая даже дерзость (чего однако ж мы

не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда выигрывают в мнении толпы), но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, какая мысль его пересиливала все прочие, к чему направлено было его пристрастие, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным, которые дают ему оригинальность и определяют его физиогномию?

Прочитавши всё, помещенное им в этом журнале, следуя за всеми словами, сказанными им, невольно остановимся в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, который трудится до поту лица, не только заботится о своих статьях, но даже переправляет чужие, одним словом, является неутомимым. Для чего же вся эта деятельность? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений и скажем несколько слов о главных качествах его статей. Это во всех отношениях необходимо.

Г-н Сенковский является в журнале своем как критик, как повествователь, как ученый,

как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч., является в виде Брамбеуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Белкина, наконец в собственном виде. Как ученый, г-н Сенковский поместил довольно большую статью о сагах, статью, исполненную ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории. Эти саги, которые пронизательный Шлецер, не имеющий доныне равного по строгому и глубокому критическому взгляду, признал за басни, недостойные никакого внимания, эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критикою: он вовсе не определил их истинного и единственного достоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям, а г-н Булгарин даже написал рецензию, в которой поставил г-на Сенковского выше Шлецера, Гумбольта и всех когда-либо существовавших ученых. Другое весьма важное притязание г.

Сенковского и настоящий конек его есть Восток. Здесь он всегда возвышал голос, и как только выходило какое-нибудь сочинение о Востоке или упоминалось где-нибудь о Востоке, хотя бы даже это было в стихотворении, он гневался и утверждал, что автор не может судить и не должен судить о Востоке, что он не знает Востока. Слово, сказанное с сердцем, очень извинительно в человеке, влюбленном в свой предмет и который между тем видит, как мало понимают его другие; но этот человек уже должен по крайней мере утвердить за собою авторитет. Г-ну Сенковскому точно следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо, когда его суждения так легковесны и проникнуты духом нетерпимости; а из некоторых его отрывков о Востоке видны те же самые недостатки, которые он беспрестанно порицает у других. Ничего нового не сказал он в них о Востоке, ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального предположения! Нельзя отвергать, чтобы г-н Сенковский не имел сведений; напротив, очень видно, что он много читал, но у

него нигде не заметно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его к какой-нибудь цели. Все эти сведения находятся у него в каком-то брожении, друг другу противоречат, между собой не уживаются. Рассмотрим его мнения, относящиеся собственно к текущей изящной литературе. В критике г-н Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет *ни положительного, ни отрицательного вкуса*, — *вовсе никакого*. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил г-на Кукольника наряду с Гёте\*, и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось. Стало быть, у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто следствие расположения духа и обстоятельств. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном\*. И это читала Россия, это говорилось людям уже обра-

зованным, уже читавшим Вальтер Скотта. Можно быть уверену, что г-н Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости; потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей.

В разборах и критиках г-н Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства. Критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничивалась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оно выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г-н Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится



некоторым читателям. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный*\*, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слого. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное *i*, который впоследствии еще не так давно поддерживал один профессор. Книга, в которой г-н Сенковекый встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное, являлись под фирмою Брамбуса. Эти повести и статьи вроде повестей, своим близким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским, произвели всеобщее изумление, потому что г. Сенковский оуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих чи-

тателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения Б<арона> Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как-то: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные. Та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя Б<иблиотеки> для ч<тения>. Мы почти нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в Библиотеке для чтения и что мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродав-

цем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В Библиотеке находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была смесь, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, — повести и прочее, — оказывала очень мало вкуса и выбора. В Библиотеке для чтения случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас, — говорит он, — в Библиотеке для чтения, не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значитель-

но улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не означая какие. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. Библиотеку уже менее читали в столицах, но всё так же много в провинциях, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

Северная пчела заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г-н Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положен-

ное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякой всё, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В Северной пчеле пробовали остроуту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами, без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось довольно удалства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту. Насчет неопрятных изданий являлись остроумные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такую оговоркою: «Впрочем желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требует хорошего издания», и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же

самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и проч.; сии известия иногда довольно остроумны и в шутках своих показывали ловких, и хорошо воспитанных людей, без сомнения, имевших основательные причины быть довольными фабрикантами. Впрочем от Сев<ерной> пчелы больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название Сына отечества и Северного архива, был почти невидимкою во всё время. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то, что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обертке, какую вряд ли где можно было встретить. В Сыне отечества (говорила программа) будет археология, медицина, правописание, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец просто словесность, география, этнография, историческая галле-

рея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это огромное энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьей о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости политические были те же сухие факты, взятые из Северной пчелы, следственно уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов гг. Булгарина и Греча стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. Однако ж журнал существовал, стало быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущие в провинциях, которым что-нибудь почитать так же необходимо, как заснуть часик

после обеда или выбриться два раза в неделю.

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений, не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имевшая особенный характер. Название этой газеты: Литературные прибавления к Инвалиду. В ней помещались легонькие повести: беседы деревенских помещиков о литературе, беседы, часто довольно обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель к изумлению своему видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание не длиннее строчки с восклицательным



знаком. Г-н Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частью мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохлажденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того, чтобы иногда в нее заглянуть.

В Москве издавался один только Телескоп, с небольшими листками прибавления, под именем Молвы; журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная Библиотекою для чтения, не могла не задеть за живое других журналов. Но Северная пчела была издаваема тем же самым г-ном Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в Библиотеке как главного ее редактора, хотя

это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что Северная пчела должна была хвалить всё, помещаемое в Библиотеке, и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. Сын отечества должен был повторять слова Пчелы. Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений. Г-н Воейков показал в Литературных прибавлениях что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроте, выраженных отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала. Телескоп в соединении с Молвою действовал против Библиотеки для чтения, но действовал слабо,

без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливица, шутил над баронством г-на Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел дела во всей ясности. В Молве повторялись те же намеки на Брамбеуса часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения. Кроме того, Телескоп много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностью издания, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к Библиотеке для чтения, которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в соображение, что Библиотека для чтения имела около пяти тысяч подписчиков, что мнения Библиотеки для чтения разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существуют ли Телескоп и Литературные прибавления, что мне-

ния и сочинения, помещаемые в Библиотеке для чтения, были расхвалены издателями той же Библиотеки для чтения, скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики; ибо то, что смешно для читателей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких по количеству подписчиков можно предполагать более между читателями Библиотеки, и к тому же большая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следовательно принимавшие всё за чистую истину; что наконец Библиотека для чтения имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземплярах Сев<ерной> пчелы.

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, т. е. для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых Библиотекою. Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь уют для своих мнений, ибо Б<ибблиотека>

д<ля> ч<тения> не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядителя, ибо г-н Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в Библиотеку. Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и всё это делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

Всё это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям.

Но уже один слух о новом журнале возбудил негодование Библиотеки для чтения и подвинул ее к неожиданному поступку: она уверяла своих читателей и подписчиков с необыкновенным жаром, что новый журнал будет бранчивый и неблагонамеренный. Ста-

тъя, помещенная по этому же случаю в Северной пчеле, казалось, была писана человеком, в отчаянии предвидевшим свою конечную гибель. В ней уведомляли публику, что новый журнал хотел уронить Библиотеку для чтения, потому только, что издатели оно объявили, что будут выпускать таковое же число листов, как и Б<ибблиотека> д<ля> ч<те-ния>. Поступок чрезвычайно неосмотрительный! В подобном деле необходимо скрыть свои мелкие чувства искусно и потом, выждав удобный случай, нанести обдуманый удар. Если я издаю журнал, зачем же не издавать его и другому? И как могу гневаться, если другой скажет, что он будет брать меня в образец? Не должен ли я, напротив, его благодарить? Не показывает ли он тем степень уважения, мною заслуженного в публике? Чем больше соревнования, тем больше выигрыша для читателей и для литераторов.

Но рассмотрим, в какой степени Москов<ский> набл<юдатель> выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение Библиотеки для чтения.

Новый журнал, несмотря на ревностное старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — Северная пчела и Библиотека для чтения, которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следовательно не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки, наконец он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В Московском наблюдателе тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе.

Литературные мнения его были неизвестны. В этом состояла большая ошибка издателей Московского наблюдателя. Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его, основывается весь кредит журнала. Но г-н Андросов явился в Московском наблюдателе вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было постановить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и Московский наблюдатель стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывают в присутствии, между тем, как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей, его украсили стихи Языкова и Баратынского — эти перлы русской поэзии, но при всем том в журна-



ле не было заметно никакой современной живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике. Статьи часто хорошие делались скучными, потому только, что они тянулись из одного номера в другой с несносною подписью: «продолжение впереди». Вот каков был журнал, долженствовавший бороться с Библиотекой для чтения.

Наблюдатель начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых: он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна од-

ним литераторам, нанесла досаду Библиотеке для чтения, но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г-ну Шевыреву на бедных покупателей, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину, который вовсе не

виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет спора, что он дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательно. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недалёкого чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г-н Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. Библиотека отвечала коротко в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, т. е. к подписчикам, она говорила: «Вот какое неблагородство духа показал г-н Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для денег, тогда как» и проч... Это обыкновенная политика петербургских журналов и газет. Как только кто-

нибудь сделает им упрек в корыстолюбии и в бездействии, они всегда жалуются публике на неприличие выражений и неблагородство духа своих противников, говорят, что статья эта писана с целию только поддеть публику и забрать от читателей деньги, что они почитают с своей стороны священным долгом предупредить публику.

Итак, выходка Московского наблюдателя скользнула по Библиотеке для чтения, как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, Московский наблюдатель замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог Наблюдатель дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным Телеграф, действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. Наблюдатель выпустил вслед за тем несколько номеров, но ни в одном из них не сказал ничего в защиту и подкрепле-

ние своих мнений. Через несколько нумеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в Библиотеке статьи, под именем: «Брамбеус и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя, или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но всё же с некоторою застенчивостию, и после сами старались всё это как-нибудь загрести собственными руками, чувствуя, что несколько провинились. Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть замеченною. Ею занялся и Телескоп и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь; с обыкновенною сметливостию о ней намекнул и г-н Воейков; она возродила статью и в Московском наблюдателе. Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и

знаменитость? какими творениями чужих хозяев пользовался, как своим? другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат? Несколько безгласных книжек, выходявших вслед за тем, совершенно погрузили М<sup>осковского</sup> наблюдателя в забвение. Даже самая Библиотека для чтения перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике; продолжала шутить над важным и неважным и говорить всё то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту; какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Извещение о том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множе-

ство помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывает в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. Телеграф издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматерелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожил, классиков; Московский вестник, один из лучших журналов, несмотря на то, что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыщите. Развернувши их, будете поражены мелкостью предметов, вызвавших толки их. Подумаете, что решительно ни одного важного события не произошло в литературном мире. А

между тем:

1) Умер знаменитый шотландец, великий дееписатель сердца, природы и жизни; полнейший, обширнейший гений XIX века.

2) В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнующийся вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира. Пусть эти явления будут всемирно-европейские, хотя они отражались и в России; рассмотрим литературные события чисто русские:

3) Распространилось в большой степени чтение романов, холодных, скучных повестей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии.

4) Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин, гласно требовавшие своего определения и настоящей верной оценки так, как и все прочие старые писатели наши, ибо в литературном мире нет смерти, и мертвецы так



же вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые. Они требовали возвращения того, что действительно им следует; они требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного в продолжение нескольких лет и повторяемого донныне.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгим размышлением, что такое был Вальтер Скотт, в чем состояло влияние его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер? Отчего поэзия заменилась прозаическими сочинениями? На какой степени образования стоит русская публика и что такое русская публика? В чем состоит оригинальность и свойство наших писателей?

Напрасно в этом отношении читатель станет искать в них новых мыслей или каких-нибудь следов глубокого, добросовестного изучения. Вальтер Скотта у нас только побили. Французскую литературу одни приняли с детским энтузиазмом, утверждали, что

модные писатели проникнули тайны сердца человеческого, дотоле сокровенные для Сервантеса, для Шекспира... другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы еще с большими несообразностями. Вопросом: отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести? вовсе не занялись, а вместо того вдобавок напустили и своих еще собственных. О нашей публике сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на все журналы и разные издания, ибо их может читать и отец семейства, и купец, и воин, и литератор; о Державине, Карамзине и Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный учитель своему ученику, и отделались пошлыми фразами.

О чем же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на всё другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их

равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания.

В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышенно-образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своем слове. Журнальная критика по большей части была каким-то гаэрством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и таком-то отношении, совсем нет. «Это книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в биб-

лиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра».

Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те, которые попали в перво-классные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в недоумение. Та же самая неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их

приметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует. Это литературное невежество распространяется особенно между молодыми рецензентами, так, что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей, уже упрочивших свою славу, и писателей, еще требующих ее, сделались совершенною игрушкою. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и всё это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустей-

шей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить — итак, подавай нам Шекспира. Говорит он: «С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру», а между тем разбираемая книга чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, расстроенной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностью. В нем видна

живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задевает за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева, как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен; мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щегольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностью, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: сей и оный. Вот до чего дошла наконец русская критика!

Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые еще не так дав-

но издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?

Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетическое чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода. Корифеев ее было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отлились совершенно в особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они за-



ключают в себе чисто русские элементы: и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заклучим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и при большем количестве журналов явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей щели. По крайней мере заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели Сына отечества, издатель Телескопа заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большем старании невозможно было сделать большего. По крайней мере, со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностию.

# Петербургские записки 1836 года\*

## I.

**В** самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Странный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. «На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаз на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкою и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки... Хорошо еще, что стрелю летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя! Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как рас-

ширилась старая Москва! Какая она нечесанная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной малый, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом.

Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве всё невесты, в Петербурге всё женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких рез-

ких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на всё глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане; она не любит середины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч. и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы прожи-

ваются, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывал, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и магазины и ловит мелких покупателей. Москва говорит: «коли нужно покупщику, същует»; Петербург сует вывеску под самый нос,

подкапывается под ваш пол с «Ренским погребом» и ставит извозничью биржу в самые двери вашего дома. Москва не смотрит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстуки и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостинный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусицей; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но —

*Дистанция огромного размера!..*

## II.

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отделены: аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы — все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других.

И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников: молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не опустится начальник отделения. Столоначальник с своей стороны подымает свою прическу несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два от-

дельные круга. Учителя составляют свой круг, актеры свой круг; даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провести время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печальями, — нужно быть одним из тех, которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ в награду за их деятельность решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки; обращусь к тем увеселениям, после которых долее остается воспоминание и



которые приемлются всеми классами. Театр, концерт — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера — царь и царица петербургского театра. Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величая трагедия, вдыхающая невольно высокие, ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы, что есть комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия, строго обдуманная, производящая глубиной своей иронии смех, не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою остротою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторгается невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены бале-

том и оперой... На драматической сцене являлись мелодрама и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешны французы, вздумав подделаться под русских мужиков; а сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах — каковы они? А водевили?.. Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней руки, благо смешлив. Кто бы мог думать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно, странно потому, что эта легкая, бесцветная игрушка могла родиться только у французов, нации, не имеющей в характере своем глубокой, неподвижной физиономии; но когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться петиметром... мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не зная на

ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки à jour, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле.

Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы — ну кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!.. Клянусь, XIX век будет стыдиться за эти пять лет. О, Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их; ты, строгий, осмотрительный Лессинг, и ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом

свете выказавший достоинство человека! взгляните, что делается после вас на нашей сцене; посмотрите, какое странное чудовище под видом мелодрамы забралось между нас! Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта течет во всем своем разливе, со всею стройностью, чистая как зеркало, отражая с одинаковою ясностью и темные и светлые облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

Странное сделалось сюжетом нынешней

драмы. Всё дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделись сыны палящей Африки. Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель расстроенный, в слезах; напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо садился он в карету и долго не мог собрать и образить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелища! Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые собирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его! Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы

или, лучше, календарь, в котором записаны с календарною холодностию все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумавший искать нашего общества в наших мелодрамах.

Не удивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением: в них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лет пред сим равнодушно глядела публика, «Семирамида» в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя», и говорить нечего: он поня-

тен и известен уже целой России. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны для самих музыкантов: в музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти — не житейские страсти; музыка иногда только выражает или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей, для того чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распространяется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в «Жизни за царя», «Роберте», «Норме», «Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой

земле европейского просвещения, где около нас говорили всё непонятным языком и мелькали всё незнакомые люди, возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Руси. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Всё дорожное: дворянство и недворянство — летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пицаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы?



Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк: у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки.

Петербургские балеты блестят. Кстати о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет в ряд с его постановкой; балетные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях, одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий — у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный — у

другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый — у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, проводивший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостью, творец балета может брать из них сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый.

Петербург — большой охотник до театра.

Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками поднимающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александрийского театра: вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудь раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстуке, но без шапки, — до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо-русский герой, потеряв наконец терпение, доходит, к необыкновенному изумлению, по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается на наших театрах? — какие-нибудь мелодрамы и водевили!.. Сердит я на мелодрамы и воде-

вили.

Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться таланту? Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц... Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем: не личность ли это? потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзажа, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигурантов, отплясывающих пред зрителем.

лями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник даже скажет: «Как же это? у меня есть родственник надворный советник, прекрасный человек! как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить всё сословие! И такая раздражительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», — только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку в роде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где,

при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною своего народонаселения летает на качелях, мчится как вихорь с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами; когда спектакли даются и днем и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов...

Спокоен и грозен великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о

литературе, о наградах, о театре.

Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот звуков раздается под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.

В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшею суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда, только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие

всё в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте...

— К чему так быстро летит ничем незамеченное наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост, какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь, наконец, займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение; но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже середина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усато-



го грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столах сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркала мне казались противны. Народ всё так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два, и три, и несколько лет; — а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суворее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиц Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная — всё получило картинный вид. Дымясь влетел первый пароход. Первые лодки с чиновника-

ми, солдатами, старухами-няньками, английскими конторщиками понесли с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда вошел я на Адмиралтейский бульвар, — это было накануне светлого воскресения вечером, — когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась перед мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блеснул один только шпиг Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, — мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где всё знаю и где то, чего нет в Петербурге... Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается с своим яликом у

берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.

Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова воскресенья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угольном балагане, на котором нарисован был пребольшей рыжий чорт с топором в руке. Больше я ничего не видел.

Светлым воскресеньем, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что всё, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после светлого воскресенья — больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед великим постом, или, лучше сказать, гости, которые расходят-

ся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою зевающий рот свой. Город весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены в одних сюртучках с разными палками; вместо громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов, вместо шерстяных чулков, глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце Петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция... Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские дома...

## Рецензии из «Современника»

### Исторические афоризмы Михайла Погодина\*

**М**осква, Универс. тип. 1836 (8), VIII и 128  
стр.

Г-н Погодин во многих отношениях есть лицо примечательное в нашей литературе. Он уединенно стоит среди писателей наших, не привлекая благорасположения большинства. Но из всех, посвятивших себя истории, он более всего останавливает на себе внимание. Он первый у нас сказал, что «история должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека чрез все степени его возраста»; что «многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысячелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки». Он первый говорил о великих писателях, указавших в творениях своих на истинное значение истории. Он переводил из них отрывки для своего журнала; наконец он многих из них перевел

вполне, почти не заботясь о том, что важность их еще мало у нас чувствовали. Вот реестр изданных им сочинений: Исследование о Кирилле и Мефодии, Иосифа Добровского О жилищах древних руссов, собственное сочинение. Критические исследования Эверса. Начертание древней географии, собств. соч. Лекции по Герену. Начертание всеобщей истории, Бетигера. Введение в историю для детей, А. Шлецера. Русская история для училищ. Карты Европы, Риттера. Гец Фон Берлихинген, соч. Гёте. Марфа Посадница, драма. Дмитрий Самозванец, история в лицах. Славянская грамматика, Добровского, переведенная вместе с г. Шевыревым.

Кроме того, издавал он: Московский вестник за 1827, 1828, 1829 и 1830 год. Уранию, альманах на 1826.

В его исторических критиках видно много ума, обдуманная умеренность, иногда юношеский порыв вслед за собственной мыслию.

Изданная ныне книжка заключает отдельные мысли и замечания, записанные им в разное время. Эти мысли помещены без всякого порядка; выражены не всегда ясно. Но в

них ощутительно стремление к общим идеям. Границы, им начертанные для истории, обширны. Он заключает ее не в одних явлениях политических; он видит ее в торговле, в литературе, в религии, в художественном развитии, во всех многообразных явлениях, в каких оказывается человечество. Вот его мысли об истории вообще:

«Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории».

«История для нас есть еще поэма на иностранном языке, которого мы не понимаем, и только чаем значение некоторых слов, много-много эпизодов. А сколько мест искаженных в нашей рукописи от невежества, ограниченности переписчиков! Историю надо восстанавливать (*restaurare*), как статую, найденную в развалинах Афин, как текст *Виргилиев* в монастырском списке».

«Представьте себе (я требую возможного только в воображении), что человек, не имеющий понятия о музыке, но одаренный от

природы всеми способностями, чтоб чувствовать и понимать ее, получает партитуру какой-нибудь огромной оратории и все музыкальные инструменты, на коих она может быть разыграна, с голым известием, что условными знаками, им видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данных инструментах. Он хочет по сим двум данным представить себе исполнение (exécution) сего великого музыкального произведения. Ему должно, во-первых, испытать все инструменты и узнать все их возможные звуки, переменить их и привести в порядок свои новые ноты, отыскать посредством соображений, опытов, отношение своих нот к данным (как бы посредством фальшивого арифметического правила), узнать таким образом, какой звук и на каком инструменте тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуру по частям и проч. и проч. Сколько усилий ума потребно, чтоб попасть на сии средства, сколько потребно труда, чтоб воспользоваться сими средствами! Целые поколения прейдут, пока наконец внуку внуков удастся достигнуть отдаленной це-



ли прародителя и насладиться божественною гармониею». «Труднейшая задача задается историку: он сам должен ловить все звуки (летописи, Несторы, Григории Турские), отличить фальшивые от верных (историческая критика, — Шлецеры, Круги), незначительные от важных, сложить в одну кучу (истории, собрания деяний, — Роллени), разобрать сии кучи по родам истории (частные истории религии, торговли, — Герены), провидеть, что в сей куче и кучах должна быть система, какой-нибудь порядок, гармония (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно а priori (Шеллинги), делать опыты, как найти сию систему (Асты, Штуцманы), наконец найти ее и прочесть историю так, как глухой Бетховен читал партитуры».

В империи Византийской г-н Погодин видит продолжение истории древней Греции. Гений Платона, Аристотеля воскресает в Иоанне Златоусте и Григории Назианзине.

Францию он полагает родником всего общественного, гражданского и политического, землей, где совершается вечный опыт. Подведенные в подтверждение события доказыва-

ют большую наблюдательность. У франков, говорит он, прежде всего была принята христианская католическая религия и раньше сделалась государственною; у франков прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франк Карл Великий первый возвысил папу; отозвавши папу в Авинион, Франция была отчасти виною его падения; во Франции были первые попытки противу папской власти (альбийцы); рыцарство развилось блистательнее во Франции; крестовый поход был подвинут французом, Амиенским пустынноиком; разрушенный феодализм прежде всего организовался в самодержавие во Франции; постоянные войска начались во Франции; постоянные налоги и королевский суд во Франции; идея о равновесии истекла из войн италийских, порожденных Францией; учреждение посольств, политические журналы, кофейные дома, энциклопедия, язык, мода, карты — всё родилось во Франции. Общественное мнение нигде так не сильно, как во Франции; Франция остановила революции своим ужасным примером; виною нынешнего тесного соединения европей-

ских держав между собою есть Франция и ее Наполеон.

Многие афоризмы суть только сближения сходных и противоположных происшествий, совершившихся в разных углах мира или на одной и той же земле; сближение отдаленной, почти сокровенной причины с ее колоссальными следствиями, отозвавшимися чрез несколько веков, всегда разительно. Другие афоризмы суть только вопросы на вопросы. Везде видишь человека, обладаемого величием своего предмета. Это благоговейное изумление дышит на каждой странице. Иногда, пораженный бесконечностью науки, он как будто чувствует бессилие духа и восклицает: «Как же мудрено распознать, отчего что происходит, что к чему клонится! Как переплетаются причины и следствия! Повторяю вопрос: можно ли представить историю? Где форма для нее? Историю вполне можно только чувствовать».

Читатель обыкновенный небрежно и рассеянно взглянет на эту книгу и, отыскав две-три незначительные мысли, дурно выраженные, может быть, посмеется над нею с дет-

ским легкомыслием; но читатель, в душе которого горит пламень любви к науке, а мысль постигает глубокое значение ее, прочтет эти страницы с соучастием, проникнется благодарностью за оживленные в душе его размышления и скажет: этот человек видел и чувствовал в истории то, что не всякому дано видеть и чувствовать.

### **Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь\***

**С**очинение Я. Озерецковского. С.-П.-бург, 1836, в тип. Н. Греча, в 12 д. л., 54 стр.

Несколько занимательных замечаний о северной природе. Желательно было бы слышать более о сем угрюмом и знаменитом в наших летописях монастыре, где древле томились в заточении наши опальные патриархи и святители.

### **Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 год, И. Р.\***

**А**ртиллерии подполковника И. Р... Москва, 1835-1836 г., в 8 д. Четыре части. Стр. 296-348-354-375.

Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер

принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны; всё наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка; даже постой русского офицера на немецкой квартире составлял уже роман. Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случилось с ними, как с людьми частными, почитают они слишком неважным, и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя; но всё в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума.

**Письма леди Рондо, супруги  
английского министра при российском**

## **дворе в царствование императрицы Анны Ивановны\***

**П**еревел с английского М. К. С.-П.-бург, в тип. III отделения собственной е. и в. канцелярии, 1836, в 8, стр. 128.

Книжка замечательная. Леди Рондо пишет к приятельнице своей о себе, о своих чувствах, о том, что занимательно для нее одной, но мимоходом задевает и историю. Несколько беглых слов о Петре II, об императрице Анне Ивановне, о Бироне прибавляют новые черты к их портретам.

## **Путешествие вокруг света\***

**П**утешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картере, Бугенвилля, Кука, Лаперуза, Блейга, Ванкувера, Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Портера, Коцебу, Фрейсине, Беллингсгаузена, Галля, Дюперре, Польдинга, Бичи, Дюмон-Дюрвиля, Литке, Диллона, Лапласа, Мореля и пр., издано под руководством Дюмон-Дюрвиля, капитана Французского королевского флота, с картами и многочисленным собранием изображений,

*Гравированных на меди, с рисунков известного г. Сенсона, рисовальщика, совершившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем. Издание А. Плюшара. Часть первая, С.-П.-бург. 1836, в тип. А. Плюшара, в 4.*

Есть книги, пишущиеся для того общества, которое нужно как детей заохочивать и принуждать к чтению. В этом случае бескорыстнее действовали англичане, которые, при всей народной гордости, отличаются своею филантропией, составляют общества для распространения нравственности, воздержания и проч., издают и распускают по свету безденежно, или по чрезвычайно низкой цене, множество полезных книг для народа. Что изобретет англичанин, то углубит, расширит и разнесет по всему свету француз. Едва появилось во Франции одно дешевое издание, как уже на другой год нахлынул потоп дешевых изданий. Еще не успеет Европа получить одно, как является другое. К числу множества таких изданий принадлежит и вышеозначенное. Оно замечательнее других потому, что полезнее. Это свод всех путешествий, изображение всего мира в его нынешнем географи-

ческом, статистическом и физическом состоянии, словом, книга, более всего находящая себе читателей, потому что путешествие и рассказы путешествий более всего действуют на развивающийся ум. Сведения, принесенные новейшими путешественниками, в этой книге вложены в уста одного. Быть может, слишком взыскательному читателю станет досадно при мысли, что всё это рассказывает ему человек не существующий: свежесть впечатлений, сохраняемых очевидцем, ничем незаменима. Язык перевода ясен и жив. Картинки очень хороши. В месяц выходит довольно большая тетрадь в 4, печатанная в два столбца. В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он выдал уже один том; если выйдут остальные пять, то и его издание будет дешевое.

**Атлас к космографии, изд. Ободовским\***

**И**зд. Ободовским, СПб. 1836, в 2. XVI черт-жей.

Атлас этот принадлежит к вышедшей за два года пред сим космографии г. Ободовского.

**Мое новоселье. Альманах на 1836 год, В.**



## Крыловского\*

**А**льманах на 1836 год, В. Крыловского. СПб., в тип. издателя, 206 стр.

Это альманах! Какое странное чувство находит, когда глядим на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою тощего мяукающего кота. Альманах! Когда-то Дельви́г издавал благоуханный свой альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова. Теперь всё новое, никого не узнаешь: другие люди, другие лица. В оглавлении, приложенном к началу, стоят имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловского, Грена; кроме того, написали еще стихи буква С., буква Ш., буква Щ. Читаем стихи — подобные стихи бывали и в прежнее время; по крайней мере в них всё было ровнее, текучее, сочинители лепетали вслед за талантами. Грустно по старым временам!..

## Сорок одна повесть лучших иностранных писателей\*

**С**орок одна повесть лучших иностранных писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха,

доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Люка, Сентина, Тика, Цшоке, Ф. Шаля и других); изданы Николаем Надеждиным. Москва, в типогр. Степанова, 1836, в 12, двенадцать частей, стр. 287-261-259-287-275-276-262-263-227-246-251-236.

Повести, печатанные в разных номерах Телескопа. Издатель, выбрав их оттуда, выпустил отдельными книжками и хорошо сделал. Здесь им лучше, нежели там. Собранные вместе, они представляют действительно что-то разнообразное. Их развезут по первой зимней дороге русские разносчики во все отдаленные города и деревни; они приятно займут в долгие вечера и ночи наших уездных барышень, по крайней мере приятнее, нежели наши самодельные романы.

## Рецензии, не вошедшие в «Современник»

### Летописи русской славы\*

< *Летописи русской славы со времен воцарения на русском престоле благословенного Дома Романовых. С.-П.-бург 1836, в тип. Хр. Гинце, в 16, 87 стр. с портретами.* >

Памятная книжка в роде календаря, в котором под каждым числом каждого месяца означено событие случившихся в тот день сражений и все подвиги нашего победоносного войска. При ней находятся портреты императоров и великих генералов.

### Детский Карамзин\*

< *Детский Карамзин, или Русская история в картинках, издаваемая Андреем Прево, комиссионером Общества поощрения художеств, выходит тетрадами. С.-П.-бург, в тип. Гинце, 1836, в 8 д. л.* >

Издается периодически, в месяц до двух тетрадей. Литография незавидная, но для детей годится.

### Русские классики. Часть 1. Кантемир\*

<\* Русские классики. Часть 1. Кантемир.  
1836. СПб., в тип. Гинце. Выходит  
небольшими тетрадями.>

Намерение очень хорошее — издать Кантемира и других старых писателей наших. Но издается это очень странно: в месяц выходит один или два печатных листа. За эти два листа и за обертку к ним, в которой читателю решительно нет никакой надоб<ности>, читатель платит рубль. Довольно дорого и неудобно. Дорого потому, что небольшой томик Кантемира будет стоить гораздо дороже десяти рублей. Неудобно потому, что у нас не привыкли к такому мелкому расчету, и всякой будет ожидать лучше всей книги, чтобы куп<ить>. На тетрадки обыкновенно разлагаются в Европе огромные издания, для того чтобы облегчить взнос денег для читателей, которые NB все почти люди бедные. Притом ливрезоны, выпускаемые французами, никогда не издаются по одному листу, но за 1 рубль они представляют такое количество букв, какого не составит весь Кантемир. Плюшар издает «Путешествие вокруг света» Дюмон Дюрвиля. В месяц выходит тетрадь из 10 пе-

чатных листов довольно густой печати; при них множество картинок и вся тетрадь обходится по два рубли. Это можно назвать у нас дешевым.

Притом издатели очень делят это издание. Кантемир, которого можно отпечатать всего в две недели, будет печататься полгода; кому охота каждый месяц ждать одного печатного листа?

### **История поэзии С. Шевырева\***

<\* **И**стория поэзии. Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. Том первый, содержащий в себе Историю поэзии индейцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о характере образования и поэзии главных народов новой Западной Европы. Москва, в тип. Семена, 1835 в 8, стр. III — 333.>

Замечательное явление в нашей литературе. В первый раз является наш русский оригинальный курс Истории всемирной поэзии. Курс, написанный мыслящим, исполненным критического ума писателем. Из всех доселе писателей наших, преимущественно занимавшихся кри<тикою>, бесспорно Шевы-

рев первый, которого имя останется в летописях нашей литературы. В следующем томе поместим обстоятельный разбор этого важного сочинения.

### Он и она\*

<Он и она. Роман. Москва, в тип. Селивановского. 1836, в 12, 4 части, 169-170-182-163 стр.>

Романы в нашей литературе завелись теперь трех родов: романы пятнадцатирублевые, всегда почти толстые, длинные, солидные, в 4 частях по 300 страниц в каждой, другие романы средней руки, романы восьми- и шестьюрублевые, тоже иногда в четырех частях, но бывают и в двух. В этих частях бывает уже только по 160 страниц, а иногда и меньше. Этого сорта дешевые романы пишутся обыкновенно людьми молодыми; в них много романтического, не бывает недостатка в восклицаниях, и чрезвычайно много точек. Наконец следуют романы пяти- и четырехрублевые; эти состоят большею частью из трех частей, иногда из двух, но эти части уже никак не бывают больше 60 или 90 страниц, а иногда иная часть удается так странно, что в

ней всей всего-навсего бывает страниц 36. Пишут большею частью люди пожилые, вовсе не должностные. Это русские самородки, и предводитель сего последнего инвалидного войска есть А. А. Орлов, на<д> которым очень любят подшучивать петербургские журналисты.

Разбираемый роман принадлежит к первому роду, то есть к романам пятнадцатирублевым, хотя автор, как видно из первых страниц, часто бывает очень нетерпелив и никак не посидит на месте и не займется долго одним лицом. Ничего не осталось в голове после прочтения половины первой части. Помнится только, что какой-то граф и какой-то студент таскаются по улицам в каком-то городе, чуть ли не в Москве, берут Катю и увозят, потом опять берут Катю и, кажется, опять увозят. Впрочем, кто охотник, тот может прочесть сам и узнать, что делается дальше...

**Недовольные. Комедия М. Н. Загоскина\***

<Недовольные. Комедия в четырех действиях, сочинение М. Н. Загоскина. Москва, в тип. Степанова, 1836, в 8, 147 стр.>

План задуман довольно слабо. Действия

нет вовсе. [Стало быть, условия сценические не выполнены]. Стихи местами хороши, везде почти непринужденны, но комического, [а это-то главное], почти нет. Лица не взяты с природы.

### **Путешествие к святым местам\***

<Путешествие к святым местам, совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры. Издано М. Коркуновым. Москва, в Универ. тип., 1836, в 8, стр. 39.>

Путешествия в Иерусалим производят действие магическое в нашем народе. Это одна из тех книг, кот<орые> больше всего и благоговейнее всего читаются. Почти такое производит на них впечатление <путешествие> в Цареград, как будто невольная признательная черта, сохранившаяся в русском племени, за тот свет, который некогда истекал оттуда. Нередко русской мещанин промышленник сколько-нибудь ученый, бросив дела, отправлял<ся> сам в Иерусалим и Цареград и даже издавал книгу, которую жадно покупали у разносчиков, пропуская множество картин, висящих на шнурочке у него на плечах, несмотря на то, что многие из них разрисова-



ны всякими красками. Прочие книги русский народ читает для <того> только, чтобы прочесть что-нибудь в случае показать себе и другим, что он может прочесть по верхам то, что другой читает по складам — без малейшего внимания к содержанию книги. И потому для народа нашего чрезвычайно трудно выбрать чтения.

### **Описание Прусского государства\***

**О**писание Прусского государства в географическом и статистическом отношениях, составленное Ардалионом Ивановым, воспитателем и наставником Императорского училища Правоведения. СПб., в тип. И. Глазунова, 1836, в 8. Часть первая, стр. 201.>

Книга в роде тех географий, каких расходуется по Руси много и по которым учат у нас детей. Кто захочет иметь полное статистическое удовлетворительное понятие о Пруссии, тот его не отыщет в этой книге. Она что-то среднее: как книга для ученика она велика, для выучившегося пахнет указкою.

### **Указатель губернских и уездных почтовых дорог\***

<Указатель губернских и уездных почтовых дорог в Российской Империи, составленный по новейшему учреждению почтовых дорог и станций г. Савинковым, с приложением дорожной карты. СПб., 1836, в б. осьмушку, 36 гравир. страниц.>

Книжка издана довольно укладисто для дороги, хотя бы можно издать еще укладистее. Карту не нужно особенно и в большом виде, в дороге нечего разворачивать, лучше придумать как-нибудь поместить ее в страницах самой книги хотя по частям, а еще лучше соединить [описание с топографией].

### **Основание Москвы\***

<Основание Москвы, или смерть боярина Степана Ивановича Кучки. Исторический роман, взятый из времен княжения Изяслава Мстиславовича. Сочинение И... К... ва. СПб., в тип. Вингебера, 1836. Четыре части, стр. VII и 189-194-168-162.>

Один из тех романов, в роде которых выходит очень много и особенно в Москве. Сюжет их обыкновенно взят из отечественной истории. Они обыкновенно бывают худенькие, тоненькие, но разделены на четыре ча-

сти, продаются очень дешево. Авторы их — часто робкие, молодые, еще не обжегшиеся на огне писатели и поэтому выставляют часто одни только заглавные литеры своего имени и окончивают его точками. Автор обыкновенно заставляет говорить своих героев слогом русских мужичков и купцов, потому что у нас в продолжение десяти последних <лет> со времени появления романов в русском кафтане возникла мысль, что наши исторические лица и вообще все герои прошедшего должны непременно говорить языком нынешнего простого народа и отпускать как можно побольше пословиц. В последние года два или три новая французская школа, выразив<шаяся> у нас во многих переводных отрывка<х> и мелодрамах на театре, прояви<ла> заметное свое влияние даже и на них. От этого произошло чрезвычайно много самых странных явлений в наших романах. Иногда русской мужичок отпустит такую театральную штуку, что и римлянин не сделает. Подыметя с полатей или с своей печки и выступит таким шагом, как Наполеон; какой-нибудь Василий, Улита или Степан Иванович Кучка после ка-

кой-нибудь русской замашки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг «смерть и ад!» В другом месте читатель приготовлен к тому, что эти мужички засучат рукава и потузят друг друга, но вместо того [он] видит, что они кинули один на другого мрачный взгляд и!! тут обыкновенно автор поставит несколько точек и прибавит: «и поняли друг друга». [А] иногда даже прибавит: и в этом безмолвии произошла страшная драма и тому подобное. В этом уже и упрекать нельзя, что лицо немного похоже на испанца или француза; этого греха не могли избежать и большие наши романы и... Общий характер этих маленьких романов, котор<ые> в таком изобилии и так скоро вырастают на Руси, есть совершенная детскость. Это будет очень несправедливо, если б мы сказали, что в них видна глупость одна, в чем часто упрекают их наши журналисты. Совсем нет, не глупость, но создание самого незрелого дитяти, которого и то занимает и другое, и того хочется ему и другого, никакой постоянности. Оттуда у него на одной странице столько несообразностей, сколько у другого в целом томе. Каждая

строчка у него ниже целой октавой или выше другой. У бесталанного, но опытного человека, набившего руку на писаньи, несообразности становятся явны по прочтении только многих страниц, у бесталанного, но неопытного и молодого, их в одной странице наберется столько, что читатель по ним может вывести безошибочно мнение обо всем сочинении.

Если бы мы привели в пример оттуда несколько страниц, они могли бы заставить читателей усмехнуться; незачем наполнять листок нашего журнала плохим тогда, когда можно занять место выпискою чего-нибудь хорошего. Во всех этих книгах видно невинное желание написать непременно какой-нибудь романчик. Да простит бог невольные их прегрешения! Нам нечего досадовать на них и сердиться, что они неопрятно изданы и тому подобное. И здесь потому только почтено необходимым сказать о них несколько слов, чтобы <при> другом подобном романе иметь случай не говорить о нем вовсе, а сослаться <на> сказанные нами ныне слова.

**Убийственная встреча\***

<Убийственная встреча, повесть Я. А. СПб. 1836 г., в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в 8, 113 стр.>

Эта книжечка вышла, стало быть где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.

### **Картины мира\***

<Картины мира, или полезное и приятное чтение для юношества. Часть 2-я. С.-П.-бург, 1836 г. (4).>

Заглавие этой книги показывает, что она ошибкою попала в книги литературы.

За несколько лет пред сим на Руси, так же как и в Европе, заметна была вообще охота к чтениям нравственным, являвшимся в виде длинных рассуждений и трактатов. Читатели требовали назидательных, питательных сочинений. Психологические сочинения, печатавшиеся в целых огромных томах, имели значительный перевес над всем прочим. Всё прочее, всё практическое, всё легкое, взятое из жизни, считалось пустым и недостойным. У нас в России в это время вышло чрезвычайно<е> множество подобных книг. Это был век солидный; впрочем, нужно заметить здесь то, что при всем этом нравственность этого века

была не очень чиста, и те, которые читали питательные книги, делали под рукою такие шашни и проказы, которые теперь бы слишком бросились всем в глаза. Замечательно, что в одно время с таким множеством нравственных сочинений появлялись такие безнравственные, что теперь даже отважнейшие из французских писателей посовестились бы написать. Все старики тогда читали душеспасительные книги, вся молодежь, напротив, читала Фоблазов и других, и при внимательном рассмотрении оказывалось даже, что едва ли старики не обгоняли молодежь в своих домашних делах. Такой раздор теории с практикою был повсеместен в конце 18 столетия. В 19 столетии масонские и другие секты, отвлеченный мистицизм поддержали существование подобных философских сочинений, рассуждений, увещаний и трактатов, хотя облеченных уже в другие формы. Они, можно сказать, были виною малого распространения охоты к чтению в нашем обществе, потому что требовали постоянства внимания, некоторого напряжения ума и потому были уделом немногих. Когда Кант, Шеллинг,

Гегель, Окен, как художники, обрабатывали науку, облакая ее точными определительными терминами, анатомически дробя, разделяя и соединяя в единство великую область мышления, их мнения распространялись только в кругу небольшом их слушателей, понимавших трудный, немногословный, почти математический язык их. Но когда мысли их начали рассеиваться, германские писатели, если можно так выразиться, среднего класса люди, большею частью довольно умные, но без орлиной мысли и таланта, когда начали они эти идеи распложивать собственным мериллом понимания, когда они облекли эти рассуждения красноречивыми фразами, общеупотребительным языком, часто даже лирическим пылом души, то эти творения их распространились повсеместно между всем читающим кругом — и приученные мистицизмом читатели брались охотно за эти книги. В наш век почти общим сочувствием была признана необходимость воплощения всякой мысли практически. Она всегда должна торжествовать, как прекрасную эпоху, это начинающее<ся> соединение теории с практикою,



следуя великой, но простой истине, что дела более значат, нежели слова. Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, так поразительно высока, так оглушительна своим величием, как когда облечена она [видимой формою], когда разрешается пред нами живым, знакомым миром, когда она, можно сказать, читается духовными нашими глазами из целого создания поэта. Божественный учитель и спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божест<венные> мысли свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов. Итак мы, сделавши такие великие тысящелетние обходы, наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших. И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание. И вот уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль, и только посредственность бывает виною, что изысканная, неправильная мысль иногда предпочитается глубокой и

простой.

## Детский павильон\*

< *Детский павильон. Книжка, содержащая в себе черты из русской истории, разные повести, разговоры, анекдоты, стихотворения, сказочки и проч., составленная на 1836 год Б. Федоровым. СПб., в тип. Гинце, 1836, в 16, стр. 320.*>

Детский альманах, небольшой магазин, без сомнения, очень приятных для них вещей... Б. М. Федоров — один из старых наших литераторов, писал трагедии, романы, писал и переводил стихотворения во многих родах, но наконец, почувствовав, что всё на свете суета и что нужно иметь слишком много, чтобы расшевелить взрослое наше поколение, принялся издавать книжки для детей. И из наших писателей никто в этом отношении не исполнял своего дела с таким старанием, как он. Он издавал довольно исправно и постоянно детский журнал, всегда к новому году готовил нам какой-нибудь подарок в виде альманаха. Академия Российская избрала его в свои члены и, хотя он не написал такого ученого рассуждения на шести страницах, в котором

говорится обыкновенно, что такой-то говорит вот то-то, такой-то вот то-то, а я полагаю, что этот предмет требует разъяснения. Но при всем том труды его были полезны и сочинения его раскупались. Его имя не заслужило никакого упрека. Альманах его нынешний име<ет> так же достоинства, как и предыдущие, и дети могут все из него составить себе приятное чтение.

### **Прекрасная астраханка\***

<Прекрасная астраханка, или хижина на берегу реки Оки. Роман, взятый из истинного происшествия. Российское сочинение. Москва, в Универс. тип. 1836, в 12, две части, стр. IV и 42–76.>

Не роман, а разве романчик, потому что в 1-й части 42 страницы, а во 2-й — 76.

### **Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832 и 1833 годах\***

<Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832 и 1833 годах, изданное Департаментом уделов. С.-П.-бург, в тип. Д. Вн. торг. 1836, в 8, 158, с 4 черт.>

Книжка замечательна во многих отношениях тем, что проливает некоторый статисти-

ческий свет на средние губернии нашей России. Все удельные имения ныне округлены и заключены в средней полосе. Их нет ни на юге, ни на севере. Они большею <частью> начинаются узким клином от Москвы и тянутся на восток, раздвигался по мере приближения, <к> Уральск<ому> хребт<у>, захватывая земли губерний: Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Вятской, Пермской и Оренбургской. Кроме того, есть еще удельные имения в губерниях остзейских.

Упомянем слова два о почве и земле, как первых естественных законах организации государственного хозяйства. Центральные земли, то есть земли недалеко от Москвы, губерний Московской, Владимирской, отчасти земли Костромской и Нижегородской, содержат почву песчаную, глинистую, перемежаемую тундрами, илом, кочками, чернозем почти не встречается, — земли, требующие более всего возделки. Далее на юго-во<сток> характер почвы изменяется; южная часть имений Костромской и Нижегородской и север-

ная губерний Казанской, Симбирской и Пензенской составляют другой отдел; в почве меньше глины, меньше тундр, чаще чернозем, и углубляется в землю он несравненно далее, на шесть вершков. Эта почва менее требует возделки предыдущей. Южные имения губерний Казанской, Симбирской и Пензенской и особенно вся Саратовская составляют почти степные пространства. Почва — уже чистый чернозем, тучный, углубляющийся далеко в землю; пески и солончаки уже исключения и находятся только в Саратовской губернии; земля производит почти без всякого удобрения. Земли трех колоссальных губерний Пермской, Вятской и Оренбургской представляют отличительный совершенно отдел почвы. В Пермской и Вятской владычествует лес, в Оренбургской сила растительной природы мечет дань кормовых трав по всему своему огромному пространству. Близость Урала и разрушающаяся горная природа дают новые силы растительности. Большое количество мергелю представляет средство для удобрения. Почва при небольших трудах может превзойти ожидания.

Но рассматривая в этой замечательной <книге> работающие силы людей, мы видим еще глубокое младенческое состояние земледелия, несмотря на средства, доставляемые правительством. Усилия рук без сравнения малы относительно пространства земли. Орудия еще много не облегчены, привыч<ка> и давность обыкновения еще держит место испытующего опыта. Плуг еще доныне тяжел, ленивый медленный серп, бессильный против таких огромных пространств, еще не изгнан косою.

Усилия труда более видны в центральных губерниях, где беднее почва, они слабеют, где почва богаче, и наконец совсем исче<зают> в губерниях Пермской, Вятской и Оренбургской, где людей мало против земли, где дикая природа почвы кладет печать дикости и на самого человека.

Итак, что причина такого состояния земледелия? Эта причина заключается, во-первых, в земле, не в почве земли, но в необыч<новенном> пространстве ее, еще несоразмерно превышающем население. На тесном уголке земли, хотя бы почва была бесплодна, земледе-

лие возникает и развивается быстро; вначале вследствие первой необходимости, оно в возрастающей степени делается необходимо, его развивают потребности. Земля и человек идет в равной прогрессии; земля, пробуя все силы его, образует и утрачивает его разви<тие>, сметливость. Человек находит беспрестанно средства обогащать его. Итак, естественное дело, что земледелие в России еще долго будет идти медленно, несмотря на все введенные меры правитель<ства>, потому что это дело веков. И кто думает, что может то произвести один человек в малое время <?>, что производится массами и веками?

Вторая, главная причина заключается в людях. Что же такое русский крестьянин? Он раскинут или, лучше сказать, рассеян нечисто, как семена по обширному полю, из которого будет густой хлеб, но только не скоро. Он живет уединенно в деревнях, отделенных большими пространствами, удаленных от городов — и городов мало чем богаче иных деревень. Лишенный живого, быстрого сообщения, он еще довольно груб, мало развит, и имеет самые бедные потребности. Возьмите

земледела северной и средней <полосы>. У него пища однообразна, ржаной хлеб и щи, одни и те же щи, которые он ест каждый день. Возле дома его нет даже огорода. У него нет никакой потребности наслаждения. Много ли ему нужно трудов и усилий, чтобы достать такую пищу и какое другое желание может занять его по удовлетворении этой первой нужды, когда окружающая его глубокая простота никакой не может подать идеи. Он способен переменить вдруг <?> свою жизнь, но только тогда, <когда> вокруг его явятся улучшения, а побывавши в городе, русской человек <?> уже бросает земледелие и делается промышленником, и тут вдруг разви<вается> его деятельность и оказывает<ся> его живая, хлопотливая природа; с помощью живости и сметливости он в непродолжительное время делается богачом. Таким образом русской мужик делается решительно гражданином всей Руси, не укрепись ни в каком месте.

Итак, должно ли удивляться, что у нас земледелие в младенческом состоянии? Часто слышны вопросы, отчего у нас хуже земле<деле>, нежели в Европе, и мнения, как нам



сравниться с Европой. Это легко сказать. Особенно тем, чей ум не видит страшного преобладания европейского населения над землею и страшного преобладания земли над жителями в России. Во всяком случае правительство действует, руководимое глубокою мудростью, оно обращает преимущественное внимание на земледелие. Земледелец добрый, крепкий корень государства в политическом и нравственном отношении. Купец человек продажный, ремесленник человек продажный; всякой промышленник человек подвижный, сегодня здесь, завтра там, но земледелец неподвижный элемент государства. Одно из лучших действий правительства в этом отношении есть издаваемые от него результаты хозяйственных отчетов, к которым, в некотором отношении, можно причислить и эту книгу. Они всегда ясно покажут дело и наведут на мысли, что и как нужно предпринять для улучшения дела.

### **Правила построения мореходных и речных пароходов\***

**П**равила построения мореходных и речных пароходов. Перевел с английского

*корабельный мастер Василий Берков. СПб. 1835 года, в тип. Вингебера.>*

Довольно обстоятельное наставление в строении пароводных судов <с> небольшим взглядом на начало и усовершенствование этого искусства.

### **Полная ручная кухмистерская книга\***

<**П**олная ручная кухмистерская книга, выбранная из книжек: 1) Прибавление к опытному повару; 2) Полный кухмистер и кандитер и 3) Продолжение к книге — Полный кухмистер и кандитер; со многими прибавлениями; содержащая объяснение поварских терминов, и рисунок печи для московских калачей, составленная из собственных опытов Герасимом Степановым. Москва, в Универс. типогр. 1835, в 12, стр. VII и 310.>

Если воспользоваться всеми этими рецептами, наставлениями, то можно сварить такую кашу, на которую и охотника не найдешь.

### **Торговый адрес-календарь\***

<**Т**орговый адрес-календарь, или Всеобщий коммерческий указатель Российского государства на 1836 год, составленный Викен-

тием Жгерским, чиновником для особых поручений в Министерстве финансов, разных ученых обществ и иностранных академий действительным членом, СПб. 1836 в тип. Вингебера, в 8, стр. 128.>

Торговый адрес-календарь, как адрес-календарь, очень не полон и неудовлетворительно составлен. При этом сюда вошли статьи по части промышленности и даже проекты не без достоинств, но здесь представляющиеся совершенно отрывками непоказывающими никакого <?> плана в издании. Продается очень дорого по объему, какой имеет книжка.

# Рецензия для «Москвитянина»

## Утренняя заря\*

<Альманах на 1842 год, изданный В. Владиславлевым. С.-Петербург. В типогр. III отдел, собств. е. и. в. канцелярии. 1842 г., в 16-ю, 369 стр.>

Начнем блестящим изделием типографической роскоши, легким, сверкающим цветком, приветствующим наступающий 1842-й год.

Альманах Утренняя заря с каждым годом издается роскошней. Он украшен теперь портретами красавиц Петербурга. Портрет ее импера<торского> высочества Марьи Александровны предводит ими. Выражением и мыслью сквозят черты его, и верно всякой русской накануне Нового года всмотрится в них внимательней, как во что-то светлое, пророческое. Все прочие портреты прекрасны. Не без тайной внутренней гордости рассматриваешь их, видя, что едва ли красавицы севера не возьмут верх над красавицами, украшающими европейские кипсеки. Портрет графини Елены Миха<й>ловны Завадов-

ской блещет всею роскошью ее неувядаемой красоты. Светлая ясность простоты отражается в лице графини Софьи Александровны Бенкендорф. Южной полнотою взгляда озарено лицо баронессы Екатерины Николаевны Менгден. Наконец тип чисто славянской красоты виден в профиле княжны Марьи Ивановны Барятинской. Помещение портретов сияющих наших современниц есть у нас дело еще новое. Их будет рассматривать с жадностью житель отдаленного угла России, куда едва доходят слухи о столице, и не один одаренный высоким художественным вкусом полюбуется ими,

*Благоговевя богомольно  
Перед святыней красоты*

как сказал Пушкин. И всякой на этот текущий год будет еще радостней дарить или получать Утренню<ю> зарю.

Жаль подвергнуть это блестящее изделие черствому перу суровой критики. Она пред ним остановится, как пред нежным мотыльком или цветком, боясь дуновеньем своим лишить его свежести. Содержанье его вполне

соответствует своему значению. Это легкое будуарное чтение красавицы. Светский слог, гладкость языка, строгое приличие во многих повестях и легкая грациозность некоторых стихов, словом это сияющая игрушка. Повести самого издателя блещут живостью и легкостью. В них то же обычное ему искусство незначайший предмет обращать в занимательный. Картезианский монастырь Жуковой и Черногорцы Надеждина выходят рельефнее других... Что до стихов, то читатель, верно, остановится над Любовью мертвеца Лермонтова, Дорожною думою князя Вяземского. Кроме того, мелькают в Утренней заре имена Кольцова, Бенедиктова, графа Соллогуба, Кукольника. Но зачем рассказывать, что в ней читатель найдет? Пусть лучше разносится этот блестящий мотылек по всем концам России и светло поздравляет с Новым годом всех от Камчатки до берегов Тавриды.

# Выбранные места из переписки с друзьями

## Предисловие\*

**Я** был тяжело болен; смерть уже была близко. Собравши остаток сил своих и воспользовавшись первой минутой полной трезвости моего ума, я написал духовное завещание, в котором, между прочим, возлагаю обязанность на друзей моих издать, после моей смерти, некоторые из моих писем. Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях. Небесная милость божия отвела от меня руку смерти. Я почти выздоровел; мне стало легче. Но чувствуя, однако, слабость сил моих, которая возвещает мне ежеминутно, что жизнь моя на волоске и, приготавливаясь к отдаленному путешествию к святым местам, необходимому душе моей, во время которого может

всё случиться, я захотел оставить при расставании что-нибудь от себя моим соотечественникам. Выбираю сам из моих последних писем, которые мне удалось получить назад, всё, что более относится к вопросам, занимающим ныне общество, отстранивши всё, что может получить смысл только после моей смерти, с исключением всего, что могло иметь значение только для немногих. Прибавляю две-три статьи литературные и, наконец, прилагаю самое завещание, с тем, чтобы в случае моей смерти, если бы она застигла меня на пути моем, возымело оно тотчас свою законную силу, как засвидетельствованное всеми моими читателями.

Сердце мое говорит, что книга моя нужна и что она может быть полезна. Я думаю так не потому, чтобы имел высокое о себе понятие и надеялся на уменье свое быть полезным, но потому, что никогда еще доселе не питал такого сильного желанья быть полезным. От нас уже довольно бывает протянуть руку с тем, чтобы помочь, помогаем же не мы, помогает бог, ниспосылая силу слову бесильному. Итак, сколь бы ни была моя книга



незначительна и ничтожна, но я позволяю себе издать ее в свет и прошу моих соотечественников прочитать ее несколько раз; в то же время прошу тех из них, которые имеют достаток, купить несколько ее экземпляров и раздать тем, которые сами купить не могут, уведомляя их при этом случае, что все деньги, какие перевысят издержки на предстоящее мне путешествие, будут обращены, с одной стороны, в подкрепление тем, которые, подобно мне, почувствуют потребность внутреннюю отправиться к наступающему великому посту во святую землю и не будут иметь возможности совершить его одними собственными средствами, с другой стороны — в пособие тем, которых я встречу на пути уже туда идущих и которые все помолятся у гроба господня за моих читателей, своих благодетелей.

Путешествие мое хотел бы я совершить, как добрый христианин. И потому испрашиваю здесь прощения у всех моих соотечественников во всем, чем ни случилось мне оскорбить их. Знаю, что моими необдуманнми и незрелыми сочинениями нанес я огор-

ченье многим, а других даже вооружил против себя, вообще во многих произвел неудовольствие. В оправдание могу сказать только то, что намеренье мое было доброе и что я никого не хотел ни огорчать, ни вооружать против себя, но одно мое собственное неразумие, одна моя поспешность и торопливость были причиной тому, что сочинения мои представили в таком несовершенном виде и почти всех привели в заблуждение насчет их настоящего смысла; за всё же, что ни встречается в них умышленно-оскорбляющего, прошу простить меня с тем великодушием, с каким, только одна русская душа прощать способна. Прошу прощенья также у всех тех, с которыми на долгое или на короткое время случилось мне встретиться на дороге жизни. Знаю, что мне случалось многим наносить неприятности, иным, быть может, и умышленно. Вообще в обхождении моем с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего. Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне

не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя в праве глядеть спесиво на других. Как бы то ни было, но я прошу прощения во всех личных оскорблениях, которые мне случилось нанести кому-либо, начиная от времен моего детства до настоящей минуты. Прошу также прощенья у моих собратьев-литераторов за всякое с моей стороны пренебрежение или неуважение к ним, оказанное умышленно или неумышленно: кому же из них почему-либо трудно простить меня, тому напомню, что он христианин. Как говеющий перед исповедью, которую готовится отдать богу, просит прощенья у своего брата, так я прошу у него прощенья, и как никто в такую минуту не посмеет не простить своего брата, так и он не должен посметь не простить меня. Наконец, прошу прощенья у моих читателей, если и в этой самой

книге встретится что-нибудь неприятное и кого-нибудь из них оскорбляющее. Прошу их не питать против меня гнева сокровенного, но вместо того выставить благородно все недостатки, какие могут быть найдены ими в этой книге, — как недостатки писателя, так и недостатки человека: мое неразумие, недомыслие, самонадеянность, пустую уверенность в себе, словом всё, что бывает у всех людей, хотя они того и не видят, и что, вероятно, еще в большей мере находится во мне.

В заключение прошу всех в России помолиться обо мне, начиная от святителей, которых уже вся жизнь есть одна молитва. Прошу молитвы как у тех, которые смиренно не веруют в силу молитв своих, так и у тех, которые не веруют вовсе в молитву и даже не считают ее нужною: но как бы ни была бессильна и черства их молитва, я прошу помолиться обо мне этой самой бессильной и черстой их молитвой. Я же у гроба господнего буду молиться о всех моих соотечественниках, не исключая из них ни единого; моя молитва будет так же бессильна и черства, если святая небесная милость не превратит ее в то, чем

должна быть наша молитва. 1846, июль.

## Завещание\*

**Н**аходясь в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь мою последнюю волю.

I. Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я завещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности. Предать же тело мое земле, не разбирая места, где лежать ему, ничего не связывать с оставшимся прахом; стыдно тому, кто привлечется каким-нибудь вниманием к гниющей персти, которая уже не моя: он поклонится червям, ее грызущим; прошу лучше помолиться покрепче о душе моей, а вместо вся-

ких погребальных почестей угостить от меня простым обедом нескольких не имущих насущного хлеба.

II. Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять о таком пустяке, христианина недостойном. Кому же из близких моих я был действительно дорог, тот воздвигнет мне памятник иначе: воздвигнет он его в самом себе своей неколебимой твердостью в жизненном деле, бодреньем и освеженьем всех вокруг себя. Кто после моей смерти вырастет выше духом, нежели как был при жизни моей, тот покажет, что он, точно, любил меня и был мне другом, и сим только воздвигнет мне памятник. Потому что и я, как ни был сам по себе слаб и ничтожен, всегда ободрял друзей моих, и никто из тех, кто сходился поближе со мной в последнее время, никто из них, в минуты своей тоски и печали, не видал на мне унылого вида, хотя и тяжки бывали мои собственные минуты, и тосковал я не меньше других, — пускай же об этом вспомнит всяк из них после моей смерти, сообразя все слова, мной ему сказанные, и перечтя все письма, к нему писанные за год

перед сим.

III. Завещаю вообще никому не оплакивать меня, и грех себе возьмет на душу тот, кто станет почитать смерть мою какой-нибудь значительной или всеобщей утратой. Если бы даже и удалось мне сделать что-нибудь полезного и начинал бы я уже исполнять свой долг действительно так, как следует, и смерть унесла бы меня при начале дела, замышленного не на удовольствие некоторым, но надобного всем, — то и тогда не следует предаваться бесплодному сокрушению. Если бы даже вместо меня умер в России муж, действительно ей нужный в теперешних ее обстоятельствах, то и от того не следует приходиться в уныние никому из живущих, хотя и справедливо то, что если рановременно похищаются люди всем нужные, то это знак гнева небесного, отъемлющего сим орудия и средства, которые помогли бы иным подвигнуться ближе к цели, нас зовущей. Не унынью должны мы предаваться при всякой внезапной утрате, но оглянуться строго на самих себя, помышляя уже не о черноте других и не о черноте всего мира, но о своей собственной

черноте. Страшна душевная чернота, и зачем это видится только тогда, когда неумолимая смерть уже стоит перед глазами!

IV. Завещаю всем моим соотечественникам (основываясь единственно на том, что всякой писатель должен оставить после себя какую-нибудь благую мысль в наследство читателям), завещаю им лучшее из всего, что произвело перо мое, завещаю им мое сочинение, под названием *Прощальная повесть*. Оно, как увидят, относится к ним. Его носил я долго в своем сердце как лучшее свое сокровище, как знак небесной милости ко мне бога. Оно было источником слез, никому не зримых, еще от времен детства моего. Его оставляю им в наследство. Но умоляю, да не оскорбится никто из моих соотечественников, если услышит в нем что-нибудь похожее на поученье. Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям. Да вспомнят также мои соотечественники, что, и не бывши писателем, вся-



кой отходящий от мира брат наш имеет право оставить нам что-нибудь в виде братского поученья, и в этом случае нечего глядеть ни на малость его звания, ни на бессилие, ни на самое неразумие его, нужно помнить только то, что человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира. Несмотря, однако, на все таковые права мои, я бы всё не дерзнул заговорить о том, о чем они услышат в *Прощальной повести*, ибо не мне, худшему всех душою, страждущему тяжкими болезнями собственного несовершенства, произносить такие речи. Но меня побуждает к тому другая, важнейшая причина: соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений бога, перед которыми пыль всё величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исплинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся... Может быть, Прощальная повесть моя подей-

ствует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны. Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту. Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал бог, за которую благодарю его, как за лучшее благодеяние, потому что любовь эта была мне в радость и утешение среди наитягчайших моих страданий — во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою Прощальную повесть. Клянусь: я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал сам бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкой родственник вам всем.[14]

V. Завещаю по смерти моей не спешить ни хвалой, ни осуждением моих произведений в публичных листах и журналах: всё будет так же пристрастно, как и при жизни. В сочинениях моих гораздо больше того, что нужно

осудить, нежели того, что заслуживает хвалу. Все нападения на них были в основании более или менее справедливы. Передо мною никто не виноват; неблагодарен и несправедлив будет тот, кто попрекнет мною кого-либо в каком бы то ни было отношении. Объявляю также во всеуслышанье, что, кроме доселе напечатанного, ничего не существует из моих произведений: всё, что было в рукописях, мною сожжено, как бессильное и мертвое, писанное в болезненном и принужденном состоянии. А потому, если бы кто-нибудь стал выдавать что-либо под моим именем, прошу считать это презренным подлогом. Но возлагаю вместо того обязанность на друзей моих собрать все мои письма, писанные к кому-либо, начиная с конца 1844 года, и, сделавши из них строгий выбор только того, что может доставить какую-нибудь пользу душе, а всё прочее, служащее для пустого развлечения, отвергнувши, издать отдельною книгою. В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тем, к которым они были писаны. Бог милостив; может быть, послужат они в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей хотя

часть суровой ответственности за бесполезность прежде написанного.

VI · · [15]

VII. Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом похищено у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет\*. По многим причинам, которые мне объявлять не нужно, я не хотел этого, не продавал никому права на его публичное издание и отказывал всем книгопродавцам, доселе приступавшим ко мне с предложеньями, и только в таком случае предполагал себе это позволить, если бы помог мне бог совершить тот труд, которым мысль моя была занята во всю жизнь мою, и притом так совершить его, чтобы все мои соотечественники сказали в один голос, что я честно исполнил свое дело, и даже пожелали бы узнать черты лица того человека, который до времени работал в тишине и не хотел пользоваться незаслуженной известностью. С этим соединялось другое обстоятельство: портрет мой в таком случае мог распродаться вдруг во множестве экземпляров, принеся значительный доход тому

художнику, который должен был гравировать его. Художник этот уже несколько лет трудится в Риме над гравированием бессмертной картины Рафаэля: Преображение господне. Он всем пожертвовал для труда своего, — труда убийственного, пожирающего годы и здоровье, и с таким совершенством исполнил свое дело, подходящее ныне к концу, с каким не исполнял еще ни один из гравиров. Но по причине высокой цены и малого числа знатоков эстамп его не может разойтись в таком количестве, чтобы вознаградить его за всё; мой портрет ему помог бы. Теперь план мой разрушен: раз опубликованное изображение кого бы то ни было делается уже собственностью каждого, занимающегося изданиями гравюр и литографий. Но если бы случилось так, что после моей смерти письма, после меня изданные, доставили какую-нибудь общественную пользу (хотя бы даже одним только чистосердечным стремлением ее доставить), и пожелали бы мои соотечественники увидеть и портрет мой, то я прошу всех таковых издателей благородно отказаться от своего права; тех же моих читате-

лей, которые по излишней благосклонности ко всему, что ни пользуется известностью, завели у себя какой-нибудь портрет мой, прошу уничтожить его тут же, по прочтении сих строк, тем более, что он сделан дурно и без сходства, и покупать только тот, на котором будет выставлено: Гравировал Иорданов\*. Сим будет сделано, по крайней мере, справедливое дело. А еще будет справедливей, если те, которые имеют достаток, станут вместо портрета моего покупать самый эстамп Преображенья господня, который, по признанью даже чужеземцев, есть венец гравировального дела и составляет славу русскую.

Завещанье мое немедленно по смерти моей должно быть напечатано во всех журналах и ведомостях, дабы, по случаю неведения его, никто не сделался бы передо мною невинно-виноватым и тем бы не нанес упрека на свою душу. 1845.

## Женщина в свете\*

(Письмо к \*\*\*ой)

**В**ы думаете, что никакого влияния на общество иметь не можете; я думаю напротив. Влияние женщины может быть очень велико, именно теперь, в нынешнем порядке или беспорядке общества, в котором, с одной стороны, представляется утомленная образованность гражданская, а с другой — какое-то охлаждение душевное, какая-то нравственная усталость, требующая оживотворения. Чтобы произвести это оживотворение, необходимо содействие женщины. Эта истина в виде какого-то темного предчувствия пронеслась вдруг по всем углам мира, и всё чего-то теперь ждет от женщины. Оставивши всё прочее в сторону, посмотрим на нашу Россию, и в особенности на то, что у нас так часто перед глазами, — на множество всякого рода злоупотреблений. Окажется, что большая часть взяток, несправедливостей по службе и тому подобного, в чем обвиняют наших чиновников и нечиновников всех классов, произошла или от расточительности их жен, ко-

торые так жадничают блистать в свете большом и малом и требуют на то денег от мужей, или же от пустоты их домашней жизни, преданной каким-то идеальным мечтам, а не существу их обязанностей, которые в несколько раз прекрасней и возвышенней всяких мечтаний. Мужья не позволили бы себе и десятой доли произведенных ими беспорядков, если бы их жены хотя сколько-нибудь исполняли свой долг. Душа жены — хранительный талисман для мужа, оберегающий его от нравственной заразы; она есть сила, удерживающая его на прямой дороге, и проводник, возвращающий его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены может быть его злом и погубить его навеки. Вы сами это почувствовали и выразились об этом так хорошо, как до сих пор еще никогда не выражались никакие женские строки. Но вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет. Вы им видите работу повсюду, или исправлять и поправлять уже испорченное, или заводить вновь что-нибудь нужное, словом — всячески помогать, а себе одной только не видите ничего и грустно повторяете: «Зачем я



не на их месте!» Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого, и только не может сделать его в своей должности. Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном месте сделать добро. Поверьте, что бог не даром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит. Нужно только хорошо осмотреться вокруг себя. Вы говорите, зачем вы не мать семейства, чтобы исполнять обязанности матери, которые вам представляются теперь так ясно; зачем не расстроено ваше имение, чтобы заставить вас ехать в деревню, быть помещицей и заняться хозяйством; зачем ваш муж не занят какой-нибудь общепользуемой трудной должностью, чтобы вам хоть здесь ему помогать и быть силой, его освежающей, и зачем, вместо всего этого, предстоят вам одни пустые выезды в свет и пустое, выдохшееся светское общество, которое теперь вам кажется безлюднее самого безлюдья. Но тем не менее свет всё же населен; в нем люди, и притом такие же, как и везде. Они и болеют, и

страждут, и нуждаются, и без слов вопиют о помощи, — и, увы! даже не знают, как попросить о ней. Какому же нищему следует прежде помогать: тому ли, кто еще может выходить на улицу и просить, или же тому, который не в силах уже и руки протянуть? Вы говорите, что даже не знаете и не можете придумать, чем вы можете быть кому-нибудь полезны в свете; что для этого нужно иметь столько всякого рода орудий, нужно быть такой и умной и всезнающей женщиной, что у вас уже кружится голова при одном помышлении обо всем этом. А если для этого нужно быть только тем, чем вы уже есть? А если у вас уже есть именно такие орудия, которые теперь нужны? Всё, что вы ни говорите о самой себе, совершенная правда: вы, точно, слишком молоды, не приобрели ни познания людей, ни познания жизни, словом — ничего того, что необходимо, дабы оказывать помощь душевную другим; может быть, даже вы и никогда этого не приобретете; но у вас есть другие орудия, с которыми вам всё возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту, во-вторых — неопозоренное, неоклеветанное

имя, в-третьих — власть, которой сами в себе не подозреваете, — власть чистоты душевной. Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определено, чтобы всех равно поражала красота, — даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему неспособны. Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наименее умнейших людей, что же было бы тогда, если бы этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы добра тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное. Но вы имеете еще высшую красоту, чистую прелесть какой-то особенной, одной вам свойственной невинности, которую я не умею определить словом, но в которой так и светится всем ваша голубиная душа. Знаете ли, что мне признавались наизвратнейшие из нашей молодежи, что перед вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым пот-

чевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что всё будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным. Вот уже одно влияние, которое совершается без вашего ведома от одного вашего присутствия! Кто не смеет себе позволить при вас дурной мысли, тот уже ее стыдится; а такое обращенье на самого себя, хотя бы даже и мгновенное, есть уже первый шаг человека к тому, чтобы быть лучше. Стало бы, это орудие также сильное. В прибавленье ко всему вы имеете уже самим богом водворенное вам в душу стремленье, или, как называете вы, жажду добра. Неужели вы думаете, что даром внушена вам эта жажда, от которой вы не спокойны ни на минуту? Едва вышли вы замуж за человека благородного, умного, имеющего все качества, чтобы сделать счастливой жену свою, как уже, наместо того чтобы сокрыться во глубину вашего домашнего счастья, мучитесь мыслию, что вы недостойны такого счастья, что не имеете права им пользоваться в то время, когда вокруг вас так много страданий, когда ежеминутно раздаются вести о бедствиях всякого

рода: о голоде, пожарах, тяжелых горестях душевных и страшных болезнях ума, которыми заражено текущее поколение. Поверьте, это не даром. Кто заключил в душе своей такое небесное беспокойство о людях, такую ангельскую тоску о них среди самых развлекательных увеселений, тот много, много может для них сделать; у того повсюду поприще, потому что повсюду люди. Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть, не спорьте с провиденьем. В вас живет та неведомая сила, которая нужна теперь для света: самый ваш голос, от постоянного устремленья вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровожденьи чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, как бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ; вы можете повелевать и быть таким деспотом, как никто из нас. Повелевайте же без слов, одним присутствием вашим; повелевайте самим бессилием своим, на которое вы так негодуе-

те; повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина нынешнего света. С вашей робкой неопытностью, вы теперь в несколько раз больше сделаете, нежели женщина умная и всё испытавшая с своей гордой самонадеянностью: ее наиумнейшие убеждения, с которыми она бы захотела обратить на путь нынешний свет, в виде злых эпиграмм посыплются обратно на ее же голову; но ни у кого не посмеет пошевелиться на губах эпиграмма, когда одним умоляющим взором, без слов, вы попросите кого-нибудь из нас, чтобы он сделался лучшим. Отчего вы так испугались рассказов о светском разврате? Он, точно, есть, и еще даже в большей мере, чем вы думаете; но вам и знать об этом не должно. Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой. Входите в него, как в больницу, наполненную страждущими; но не в качестве доктора, приносящего строгие предписанья и горькие лекарства: вам не следует и рассматривать, какими болезнями кто болен. У вас нет способности распознавать и исцелять бо-

лезни, и я вам не дам такого совета, какой бы мне следовало дать всякой другой женщине, к тому способной. Ваше дело только принести страждущему вашу улыбку да тот голос, в котором слышится человеку прилетевшая с небес его сестра, и ничего больше. Не останавливайтесь долго над одними и спешите к другим, потому что вы повсюду нужны. Увы! на всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть. Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите. Храни вас бог от всякого педантства и от всех тех разговоров, которые исходят из уст какой-нибудь нынешней львицы. Вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей, когда так и сияет всякое простое слово вашей речи, а душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека. Эти-то именно речи вносите и в свет. 1846.

## Значение болезней\*

(Из письма к гр. А. П. Т\*\*\*му)

Силы мои слабеют ежеминутно, но не . . . дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны. Часто бывает так тяжело, так тяжело, такая страшная усталость чувствуется во всем составе тела, что рад бываешь, как бог знает чему, когда, наконец, оканчивается день и доберешься до постели. Часто, в душевном бессилии, восклицаешь: Боже! где же, наконец, берег всего? Но потом, когда оглянешься на самого себя и посмотришь глубже себе внутрь — ничего уже не издает душа, кроме одних слез и благодарения. О! как нужны нам недуги! Из множества польз, которые я уже извлек из них, скажу вам только одну: ныне каков я ни есть, но я всё же стал лучше, нежели был прежде; не будь этих недугов, я бы задумал, что стал уже таким, каким следует мне быть. Не говорю уже о том, что самое здоровье, которое беспрестанно подталкивает русского человека на какие-то прыжки и желанье порисоваться своими качествами перед другими, заставило



бы меня наделать уже тысячу глупостей. При том ныне, в мои свежие минуты, которые дает мне милость небесная и среди самих страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что теперь всё, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительнее прежнего. Не будь тяжких болезненных страданий, куда б я теперь не занесся! каким бы значительным человеком вообразил себя! Но, слыша ежеминутно, что жизнь моя на волоске, что недуг может остановить вдруг тот труд мой, на котором основана вся моя значительность, и та польза, которую так желает принести душа моя, останется в одном бессильном желании, а не в исполнении, и не дам я никаких процентов на данные мне богом таланты, и буду осужден, как последний из преступников... Слыша всё это, смиряюсь я всякую минуту и не нахожу слов, как благодарить небесного промыслителя за мою болезнь. Принимайте же и вы покорно всякой недуг, веря вперед, что он нужен. Молитесь богу только о том, чтобы открылось перед вами его чудное значение и вся глубина его высокого смысла.

## О том, что такое слово\*

Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

*За слова меня пусть гложет,  
За дела сатирик чтит —*

сказал так: «Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела». Пушкин прав. Поэт на поприще слова должен быть, так же безукоризнен, как и всякой другой на своем поприще. Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякой несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом — мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необду-

манно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им. Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность званья своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому, что в себе услышал на то призванье божие, ведь ты же получил в добавку к тому ум, который видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали. Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа всё, что нужно для мужа? Словом, еще какой-нибудь обыкновенный писатель мог бы оправдываться обстоятельствами, но не Державин. Он слишком повредил себе тем, что не сжег по крайней мере целой половины од своих. Эта половина од представляет явление поразительное: никто

еще доселе так не посмеялся над самим собой, над святыней своих лучших верований и чувств, как сделал это Державин в этой несчастной половине своих од. Точно, как бы он силился здесь намалевать карикатуру на самого себя: всё, что в других местах у него так прекрасно, так свободно, так проникнуто внутренней силою душевного огня, здесь холодно, бездушно и принужденно; а что хуже всего — здесь повторены те же самые обороты, выражения и даже целиком фразы, которые имеют такую орлиную замашку в его одушевленных одах и которые тут просто смешны и походят на то, как бы карлик надел панцырь великана, да еще и не так, как следует. Сколько людей теперь произносит сужденье о Державине, основываясь на его пошлых одах. Сколько усумнилось в искренности его чувств потому только, что нашли их во многих местах выраженными слабо и бездушно; какие двусмысленные толки составились о самом его характере, душевном благородстве и даже неподкупности того самого правосудья, за которое он стоял. И всё потому, что не сожжено то, что должно быть предано огню.

Приятель наш П.....н имеет обыкновение, отрывши, какие ни попало, строки известного писателя, тот же час их тиснуть в свой журнал, не взвесив хорошенько, к чести ли оно, или к бесчестию его. Он скрепляет это дело известной оговоркой журналистов: «Надеемся, что читатели и потомство останутся благодарны за сообщение сих драгоценных строк; в великом человеке всё достойно любопытства», и тому подобное. Всё это пустяки. Какой-нибудь мелкой читатель останется благодарен; но потомство плюнет на эти драгоценные строки, если в них бездушно повторено то, что уже известно, и если не дышит от них святыня того, что должно быть свято. Чем истины выше, тем нужно быть осторожней с ними; иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят. Не столько зла произвели сами безбожники, сколько произвели зла лицемерные или даже, просто, неприготовленные проповедатели бога, державшие произносить имя его неосвященными устами. Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он

находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет. И тогда с самым чистейшим желаньем добра можно произвести зло. Тот же наш приятель П.....н тому порука: он торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем с своими читателями, сообщать им всё, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом — выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве. И что ж? Заметили ли читатели те благородные и прекрасные порывы, которые у него сверкали весьма часто? приняли ли от него то, чем он хотел с ними поделиться? — Нет, они заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает человек, и ничего от него не приняли. Тридцать лет работал и хлопотал, как муравей, этот человек, торопясь всю жизнь свою передать поскорей в руки всем

всё, что ни находил на пользу просвещения и образования русского... И ни один человек не сказал ему спасибо; ни одного признательно-го юноши я не встретил, который бы сказал, что он обязан ему каким-нибудь новым светом или прекрасным стремлением к добру, которое бы внушило его слово. Напротив, я должен был даже спорить и стоять за чистоту самих намерений и за искренность слов его перед такими людьми, которые, кажется, могли бы понять его. Мне было трудно даже убедить кого-либо, потому что он сумел так замаскировать себя перед всеми, что решительно нет возможности показать его в том виде, каков он действительно есть. Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение. Его искренний, непритворный гнев противу всякого-направления, вредного России, выразится у него так, как бы он подавал донос на каких-то некоторых, ему одному известных людей. Словом, на всяком

шагу он сам свой клеветник. Опасно шутить писателю со словом. Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще — слово, и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздается гнилое слово о гнилых, предметах. Все великие воспитатели людей налагали долгое молчание именно на тех, которые владели даром слова, именно в те поры и в то время, когда больше всего хотелось им пощеголять словом и рвалась душа сказать даже много полезного людям. Они слышали, как можно опозорить то, что стремишься возвысить, и как на всяком шагу язык наш есть наш предатель. «Наложи дверь и замки на уста твои, говорит Иисус Сирах: растопи золото и серебро, какое имеешь, дабы сделать из них весы, которые взвешивали бы твое слово, и выковать надежную узду, которая бы держала твои уста». 1844.



# Чтения русских поэтов перед публикою\*

(Письмо к Л\*\*\*)

Я рад, что наконец начались у нас публичные чтения произведений наших писателей. Мне уже писали об этом кое-что из Москвы: там читали — разные литературные современности, а в том числе и мои повести. Я думал всегда, что публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать; поодиночке из нас всяк ленив и, пока видит, что другие не тронулись, сам не тронется. Искусные чтецы должны создаться у нас: среди нас мало речистых говорунов, способных щеголять в палатах и парламентах, но много есть людей, способных всякому *сочувствовать*. Передать, поделиться ощущеньем у многих обращается даже в страсть, которая становится еще сильнее по мере того, как не умеют они изъясниться словом (признак природы эстетической). К образованию чтецов способствует также и язык наш, который как бы создан для

искусного чтения, заключая в себе все оттенки звуков и самые смелые переходы от возвышенного до простого в одной и той же речи. Я даже думаю, что публичные чтения со временем заместят у нас спектакли. Но я бы желал, чтобы в нынешние наши чтения избиралось что-нибудь истинно стоящее публичного чтения, чтобы и самому чтецу не жаль было потрудиться над ним предварительно. В нашей современной литературе нет ничего такого, да и нет надобности читать современное: публика его прочтет и без того, благодаря страсти к новизне. Все эти новые повести (в том числе и мои) не так важны, чтобы сделать из них публичное чтение. Нам нужно обратиться к нашим поэтам, к тем высоким произведениям стихотворным, которые у них долго обдумывались и обрабатывались в голове, над которыми и чтец должен поработать долго. Наши поэты до сих пор почти неизвестны публике. В журналах о них говорили много, разбирали их даже весьма многословно, но высказывали больше самих себя, нежели разбираемых поэтов. Журналы достигнули только того, что сбили и опутали понятия публи-

ки о наших поэтах, так что в глазах ее личность каждого-поэта теперь двоится, и никто не может представить себе определительно, что такое из них всяк в существе своем. Одно только искусное чтение может установить о них ясное понятие. Но, разумеется, нужно, чтобы самое чтение произведено было таким чтецом, который способен передать всякую неуловимую черту того, что читает. Для этого не нужно быть пламенным юношей, который готов сгоряча и не переводя духа прочесть в один вечер и трагедию, и комедию, и оду, и всё, что ни попало. Прочесть, как следует, произведение лирическое — вовсе не безделица, для этого нужно долго его изучать. Нужно разделить искренно с поэтом высокое ощущение, наполнявшее его душу; нужно душой и сердцем почувствовать всякое слово его — и тогда уже выступать на публичное его чтение. Чтение это будет вовсе не крикливое, не в жару и горячке. Напротив, оно может быть даже очень спокойное, но в голосе чтеца послышится неведомая сила, свидетель истинно-растроганного внутреннего состояния. Сила эта сообщится всем и произведет чудо: по-

трясутся и те, которые не потрясались никогда от звуков поэзии. Чтение наших поэтов может принести много публичного добра. У них есть много прекрасного, которое не только совсем позабыто, но даже оклеветано, очернено, представлено публике в каком-то низком смысле, о котором и не помышляли благородные сердцем наши поэты. Не знаю, кому принадлежит мысль — обратить публичные чтения в пользу бедным, но мысль эта прекрасна. Особенно это кстати теперь, когда так много страждущих внутри России от голода, пожаров, болезней и всякого рода несчастий. Как бы утешились души от нас удалившихся поэтов такому употребленью их произведений! 1843.

## О помощи бедным\*

(Из письма к А. О. С\*\*\*ой)

Обращаюсь к нападениям вашим на . . . **О**глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии. Это происходит не от глупости и не от ожесточения сердец, даже и не от легкомыслия. Это происходит от всем нам общей человеческой беспечности. Эти несчастья и ужасы, производимые голодом, далеки от нас; они совершаются внутри провинций, они не перед нашими глазами, — вот разгадка и объяснение всего! Тот же самый, кто заплатил, дабы насладиться пенъем Рубини, сто рублей за кресло в театре, продал бы свое последнее имущество, если бы довелось ему быть свидетелем на деле хотя одной из тех ужасных картин голода, перед которыми ничто всякие страхи и ужасы, выставляемые в мелодрамах. За пожертвованьем у нас не станет дело: мы все готовы жертвовать. Но пожертвованья собственно в пользу бедных у нас делаются

теперь не весьма охотно, отчасти потому, что не всякой уверен, дойдет ли, как следует, до места назначенья его пожертвованье, попадет ли оно именно в те руки, в которые должно попасть. Большею частию случается так, что помощь, точно какая-то жидкость, несомая в руке, вся расхлещется по дороге, прежде, чем донесется, и нуждающемуся приходится посмотреть только на одну сухую руку, в которой нет ничего. Вот о каком предмете следует подумать прежде, чем собирать пожертвованья. Об этом мы с вами после потолкуем, потому что это дело ничуть не мало-важное и сто́ит того, чтобы о нем толково потолковать. А теперь поговорим о том, где скорей нужно помогать. Помогать нужно прежде всего тому, с которым случилось несчастье внезапное, которое вдруг, в одну минуту, лишило его всего за одним разом: или пожар, сжегший всё до тла, или падеж, выморивший весь скот, или смерть, похитившая единственную подпору, словом — всякое лишение внезапное, где вдруг является человеку бедность, к которой он еще не успел привыкнуть. Туда несите помощь. Но нужно, чтобы

помощь эта произведена была истинно христианским образом; если же она будет состоять в одной только выдаче денег, она ровно ничего не будет значить и не обратится в добро. Если вы не обдумали прежде в собственной голове всего положения того человека, которому хотите помочь, и не принесли с собой ему наученья, как отныне следует вести ему свою жизнь, он не получит большого добра от вашей помощи. Цена поданной помощи редко равняется цене утраты; вообще, она едва составляет половину того, что человек потерял, часто одну четверть, а иногда и того меньше. Русской человек способен на все крайности: увидя, что с полученными небольшими деньгами он не может вести жизнь, как прежде, он с горя может прокутить вдруг то, что ему дано на долговременное содержание. А потому наставляйте его, как ему изворотиться именно с той самой помощью, которую вы принесли ему, объясните ему истинное значение несчастья, чтобы он видел, что оно послано ему затем, дабы он изменил прежнее житие свое, дабы отныне он стал уже не прежний, но как бы другой человек и

вещественно и нравственно. Вы сумеете это сказать умно, если только вникнете хорошенько в его природу и в его обстоятельства. Он вас поймет: несчастье умягчает человека; природа его становится тогда более чуткой и доступной к пониманию предметов, превосходящих понятие человека, находящегося в обыкновенном и вседневном положении; он как бы весь обращается тогда в разогретый воск, из которого можно лепить всё, что ни захотите. Всего лучше, однако ж, если бы всякая помощь производилась чрез руки опытных и умных священников. Они одни в силах истолковать человеку святой и глубокий смысл несчастья, которое, в каких бы ни являлось образах и видах кому бы то ни было на земле, обитает ли он в избе или палатах, есть тот же крик небесный, вопиющий человеку о перемене всей его прежней жизни.

1844.



# Об Одиссее, переводимой Жуковским\*

(Письмо к Н. М. Я\*\*\*ву)

Появление Одиссеи произведет эпоху. Одиссея есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; Илиада пред нею эпизод. Одиссея захватывает весь древний мир, публичную и домашнюю жизнь, все поприща тогдашних людей, с их ремеслами, знаньями, верованьями... словом, трудно даже сказать, чего бы не обняла Одиссея, или что бы в ней было пропущено. В продолжение нескольких веков служила она неиссякаемым колодцем для древних, а потом и для всех поэтов. Из нее черпались предметы для бесчисленного множества трагедий, комедий; всё это разнеслось по всему свету, сделалось достоянием всех, а сама Одиссея позабыта. Участь Одиссеи странна: в Европе ее не оценили; виной этого отчасти недостаток перевода, который бы передавал художественно великолепнейшее произведение древности, отчасти недостаток языка, в такой

степени богатого и полного, на котором отразились бы все бесчисленные, неуловимые красоты как самого Гомера, так и вообще эллинской речи; отчасти же недостаток, наконец, и самого народа, в такой степени одаренного чистотой девственного вкуса, какая потребна для того, чтобы почувствовать Гомера.

Теперь перевод первейшего поэтического творения производится на языке, полнейшем и богатейшем всех европейских языков.

Вся литературная жизнь Жуковского была как бы приготовлением к этому делу. Нужно было его стиху выработаться на сочинениях и переводах с поэтов всех наций и языков, чтобы сделаться потом способным передать вечный стих Гомера, — уху его послушаться всех лир, дабы сделаться до того чутким, чтобы и оттенок эллинского звука не пропал; нужно было, мало того, что влюбиться ему самому в Гомера, но получить еще страстное желание заставить всех соотечественников своих влюбиться в Гомера, на эстетическую пользу души каждого из них; нужно было совершиться внутри самого переводчика многим таким событиям, которые привели в большую строй-

ность и спокойствие его собственную душу, необходимые для передачи произведения, замышленного в такой стройности и спокойствии; нужно было, наконец, сделаться глубже христианином, дабы приобрести тот презирающий, углубленный взгляд на жизнь, которого никто не может иметь, кроме христианина, уже постигнувшего значение жизни. Вот скольким условиям нужно было выполняться, чтобы перевод Одиссеи вышел не рабская передача, но послышалось бы в нем *слово живо*, и вся Россия приняла бы Гомера, как родного!

Зато вышло что-то чудное. Это не перевод, но скорей воссоздание, восстановление, воскресенье Гомера. Перевод как бы еще более вводит в древнюю жизнь, чем сам оригинал. Переводчик незримо стал как бы истолкователем Гомера, стал как бы каким-то зрительным, выясняющим стеклом перед читателем, сквозь которое еще определительней и ясней выказываются все бесчисленные его сокровища.

По-моему, все нынешние обстоятельства как бы нарочно обставились так, чтобы

сделать появление Одиссеи почти необходимым в настоящее время: в литературе, как и во всем, — охлаждение. Как очаровываться, так и разочаровываться устали и перестали. Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких непереважившихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остановились в раздумье, не зная сами, куда повести заблудшие стада свои. Словом, именно то время, когда слишком важно появление произведения стройного во всех частях своих, которое изображало бы жизнь с отчетливостью изумительной и от которого поведало бы спокойствием и простотой, почти младенческой.

Одиссея произведет у нас влияние, как *вообще на всех*, так и *отдельно на каждого*.

Рассмотрим то влияние, которое она может у нас произвести *вообще на всех*. Одиссея есть именно то произведение, в котором за-

ключились все нужные условия, дабы сделать ее чтением всеобщим и народным. Она соединяет всю увлекательность сказки и всю простую правду человеческого похождения, имеющего равную заманчивость для всякого человека, кто бы он ни был. Дворянин, мещанин, купец, грамотей и неграмотей, рядовой солдат, лакей, ребенок обоего пола, начиная с того возраста, когда ребенок начинает любить сказку, ее прочитают и выслушают без скуки. Обстоятельство слишком важное, особенно если примем в соображение то, что Одиссея есть вместе с тем самое нравственнейшее произведение и что единственно затем и предпринята древним поэтом, чтобы в живых образах начертать законы действий тогдашнему человеку.

Греческое многобожие не соблазнит нашего народа. Народ наш умен: он растолкует, не ломая головы, даже то, что приводит в тупик умников. Он здесь увидит только доказательство того, как трудно человеку самому, без пророков и без откровения свыше, дойти до того, чтобы узнать бога в истинном виде, и в каких нелепых видах станет он представлять

себе лик его, раздробивши единство и едино-  
силие на множество образов и сил. Он даже  
не посмеется над тогдашними язычниками,  
признав их ни в чем невиноватыми: пророки  
им не говорили, Христос тогда не родился,  
апостолов не было. Нет, народ наш скорее по-  
чешет у себя в затылке, почувствовав то, что  
он, зная бога в его истинном виде, имея в ру-  
ках уже письменный закон его, имея даже ис-  
толкователей закона в отцах духовных, мо-  
лится ленивее и выполняет долг свой хуже  
древнего язычника. Народ смекнет, почему та  
же верховная сила помогала и язычнику за  
его добрую жизнь и усердную молитву,  
несмотря на то, что он, по невежеству, взывал  
к ней в образе Посейдонов, Кронионов, Гефе-  
стов, Гелиосов, Киприд и всей вереницы, ко-  
торую наплело играющее воображение гре-  
ков. Словом, многобожие оставит он в сторо-  
ну, а извлечет из Одиссеи то, что ему следует  
из нее извлечь, — то, что ощутительно в ней  
видимо всем, что легло в дух ее содержания и  
для чего написана сама Одиссея, то есть, что  
человеку везде, на всяком поприще, предсто-  
ит много бед, что нужно с ними бороться, —

для того и жизнь дана человеку, — что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей, который во всякую трудную и тяжелую минуту обращался к своему милому сердцу, не подозревая сам, что таковым внутренним обращением к самому себе он уже творил ту внутреннюю молитву богу, которую в минуты бедствий совершает всякой человек, даже не имеющий никакого понятия о боге. Вот то *общее*, тот живой дух ее содержания, которым произведет на всех впечатление Одиссея прежде, чем одни восхитятся ее поэтическими достоинствами, верностью картин и живостью описаний; прежде, чем другие поразятся раскрытием сокровищ древности в таких подробностях, в каких не сохранило ее ни ваянье, ни живопись, ни вообще все древние памятники; прежде, чем третьи останутся изумлены необыкновенным познанием всех изгибов души человеческой, которые все были ведомы всевидевшему слепцу; прежде, чем четвертые будут поражены глубоким ведением государственным, знанием трудной науки править людьми и властвовать ими, чем обладал также божественный

старец, законодатель и своего, и грядущих поколений; словом — прежде, чем кто-либо завлечется чем-нибудь отдельно в Одиссее сообразно своему ремеслу, занятиям, наклонностям и своей личной особенности. И всё потому, что слишком осязательно слышен этот дух ее содержания, эта внутренняя сущность его, что ни в одном творении не проступает она так сильно внаружу, проникая всё и преобладая над всем, особенно, когда рассмотрим еще, как ярки все эпизоды, из которых каждый в силах застенить главное.

Отчего ж так сильно это слышится всем? Оттого, что залегло это глубоко в самую душу древнего поэта. Видишь на всяком шагу, как хотел он облечь во всю обворожительную красоту поэзии то, что хотел бы утвердить навеки в людях, как стремился укрепить в народных обычаях то, что в них похвально, напомнить человеку лучшее и святейшее, что есть в нем и что он способен позабывать всякую минуту, оставить в каждом лице своем пример каждому на его отдельном поприще, а всем вообще оставить пример в своем неутомимом Одиссее на общечеловеческом



поприще.

Это строгое почитание обычаев, это благоговейное уважение власти и начальников, несмотря на ограниченные пределы самой власти, эта девственная стыдливость юношей, эта благость и благодушное безгневие старцев, это радушное гостеприимство, это уважение и почти благоговение к человеку, как представителю образа божия, это верование, что ни одна благая мысль не зарождается в голове его без верховной воли высшего нас существа, и что ничего не может он сделать своими собственными силами, словом — всё, всякая малейшая черта в Одиссее говорит о внутреннем желании поэта всех поэтов оставить древнему человеку живую и полную книгу законодательства в то время, когда еще не было ни законодателей, ни учреждений порядков, когда еще никакими гражданскими и письменными постановлениями не были определены отношения людей, когда люди еще многого не ведали и даже не предчувствовали, и когда один только божественный старец всё видел, слышал, соображал и предчувствовал, слепец, лишенный зрения,

общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!

И как искусно сокрыт весь труд многолетних обдумываний под простотой самого простодушнейшего повествования! Кажется, как бы, собрав весь люд в одну семью и усевшись среди них сам, как дед среди внуков, готовый даже с ними ребячиться, ведет он добродушный рассказ свой и только заботится о том, чтобы не утомить никого, не запугать неуместной длиннотою поученья, но развеять и разнести его невидимо по всему творению, чтобы, играя, набрались все того, что дано не на игрушку человеку, и незаметно бы надыхались тем, что знал он и видел лучшего на своем веку и в своем веке. Можно бы почестъ всё за изливающуюся без приготовления сказку, если бы по внимательном рассмотрении уже потом не открывалась удивительная постройка всего целого и порознь каждой песни. Как глупы немецкие умники, выдумавшие, будто Гомер — миф, а все творения его — народные песни и рапсодии!

Но рассмотрим то влияние, которое может произвести у нас Одиссея *отдельно на каждо-*

20. Во-первых, она подействует на пишущую нашу братию, на сочинителей наших. Она возвратит многих к свету, проведя их, как искусный лоцман, сквозь сумятицу и мглу, нанесенную неустроенными, не организовавшимися писателями. Она снова напомнит нам всем, в какой бесхитростной простоте нужно воссоздавать природу, как уяснять всякую мысль до ясности почти осязательной, в каком уравновешенном спокойствии должна изливаться речь наша. Она вновь даст почувствовать всем нашим писателям ту старую истину, которую век мы должны помнить и которую всегда позабываем, а именно: по тех пор не приниматься за перо, пока всё в голове не установится в такой ясности и порядке, что даже ребенок в силах будет понять и удержать всё в памяти. Еще более, чем на самих писателей, Одиссея подействует на тех, которые еще готовятся в писатели и, находясь в гимназиях и университетах, видят перед собой еще туманно и неясно свое будущее поприще. Их она может навести с самого начала на прямой путь, избавив от лишнего шатания по кривым закоулкам, по которым натол-

кались изрядно их предшественники.

Во-вторых, Одиссея подействует на вкус и на развитие эстетического чувства. Она освежит критику. Критика устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь. По поводу Одиссеи может появиться много истинно дельных критик, тем более, что вряд ли есть на свете другое произведение, на которое: можно было бы взглянуть с таких многих сторон, как на Одиссею. Я уверен, что толки, разборы, рассуждения, замечания и мысли, ею возбужденные, будут раздаваться у нас в журналах в продолжение многих лет. Читатели будут от этого не в убытке: критики не будут ничтожны. Для них потребуются много перечесть, оглянуть вновь, перечувствовать и перемыслить; пустой верхогляд не найдет даже, что и сказать об Одиссее.

В-третьих, Одиссея своей русской одеждой, в которую облек ее Жуковский, может подействовать значительно на очищение языка. Еще ни у кого из наших писателей, не только

у Жуковского во всем, что ни писал доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь. Тут заключились все ее извороты и обороты во всех видоизмененьях. Бесконечно огромные периоды, которые у всякого другого были бы вялы, темны, и периоды сжатые, краткие, которые у другого были бы черствы, обрублены, ожесточили бы речь, у него так братски улегаются друг возле друга, все переходы и встречи противоположностей совершаются в таком благозвучии, всё так и сливается в одно, улетучивая тяжелый громозд всего целого, что, кажется, как бы пропал вовсе всякий слог и склад речи: их нет, как нет и самого переводчика. Наместо его стоит перед глазами, во всем величии, старец Гомер, и слышатся те величавые, вечные речи, которые не принадлежат устам какого-нибудь человека, но которых удел вечно раздаваться в мире. Здесь-то увидят наши писатели, с какой разумной осмотрительностью нужно употреблять слова и выражения, как всякому простому слову можно возратить его возвышенное достоин-

ство уменьем поместить его в надлежащем месте, и как много значит для такого сочинения, которое назначается на всеобщее употребление и есть сочинение гениальное, это наружное благоприличие, эта внешняя отработка всего: тут малейшая соринка заметна и всем бросается в глаза. Жуковский сравнивает весьма справедливо эти соринки с бумажками, которые стали бы валяться в великолепно убранной комнате, где всё сияет ясностью зеркала, начиная от потолка до паркета: всякой вошедший прежде всего увидит эти бумажки, именно потому же самому, почему бы он их вовсе не приметил в неприбранной, нечистой комнате.

В-четвертых, Одиссея подействует в любознательном отношении, как на занимающихся науками, так и на не учившихся никакой науке, распространив живое познание древнего мира. Ни в какой истории не начитаешь того, что отыщешь в ней: от нее так и дышит временем минувшим; древний человек, как живой, так и стоит перед глазами, как будто еще вчера его видел и говорил с ним. Так его и видишь во всех его действиях, во все часы

дня: как готовится он благоговейно к жертвоприношению, как беседует чинно с гостем за пировую критерой, как одевается, как выходит на площадь, как слушает старца, как поучает юношу; его дом, его колесница, его спальня, малейшая мебель в доме, от подвижных столов до ременной задвижки у дверей, — всё перед глазами, еще свежее, чем в отрытой из земли Помпее.

Наконец, я даже думаю, что появление Одиссеи произведет впечатление на современный дух нашего общества вообще. Именно в нынешнее время, когда таинственной волей провидения стал слышаться повсюду болезненный ропот неудовлетворения, голос неудовольствия человеческого на всё, что ни есть на свете: на порядок вещей, на время, на самого себя. Когда всем наконец начинает становиться подозрительным то совершенство, на которое возвели нас наша новейшая гражданственность и просвещение: когда слышна у всякого какая-то безотчетная жажда быть не тем, чем он есть, может быть, происшедшая от прекрасного источника быть лучше; когда сквозь нелепые крики и опро-

метчивые проповедывания новых, еще темно-услышанных идей, слышно какое-то всеобщее стремление стать ближе к какой-то желанной середине, найти настоящий закон действий, как в массах, так и отдельно взятых особях; словом, в это именно время Одиссея поразит величавою патриархальностию древнего быта, простой несложностью общественных пружин, свежестью жизни, непритупленной, младенческою ясностью человека. В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца, по мере того, как станет он поболее всматриваться в нее и вчитываться.

Что может быть, например, уже сильнее того упрека, который раздастся в душе, когда разглядишь, как древний человек, с своими небольшими орудиями, со всем несовершенством своей религии, дозволявшей даже обманывать, мстить и прибегать к коварству для истребления оврага, с своею непокорной, жестокой, несклонной к повиновенью природой, с своими ничтожными законами, умел, однако же, одним только простым исполнением обычаев старины и обрядов, которые не



без смысла были установлены древними мудрецами и заповеданы передаваться в виде святыни от отца к сыну, — одним только простым исполнением этих обычаев дошел до того, что приобрел какую-то стройность и даже красоту поступков, так что всё в нем сделалось величаво с ног до головы, от речи до простого движения и даже до складки платья, и кажется, как бы действительно слышишь в нем богоподобное происхождение человека? А мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией, которая именно дана нам на то, чтобы сделать из нас святых и небесных людей, — со всеми этими орудиями, умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими, от головы до самого платья нашего, и, ко всему еще в прибавку, опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого, даже не исключая и тех, которые толкуют об уважении ко всем.

Словом, на страждущих и болеющих от

своего европейского совершенства Одиссея подействует. Много напомним она им младенчески-прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство. Многие над многим призадумаются. А между тем многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли. Благоухающими устами поэзии навеивается на души то, чего не внесешь в них никакими законами и никакой властью!

## **Несколько слов о нашей церкви и духовенстве\***

**(Из письма к гр. А. П. Т\*\*\*му)**

**Н**апрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь раздаются на нашу церковь в Европе. Обвинять в равнодушии духовенство наше будет также несправедливость. Зачем хотите вы, чтобы наше духовенство, доселе отличавшееся величавым спокойствием, столь ему пристойным, стало в ряды европейских крикунов и начало, подобно им, печат-

тать опрометчивые брошюры? Церковь наша действовала мудро. Чтобы защитить ее, нужно самому прежде узнать ее. А мы вообще знаем плохо нашу церковь. Духовенство наше не бездействует. Я очень знаю, что в глубине монастырей и в тишине келий готовятся неопровержимые сочинения в защиту церкви нашей. Но дела свои они делают лучше, нежели мы: они не торопятся и, зная, чего требует такой предмет, совершают свой труд в глубоком спокойствии, молясь, воспитывая самих себя, изгоняя из души своей всё страстное, похожее на неуместную, безумную горячку, возвышая свою душу на ту высоту бесстрастия небесного, на которой ей следует пребывать, дабы быть в силах заговорить о таком предмете. Но и эти защиты еще не послужат к полному убеждению западных католиков. Церковь наша должна святиться в нас, а не в словах наших. Мы должны быть церковь наша и нами же должны возвестить ее правду. Они говорят, что церковь наша безжизненна. — Они сказали ложь, потому что церковь наша есть жизнь; но ложь свою они вывели логически, вывели правильным выводом: мы

труппы, а не церковь наша, и по нас они назвали и церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие запросы: А сделала ли ваша церковь вас лучшими? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг? Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли всё время мимо нашей церкви и едва знаем ее даже и теперь? Владеем сокровищем, которому цены нет, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме и сам хозяин не знает, где лежит она. Эта церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы недоумения и вопросы наши, которая может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое со-

словье, званье и должность войти в их законные границы и пределы и, не изменив ничего в государстве, дать силу России изумить весь мир согласной стройностью того же самого организма, которым она доселе пугала, — и эта церковь нами незнаема! И эту церковь, созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь!

Нет, храни нас бог защищать теперь нашу церковь! Это значит уронить ее. Только и есть для нас возможна одна пропаганда — жизнь наша. Жизнью нашей мы должны защищать нашу церковь, которая вся есть *жизнь*; благоуханием душ наших должны мы возвестить ее истину. Пусть миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступить так перед народ, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души, в которой умерли все желанья мира, всё бы подвинулось еще прежде, чем он объяснил бы самое дело, и в одни го-

лос заговорило бы к нему: Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей церкви!

## О том же\*

### (Из письма к гр. А. П. Т\*\*\*му)

**З**амечание, будто власть церкви оттого у нас слаба, что наше духовенство мало имеет светскости и ловкости обращения в обществе, есть такая нелепость, как и утверждение, будто духовенство у нас вовсе отстранено от всякого прикосновения с жизнью уставами нашей церкви и связано в своих действиях правительством. Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. Поверьте, что если бы стали они встречаться с нами чаще, участвуя в наших ежедневных собраниях и гульбищах или входя в семейные дела, — это было бы нехорошо. Духовному предстоит много искушений, гораздо более даже, нежели нам: как раз завелись бы те интриги в домах, в которых обвиняют римско-католических попов. Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур

сделались светскими. У духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: исповедь и проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресенье, можно сделать очень много. И если только священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нем и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на исповеди и проповеди, как никогда ему не сказать на ежедневных с нами беседах. Нужно, чтобы он говорил стоящему среди света человеку с какого-то возвышенного места, чтобы не его присутствие слышал в это время человек, но присутствие самого бога, внимающего равно им обоим, и слышался бы обоюдный страх от его незримого присутствия. Нет, это даже хорошо, что духовенство наше находится в некотором отдалении от нас. Хорошо, что даже самой одеждой своей, не подвластной никаким изменениям и прихотям наших глупых мод, они отделились от нас. Одежда их прекрасна

и величественна. Это не бессмысленное, оставшееся от осьмнадцатого века рококо и не лоскутная, ничего не объясняющая одежда римско-католических священников. Она имеет смысл: она по образу и подобию той одежды, которую носил сам спаситель. Нужно, чтобы и в самой одежде своей они носили себе вечное напоминание о том, чей образ они должны представлять нам, чтобы и на один миг не позабылись и не растерялись среди развлечений и ничтожных нужд света, ибо с них тысящу крат более взыщется, чем с каждого из нас; чтобы слышали беспрестанно, что они — как бы другие и высшие люди. Нет, покамест священник еще молод и жизнь ему неизвестна, он не должен даже и встречаться с людьми иначе, как на исповеди и проповеди. Если же и входить в беседу, то разве только с мудрейшими и опытнейшими из них, которые могли бы познакомить его с душой и сердцем человека, изобразить ему жизнь в ее истинном виде и свете, а не в том, в каком она является неопытному человеку. Священнику нужно время также и для себя: ему нужно поработать и над самим собою. Он



должен с спасителя брать пример, который долгое время провел в пустыне и не прежде, как после сорокадневного предуготовительного поста, вышел к людям учить их. Некоторые из нынешних умников выдумали, будто нужно толкаться среди света для того, чтобы узнать его. Это просто вздор. Опроверженьем такого мнения служат все светские люди, которые толкаются вечно среди света и при всем том бывают всех пустее. Воспитываются для света не посреди света, но вдали от него, в глубоком внутреннем созерцании, в исследовании собственной души своей, ибо там законы всего и всему: найди только прежде ключ к своей собственной душе; когда же найдешь, тогда этим же самым ключом отопрешь души всех.

# О лиризме наших поэтов\*

## (Письмо к В. А. Ж\*\*\*му)

Поведем речь о статье, над которою произнесен смертный приговор, т. е. о статье под названием: *О лиризме наших поэтов*; Прежде всего благодарность за смертный приговор! Вот уже во второй раз я спасен тобою, о, мой истинный наставник и учитель! Прощлый год твоя же рука остановила меня, когда я уже было хотел послать Плетневу в Современник мои сказания о русских поэтах; теперь ты вновь предал уничтожению новый плод моего неразумия. Только один ты меня еще останавливаешь, тогда как все другие торопят неизвестно зачем. Сколько глупостей успел бы я уже наделать, если бы только послушался других моих приятелей! Итак, вот тебе прежде всего моя благодарственная песнь! А затем обратимся к самой статье. Мне стыдно, когда подумаю, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее. Всего нелепее выходят мысли и толки о литературе. Тут как-то особенно становится всё у меня напыщенно, темно и невра-

зумительно. Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие. Вновь повторяю то же самое: в лиризме наших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэтов других наций, именно — что-то близкое к библейскому, — то высшее состояние лиризма, которое чуждо движений страстных и есть твердый возлет в свете разума, верховное торжество духовной трезвости. Не говоря уже о Ломоносове и Державине, даже у Пушкина слышится этот строгий лиризм повсюду, где ни коснется он высоких предметов. Вспомни только стихотворенья его: к пастырю церкви, Пророк и, наконец, этот таинственный побег из города, напечатанный уже после его смерти. Перебери стихи Языкова и увидишь, что он всякой раз становится как-то неизмеримо выше и страстей и самого себя, когда прикоснется к чему-нибудь высшему. Приведу одно из его даже молодых стихотворений, под на-

званием *Гений*; оно же не длинно:

*Когда, гремя и пламенея,  
Пророк на небо улетал,  
Огонь могучий проникал  
Живую душу Елисея.  
Святыми чувствами полна,  
Мужала, крепла, возвышалась  
И вдохновеньем озарялась  
И бога слышала она.*

*Так гений радостно трепещет,  
Свое величье познает,  
Когда пред ним гремит и блещет  
Иного гения полет.  
Его воскреснувшая сила  
Мгновенно зреет для чудес,  
И миру новые светила —  
Дела избранника небес.*

Какой свет и какая строгость величия! Я изъяснял это тем, что наши поэты видели всякой высокой предмет в его законном соприкосновении с верховным источником лиризма — богом, одни сознательно, другие бессознательно, потому что русская душа вследствие своей русской природы уже слышит это как-то сама собой, неизвестно почему. Я сказал, что два предмета вызывали у наших по-

этов этот лиризм, близкий к библейскому. Первый из них — *Россия*. При одном этом имени как-то вдруг просветляется взгляд у нашего поэта, раздвигается дальше его кругозор, всё становится у него шире, и он сам как бы облекается величием, становясь превыше обыкновенного человека. Это что-то более, нежели обыкновенная любовь к отечеству. Любовь к отечеству отозвалась бы приторным хвастаньем. Доказательством тому наши так называемые квасные патриоты: после их похвал, впрочем довольно чистосердечных, только плюнешь на Россию. Между тем заговорит Державин о России — слышишь в себе неестественную силу и как бы сам дышишь величием России. Одна простая любовь к отечеству не дала бы сил не только Державину, но даже и Языкову, выражаться так широко и торжественно всякой раз, где ни коснется он России. Например, хоть бы в стихах, где он изображает, как наступил было на нее Баторий:

*...Повелительный Стефан\*  
В один могущественный стан  
Уже сбирал толпы густые —*

*Да ниспровергнет псковитян,  
Да уничтожится Россия!  
Но ты, к отечеству любовь,  
Ты, чем гордились наши деды,  
Ты ополчилась. Кровь за кровь —  
И он не праздновал победы!*

Эта богатырски-трезвая сила, которая временами даже соединяется с каким-то невольным пророчеством о России, рождается от невольного прикосновения мысли к верховному промыслу, который так явно слышен в судьбе нашего отечества. Сверх любви участвует здесь сокровенный ужас при виде тех событий, которым повелел бог совершиться в земле, назначенной быть нашим отечеством, прозрение прекрасного нового здания, которое покамест не для всех видимо зиждется и которое может слышать всеслышащим ухом поэзии поэт или же такой духоведец, который уже может в зерне прозревать его плод. Теперь начинают это слышать понемногу и другие люди, но выражаются так неясно, что слова их похожи на безумие. Тебе напрасно кажется, что нынешняя молодежь, бредя славянскими началами и пророча о будущем

России, следует какому-то модному поветрию. Они не умеют вынашивать в голове мыслей, торопятся их объявлять миру, не замечая то, что их мысли еще глупые ребенки, вот и всё. И в еврейском народе четыреста пророков пророчествовали вдруг: из них один только бывал избранник божий, которого сказанья вносились в святую книгу еврейского народа; все же прочие, вероятно, наговаривали много лишнего, но тем не менее они слышали неясно и темно то же самое, что избранники умели сказать здраво и ясно; иначе народ побил бы их камнями. Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? — Затем, что сильнее других слышит божью руку на всем, что ни сбывается в ней, и чует приближенье иного царствия. Оттого и звуки становятся библейскими у наших поэтов. И этого не может быть у поэтов других наций, как бы ни сильно они любили свою отчизну и как бы ни жарко умели выражать такую любовь свою. И в этом не спорь со мною, прекрасный друг мой!

Но перейдем к другому предмету, где также слышится у наших поэтов тот высокий лиризм, о котором идет речь, то есть — *любви к царю*. От множества гимнов и од царям поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желанье получить что-нибудь, и такое соображение оснует на каких-нибудь ничтожных и плохих одах тех же поэтов. Но тот, кто более, нежели остроумен, кто мудр, тот остановится перед теми одами Державина, где он очертывает властелину широкий круг его благотворных действий, где сам, со слезою на глазах, говорит ему о тех слезах, которые готовы заструиться из глаз, не только русских, но даже бесчувственных дикарей, обитающих на концах его имперьи, от одного только прикосновенья той милости и той любви, какую может показать народу одна полномощная власть. Тут многое так сказано сильно, что если бы даже



и нашелся такой государь, который позабыл бы на время долг свой, то, прочитавши сии строки, вспомнит он вновь его и умилится сам перед святостью званья своего. Только холодные сердцем попрекнут Державина за излишние похвалы Екатерине; но кто сердцем не камень, тот не прочтет без умиленья тех замечательных строф, где говорит, что если и перейдет его мраморный истукан в потомство, так это потому только,

*Что пел я россов ту царицу\*,  
Какой другой нам не найти  
Ни здесь, ни впредь в простран-  
ном мире.  
Хвались, хвались моя тем лира!*

Не прочтет он также без непритворного душевного волненья сих уже почти предсмертных стихов:

*Холодна старость дух, у лиры  
глас отъемлет\*:  
Екатерины муза дремлет  
... Петь  
Уж не могу. Другим певцам  
греметь  
Мои оставляю ветхи струны,*

*Да черплют вновь из них пе-  
руны  
Тех чистых пламенных огней,  
Как пел я трех царей.*

Старик у дверей гроба не будет лгать. При жизни своей носил он, как святыню, эту любовь, унес и за гроб ее, как святыню. Но не об этом речь. Откуда взялась эта любовь? — вот вопрос. Что весь народ слышит ее каким-то сердечным чутьем, а потому и поэт, как чистейшее отражение того же народа, должен был ее услышать в высшей степени — это объяснит только одну половину дела. Полный и совершенный поэт ничему не предается безотчетливо, не проверив его мудростию полного своего разума. Имея ухо слышать вперед, заключа в себе стремленье воссоздавать в полноте ту же вещь, которую другие видят отрывочно, с одной или двух сторон, а не со всех четырех, он не мог не прозревать развития полнейшего этой власти. Как умно определял Пушкин значение полномощного монарха и как он вообще был умен во всем, что ни говорил в последнее время своей жизни! «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы

Один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; — для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, которая может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди их одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А, кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь

шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выразался Пушкин! Как понимал он значение великих истин! Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха он даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрании его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: *К Н\*\*\**. Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Всё в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул Илиаду и увлекся нечувствительно ее чтением во всё то время, когда

В залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принесся на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода, которую повторяю здесь всю, она же вся в одной строфе:

*С Гомером долго ты беседовал  
один,  
Тебя мы долго ожидали.  
И светел ты сошел с таинственных  
вершин  
И вынес нам свои скрыжали.  
И что ж? Ты нас обрел в пустыне  
под шатром,  
В безумстве суетного пи-  
ра.  
Поющих буйну песнь и скачущих  
кругом  
От нас созданного кумира.  
Смутились мы, твоих чуждаясь  
лучей.  
В порыве гнева и печали  
Ты проклял нас, бессмысленных*

*детей.*

*Разбив листы своей скры-  
жали.*

*Нет! Ты не проклял нас. Ты лю-  
бишь с высоты*

*Сходить под тень долины  
малой,*

*Ты любишь гром небес и также  
внемлешь ты*

*Журчанью пчел над розой  
алой.*

Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как божий помазанник, обязанный стремиться вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает бог, и в праве ли был Пушкин уподобить его древнему боговидцу Моисею? Тот из людей, на рамена которого обрушилась судьба миллионов его сограждан, кто страшною ответственностью за них пред богом освобожден уже от всякой ответственности пред людьми, кто болеет ужасом этой ответственности и льет, может быть, незримо такие слезы и страждет такими страданиями, о которых и помыслить не умеет стоящий внизу человек, кто среди самих развлечений слышит

вечный, неумолкаемо раздающийся в ушах клик божий, неумолкаемо к нему вопиющий, — тот может быть уподоблен древнему боговидцу, может, подобно ему, разбить листы своей скрыжали, проклявши ветрено-кружащееся племя, которое, наместо того чтобы стремиться к тому, к чему всё должно стремиться на земле, суетно скачет около своих же, от себя самих созданных кумиров. Но Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества, вымолило ее криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви божией, которая бы всё умела простить нам — и забвенье долга нашего, и самый ропот наш, — всё, что не прощает на земле человек, чтобы один затем только собрал свою власть в себя самого и отделился бы от всех нас и стал выше всего на земле, чтобы чрез то стать ближе равно ко всем, снисходить с вышины ко всему и внимать всему, начиная от грома небес и лиры поэта до-незаметных увеселений наших.

Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа. Не мешает заметить, что это был тот поэт, который был слишком горд и независимостью своих мнений и своим личным достоинством. Никто не сказал так о себе, как он:

*Я памятник себе воздвиг  
нерукотворный,  
К нему не зарастет народная  
тропа;  
Вознесся выше он главою непокор-  
ной*

*Наполеонова столпа.*

Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты\*; но положим, если бы даже стих остался в своем прежнем виде, он все-таки послужил бы доказательством, и даже еще бóльшим как Пушкин, чувствуя свое личное преимущество, как человека, перед многими из венценосцев, слышал в то же время всю малость званья своего перед званием венценосца и умел благоговейно поклониться пред теми из них, которые показали миру величе-



ство своего званья.

Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен, наконец, сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему государь есть образ божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значенье государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выраженью. Всё к тому ведет, чтобы вызвать в государях высшую, божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся, наконец, до того, что разорвется от жалости и бесчувственное сердце, и сила еще доселе небывалого сострадания вызовет силу другой, еще доселе небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую никогда еще не загорался. Из нас, людей частных,

возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Всё полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и званья, и обративши всё, что ни есть в нем, как бы в собственное тело свое, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своем, государь приобретет тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству, и которого прикосновенье будет не жестко его ранам, который один может только внести примиренье во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значенье свое — быть образом того на земле, который сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определять высшее значенье монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведцы смотрели на одну его сторону, именно, как на высшего чинов-

ника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда, вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств, бывает нужно то расширить ее пределы, то ограничить ее. А через это и государь и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один на счет другого. Высшее значенье монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы, услышали с трепетом волю бога создать ее в России в ее законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякой раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышат у нас и не поэты, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощенья татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, всё

потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разоб-  
раться, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул царь в своем го-  
сударстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью, и всё придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верхов-  
ному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством, еще прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были се-  
мена взаимной любви в сердца! Ни один цар-  
ский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший под-  
данный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно го-  
сударя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное род-

ство с царем. И так слился и стал одно-едино с подвластным повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда — государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него, или подданный позабудет своего государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля бога — избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому неизвестного отрока! Тут же рядом стояли древнейшие родом, и притом мужи доблести, которые только что спасли свое отечество: Пожарский, Трубецкой, наконец князя, по прямой линии происходившие от Рюрика. Всех их мимо произошло избрание, и ни одного голоса не было против: никто не посмел предьявлять прав своих. И случилось это в то смутное время, когда всякой мог вздорить и оспаривать, и набирать шайки приверженцев! И кого же выбрали? Того, кто приходился по женской линии родственником царю, от которого недавний ужас ходил по всей земле, так что не только им притесняемые и казнимые бояре, но даже и самый народ, который почти ничего не потерпел от него, долго по-

вторял поговорку: «Добра была голова, да слава богу, что земля прибрала». И при всем том всё единогласно, от бояр до последнего бобыля, положило, чтоб он был на престоле. Вот какие у нас делаются дела! Как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов, которые слышали полное определение царя в книгах ветхого завета и которые в то же время так близко видели волю бога на всех событиях в нашем отечестве, — как же ты хочешь, чтобы лиризм наших поэтов не был исполнен библейских отголосков? Повторяю, простой любви не стало бы на то, чтобы, облечь такую суровую трезвостью их звуки: для этого потребно-полное и твердое убеждение разума, а не одно безотчетное чувство любви, иначе звуки их вышли бы мягкими, как у тебя в прежних твоих молодых сочинениях, когда ты предавался чувству одной только любящей души своей. Нет, есть что-то крепкое, слишком крепкое у наших поэтов, чего нет у поэтов других наций. Если тебе этого не видится, то еще не доказывает, чтобы его вовсе не было. Вспомни сам, что в тебе не все стороны русской природы; напротив, некоторые из них

взошли в тебе на такую высокую степень и так развивались просторно, что через это не дали места другим, и ты уже стал исключением из общерусских характеров. В тебе заключились вполне все мягкие и нежные струны нашей славянской природы; но те густые и крепкие ее струны, от которых проходит тайный ужас и содроганье по всему составу человека, тебе не так известны. А они-то и есть родники того лиризма, о котором идет речь. Этот лиризм уже ни к чему не может возноситься, как только к одному верховному источнику своему — богу. Он суров, он пуглив, он не любит многословия, ему приторно всё, что ни есть на земле, если только он не видит на чем напечатления божьего. В ком хотя одна крупница этого лиризма, тот, несмотря на все несовершенства и недостатки, заключает в себе суровое, высшее благородство душевное, перед которым дрожит сам и которое заставляет его бежать от всего, похожего на выраженье признательности со стороны людской. Собственный лучший его подвиг ему вдруг опротивеет, если за него последует ему какая-нибудь награда: он слыш-

ком чувствует, что всё высшее должно быть выше награды. Только по смерти Пушкина обнаружались его истинные отношения к государю и тайны двух его лучших сочинений. Никому не говорил он при жизни о чувствах, его наполнявших, и поступил умно. После того, как вследствие всякого рода холодных газетных возгласов, писанных слогом помадных объявлений, и всяких сердитых, неопратно-запальчивых выходок, производимых всякими квасными и неквасными патриотами, перестали верить у нас на Руси искренности всех печатных излияний, — Пушкину было опасно выходить: его бы как раз назвали подкупным или чего-то ищущим человеком. Но теперь, когда явились только после его смерти эти сочинения, верно, не отыщется во всей России такого человека, который посмел бы назвать Пушкина льстецом или угодником кому бы то ни было. Чрез то святыня высокого чувства сохранена. И теперь всяк, кто даже и не в силах постигнуть дело собственным умом, примет его на веру, сказавши: Если сам Пушкин думал так, то уж, верно, это суцая истина. Царственные гимны наших поэтов



изумляли самих чужеземцев своим величественным складом и слогом. Еще недавно Мицкевич сказал об этом на лекциях Парижу, и сказал в такое время, когда и сам он был раздражен противу нас, и всё в Париже на нас негодовало. Несмотря, однако ж, на то, он объявил торжественно, что в одах и гимнах наших поэтов ничего нет рабского или низкого, но, напротив, что-то свободно-величественное: и тут же, хотя это не понравилось никому из земляков его, отдал честь благородству характеров наших писателей. Мицкевич прав. Наши писатели, точно, заключили в себе черты какой-то высшей природы. В минуты сознания своего они сами оставили свои душевные портреты, которые отозвались бы самохвальством, если бы их жизнь не была тому подкреплением. Вот что говорит о себе Пушкин, помышляя о будущей судьбе своей:

*И долго буду тем народу я любезен,  
Что чувства добрые я лирой пробуждал.  
Что прелестью живой стихов я*

*был полезен  
И милость к падшим призывал.*

Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет. Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда шло дело к тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Как выжидал он первой минуты царского благоволения к нему, чтобы заикнуться не о себе, а о другом несчастном, упавшем! Черта истинно русская. Вспомни только то умиленное зрелище, какое представляет посещение всем народом ссыльных, отправляющихся в Сибирь, когда всяк несет от себя — кто пищу, кто деньги, кто христиански-утешительное слово. Ненависти нет к преступнику, нет также и донкишотского порыва сделать из него героя, собирать его факсимили, портреты, или смотреть на него из любопытства, как делается в просвещенной Европе. Здесь что-то более: не желанье оправдать его или вырвать из рук правосудия, но воздвигнуть упавший дух его, утешить, как брат утешает брата, как повелел Христос нам утешать друг друга. Пушкин слишком высоко ценил всякое

стремление воздвигнуть падшего. Вот отчего так гордо затрепетало его сердце, когда услышал он о приезде государя в Москву во время ужасов холеры, — черта, которую едва ли показал кто-нибудь другой из венценосцев, и которая вызвала у него сии замечательные стихи:

*Небесами*

*Клянусь: кто жизньнюю своей\*  
Играл пред сумрачным недугом,  
Чтоб ободрить угасший взор, —  
Клянусь, тот будет небу другом,  
Какой бы ни был приговор  
Земли слепой.*

Он умел также оценить и другую черту в жизни другого венценосца, Петра. Вспомни стихотворенье *Пир на Неве\**, в котором он с изумленьем спрашивает о причине необыкновенного торжества в царском доме, раздающегося кликами по всему Петербургу и по Неве, потрясенной пальбою пушек. Он перебирает все случаи, радостные царю, которые могли быть причиной такого пиროвания: родился ли государю наследник его престола, именинница ль жена его, побежден ли непо-

бедимый враг, прибыл ли флот, составлявший любимую страсть государя, и на всё это отвечает:

*Нет, он с подданным мирится\*,  
Виноватому вину  
Забывая, веселится,  
Чарку пенит с ним одну.  
Оттого-то пир веселый,  
Речь гостей хмельна, шумна.  
И Нева пальбой тяжелой  
Далеко потрясена.*

Только один Пушкин мог почувствовать всю красоту такого поступка. Уметь не только простить своему подданному, но еще торжествовать это прощение, как победу над врагом, — это истинно божеская черта. Только на небесах умеют поступать так. Там только радуются обращению грешника еще более, чем самому праведнику, и все сонмы невидимых сил участвуют в небесном пиршестве бога. Пушкин был знаток и оценщик верный всего великого в человеке. Да и как могло быть иначе, если духовное благородство есть уже свойственность почти всех наших писателей? Замечательно, что во всех других землях

писатель находится в каком-то неуважении от общества, относительно своего личного характера. У нас напротив. У нас даже и тот, кто просто кропатель, а не писатель, и не только не красавец душой, но даже временами и вовсе подленек, во глубине России отнюдь не почитается таким. Напротив, у всех вообще, даже и у тех, которые едва слышат о писателях, живет уже какое-то убеждение, что писатель есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим. В одной из наших губерний, во время дворянских выборов, один дворянин, который с тем вместе был и литератор, подал было свой голос в пользу человека, совести несколько запятнанной — все дворяне обратились к нему тут же и его попрекнули, сказавши с укоризной: «А еще и писатель!»

1846.

# Споры\*

## (Из письма к Л\*\*\*)

Споры о наших европейских и славянских началах, которые, как ты говоришь, пробиваются уже в гостиные, показывают только то, что мы начинаем просыпаться, но еще не вполне проснулись; а потому не мудрено, что с обеих сторон наговаривается весьма много дичи. Все эти славянисты и европисты, или же староверы и нововеры, или же восточники и западники, а что они в самом деле, не умею сказать, потому что покамест они мне кажутся только карикатуры на то, чем хотят быть, — все они говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу. Один подошел слишком близко к строению, так что видит одну часть его; другой отошел от него слишком далеко, так что видит весь фасад, но по частям не видит. Разумеется, правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях. Но и на стороне

европистов и западников тоже есть правда, потому что они говорят довольно подробно и отчетливо о той стене, которая стоит перед их глазами; вина их в том только, что из-за карниза, венчающего эту стену, не видится им верхушка всего строения, то есть главы, купола и всё, что ни есть в вышине. Можно бы посоветовать обоим — одному попробовать, хотя на время, подойти ближе, а другому отступить немного подалее. Но на это они не согласятся, потому что дух гордости обуял обоими. Всякой из них уверен, что он окончательно и положительно прав и что другой окончательно и положительно лжет. Кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу. Разумеется, что таким строптивым хвастовством вооружают они еще более противу себя европистов, которые давно бы готовы были от многого отступить, потому что и сами начинают слышать многое, прежде не слышанное, но упорствуют, не желая уступить слишком раскозырявшемуся человеку. Все эти споры еще ничего,

если бы только они оставались в гостиных да в журналах. Но дурно то, что два противоположные мнения, находясь в таком еще незрелом и неопределенном виде, переходят уже в головы многих должностных людей. Мне сказывали, что случается (особенно в тех местах, где должность и власть разделена в руках двух) таким образом, что в одно и то же время один действует совершенно в европейском духе, а другой старается подвизаться решительно в древнерусском, укрепляя все прежние порядки, противоположные тем, которые замышляет собрат его. И оттого как делам, так и самим подчиненным чиновникам приходит беда: они не знают, кого слушаться. А так как оба мнения, несмотря на всю свою резкость, окончательно всем не определились, то, говорят, этим пользуются всякого рода пройдохи. И плуту оказалась теперь возможность, под маскою славяниста или европиста, смотря по тому, чего хочется начальнику, получить выгодное место и производить на нем плутни в качестве как поборника старины, так и поборника новизны. Вообще, споры суть вещи такого рода, к которым



люди умные и пожилые покамест не должны приставать. Пусть прежде выкричится хорошенько молодежь; это ее дело. Поверь, уже так заведено и нужно, чтобы передовые крикуны вдоволь выкричались затем именно, дабы умные могли в это время надуматься вдоволь. К спорам прислушивайся, но в них не вмешивайся. Мысль твоего сочинения, которым хочешь заняться, очень умна, и я даже уверен, что ты исполнишь это дело лучше всякого литератора. Но об одном тебя прошу: производи его в минуты, сколько возможно, хладнокровные и спокойные. Храни тебя бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его. Вспомни, что ты человек не только немолодой, но даже и весьма в годах. Молодому человеку еще как-нибудь пристал гнев; по крайней мере, в глазах некоторых он придает ему какую-то картинную наружность. Но если старик начнет горячиться, он делается, просто, гадок; молодежь как раз подымет его на зубки и выставит смешным. Смотри же, чтоб не сказали о тебе: «Эк, сквер-

ный старикашка! всю жизнь валялся на боку, ничего не делая, а теперь выступил укорять других, зачем они не так делают.» Из уст старика должно исходить слово благостное, а не шумное и спорное. Дух чистейшего незлобия и кротости должен проникать величавые речи старца, так, чтобы молодежь ничего не нашлась сказать ему в возраженье, почувствовав, что неприличны будут ее речи и что седина есть уже святыня.

1844.

## **Христианин идет вперед\***

### **(Письмо к Щ\*\*\*ву)**

**Д**руг мой! считай себя не иначе, как школьником и учеником. Не думай, чтобы ты уже был стар для того, чтобы учиться, что силы твои достигнули настоящей зрелости и развития и что характер и душа твоя получили уже настоящую форму и не могут быть лучшими. Для христианина нет оконченного курса; он вечно ученик, и до самого гроба ученик. По обыкновенному, естественному ходу человек достигает полного развития ума своего в тридцать лет. От тридцати до сорока еще

кое-как идут вперед его силы; дальше же этого срока в нем ничто не подвигается, и всё им производимое не только не лучше прежнего, но даже слабее и холодней прежнего. Но для христианина этого не существует, и, где для других предел совершенства, там для него оно только начинается. Самые способные и самые даровитые из людей, перевалиясь за сорокалетний возраст, тупеют, устают и слабеют. Перебери всех философов и первейших всесветных гениев: лучшая пора их была только во время их полного мужества; потом они уже понемногу выживали из своего ума, а в старости впадали даже в младенчество. Вспомни о Канте, который в последние годы обеспамятел вовсе и умер, как ребенок. Но пересмотри жизнь всех святых: ты увидишь, что они крепили в разуме и силах духовных по мере того, как приближались к дряхлости и смерти. Даже и те из них, которые от природы не получили никаких блестящих даров и считались всю жизнь простыми и глупыми, изумляли потом разумом речей своих. Отчего ж это? Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно быва-

ет у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собой подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши. Угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая. Но перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги. Он, как юноша, алчет жизненной битвы; ему есть с чем воевать и где подвизаться, потому что взгляд его на самого себя, беспрестанно просветляющийся, открывает ему новые недостатки в себе самом, с которыми нужно производить новые битвы. Оттого и все его силы не только не могут в нем заснуть или ослабеть, но еще возбуждаются беспрестанно; а желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытимейшее честолюбие. Вот причина, почему христианин тогда идет вперед, когда другие назад, и отчего становится он, чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас способность. Его должность не больше, как полицейская: он

может только привести в порядок и расставить по местам всё то, что у нас уже есть. Он сам не двинется вперед, покуда не двинутся в нас все другие способности, от которых он умнеет. Отвлеченными чтеньями, размышленьями и беспрестанными слушаньями всех курсов наук его заставишь только слишком немного уйти вперед; иногда это даже подавляет его, мешая его самобытному развитию. Он несравненно в большей зависимости находится от душевных состояний: как только забушует страсть, он уже вдруг поступает слепо и глупо; если же покойна душа и не кипит никакая страсть, он и сам проясняется и поступает умно. Разум есть несравненно высшая способность, но она приобретается не иначе, как победой над страстями. Его имели в себе только те люди, которые не пренебрегли своим внутренним воспитанием. Но и разум не дает полной возможности человеку стремиться вперед. Есть высшая еще способность; имя ей — мудрость, и ее может дать нам один Христос. Она не наделяется никому из нас при рождении, никому из нас не есть природная, но есть дело высшей благодати

небесной. Тот, кто уже имеет и ум и разум, может не иначе получить мудрость, как молясь о ней и день и ночь, прося и день и ночь ее у бога, возводя душу свою до голубиноного незлобия и убирая всё внутри себя до возможнейшей чистоты, чтобы принять эту небесную гостью, которая пугается жилищ, где не пришло в порядок душевное хозяйство и нет полного согласия во всем. Если же она вступит в дом, тогда начинается для человека небесная жизнь, и он постигает всю чудную сладость быть учеником. Всё становится для него учителем; весь мир для него учитель: ничтожнейший из людей может быть для него учитель. Из совета самого простого извлечет он мудрость совета; глупейший предмет станет к нему своей мудрой стороной, и вся вселенная перед ним станет, как одна открытая книга ученья: больше всех будет он черпать из нее сокровищ, потому что больше всех будет слышать, что он ученик. Но если только возмнит он хотя на миг, что ученье его кончено, и он уже не ученик, и оскорбится он чьим бы то ни было уроком или поученьем, мудрость вдруг от него отнимется, и

останется он впотьмах, как царь Соломон в свои последние дни.

1846.

## Карамзин\*

(Из письма к Н. М. Я\*\*\*ву)

**Я** прочел с большим удовольствием похвальное слово Карамзину, написанное Погодиным. Это лучшее из сочинений Погодина в отношении к благопристойности как внутренней, так и внешней: в нем нет его обычных грубо неуклюжих замашек и топорного неряшества слога, так много ему вредящего. Всё здесь, напротив того, стройно, обдуманно и расположено в большом порядке. Все места из Карамзина прибраны так умно, что Карамзин как бы весь очерчивается самим собою и, своими же словами взвесив и оценив самого себя, становится как живой перед глазами читателя. Карамзин представляет, точно, явление необыкновенное. Вот о ком из наших писателей можно сказать, что он весь исполнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему пять талантов истинно принес другие пять. Карамзин первый показал, что

писатель может быть у нас независим и по-  
чтен всеми равно, как именитейший гражда-  
нин в государстве. Он первый возвестил тор-  
жественно, что писателя не может стеснить  
цензура, и если уже он исполнился чистей-  
шим желанием блага в такой мере, что жела-  
нье это, занявши всю его душу, стало его пло-  
тью и пищей, тогда никакая цензура для него  
не строга, и ему везде просторно. Он это ска-  
зал и доказал. Никто, кроме Карамзина, не го-  
ворил так смело и благородно, не скрывая ни-  
каких своих мнений и мыслей, хотя они и не  
соответствовали во всем тогдашнему прави-  
тельству, и слышишь невольно, что он один  
имел на то право. Какой урок нашему брату  
писателю! И как смешны после этого из нас  
те, которые утверждают, что в России нельзя  
сказать полной правды и что она у нас колет  
глаза! Сам же выразится так нелепо и грубо,  
что более, нежели самой правдой, уколёт те-  
ми заносчивыми словами, которыми скажет  
свою правду, словами запальчивыми, выка-  
зывающими неряшество растрепанной души  
своей, и потом сам же изумляется и негодует,  
что от него никто не принял и не выслушал



правды! Нет. Имей такую чистую, такую благоустроенную душу, какую имел Карамзин, и тогда возвещай свою правду: всё тебя выслушает, начиная от царя до последнего нищего в государстве. И выслушает с такою любовью, с какой не выслушивается ни в какой земле ни парламентский защитник прав, ни лучший нынешний проповедник, собирающий вокруг себя верхушку модного общества, и с какой любовью может выслушать только одна чудная наша Россия, о которой идет слух, будто она вовсе не любит правды.

1846.

# О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности\*

(Письмо к гр. А. П. Т\*\*\*му)

**В**ы очень односторонни, и стали недавно так односторонни; и оттого стали односторонни, что, находясь на той точке состоянья душевного, на которой теперь стоите вы, нельзя не сделаться односторонним всякому человеку. Вы помышляете только об одном душевном спасении вашем и, не найдя еще той именно дороги, которую вам предназначено достигнуть его, почитаете всё, что ни есть в мире, соблазном и препятствием к спасению. Монах не строже вас. Так и ваши нападения на театр односторонни и несправедливы. Вы подкрепляете себя тем, что некоторые вам известные духовные лица восстают против театра; но они правы, а вы неправы. Разберите лучше, точно ли они восстают против театра, или только противу того вида, в котором он нам теперь является. Церковь начала восставать противу театра в первые века все-

общего водворенья христианства, когда театры одни оставались прибежищем уже повсюду изгнанного язычества и притоном бесчинных его вакханалий. Вот почему так сильно гремел противу них Златоуст. Но времена изменились. Мир весь перечистился сызнова поколениями свежих народов Европы, которых образованье началось уже на христианском грунте, и тогда сами святители начали первые вводить театр: театры завелись при духовных академиях. Наш Димитрий Ростовский, справедливо поставляемый в ряд св<ятых> отцов церкви, слагал у нас пьесы для представления в лицах. Стало быть, не театр виноват. Всё можно извратить и всему можно дать дурной смысл, человек же на это способен. Но надобно смотреть на вещь в ее основании и на то, чем она должна быть, а не судить о ней по карикатуре, которую на нее сделали. Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись

одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Отделите только собственно называемый высший театр от всяких балетных скаканий, водевилей, мелодрам и тех мишурно-великолепных зрелищ для глаз, угрожающих разврату вкуса или разврату сердца, и тогда посмотрите на театр. Театр, на котором представляются высокая трагедия и комедии, должен быть в совершенной независимости от всего. Странно и соединить Шекспира с плясуньями или с плясунами в лайковых штанах. Что за сближение? Ноги — ногами, а голова — головой. В некоторых местах Европы это поняли: театр высших драматических представлений там отделен и пользуется один поддержкой правительств; но поняли это в отношении порядка внешнего. Следовательно подумайте не шутя о том, как поставить все лучшие произведения драматических писателей таким образом, чтобы публика привлеклась к ним вниманием, и открылось бы их нравственное благотворное влияние, которое есть у всех великих писателей. Шекспир, Ше-

ридан, Мольер, Гёте, Шиллер, Бомарше, даже Лессинг, Реньяр и многие другие из второстепенных писателей прошедшего века ничего не произвели такого, что бы отвлекало от уважения к высоким предметам; к ним даже не перешли и отголоски того, что бурлило и кипело у тогдашних писателей-фанатиков, занимавшихся вопросами политическими и разносивших неуважение к святыне. У них, если и попадаются насмешки, то над лицемерием, над кощунством, над кривым толкованием правого, и никогда над тем, что составляет корень человеческих доблестей; напротив, чувство добра слышится строго даже и там, где брызжут эпиграммы. Частое повторение высоко драматических сочинений, то есть тех истинно классических пьес, где обращено внимание на природу и душу человека, станет необходимо укреплять общество в правилах более недвижимых, заставит нечувствительно характеры более устояваться в самих себе, тогда как всё это наводнение пустых и легких пьес, начиная с водевилей и недодуманных драм до блестящих балетов и даже опер, их только разбрасывает, рассеива-

ет, становится легким и ветреным общество. Развлеченный миллионами блестящих предметов, раскидывающих мысли на все стороны, свет не в силах встретиться прямо со Христом. Ему далеко до небесных истин христианства. Он их испугается, как мрачного монастыря, если не подставишь ему незримые ступени к христианству, если не возведешь его на некоторое высшее место, откуда ему станет видней весь необъятный кругозор христианства и понятней то же самое, что прежде было вовсе недоступно. Есть много среди света такого, которое для всех, отделившихся от христианства, служит незримой ступенью к христианству. В том числе может быть и театр, если будет обращен к своему высшему назначению. Нужно ввести на сцену во всем блеске все совершеннейшие драматические произведения всех веков и народов. Нужно давать их чаще, как можно чаще, повторяя беспрерывно одну и ту же пиесу. И это можно сделать. Можно все пиесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить, как следует, на сцену. Это

вздор, будто они устарели и публика потеряла к ним вкус. Публика не имеет своего каприза; она пойдет, куда поведут ее. Не попотчевай ее сами же писатели своими гнилыми мелодрамами, она бы не почувствовала к ним вкуса и не потребовала бы их. Возьми самую заиграннейшую пиесу и поставь ее, как нужно, та же публика повалит толпой. Мольер ей будет в новость, Шекспир станет заманчивее наисовременнейшего водевиля. Но нужно, чтобы такая постановка произведена была действительно и вполне художественно, чтобы дело это поручено было не кому другому, как первому и лучшему актеру-художнику, какой отыщется в труппе. И не мешать уже сюда никакого приклеиша сбоку, секретаря-чиновника; пусть он один распоряжается во всем. Нужно даже особенно позаботиться о том, чтобы вся ответственность легла на него одного, чтобы он решился публично, перед глазами всей публики сыграть сам по порядку одну за другою все второстепенные роли, дабы оставить живые образцы второстепенным актерам, которые заучивают свои роли по мертвым образцам, дошедшим

до них по какому-то темному преданию, которые образовались книжным научением и не видят себе никакого живого интереса в своих ролях. Одно это исполнение первым актером второстепенных ролей может привлечь публику видеть двадцать раз сряду ту же пиесу. Кому не любопытно видеть, как Щепкин или Каратыгин станут играть те роли, которых никогда дотоле не играли! Потом же, когда первоклассный актер, разыгравши все роли, возвратится вновь на свою прежнюю, он получит взгляд, еще полнейший, как на собственную свою роль, так и на всю пиесу; а пиеса получит вновь еще сильнейшую занимательность для зрителей этой полнотой своего исполнения, — вещью, доселе неслыханной! Нет выше того потрясенья, которое производит на человека совершенно согласованное согласие всех частей между собою, которое доселе мог только слышать он в одном музыкальном оркестре и которое в силе сделать то, что драматическое произведение может быть дано более разов сряду, чем налюбимейшая музыкальная опера. Что ни говори, но звуки души и сердца, выражаемые словом,



в несколько раз разнообразнее музыкальных звуков. Но, повторяю, всё это возможно только в таком случае, когда дело будет сделано истинно так, как следует, и полная ответственность всего, по части репертуарной, возляжет на первоклассного актера, то есть трагедией будет заведывать первый трагический актер, а комедией — первый комический актер, когда одни они будут *исключительные* хороважди такого дела. Говорю *исключительные*, потому что знаю, как много у нас есть охотников прикомандироваться сбоку во всяком деле. Чуть только явится какое место и при нем какие-нибудь денежные выгоды, как уже вмиг пристегнется сбоку секретарь. Откуда он возьмется, бог весть: точно как из воды выйдет; докажет тут же свою необходимость ясно, как дважды два; заведет вначале бумажную кропотню только по экономическим делам, потом станет понемногу впутываться во всё, и дело пойдет из рук вон. Секретари эти, точно какая-то незримая моль, подточили все должности, сбили и спутали отношения подчиненных к начальникам и обратно начальников к подчиненным. Мы с вами еще не так

давно рассуждали о всех должностях, какие ни есть в нашем государстве. Рассматривая каждую в ее законных пределах, мы находили, что они именно то, что им следует быть, все до единой как бы свыше созданы для нас с тем, чтобы отвечать на все потребности нашего государственного быта, и все сделались не тем оттого, что всяк, как бы наперерыв, старался или расширить пределы своей должности, или даже вовсе выступить из ее пределов. Всякой, даже честный и умный человек, старался хотя на один вершок быть полномочней и выше своего места, полагая, что он этим-то именно облагородит и себя и свою должность. Мы перебрали тогда всех чиновников от верху до низу, но секретарей позабыли, а они-то именно больше всех стремятся выступить из пределов своей должности. Где секретарь заведен только в качестве писца, там он хочет сыграть роль посредника между начальником и подчиненным. Где же он постановлен действительно как нужный посредник между начальником и подчиненным, там он начинает важничать: корчит перед этим подчиненным роль его начальника,

заведет у себя переднюю, заставит ждать себя по целым часам, словом — вместо того, чтобы облегчить доступ подчиненного к начальнику, только затруднит его. И всё это иногда делается не с другим каким умыслом, как только затем, чтобы облагородить свое секретарское место. Я знал даже некоторых совсем недурных и неглупых людей, которые перед моими же глазами так поступали с подчиненными своего начальника, что я краснел за них же. Мой Хлестаков был в эту минуту ничто перед ними. Всё это, конечно, еще бы ничего, если бы от этого не происходило слишком много печальных следствий. Много истинно полезных и нужных людей иногда бросали службу единственно из-за скотинства секретаря, требовавшего к себе того же самого уваженья, которым они были обязаны только одному начальнику, и за неисполнение того мстившего им оговорами, внушеньями о них дурного мненья, словом — всеми теми мерзостями, на которые способен только бесчестный человек. Конечно, в управлениях по части искусств, художеств и тому подобно, правит или комитет, или один непосред-

ственный начальник, и не бывает места секретарю-посреднику: там он употреблен только записывать определения других или вести хозяйственную часть; но иногда случается и там, от лености членов или чего другого, что он, мало-помалу втираясь, становится посредником и даже вершителем в деле искусства. И тогда выходит просто чорт знает что: пирожник принимается за сапоги, а к сапожнику поступает печенье пирогов. Выходит инструкция для художника, писанная вовсе не художником; является предписание, которого даже и понять нельзя, зачем оно предписано. Часто удивляются, как такой-то человек, будучи всегда умным человеком, мог выпустить преглупую бумагу, а в ней он и душой не виноват: бумага вышла из такого угла, откуда и подозревать никто не мог, по пословице: «Писал писачка, а имя ему собачка».

Нужно, чтобы в деле какого бы то ни было мастерства полное его производство упиралось на главном мастере того мастерства, а отнюдь не каком-нибудь пристегнувшемся сбоку чиновнике, который может быть только употреблен для одних хозяйственных рас-

четов, да для письменного дела. Только сам мастер может учить своей науке, слыша вполне ее потребности, и никто другой. Один только первоклассный актер-художник может сделать хороший выбор пьес, дать им строгую сортировку; один он знает тайну, как производить репетиции, понимать, как важны частые считовки и полные предуготовительные повторения пьесы. Он даже не позволит актеру выучить роль у себя на дому, но сделает так, чтобы всё выучилось ими сообща, и роль вошла сама собою в голову каждого во время репетиций, так чтобы всяк, окруженный тут же обстановливающими его обстоятельствами, уже невольно от одного соприкосновенья с ними слышал верный тон своей роли. Тогда и дурной актер может нечувствительно набраться хорошего. Покуда актеры еще не заучили наизусть своих ролей, им возможно перенять многое у лучшего актера. Тут всяк, не зная даже сам каким образом, набирается правды и естественности как в речах, так и в телодвиженьях. Тон вопроса дает тон ответу. Сделай вопрос напыщенный, получишь и ответ напыщенный; сделай про-

стой вопрос, простой и ответ получишь. Всякой наипростейший человек уже способен отвечать в такт. Но если только актер заучил у себя на дому свою роль, от него изойдет напыщенный, заученный ответ, и этот ответ уже останется в нем навек: его ничем не переломаешь; ни одного слова не переймет он тогда от лучшего актера; для него станет глухо всё окружение обстоятельств и характеров, обступающих его роль, так же, как и вся пьеса станет ему глуха и чужда, и он, как мертвец, будет двигаться среди мертвецов. Только один истинный актер-художник может слышать жизнь, заключенную в пьесе, и сделать так, что жизнь эта делается видной и живой для всех актеров; один он может слышать законную меру репетиций — как их производить, когда прекратить и сколько их достаточно для того, дабы возмогла пьеса явиться в полном совершенстве своем перед публикой. Умей только заставить актера-художника взяться за это дело, как за свое собственное, родное дело, докажи ему, что это его долг и что честь его же искусства того требует от него — и он это сделает, он это исполнит, по-

тому что любит свое искусство. Он делает даже больше, позаботясь, чтобы и последний из актеров сыграл хорошо, сделав строгое исполнение всего целого как бы своей собственной ролью. Он не допустит на сцену никакой пошлой и ничтожной пиесы, какую допустил бы иной чиновник, заботящийся только о приращении сборной денежной кассы, — потому не допустит, что уже его внутреннее эстетическое чувство оттолкнет ее. Ему невозможно также, если бы он даже и вздумал оказать какие-нибудь притеснительные поступки или прижимки относительно вверенных ему актеров, какие делаются людьми чиновными: его не допустит к тому его собственная известность. Какой-нибудь чиновник-секретарь производит отважно свою пакость в уверенности, что как он ни напакости, о том никто не узнает, потому что и сам он — незаметная пешка. Но сделай что-нибудь несправедливое Щепкин или Каратыгин, о том заговорит вдруг весь город. Вот почему особенно важно, чтобы главная ответственность во всяком деле падала на человека, уже известного всем до единого в обществе. Наконец,

живя весь в своем искусстве, которое стало уже его высшею жизнью, которого чистоту блюдет он как святыню, художник-актер не попустит никогда, чтобы театр стал проповедником разврата. Итак, не театр виноват. Прежде очистите театр от хлама, его загромождившего, и потом уже разбирайте и судите, что такое театр. Я заговорил здесь о театре не потому, чтобы хотел говорить собственно о нем, но потому, что сказанное о театре можно применить почти ко всему. Много есть таких предметов, которые страдают из-за того, что извратили смысл их; а так как вообще на свете есть много охотников действовать сгоряча, по пословице: «рассердясь на вши, да шубу в печь», то через это уничтожается много того, что послужило бы всем на пользу. Односторонние люди и притом фанатики — язва для общества, беда той земле и государству, где в руках таких людей очутится какая-либо власть. У них нет никакого смирения христианского и сомнения в себе; они уверены, что весь свет врет и одни они только говорят правду. Друг мой! смотрите за собой покрепче: Вы теперь именно находитесь



в этом опасном состоянии. Хорошо, что покуда вы вне всякой должности и вам не вверено никакого управления; иначе вы, которого я знаю как наиспособнейшего к отправлению самых трудных и сложных, должностей, могли бы наделать больше зла и беспорядков, чем: самый неспособный из неспособнейших. Берегитесь и в самих суждениях своих обо всем! Не будьте похожи на тех святошей, которые желали бы разом уничтожить всё, что ни есть в свете, видя во всем одно бесовское. Их удел — впадать в самые грубые ошибки. Нечто тому подобное случилось недавно в литературе. Некоторые стали печатно объявлять, что Пушкин был деист, а не христианин; точно как будто бы они побывали в душе Пушкина, точно как будто бы Пушкин непременно обязан был в стихах своих говорить о высших догматах христианских, за которые и сам святитель церкви принимается не иначе, как с великим страхом, приготовя себя к тому глубочайшей святостью своей жизни. По ихнему, следовало бы всё высшее в христианстве облекать в рифмы и сделать из того какие-то стихотворные игрушки. Пуш-

кин слишком разумно поступал, что не дерзал переносить в стихи того, чем еще не прониклась вся насквозь его душа, и предпочитал лучше остаться нечувствительной ступенью к высшему для всех тех, которые слишком отделились от Христа, чем оттолкнуть их вовсе от христианства такими же бездушными стихотворениями, какие пишутся теми, которые выставляют себя христианами. Я не могу даже понять, как могло прийти в ум критику печатно, в виду всех, возводить на Пушкина такое обвиненье, что сочинения его служат к развращению света, тогда как самой цензуре предписано, в случае, если бы смысл какого сочинения не был вполне ясен, толковать его в прямую и выгодную для автора сторону, а не в кривую и вредящую ему. Если это поставлено в закон цензуре, безмолвной и безгласной, не имеющей даже возможности оговориться перед публикою, то во сколько раз больше должна это поставить себе в закон критика, которая может изъясниться и оговориться в малейшем действии своем. Публично выставлять нехристианином человека и даже противником Христа, основыва-

ясь на некоторых несовершенствах его души и на том, что он увлекался светом так же, как и всяк из нас им увлекался, — разве это христианское дело? Да и кто же из нас тогда христианин? Этак я могу обвинить самого критика в его нехристианстве. Я могу сказать, что христианин не возымеет такой уверенности в уме своем, чтобы решать такое темное дело, которое известно одному богу, зная, что ум наш вполне проясняется и может обнимать со всех сторон предмет только от святости нашей жизни, а жизнь его еще не так, может быть, свята. Христианин перед тем, чтобы обвинить какого-либо в таком уголовном преступлении, каково есть непризнание бога в том виде, в каком повелел признавать его сам божий сын, сходявший на землю, задумается, потому что дело это страшное. Он скажет и то: в поэзии многое есть еще тайна, да и вся поэзия есть тайна; трудно и над простым человеком произнести суд свой; произнести же суд окончательный и полный над поэтом может один тот, кто заключил в себе самом поэтическое существо и есть сам уже почти равный ему поэт, — как и во всяком да-

же простом мастерстве понемногу может судить всяк, но вполне судить может только сам мастер того мастерства. Словом, христианин покажет прежде всего смирение, свое первое знамя, по которому можно узнать, что он христианин. Христианин, наместо того, чтобы говорить о тех местах в Пушкине, которых смысл еще темен и может быть истолкован на две стороны, станет говорить о том, что ясно, что было им произведено в лета разумного мужества, а не увлекающейся юности. Он приведет его величественные стихи пастырю церкви, где Пушкин сам говорит о себе, что даже и в те годы, когда он увлекался суею и прелестию света, его поражал даже один вид служителя Христова.

*Но и тогда струны лукавой\*  
Мгновенно звон я прерывал,  
Когда твой голос величавый  
Меня внезапно поражал.*

*Я лил потоки слез неждан-  
ных,  
И ранам совести моей  
Твоих речей благоуханных  
Отраден чистый был елей.*

*И ныне с высоты духовной*

*Мне руку простираешь ты,  
И силой кроткой и любовной  
Смиряешь буйные мечты.*

*Твоим огнем душа палима  
Отвергла прах земных сует,  
И внемлет арфе серафима  
В священном ужасе поэт.*

Вот на какое стихотворенье Пушкина укажет критик-христианин! Тогда критика его получит смысл и сделает добро: она еще сильнее укрепит самое дело, показавши, как даже и тот человек, который заключал в себе все разнородные верованья и вопросы своего времени, так сбивчивые, так отдаляющие нас от Христа, как даже и тот человек, в лучшие и светлейшие минуты своего поэтического ясновидения, исповедал выше всего высоту христианскую. Но какой теперь смысл критики? спрашиваю я. Какая польза смутить людей, поселивши в них сомнение и подозрение в Пушкине? Безделица — выставить наиумнейшего человека своего времени не признающим христианства! Человека, на которого умственное поколение смотрит, как на вождя и на передового, сравнительно перед другими

людьми! Хорошо еще, что критик был бесталантлив и не мог пустить в ход подобную ложь, и что сам Пушкин оставил тому опровержение в своих же стихах; но будь иначе — что другое, кроме безверья, наместо веры, мог бы распространить он? Вот что можно сделать, будучи односторонним! Друг мой, храни вас бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло: в литературе, на службе, в семье, в свете, словом — везде. Односторонний человек самоуверен; односторонний человек дерзок; односторонний человек всех вооружит против себя. Односторонний человек ни в чем не может найти середины. Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком. Односторонность в мыслях показывает только то, что человек еще на дороге к христианству, но не достигнул его, потому что христианство дает уже многосторонность уму. Словом, храни вас бог от односторонности! Смотрите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совершенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не открыта. Театр и те-

атр — две разные вещи, равно как и восторг самой публики бывает двух родов: иное дело восторг от того, когда какая-нибудь балетная танцовщица подымет ногу повыше, и опять иное дело восторг от того, когда могущественный лицедей потрясающим словом подымет выше все высокие чувства в человеке. Иное дело — слезы от того, что какой-нибудь заезжий певец расщекотит музыкальное ухо человека, — слезы, которые, как я слышу, проливают теперь в Петербурге и немусыканты; и опять иное дело — слезы от того, когда живым представленьем высокого подвига человека весь насквозь просвежается зритель и по выходе из театра принимается с новой силою за долг свой, видя подвиг геройский в таком его исполнении. Друг мой! мы призваны в мир не за тем, чтобы истреблять и разрушать, но, подобно самому богу, всё направлять к добру, — даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло. Нет такого орудия в мире, которое не было бы предназначено на службу бога. Те же самые трубы, тимпаны, лиры и кимвалы, которыми славили язычники идолов своих, по одержании над ними царем

Давидом победы, обратились на восхваленъе истинного бога, и еще больше обрадовался весь Израиль, услышав хвалу ему на тех инструментах, на которых она дотоле не раздавалась.

1845.

## **Предметы для лирического поэта в нынешнее время\***

**(Два письма к Н. М. Я\*\*\*у)**

**1.**

**Т**вое стихотворенъе «Землетрясенъе» меня восхитило. Жуковский также был от него в восторге. Это, по его мненью, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений. Взять событие из минувшего и обратить его к настоящему — какая умная и богатая мысль! А примененъе к поэту, завершающее оду, таково, что его следует всякому из нас, каково бы ни было его поприще, применить к самому себе в эту тяжелую годину всемирного землетрясенья, когда всё помутилось от страха за будущее. Друг! перед тобой разверзается живоносный источник. В словах



ТВОИХ ПОЭТУ:

*И приноси дрожащим людям  
Молитвы с горней вышины!*

закljučаются слова тебе самому. Тайна твоей музыки тебе открывается. Нынешнее время есть именно поприще для лирического поэта. Сатирой ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутаго взглядом современного светского человека, никого не разбудишь: богатырски задремал нынешний век. Нет, отыщи в минувшем событии подобное настоящему, заставь его выступить ярко и порази его в виду всех, как поражено было оно гневом божьим в свое время; бей в прошедшем настоящее, и в двойную силу облечется твое слово: живей через то выступит прошедшее, и криком закричит настоящее. Разогни книгу Ветхого завета: ты найдешь там каждое из нынешних событий, ясней как день увидишь, в чем оно преступило пред богом, и так очевидно изображен над ним совершившийся страшный суд божий, что вострепнется настоящее. У тебя есть на то орудья и средства: в стихе твоём есть сила, и

упрекающая и подъемлющая. То и другое теперь именно нужно. Одних нужно поднять, других попрекнуть: поднять тех, которые смутились от страхов и бесчинств, их окружающих; попрекнуть тех, которые в святые минуты небесного гнева и страданий повсюдных дерзают предаваться буйству всяких скаканий и позорного ликованья. Нужно, чтобы твои стихи стали так в глазах всех, как начертанные на воздухе буквы, явившиеся на пиру Валтасара, от которых всё пришло в ужас еще прежде, чем могло проникнуть самый их смысл. А если хочешь быть еще понятней всем, то, набравшись духа библейского, опусти с ним, как со светочем, во глубины русской старины и в ней порази позор нынешнего времени и углуби в то же время глубже в нас то, перед чем еще позорнее станет позор наш. Стих твой не будет вял, не бойся; старина даст тебе краски и уже одной собой вдохновит тебя! Она так живьем и шевелится в наших летописях. На днях попалась мне книга: *Царские выходы*\*. Казалось, что бы могло быть ее скучней, но и тут уже одни слова и названья царских убранных, дорогих тканей и

каменьев — сущие сокровища для поэта; всякое слово так и ложится в стих. Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; всё зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Да если только уберешь такими словами стих свой — целиком унесешь читателя в минувшее. Мне, после прочтенья трех страниц из этой книги, так и виделся везде царь старинных, прежних времен, благоговейно идущий к вечерне в старинном царском своем убранстве.

1844.

## 2.

Пишу к тебе под влиянием того ж стихотворения твоего: *Землетрясение*. Ради бога, не оставляй начатого дела! Перечитывай строго Библию, набирайся русской старины и, при свете их, приглядывайся к нынешнему времени. Много, много предстоит тебе предметов, и грех тебе их не видеть. Жуковский недаром доселе называл твою поэзию восторгом, иикуды не обращенным. Стыдно тратить лирическую силу в виде холостых выстрелов на воздух, тогда как она дана тебе на то, что-

бы взрывать камни и ворочать утесы. Оглянись вокруг: всё теперь — предметы для лирического поэта; всяк человек требует лирического воззвания к нему; куды ни поворачиваешься, видишь, что нужно или попрекнуть, или освежить кого-нибудь.

Попрекни же прежде всего сильным лирическим упреком; умных, но унывших людей. Проймешь их, если покажешь им; дело в настоящем виде, то есть, что человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях, каковы бы ни были причины уныния, потому что унынье проклято богом. Истинно русского человека поведешь на брань даже и против уныния, поднимешь его превыше страха и колебаний земли, как поднял, поэт в своем Землетрясении.

Воззови, в виде лирического сильного воззвания, к прекрасному, но дремлющему человеку. Брось ему с берега доску и закричи во весь голос, чтобы спасал свою бедную душу: уже он далеко от берега, уже несет и несет его ничтожная верхушка света, несут обеды, ноги плясавиц, ежедневное сонное опьянение; нечувствительно облекается он плотью и

стал уже весь плоть, и уже почти нет в нем души. Завопи воплем и выставь ему ведьму старость, к нему идущую, которая вся из железа, перед которой железо есть милосердьё, которая ни крохи чувства не отдает назад и обратно. О, если б ты мог сказать ему то, что должен сказать мой Плюшкин, если доберусь до третьего тома. «Мертв<ых> душ»!

Опозорь в гневном дифирамбе новейшего лихоимца нынешних времен и его проклятую роскошь, и скверную жену его, погубившую щеголяньями и тряпками и себя, и мужа, и презренный порог их богатого дома, и гнусный воздух, которым там дышат, чтобы, как от чумы, от них побежало всё бегом и без оглядки.

Возвеличь в торжественном гимне незаметного труженика, какие, к чести высокой породы русской, находятся посреди отважнейших взяточников, которые не берут даже и тогда, как всё берет вокруг их. Возвеличь и его, и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела носить старомодный чепец и стать предметом насмешек других, чем допустить своего мужа сделать неспра-

ведливость и подлость. Выставь их прекрасную бедность так, чтобы, как святыня, она засияла у всех в глазах, и каждому из нас захотелось бы самому быть бедным.

Ублажи гимном того исполина, какой выходит только из русской земли, который вдруг пробуждается от позорного сна, становится вдруг другим; плюнувши в виду всех на свою мерзость и гнуснейшие пороки, становится первым ратником добра. Покажи, как совершается это богатырское дело в истинно русской душе; но покажи так, чтобы невольно затрепетала в каждой русской природа и чтобы всё, даже в грубом и низшем сословии, вскрикнуло: «Эх, молодец!», почувствовавши, что и для него самого возможно такое дело.

Много, много предметов для лирического поэта — в книге не вместишь, не только в письме. Всякое истинное русское чувство гложет, и некому его вызвать! Дремлет наша удадь, дремлет решимость и отвага на дело, дремлет наша крепость и сила, — дремлет ум наш среди вялой и бабьей светской жизни, которую привили к нам, под именем просвещения, пустые и мелкие нововведения. Стрях-

ни же сон с очей своих и порази сон других. На колени перед богом, и проси у него Гнева и Любви! Гнева — противу того, что губит человека, любви — к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам. Найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, если только, подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданьем вымолишь себе у бога на то силу, и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа.

1844.

## Советы\*

### (Письмо к Щ\*\*\*ву)

Уча других, также учишься. Посреди моего болезненного и трудного времени, к которому присоединились еще и тяжелые страдания душевные, я должен был вести такую деятельную переписку, какой никогда у меня не было дотоле. Как нарочно; почти со всеми близкими моей душе случились в это время внутренние события и потрясения. Всё каким-то инстинктом обращалось ко мне, требуя помощи и совета. Тут только узнал я близкое родство человеческих душ между собою. Стоит только хорошенько выстрадаться самому, как уже все страдающие становятся тебе понятны и почти знаешь, что нужно сказать им. Этого мало; самый ум проясняется: дотоле сокрытые положенья и поприща людей становятся тебе известны, и делается видно, что кому из них потребно. В последнее время мне случалось даже получать письма от людей, мне почти вовсе незнакомых, и давать на них ответы такие, каких бы я не сумел дать прежде. А между прочим я ничуть не умней



никого. Я знаю людей, которые в несколько раз умней и образованней меня и могли бы дать советы в несколько раз полезнейшие моих; но они этого не делают и даже не знают, как это сделать. Велик бог, нас умудряющий! и чем же умудряющий? — тем самым горем, от которого мы бежим и хотим сокрыться. Страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Но кто уже приобрел одну из этих крупиц, тот уже не имеет права скрывать ее от других. Она не твое, но божье достоянье. Бог ее выработал в тебе; все же дары божьи даются нам затем, чтобы мы служили ими братьям нашим: он повелел, чтобы ежеминутно учили мы друг друга. Итак, не останавливайся, учи и давай советы! Но если хочешь, чтобы это принесло в то же время тебе самому пользу, делай так, как думаю я и как положил себе отныне делать всегда: всякой совет и наставление, какое бы ни случилось кому дать, хотя бы даже человеку, стоящему на самой низкой степени образования, с которым у тебя ничего не может быть общего, обрати в то же время к самому себе, и то же самое, что

посоветовал другому, посоветуй себе самому; тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. Поверь, всё придется к тебе самому, и я даже не знаю, есть ли такой упрек, которым бы нельзя было упрекнуть себя самого, если только пристально поглядишь на себя. Действуй оружием обоюдоострым! Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого. И это делай непременно! Ни в каком случае не своди глаз с самого себя. Имей всегда в предмете себя прежде всех. Будь эгоист в этом случае! Эгоизм — тоже не дурное свойство; вольно было людям дать ему такое скверное толкование, а в основанье эгоизма легла суцая правда. Похлобачься прежде о себе, а потом о других; стань прежде сам почище душою, а потом уже старайся, чтобы другие были чище.

1846.

## Просвещение\*

### (Письмо к В. А. Ж\*\*\*му)

Еще раз пишу к тебе с дороги. Брат, благодарю за всё! У гроба господа испрошу, да поможет мне отдать тебе хотя часть того умного добра, которым наделял меня ты. Веруй, и да не смущается твое сердце! В Москву ты приедешь, как в родную свою семью. Она представит тебе желанной пристанью, и в ней будет покойнее тебе, нежели здесь. Ни пустой шум суеты, ни гром экипажа не смутит тебя: объедут бережно и улицу, в которой ты будешь жить. Если кто и приедет тебя навестить, старый ли друг твой, или же дотоле незнакомый человек, он станет вперед просить не отдавать ему визита, боясь, чтобы и минута твоего времени не пропала. У нас умеют и даже знают, как почтить того, кто сделал целиком свое дело. Кто так безукоризненно, так честно употреблял все дары свои, не давая задремать своим способностям, не ленясь ни минуты во всю жизнь свою, кто сохранил свежую старость свою, как бы молодость, в то время как все вокруг ее истратили на пустые соблазны

и когда молодые превратились в хилых стариков, тот имеет право на внимание благоговеющее. Как патриарх ты будешь в Москве, и на вес золота примут от тебя юноши старческие слова твои. Твоя Одиссея принесет много общего добра, это тебе предрекаю. Она возвратит к свежести современного человека, усталого от беспорядка жизни и мыслей; она обновит в глазах его много того, что брошено им, как ветхое и ненужное для быта; она возвратит его к простоте. Но не меньше добра, если еще не больше, принесут те труды, на которые навел тебя сам бог и которые ты держишь покуда разумно под спудом. В них окажется также потребность общая. Не смущайся же и твердо гляди вперед! Да не испугает тебя никакая нестройность того, что бы ты ни встретил. Есть примиритель всего внутри самой земли нашей, который покуда еще не всеми видим — наша церковь. Уже готовится она вдруг вступить в полные права свои и засиять светом на всю землю. В ней заключено всё, что нужно для жизни истинно русской, во всех ее отношениях, начиная от государственного до простого семейственного, всему

настрой, всему направленью, всему законная и верная дорога. По мне, безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в Россию, минуя нашу церковь, не испросив у нее на то благословенья. Нелепо даже и к мыслям нашим прививать какие бы то ни было европейские идеи, покуда не окрестит их она светом Христовым. Увидишь, как это вдруг и в твоих же глазах будет признано всеми в России, как верующими, так и неверующими, как вдруг выступит всеми узнанная наша церковь. Была на то воля промысла, чтобы непостижимая слепота пала на глаза многих. Когда разбираю пристально нить событий мира, вижу всю мудрость божью, попустившую временному разделенью церквей, повелевшую одной стоять неподвижно и как бы вдали от людей, а другой — волноваться вместе с людьми; одной — не принимать в себя никаких нововведений, кроме тех, которые были внесены святыми людьми лучших времен христианства и первоначальными отцами церкви, другой — меняясь и применяясь ко всем обстоятельствам времени, духу и привычек людей, вносить все нововведения, сде-

ланные даже порочными несвятыми епископами; одной — на время как бы умереть для мира, другой — на время как бы овладеть всем миром; одной — подобно скромной Марии, отложивши все попеченья о земном, поместиться у ног самого господа, затем, чтобы лучше наслушаться слов его, прежде чем применять и передавать их людям, другой же — подобно заботливой хозяйке Марфе, гостеприимно хлопотать около людей, передавая им еще не взвешенные всем разумом слова господни. Благую часть избрала первая, что так долго прислушивалась к словам господа, вынося упреки недаленовидной сестры своей, которая уже было осмелилась называть ее мертвым трупом и даже заблудшей и отступившей от господа. Не легко применить слово Христово к людям, и следовало ей прежде сильно проникнуться им самой. Зато в нашей церкви сохранилось всё, что нужно для ныне просыпающегося общества. В ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей, и чем больше вхожу в нее сердцем, умом и помышленьем, тем больше изумляюсь чудной возможности примирения тех противуречий,

которых не в силах примирить теперь церковь западная. Западная церковь была еще достаточно для прежнего несложного порядка, еще могла кое-как управлять миром и мирить его со Христом во имя одностороннего и неполного развития человечества. Теперь же, когда человечество стало достигать развития полнейшего во всех своих силах, во всех свойствах, как хороших, так и дурных, она его только отталкивает от Христа: чем больше хлопочет о примирении, тем больше вносит раздор, будучи не в силах осветить узким светом своим всякой нынешний предмет со всех его сторон. Все сознаются в том, что этим самым введением в себя множества постановлений человеческих, сделанных такими епископами, которые еще не достигнули святостью жизни своей до полной и многосторонней христианской мудрости, она сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и всесторонний взгляд на жизнь остался на ее восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека. В ней простор не только душе и сердцу человека, но и

разуму, во всех его верховных силах; в ней дорога и путь, как устремить всё в человеке в один согласный гимн верховному существу. Друг, не смущайся ничем! Если бы седмерицею крат были запутанней нынешние обстоятельства — всё примирит и распутает наша церковь. Уже каким-то неведомым чутьем даже светские люди, толкающиеся среди <нас,> начинают слышать, что есть какое-то сокровище, от которого спасенье, — которое среди нас и которого не видим. Блеснет сокровище, и на всем отсветится блеск его. И время уже недалеко. Мы повторяем теперь еще бессмысленно слово «Просвещение». Даже и не задумались над тем, откуда пришло это слово и что оно значит. Слова этого нет ни на каком языке; оно только у нас. Просветить не значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном уме, пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято из нашей церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружа-



шие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, поднимая в обеих руках и троесвещник, знаменующий триицу бога, и двусвещник, знаменующий его сходявшее на землю слово в двойном естестве его, и божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: Свет христов освещает всех! Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с неба, вслух всем слова: «Свет просвещенья» и ничего к ним не прибавляется больше.

1846.

## **Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»\***

### **1.**

**В**ы напрасно негодуете на неумеренный тон некоторых нападений на М<ертвые> д<уши>: это имеет свою хорошую сторону. Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Кто увлечен красотами, тот не видит недостатков и прощает всё; но кто озлоблен, тот постарается выкопать в нас всю дрянь и выставить ее так ярко внаружу, что поневоле

ее увидишь. Истину так редко приходится слышать, что уже за одну крупницу ее можно простить всякой оскорбительный голос, с каким бы она ни произносилась. В критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного мне совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать. В самом деле, если бы я не торопился печатаньем рукописи и подержал ее у себя с год, я бы увидел потом и сам, что в таком: неопрятном виде ей никак нельзя являться в свет. Самые эпиграммы и насмешки надо мной были мне нужны, несмотря на то, что с первого разу пришлись очень не по сердцу. О, как нам нужны беспрестанные щелчки и этот оскорбительный тон, и эти едкие, пронимающие насквозь насмешки! На дне души нашей столько таится всякого мелкого, ничтожного самолюбия, щекотливого, скверного честолюбия, что нас ежеминутно следует колоть, поражать, бить всеми возможными орудиями, и мы должны: благодарить ежеминутно нас поражающую руку.

Я бы желал, однако ж, побольше критик, не со стороны литераторов, но со стороны лю-

дей, занятых делом самой жизни, со стороны практических людей; как на беду, кроме литераторов, не отозвался никто. А между тем М<ертвые> д<уши> произвели много шума, много ропота; задели за живое многих и насмешкой, и правдой, и карикатурой; коснулись порядка вещей, который у всех ежедневно перед глазами; исполнены промахов, анахронизмов, явного незнания многих предметов; местами даже с умыслом помещено обидное и задевающее, авось кто-нибудь меня выберанит хорошенько и в брани, в гневе выскажет мне правду, которой добиваюсь. И хоть бы одна душа подала голос! А мог всяк. И как бы еще умно! Служащий чиновник мог бы мне явно доказать, в виду всех, неправдоподобность мной изображенного события приведеньем двух-трех действительно случившихся дел, и тем бы опроверг меня лучше всяких слов, или таким же самым образом мог бы защитить и оправдать справедливость мной описанного. Приведеньем события случившегося лучше доказывається дело, нежели пустыми словами и литературными разглагольствованьями. Мог бы то же сделать и ку-

пец, и помещик, словом — всякой грамотей, сидит ли он сиднем на месте, или рыскает вдоль и поперек по всему лицу русской земли. Сверх собственного взгляда своего, всяк человек, с того места, или ступеньки в обществе, на которую поставили его должность, званье и образование, имеет случай видеть тот же предмет с такой стороны, с которой кроме его никто другой не может видеть. По поводу М<ертвых> душ могла бы написаться всей толпой читателей другая книга, несравненно любопытнейшая Мертвых душ, которая могла бы научить не только меня, но и самих читателей, потому что — нечего таить греха: все мы очень плохо знаем Россию.

И хоть бы одна душа заговорила во всеуслышанье! Точно, как бы вымерло всё, как бы в самом деле обитают в России не живые, а какие-то мертвые души. И меня же упрекают в плохом знании России! Как будто непременно силой святого духа должен узнать я всё, что ни делается во всех углах ее, — без научения научиться! Но какими путями могу научиться я, писатель, осужденный уже самим званием писателя на сидячую, затворни-

ческую жизнь, и притом еще больной, и притом еще принужденный жить вдали от России, какими путями могу я научиться? Меня же не научат этому литераторы и журналисты, которые сами затворники и люди кабинетные. У писателя только и есть один учитель: сами читатели. А читатели отказались поучить меня. Знаю, что дам сильный ответ богу за то, что не исполнил, как следует, своего дела; но знаю, что дадут за меня ответ и другие. И говорю это недаром. Видит бог, говорю недаром!

1843.

## 2.

Я предчувствовал, что все лирические отступления в поэме будут приняты в превратном смысле. Они так неясны, так мало вяжутся с предметами, проходящими пред глазами читателя, так невпопад складу и замашке всего сочинения, что ввели в равное заблуждение как противников, так и защитников. Все места, где ни заикнулся я неопределенно о писателе, были отнесены на мой счет; я краснел даже от изъяснений их в мою пользу. И поделом мне! Ни в каком случае не следовало

выдавать сочинения, которое, хотя выкроено было не дурно, но сшито кое-как белыми нитками, подобно платью, приносимому портным только для примерки. Дивлюсь только тому, что мало было сделано упреков в отношении к искусству и творческой науке. Этому помешало как гневное расположение моих критиков, так и непривычка всматриваться в постройку сочинения. Следовало показать, какие части чудовищно длинны в отношении к другим, где писатель изменил самому себе, не выдержав своего собственного, уже раз принятого тона. Никто не заметил даже, что последняя половина книги отработана меньше первой, что в ней великие пропуски, что главные и важные обстоятельства сжаты и сокращены, неважные и побочные распространены, что не столько выступает внутренний дух всего сочинения, сколько мечется в глаза пестрота частей и лоскутность его. Словом, можно было много сделать нападений несравненно дельнейших, выбрать меня гораздо больше, нежели теперь бранят, и выбрать за дело. Но речь не о том. Речь о лирическом отступлении, на которое больше

всего напали журналисты, видя в нем признаки самонадеянности, самохвальства и гордости, доселе еще не слыханной ни в одном писателе. Разумею то место в последней главе, когда, изобразив выезд Чичикова из города, писатель, на время оставляя своего героя среди столбовой дороги, становится сам на его место и, пораженный скучным однообразием предметов, пустынной неприютностью пространств и грустной песнью, несущейся по всему лицу земли русской от моря до моря, обращается в лирическом воззвании к самой России, спрашивая у ней самой объяснения непонятого чувства, его объяввшего, то есть: зачем и почему ему кажется, что будто всё, что ни есть в ней, от предмета одушевленного до бездушного, вперило на него глаза свои и чего-то ждет от него. Слова эти были приняты за гордость и доселе неслыханное хвастовство, между тем как они ни то, ни другое. Это просто нескладное выражение истинного чувства. Мне и доньше кажется то же. Я до сих пор не могу выносить тех заунывных, раздирающих звуков нашей песни, которая стремится по всем беспредельным русским

пространствам. Звуки эти вьются около моего <сердца> и я даже дивлюсь, почему каждый не ощущает в себе того же. Кому при взгляде на эти пустынные, доселе не заселенные и неприютные пространства не чувствуется тоска, кому в заунывных звуках нашей песни не слышатся болезненные упреки ему самому, именно ему самому, тот или уже весь исполнил свой долг, как следует, или же он нерусский в душе. Разберем дело, как оно есть. Вот уже почти полтора года лет протекло с тех пор, как государь Петр прочистил нам глаза чистилицем просвещенья европейского, дал в руки нам все средства и орудья для дела, и до сих пор остаются так же пустынные, грустны и безлюдны наши пространства, так же неприютно и неприветливо всё вокруг нас, точно, как будто бы мы до сих пор еще не у себя дома, не под родной нашей крышей, но где-то остановились неприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым отве-



том: «Нет лошадей». Отчего это? Кто виноват? Мы или правительство? Но правительство во всё время действовало без устани. Свидетелем тому целые томы постановлений, узаконений и учреждений, множество настроенных домов, множество изданных книг, множество заведенных заведений всякого рода: учебных, человеколюбивых, богоугодных и, словом, даже таких, каких нигде в других государствах не заводят правительства. Сверху раздаются вопросы, ответы снизу. Сверху раздавались иногда такие вопросы, которые свидетельствуют о рыцарски-великодушном движении многих государей, действовавших даже в ущерб собственным выгодам. А как было на это всё ответствовано снизу? Дело ведь в применении, в умении приложить данную мысль таким образом, чтобы она принялась и поселилась в нас. Указ, как бы он обдуман и определителей ни был, есть не более, как бланковый лист, если не будет снизу такого же чистого желанья применить его к делу той именно стороной, какой нужно, какой следует и какую может прозреть только тот, кто просветлен понятием о справедливости

божеской, а не человеческой. Без того всё обратится во зло. Доказательство тому все наши тонкие плуты и взяточники, которые умеют обойти всякой указ, для которых новый указ есть только новая пожива, новое средство загромоздить большей сложностью всякое отправление дел, бросить новое бревно под ноги человеку. Словом — везде, куды ни обращусь, вижу, что виноват применитель, стало быть, наш же брат: или виноват тем, что поторопился, желая слишком скоро прославиться и схватить орденишку; или виноват тем, что слишком сторяча рванулся, желая, по русскому обычаю, показать свое самопожертвованье; не расспросясь разума, не рассмотрев в жару самого дела, стал им ворочать, как знак, и потом вдруг, также по русскому обычаю, простыл, увидевши неудачу; или же виноват, наконец, тем, что, из-за какого-нибудь оскорбленного мелкого честолюбия, всё бросил и то место, на котором было начал так благородно подвизаться, сдал первому плуту — пусть его грабит людей. Словом — у редкого из нас доставало столько любви к добру, чтобы он решился пожертвовать из-за него и

честолюбьем, и самолюбьем, и всеми мелочами легко раздражающегося своего эгоизма и положил самому себе в непременный закон — служить земле своей, а не себе, помня ежеминутно, что взял он место для счастья других, а не для своего. Напротив, в последнее время, как бы еще нарочно, старался русской человек выставить всем на вид свою щекотливость во всех родах и мелочь раздражительного самолюбия своего на всех путях. Не знаю, много ли из нас таких, которые сделали всё, что им следовало сделать, и которые могут сказать открыто перед целым светом, что их не может попрекнуть ни в чем Россия, что не глядит на них укоризненно всякой бездушный предмет ее пустынных пространств, что всё ими довольно и ничего от них не ждет. Знаю только то, что я слышал себе упрек. Слышу его и теперь. И на моем поприще писателя, как оно ни скромно, можно было кое-что сделать на пользу более прочную. Что из того, что в моем сердце обитало всегда желанье добра и что единственно из-за него я взялся за перо? Как исполнил его? Ну, хоть бы и это мое сочиненье, которое теперь вышло и

которому названье Мертвые души, — произвело ли оно то впечатление, какое должно было произвести, если бы только было написано так, как следует? Своих же собственных мыслей, простых, неголоволомных мыслей, я не сумел передать и сам же подал повод к истолкованию их в превратную и скорее вредную, нежели полезную, сторону. Кто виноват? Неужели мне говорить, что меня подталакивали просьбы приятелей или нетерпеливые желания любителей изящного, услаждающихся пустыми, скоропреходящими звуками? Неужели мне говорить, что меня притиснули обстоятельства, и, желая добыть необходимые для моего прожития деньги, я должен был поторопиться безвременным выпуском моей книги? Нет, кто решился исполнить свое дело честно, того не могут поколебать никакие обстоятельства, тот протянет руку и попросит милостыню, если уж до того дойдет дело, тот не посмотрит ни на какие временные нарекания, ниже пустые приличия света. Кто из пустых приличий света портит дело, нужное своей земле, тот ее не любит. Я почувствовал презренную слабость моего характе-

ра, мое подлое малодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрек себе во всем, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те же пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгнули великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к России: «В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему!» Оно было сказано не для картины или похвальбы: я это чувствовал; я это чувствую и теперь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое званье и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего званья и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Я слышал то великое поприще, которое никому из других народов теперь невозможно и только одному русскому возможно, потому что перед ним только такой простор и только его душе знакомо богатырство — вот отчего у меня исторгнулось то восклицанье, которое приняли за

мое хвастовство и мою самонадеянность!

1843.

### 3.

Охота же тебе, будучи таким знатоком и ведателем человека, задавать мне те же пустые запросы, которые умеют задать и другие. Половина их относится к тому, что еще впереди. Ну, что толку в подобном любопытстве? Один только запрос умен и достоин тебя, и я бы желал, чтобы его мне сделали и другие, хотя не знаю, сумел ли бы на него отвечать умно, именно запрос: отчего герои моих последних произведений, и в особенности М<ертвых> д<уш>, будучи далеко от того, чтобы быть портретами действительных людей, будучи сами по себе свойства совсем непривлекательного, неизвестно почему, близки душе, точно, как бы в сочинении их участвовало какое-нибудь обстоятельство душевное? Еще год назад мне было бы неловко отвечать на это даже и тебе. Теперь же прямо скажу всё: герои мои потому близки душе, что они из души; все мои последние сочинения — история моей собственной души. А чтобы получше всё это объяснить, определю тебе себя самого, как

писателя. Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та *мелочь*, которая ускользает от глаз, мелькнула бы *крупно* в глаза всем. Вот мое главное свойство, одному мне принадлежащее и которого, точно, нет у других писателей. Оно впоследствии углубилось во мне еще сильнее от соединенья с ним некоторого душевного обстоятельства. Но этого я не в состоянии был открыть тогда даже и Пушкину.

Это свойство выступило с большей силою в М<ертвых> д<ушах>. Мертвые души не потому так испугали Россию и произвели, такой шум внутри ее, чтобы они раскрыли какие-нибудь ее раны или внутренние болезни, и не потому также, чтобы представили потрясающие картины торжествующего зла и страждущей невинности. Ничуть не бывало. Герои мои вовсе не злодеи; прибавь я только

одну добрую черту любому из них, читатель помирился бы с ними всеми. Но пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что негде даже и приотдохнуть или перевести дух бедному читателю, и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погребца на божий свет. Мне бы скорей простили, если бы я выставил картинных извергов; но пошлости не простили мне. Русского человека испугала его ничтожность более, чем все его пороки и недостатки. Явление замечательное! Испуг прекрасный! В ком такое сильное отвращение от ничтожного, в том, верно, заключено всё то, что противоположно ничтожному. Итак, вот в чем мое главное достоинство; но достоинство это, говорю вновь, не развилось бы во мне в такой силе, если бы с ним не соединилось мое собственное душевное обстоятельство и моя собственная душевная история. Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.



Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, который бы высунулся видней всех моих прочих пороков, все равно, как не было также никакой картинной добродетели, которая могла бы придать мне какую-нибудь картинную наружность; но зато, вместо того, во мне заключилось собрание всех возможных гадостей, каждой понемногу, и притом в таком множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу, уже от рожденья моего, несколько хороших свойств; но лучшее из них, за которое не умею, как возблагодарить его, было *желанье быть лучшим*. Я не любил никогда моих дурных качеств, и если бы небесная любовь божья не распорядила так, чтобы они открывались передо мною постепенно и понемногу, наместо того, чтобы открыться вдруг и разом перед моими глазами, в то время как я не имел еще никакого понятия о всей неизмеримости его бесконечного милосердия, — я бы повесился. По мере того, как они стали открываться, чудным высшим внушеньем усиливалось во мне желанье из-

бавляться от них; необыкновенным душевным событием я был наведен на то, чтобы передавать их моим героям. Какого рода было это событие, знать тебе не следует: если бы я видел в этом пользу для кого-нибудь, я бы это уже объявил. С этих пор я стал наделять своих героев, сверх их собственных гадостей, моей собственной дрянью. Вот как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом званьи и на другом поприще, старался себе изобразить его в виде смертельного врага, нанесшего мне самое чувствительное оскорбление, преследовал его злобой, насмешкой и всем, чем ни попало. Если бы кто увидал те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы, точно, содрогнулся. Довольно сказать тебе только то, что когда я начал читать Пушкину первые главы из М<ертвых> д<уш>, в том виде, как они были прежде, то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачней, сумрачней, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тос-

ки: «Боже, как грустна наша Россия!» Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что всё это карикатура и моя собственная выдумка! Тут-то я увидел, что значит дело, взятое из души, и вообще душевная правда, и в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и пугающее *отсутствие света*. С этих пор я уже стал думать только о том, как бы смягчить то тягостное впечатление, которое могли произвести Мертвые души. Я увидел, что многие из гадостей не стòят злобы; лучше показать всю ничтожность их, которая должна быть навеки их уделом. Притом мне хотелось попробовать, что скажет вообще русской человек, если его попотчевашь его же собственной пошлостью. Вследствие уже давно принятого плана Мертвых душ для первой части поэмы требовались именно люди ничтожные. Эти ничтожные люди, однако ж, ничуть не портреты с ничтожных людей; напротив, в них собраны черты от тех, которые считают себя лучшими других, разумеется, только в разжалованном виде из генералов в солдаты. Тут, кроме моих собственных, есть

даже черты многих моих приятелей, есть и твои. Я тебе это покажу после, когда это будет тебе нужно; до времени это моя тайна. Мне потребно было отобрать от всех прекрасных людей, которых я знал, всё пошлое и гадкое, что они захватили нечаянно, и возвратить законным их владельцам. Не спрашивай, зачем первая часть должна быть вся — *пошлость* и зачем в ней все лица до единого должны быть пошлы: на это дадут тебе ответ другие томы, — вот и всё! Первая часть, несмотря на все свои несовершенства, главное дело сделала: она поселила у всех отвращенье от моих героев и от их ничтожности; она разнесла некоторую мне нужную тоску от самих себя. Покамест для меня этого довольно; за другим я и не гоняюсь. Конечно, всё это вышло бы гораздо значительней, если бы я, не торопясь выдачею в свет, обработал ее получше. Герои мои еще не отделились вполне от меня самого, а потому не получили настоящей самостоятельности. Еще не поселил я их твердо на той земле, на которой им быть долженствовало, и не вошли они в круг наших обычаев, обставясь всеми обстоятельствами действи-

тельно русской жизни. Еще вся книга не более, как недоносок; но дух ее разнесся уже от нее незримо, и самое ее раннее появление может быть полезно мне тем, что подвигнет моих читателей указать все промахи относительно общественных и частных порядков внутри России. Вот если бы ты, вместо того чтобы предлагать мне пустые запросы (которыми напичкал половину письма своего и которые ни к чему не ведут, кроме удовлетворения какого-то праздного любопытства), да собрал бы вместо того все дельные замечания на мою книгу как свои, так и других умных людей, занятых, подобно тебе, жизнью опытною и дельною, да присоединил бы к этому множество событий и анекдотов, какие ни случились в околотке вашем и во всей губернии, в подтверждение или в опровержение всякого дела в моей книге, которых можно бы десятками прибрать на всякую страницу, — тогда бы ты сделал доброе дело, и я бы сказал тебе мое крепкое спасибо. Как бы от этого раздвинулся мой кругозор! Как бы освежилась моя голова, и как бы успешней пошло мое дело! Но то, о чем я прошу, никто не исполняет;

мои запросы никто не считает важными, а только уважает свои; а иной даже требует от меня какой-то искренности и откровенности, не понимая сам, чего он требует. И к чему это пустое любопытство знать вперед, и эта пустая, ни к чему не ведущая торопливость, которую, как я замечая, уже и ты начинаешь заражаться? Смотри, как в природе совершается всё чинно и мудро, в каком стройном законе, и как всё разумно исходит одно из другого. Одни мы, бог вещь из чего, мечемся. Всё торопится. Всё в какой-то горячке. Ну, взвесил ли ты хорошенько слова свои: «Второй том нужен теперь необходимо?» Чтобы я из-за того только, что есть против меня всеобщее неудовольствие, стал торопиться вторым томом, так же глупо, как поторопился с первым? Да разве уж я совсем выжил из ума? Неудовольствие это мне нужно; в неудовольствии человек хоть что-нибудь мне выскажет. И откуда вывел ты заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? почувствовал существо второго тома? По-твоему, он нужен теперь, а по моему не раньше, как через два-три года, да и

то еще, принимая в соображение попутный ход обстоятельств и времени. Кто ж из нас прав? Тот ли, у которого второй том уже сидит в голове, или тот, кто даже и не знает, в чем состоит второй том? Какая странная мода теперь завелась на Руси! Сам человек лежит на боку, к делу настоящему ленив, а другого торопит, точно, как будто непременно другой должен изо всех сил тянуть от радости, что его приятель лежит на боку. Чуть заметят, что хотя один человек занялся сурьезно каким-нибудь делом, уж его торопят со всех сторон, и потом его же выбранят, если сделает глупо, — скажут: «зачем поторопился?» Но оканчиваю тебе поученье. На твой умный вопрос я отвечал и даже сказал тебе то, чего доселе не говорил еще никому. Не думай однако же после этой исповеди, чтобы я сам был такой же урод, каковы мои герои. Нет, я не похож на них. Я люблю добро, я ищу его и стараю им; но я не люблю моих мерзостей и не держу их руку, как мои герои; я не люблю тех низостей моих, которые отдаляют меня от добра. Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и мне в этом поможет бог. И это вздор,

что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль. Я уже от многих своих гадостей избавился тем, что предал их своим героям, обсмеял их в них и заставил других также над ними посмеяться. Я оторвался уже от многого тем, что, лишивши картинного вида и рыцарской маски, под которою выезжает козырем всякая мерзость наша, поставил ее рядом с той гадостью, которая всем видна. И, когда поверяю себя на исповеди перед тем, кто повелел мне быть в мире и освободиться от моих недостатков, вижу много в себе пороков; но они уже не те, которые были в прошлом году: святая сила помогла мне от тех оторваться. А тебе советую не пропустить мимо ушей этих слов, но, по прочтении моего письма, остаться одному на несколько минут и, от всего отделясь, взглянуть хорошенько на самого себя, перебравши перед собою всю свою жизнь, чтобы проверить на деле истину слов моих. В этом же моем ответе найдешь



ответ и на другие запросы, если попристальней взглядишься. Тебе объяснится также и то, почему не выставлял я до сих пор читателю явлений утешительных и не избирал в мои герои добродетельных людей. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам, хотя сколько-нибудь, на них походить, пока не добудешь медным лбом и не завоюешь силою в душу несколько добрых качеств, — мертвечина будет всё, что ни напишет перо твое и, как земля от неба, будет далеко от правды. Выдумывать кошмаров — я также не выдумывал, кошмары эти давили мою собственную душу: что было в душе, то из нее и вышло.

1843.

#### 4.

Затем сожжен второй том М<ертвых> д<уш>, что так было нужно. «Не оживет, аще не умрет», говорит апостол. Нужно прежде умереть, для того чтобы воскреснуть. Не легко было сжечь пятилетний труд, производимый с такими болезненными напряжениями, где всякая строка досталась потрясеньем, где было много того, что составляло мои лучшие помышления и занимало мою душу. Но всё

было сожжено, и притом в ту минуту, когда, видя перед собою смерть, мне очень хотелось оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне лучше напоминающее. Благодарю бога, что дал мне силу это сделать. Как только пламя унесло последние листы моей книги, ее содержание вдруг воскреснуло в очищенном и светлом виде, подобно фениксу из костра, и я вдруг увидел, в каком еще беспорядке было то, что я считал уже порядочным и стройным. Появление второго тома в том виде, в каком он был, произвело бы скорее вред, нежели пользу. Нужно принимать в соображение не наслаждение каких-нибудь любителей искусств и литературы, но всех читателей, для которых писались Мертвые души. Вывести несколько прекрасных характеров, обнаруживающих высокое благородство нашей породы, ни к чему не поведет. Оно возбудит только одну пустую гордость и хвастовство. Многие у нас уже и теперь, особенно между молодежью, стали хвастаться не в меру русскими доблестями и думают вовсе не о том, чтобы их углубить и воспитать в себе, но чтобы выставить их напоказ и сказать Европе:

«Смотрите, немцы: мы лучше вас!» Это хвастовство — губитель всего. Оно раздражает других и наносит вред самому хвастуну. Наилучшее дело можно превратить в грязь, если только им похвалишься и похвастаешь. А у нас, еще не сделавши дела, им хвастаются! Хвастаются будущим! Нет, по мне, уже лучше временное уныние и тоска от самого себя, чем самонадеянность в себе. В первом случае человек, по крайней мере, увидит свою презренность, подлое ничтожество свое и вспомнит невольно о боге, возносящем и выводящем всё из глубины ничтожества; в последнем же случае он убежит от самого себя прямо в руку к чорту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека. Нет, бывает время, когда нельзя иначе устремить общество или даже всё поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости; бывает время, что даже вовсе не следует говорить о высоком и прекрасном, не показавши тут же ясно, как день, путей и дорог к нему для всякого. Последнее обстоятельство было мало и слабо развито во втором томе Мерт-

вых душ, а оно должно было быть едва ли не главное; а потому он и сожжен. Не судите обо мне и не выводите своих заключений: вы ошибетесь подобно тем из моих приятелей, которые, создавши из меня свой собственный идеал писателя, сообразно своему собственному образу мыслей о писателе, начали было от меня требовать, чтобы я отвечал их же созданному идеалу. Создал меня бог и не скрыл от меня назначенья моего. Рожден я вовсе не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной. Дело мое проще и ближе: дело мое есть то, о котором прежде всего должен подумать всяк человек, не только один я. Дело мое — *душа и прочное дело жизни*. А потому и образ действий моих должен быть прочен, и сочинять я должен прочно. Мне незачем торопиться; пусть их торопят другие! Жгу, когда нужно жечь, и, верно, поступаю как нужно, потому что без молитвы не приступаю ни к чему. Опасенья же ваши насчет хилого моего здоровья, которое, может быть, не позволит мне написать второго тома, напрасны. Здоровье мое очень хило, это правда; временами оно бывает так тяжело, что без бо-

га и не перенес бы. К изнуренью сил прибавилась еще и зябкость в такой мере, что не знаю, как и чем согреться: нужно делать движение, а делать движение — нет сил. Едва час в день выберется для труда, и тот не всегда свежий. Но ничуть не уменьшается моя надежда. Тот, кто горем, недугами и препятствиями ускорил развитие сил и мыслей моих, без которых я бы и не замыслил своего труда, кто выработал бòльшую половину его в голове моей, тот даст силу совершить и остальную — положить на бумагу. Дряхлею телом, но не духом. В духе, напротив, всё крепнет и становится тверже; будет крепость и в теле. Верю, что, если придет урочное время, в несколько недель совершится то, над чем провел пять болезненных лет.

1846.

# Нужно любить Россию\*

(Из письма к гр. А. П. Т\*\*\*му)

Без любви к богу никому не спастись, а любви к богу у вас нет. В монастыре ее не найдете; в монастырь идут одни, которых уже позвал туда сам бог. Без воли бога нельзя и полюбить его. Да и как полюбить того, которого никто не видал? Какими молитвами и усилиями вымолить у него эту любовь? Смотрите, сколько есть теперь на свете добрых и прекрасных людей, которые добиваются жарко этой любви и слышат одну только черствость да холодную пустоту в душах. Трудно полюбить того, кого никто не видал. Один Христос принес и возвестил нам тайну, что в любви к братьям получаем любовь к богу. Стоит только полюбить их так, как приказал Христос, и сама собой выйдет в итоге любовь к богу самому. Идите же в мир и приобретите прежде любовь к братьям.

Но как полюбить братьев, как полюбить людей? Душа хочет любить одно прекрасное, а бедные люди так несовершенны, и так в них мало прекрасного! Как же сделать это?

Поблагодарите бога прежде всего за то, что вы русской. Для русского теперь открывается этот путь, и этот путь есть сама Россия. Если только возлюбит русской Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви нас ведет теперь сам бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри ее и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви. Уже крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли, слышавшей, что чужеземные враги вторгнулись в бесчисленном множестве, рассыпались по домам и наложили тяжелое ярмо на каждого человека; уже и те, которые приняли добровольно к себе в дома этих страшных врагов душевных, хотят от них освободиться сами и не знают, как это сделать, и всё сливается в один потрясающий вопль, уже и бесчувственные подвигаются. Но прямой любви еще не слышно ни в ком, — ее нет также и у вас. Вы еще не любите Россию: вы умеете только печалиться да раздражаться слухами обо всем

дурном, что в ней ни делается, в вас всё это производит только одну черствую досаду да уныние. Нет, это еще не любовь, далеко вам до любви, это разве только одно слишком еще отдаленное ее предвестие. Нет, если вы действительно полюбите Россию, у вас пропадет тогда сама собой та близорукая мысль, которая зародилась теперь у многих честных и даже весьма умных людей, то есть, будто в теперешнее время они уже ничего не могут сделать для России, и будто они ей уже не нужны совсем; напротив, тогда только во всей силе вы почувствуете, что любовь всемогуща и что с ней возможно всё сделать. Нет, если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, — последнее место, какое ни отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей нынешней бездейственной и праздной жизни. Нет, вы еще не любите России. А не полюбивши России, не полюбите вам своих братьев, а не полюбивши своих братьев, не возгореться вам любовью к богу, а не возгоревшись любовью к богу, не спастись



вам.

1844.

## Нужно проездиться по России\*

(Из письма к гр. А. П. Т\*\*\*му)

Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться от мира, нужно уметь распротиться с миром. «Раздай всё имущество свое нищим и потом уже ступай в монастырь», — так говорится всем туда идущим. У вас есть богатство, вы его можете раздать нищим; но что же мне раздать? Имущество мое не в деньгах. Бог мне помог накопить несколько умного и душевного добра и дал некоторые способности, полезные и нужные другим — стало быть, я должен раздать это имущество неимущим его, а потом уже идти в монастырь. Но и вы одной денежной раздачей не получите на то права. Если бы вы были привязаны к вашему богатству и вам было бы с ним тяжело расставаться, тогда

другое дело; но вы к нему охладели, для вас оно теперь ничто, — где ж ваш подвиг и ваше пожертвование? Или выбросивши за окошко ненужную вещь — значит сделать добро своему брату, разумея добро в высоком смысле христианском? Нет, для вас так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь ваш — Россия! Облеките же себя умственно ризой чернеца и, всего себя умертвивши для себя, но не для нее, ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих еще крепче, нежели, когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик ее душевной болезни. Друг мой! или у вас бесчувственно сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия. Вспомните, что когда приходила беда ей, тогда из монастырей выходили монахи и становились в ряды с другими спасать ее. Чернецы Ослябя и Пересвет, с благословенья самого настоятеля, взяли в руки меч, противный христианину, и легли на кровавом поле битвы, а вы не хотите взять поприща мирного гражданина, и где же? — в самом сердце России. Не отговаривайтесь вашей неспособностью, — у вас есть много того,

что теперь для России потребно и нужно. Бывши губернатором в двух совершенно противоположных губерниях, исполнивши это дело, несмотря на все ваши тогдашние недостатки, получше многих, вы набрались прямых и положительных сведений о делах, внутри происходящих, и узнали в истинном виде Россию. Но не это главное, и я бы вас не склонял так служить, несмотря на все сведения ваши, если бы не видел в вас одно то свойство, которое, по моему мнению, значительнее всех прочих, — свойство, не хлопотав ничего, не работая самому, почти лентясь, уметь заставить всех других работать. У вас всё двигалось быстро и ходко; и когда, изумляясь, спрашивали у вас самих: «отчего это?» вы отвечали: «Всё от чиновников, попались хорошие чиновники, которые не дают ничего мне делать самому»; и когда шло дело до представления к наградам, вы всегда выводили вперед ваших чиновников, приписывая всё им, а себе ничего. Вот ваше главное достоинство, не говоря уже об уменьи выбрать самих чиновников. Не мудрено, что у вас чиновники рвались изо всех сил, и один запи-

сался до того, что нажил чахотку и умер, как ни старались вы оттащить его от дела. Чего не сделает русской человек, если станет таким образом поступать с ним начальник! Это ваше свойство слишком теперь нужно, именно теперь, в это время себялюбья, когда всяк начальник думает о том, как бы выставить вперед себя и приписать всё одному себе. Говорю вам, что с этим вашим свойством вы теперь слишком нужны России... и грех вам, что вы даже не слышите этого! Грех был бы и мне, если б я не выставил вам этого свойства. Оно есть ваше лучшее имущество; его от вас просят неимущие, а вы, как скряга, заперли его под замок и еще прикидываетесь глухим. Положим, вам теперь неприлично занять то же самое место, какое занимали назад тому десять лет, не потому, чтобы оно было низко для вас, — слава богу, честолюбия вы не имете и в ваших глазах никакая служба не низка, — но потому, что ваши способности, развившись, требуют уже для собственной пищи другого, просторнейшего поприща. Что ж? разве мало мест и поприщ в России? Оглянитесь и обсмотритесь хорошенько, и вы его

отыщете. Вам нужно проездиться по России. Вы знали ее назад тому десять лет: это теперь недостаточно. В десять лет внутри России столько совершается событий, сколько в другом государстве не совершится в полвека. Вы сами заметили, живя здесь за границей, что в последние два, три года даже начали выходить из нее и люди совершенно другие, не похожие ни в чем с теми, которых вы знали еще не так давно. Чтобы узнать, что такое *Россия нынешняя*, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам не верьте никаким. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях и верованиях всех людей, никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь всё это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений. Всё это сбilo и спутало до того у каждого его мнение о России, что решительно нельзя верить никому. Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России. Это осо-

бенно хорошо для того, кто побыл некоторое время от нее вдали и приехал с неотуманенной и свежей головою. Он увидит много того, чего не видит человек, находящийся в самом омуте, раздражительный и чувствительный к животрепещущим интересам минуты. Сделайте ваше путешествие вот каким образом: прежде всего выбросьте из вашей головы все до одного ваши мнения о России, какие у вас ни есть, откажитесь от собственных своих выводов, какие уже успели сделать, представьте себя ровно не знающим ничего и поезжайте как в новую, дотоле вам неизвестную землю. Таким же самым образом, как русской путешественник, приезжая в каждый значительный европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город, старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях, но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с бóльшим любопытством, нежели фабрику и развалину. Попробуйте

только на него взглянуть, вооружась одной каплей истинно братской любви к нему, и вы от него уже не оторветесь — так он станет для вас занимателен. Познакомьтесь прежде всего с теми из них, которые составляют соль каждого города или округа; таких бывает человека два-три в каждом городе. Они вам в немногих чертах очертят весь город, так что вам будет видно уже самому, где и в каких местах производить наиболее наблюденье над нынешними вещами. Разговорясь с человеком передовым из каждого сословия (с вами же все так охотно разговариваются и развертываются чуть не нараспашку), вы от него узнаете, что такое всякое сословие в его нынешнем виде. Расторопный и бойкий купец вдруг вам объяснит, что такое в их городе купечество; порядочный и трезвый мещанин даст понятие о мещанстве. От чиновника-дельца узнаете должностное производство, а общий цвет и дух общества услышите сами. На передовых людей однако ж не весьма полагайтесь, лучше постарайтесь расспросить двух или трех человек из каждого сословия. Не забывайте того, что теперь все меж-

ду собою в ссоре, и всяк друг на друга лжет и клеветет беспощадно. С духовенством вы сойдетесь вдруг, потому что с ним вообще вы знакомитесь скоро; от них узнаете остальное. И если вы таким образом проездите только по главным городам и пунктам России, то уже увидите ясно, как день, где и на каком месте вы можете быть полезны и о какой должности следует вам просить. А покуда вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите. В самом путешествии этом предстанут вам такие христианские подвиги, каких в самом монастыре не встретите. Во-первых, будучи приятны в разговоре, нравясь каждому, вы можете, как посторонний и свежий человек, стать третьим, примиряющим лицом. Знаете ли, как это важно, как это теперь нужно России, и какой в этом высокий подвиг! Спаситель оценил его едва ли не выше всех других: он прямо называет миротворцев сынами божьими. А миротворцу у нас поприще повсюду. Всё перессорилось: дворяне у нас между собой, как кошки с собаками; купцы между собой, как кошки с собаками; мещане между собой, как



кошки с собаками; крестьяне, если только не устремлены побуждающей силою на дружную работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать. Везде поприще примирителя. Не бойтесь, примирять не трудно. Людям трудно самим умириться между собою, но, как только станет между ними третий, он их вдруг примирит. Оттого-то у нас всегда имел такую силу третейской суд, истое произведение земли нашей, успевавший доселе более всех других судов. В природе человека, и особенно русского, есть чудное свойство: как только заметит он, что другой сколько-нибудь к нему наклоняется или показывает снисхождение, он сам уже готов чуть не просить прощенья. Уступить никто не хочет первый, но как только один решился на великодушное дело, другой уже рвется, как бы перецеголять его великодушьем. Вот почему у нас скорей, чем где-либо, могут быть прекращены самые застарелые ссоры и тяжбы, если толь-

ко станет среди тяжущихся человек истинно благородный, уважаемый всеми и притом еще знаток человеческого сердца. А примиренье, повторяю вновь, теперь нужно: если бы только несколько честных людей, которые, из-за несогласия во мнении насчет одного какого-нибудь предмета, перечат друг другу в действиях, согласились подать друг другу руку, плутам было бы уже худо. Итак, вот вам одна часть подвигов, какие вам могут представиться на каждом шагу вашей поездки по России. Есть и другая, не меньше важная. Вы можете оказать большую услугу духовенству тех городов, через которые будете проезжать, познакомив их лучше с обществом, среди которого они живут, введя их в познание тех вещей и проделок, о которых не говорит вовсе на исповеди нынешний человек, считая их долженствующими быть вне христианской жизни. Это очень нужно, потому что многие из духовных, как я знаю, уныли от множества бесчинств, возникнувших в последнее время, почти уверились, что их никто теперь не слушает, что слова и проповедь роняются на воздух, и зло пустило так глубоко свои корни,

что нельзя уже и думать об его искоренении. Это несправедливо. Грешит нынешний человек, точно, несравненно больше, нежели когда-либо прежде, но грешит не от приизобилья своего собственного разврата, не от бесчувственности и не оттого, чтобы хотел грешить, но оттого, что не видит грехов своих. Еще не ясно и не совсем открылась страшная истина нынешнего века, что теперь все грешат до единого, но грешат не прямо, а косвенно. Этого еще не услышал хорошо и сам проповедник; оттого и проповедь его роняется на воздух, и люди глухи к словам его. Сказать: не крадьте, не роскошничайте, не берите взяток, молитесь и давайте милостыню неимущим — теперь ничто, и ничего не сделает. Кроме того, что всякой скажет: «да ведь это уже известно», но еще оправдается перед самим собой и найдет себя чуть не святым. Он скажет: «Красть я не краду: положи: передо мной часы, червонцы, какую хочешь вещь — я ее не трону; я даже прогнал за воровство своего собственного человека; живу я, конечно, роскошно, но у меня нет ни детей, ни родственников, мне не для кого копить, роско-

шью я доставляю даже пользу, хлеб мастеровым, ремесленникам, купцам, фабрикантам; взятку я беру только с богатого, который сам просит об этом, которому это не в разоренье; молиться я молюсь, вот и теперь стою в церкви, крещусь и бью поклоны; помогать — помогаю: ни один нищий не уходит от меня без медного гроша, ни от одного пожертвованья на какое-нибудь благотворительное заведение еще не отказывался». Словом, он увидит себя не только правым после такой проповеди, но еще возгордится своей безгрешностью!

Но если поднять перед ним завесу и показать ему хотя часть тех ужасов, которые он производит *косвенно*, а не прямо, тогда он заговорит другое. Сказать честному, но близорукому богачу, что он, убирая свой дом и заводя у себя всё на барскую ногу, вредит соблазном, поселяя в другом, менее богатом, такое же желание, который из-за того, чтобы не отстать от него, разоряет не только собственное, но и чуждое имущество, грабит и пускает по миру людей; да вслед за этим и представить ему одну из тех ужасных картин голода внутри России, от которых дыбом поднимется у него во-

лос, и которых, может быть, не случилось бы, если бы не стал он жить на барскую ногу, да задавать тон обществу и кружить головы другим. Показать таким же самым образом всем модницам, которые не любят никуда появляться в одних и тех же платьях и, не донашивая ничего, нашивают кучи нового, следуя за малейшим уклонением моды, — показать им, что они вовсе не тем грешат, что занимаются этой суетностью и тратят деньги, но тем, что сделали такой образ жизни необходимостью для других, что муж иной жены схватил уже из-за этого взятку с своего же брата-чиновника (положим, этот чиновник был богат; но, чтобы доставить взятку, он должен был насесть на менее богатого, а тот с своей стороны насел на какого-нибудь заседателя или станowego пристава, а становой пристав уже невольно был принужден грабить нищих и неимущих), да вслед за этим и выставить всем модницам картину голода. Тогда им не пойдет на ум какая-нибудь шляпка или модное платье; увидят они, что не спасет их от страшного ответа перед богом даже и деньга, выброшенная нищему, даже и те человеко-

любивые заведения, которые заводят они в городах насчет ограбленных провинций. Нет, человек не бесчувствен, человек подвигнется, если только ему покажешь дело, как есть. Он теперь подвигнется еще более, чем когда-либо прежде, потому что природа его размягчена, половина грехов его — от неведения, а не от разврата. Он, как спасителя, облобызает того, который заставит его обратить взгляд на самого себя. Только слегка приподыми проповедник завесу и укажи ему хотя одно из тех ежеминутных преступлений, которые он совершает, у него уже отнимется дух хвастать безгрешностью своей; не станет он оправдывать свою роскошь подлыми и жалкими софизмами, будто бы нужна она затем, чтобы доставлять хлеб мастеровым. Он и сам тогда смекнет, что разорить полдеревни или полезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу, есть вывод, который мог образоваться только в пустой голове эконома XIX века, а не в здоровой голове умного человека. А что же, если проповедник поднимет всю цепь того множества косвенных преступлений, которые совершает человек своею неосмотритель-

ностью, гордостью и самоуверенностью в себе и покажет всю опасность нынешнего времени, среди которого всяк может погубить разом несколько душ, не только одну свою, среди которого, даже не будучи бесчестным, можно заставить других быть бесчестными и подлецами одною только своей неосмотрительностью, словом — если только сколько-нибудь покажет, как все опасно ходят? Нет, люди не будут глухи к словам его, не уронится на воздух ни одно слово его проповеди. А вы можете на это навести многих священников, сообщая сведения о всех проделках нынешнего люда, которые вы наберете в дороге. Но не одним священникам, вы можете и другим людям сделать этим пользу. Всем теперь нужны эти сведенья.

Жизнь нужно показать человеку, — жизнь, взятую под углом ее нынешних запутанностей, а не прежних, — жизнь, оглянутую не поверхностным взглядом светского человека, но взвешенную и оцененную таким оценщиком, который взглянул на нее высшим взглядом христианина. Велико незнанье России посреди России. Всё живет в иностран-

ных журналах и газетах, а не в земле своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажутся, как бы живут за морями. Вы можете во время вашей поездки их познакомить между собою и произвести взаимный благодетельный обмен сведений, как расторопный купец, забравши сведения в одном городе, продать их с барышом в другом, всех обогатить и в то же время разбогатеть самому больше всех. Подвиг на подвиге предстоит вам на всяком шагу, и вы этого не видите! Очнитесь! Куринная слепота на глазах ваших! Не залучить вам любви к себе в душу. Не полюбить вам людей по тех пор, пока не послужите им. Какой слуга может привязаться к своему господину, который от него вдали и на которого еще не поработал он лично? Потому и любимо так сильно дитя матерью, что она долго его носила в себе, всё употребила на него, и вся из-за него выстрадалась. Очнитесь! Монастырь ваш — Россия!

1845.



# Что такое губернаторша\*

## (Письмо к А. О. С\*\*\*ой)

Я рад, что здоровье ваше лучше; мое же здоровье... но в сторону наши здоровья: мы должны позабыть о них, так же, как и о себе. Итак, вы возвращаетесь вновь в ваш губернский город. Вы должны с новыми силами возлюбить его, — он ваш, он вверен вам, он должен быть вашим родным. Вы напрасно начинаете думать вновь, что ваше присутствие относительно деятельности общественной в нем совершенно бесполезно, что общество испорчено в корне. Вы просто устали — вот и всё. Деятельность губернаторше предстоит всюду, на всяком шагу. Она даже и тогда производит влияние, когда ничего не делает. Вы сами уже знаете, что дело не в суетах и в опрометчивых бросаниях на всё. Перед вами два живые примера, которых вы сами назвали. Предшественница ваша Ж\*\*\* завела кучу благотворительных заведений, а с ними вместе — и кучи бумажной переписки и возни, экономов, секретарей, кражу, бестолковщину, прославилась благотворительностью в Петер-

бурге, и наделала кутерьму в К\*\*\*; княгиня же О\*\*\*, бывшая до нее губернаторшей в том же вашем городе К\*\*\*, не завела никаких заведений, ни приютов, не прошумела нигде дальше своего города, не имела даже никакого влияния на своего мужа и не входила ни во что, собственно правительственное и официальное, а между тем доньше никто в городе не может о ней вспомнить без слез, и всяк, начиная от купца до последнего бобыля, до сих пор еще повторяет: «Нет, не будет другой никогда княгини О\*\*\*!» А кто это повторяет? Тот же самый город, для которого, вы полагаете, ничего невозможно сделать, — то же самое общество, которое вы считаете испорченным навеки. Итак, будто бы уж ничего нельзя сделать? Вы устали — вот и всё! Устали оттого, что принялись слишком сторяча, слишком понадеялись на собственные силы, женская прыть вас увлекла... Повторяю вам вновь то же самое, что прежде: Ваше влияние сильно. Вы первое лицо в городе, с вас будут перенимать всё до последней безделушки, благодаря обезьянству моды и вообще нашему русскому обезьянству. Вы будете законодательницей во

всем. Если вы только собственные ваши дела станете обделывать хорошо, то и сим уже сдѣлаете влияние, потому что заставите других заняться получше собст<венными> делами. Гоните роскошь (покамест нет других дел), уже и это благородное дело, оно же притом не требует ни суеты, ни издержек. Не пропускайте ни одного собрания и бала, приезжайте именно затем, чтобы показаться в одном и том же платье; три, четыре, пять, шесть раз надевайте одно и то же платье. Хвалите на всех только то, что дешево и просто. Словом, гоните эту гадкую скверную роскошь, эту язву России, источницу взяток, несправедливостей и всех мерзостей, какие у нас есть. Если вам только одно это удастся сдѣлать, то вы уже более принесете существенной пользы, чем сама княгиня О\*\*\*. А это, как вы сами видите, даже не требует никаких пожертвований, даже и времени не отнимает. Друг мой, вы устали. Из ваших же прежних писем я вижу, что для начала вы уже успели сдѣлать много хорошаго (если бы не слишком торопились, вышло бы еще больше), о вас уже распространились слухи вне К\*\*\*; кое-что из них

дошло и до меня. Но вы еще очень поспешны, вы еще слишком увлекаетесь, вас еще слишком шевелит и сражает всякая неприятность и гадость. Друг мой, вспомните вновь мои слова, в справедливости которых, говорите, что сами убедились: глядеть на весь город, как лекарь глядит на лазарет. Глядите же так, но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте самую себя, что все больные, находящиеся в лазарете, суть ваши родные и близкие к сердцу вашему люди, тогда всё пред вами изменится: вы с людьми примиритесь и будете враждовать только с их болезнями. Кто вам сказал, что болезни эти неизлечимы? Это вы сами себе сказали, потому что не нашли в руках у себя средства. Что ж, разве вы всезнающий доктор? А зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? Разве я даром просил вас сообщить всё, что ни есть в вашем городе, ввести меня в познание вашего города, чтобы я имел полное понятие о вашем городе? Зачем же вы этого не сделали, тем более, что сами уверены, будто я могу на многое произвести больше влияния, чем вы; тем более, что сами же приписываете мне

некоторое не всем общее познание людей; тем более, наконец, что сами говорите, будто я вам помог в вашем душевном деле более, <чем> кто-либо другой? Неужели вы думаете, что я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Ведь вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до бога, бог может послать уму моему вразумление, а ум, вразумленный богом, может сделать кое-что получше того ума, который не вразумлен им.

До сих пор в ваших письмах вы мне давали только общие понятия о вашем городе, в чертах общих, которые могут принадлежать всякому губернскому городу; но и *общие* ваши не полны. Вы понадеялись на то, что я знаю Россию, как пять моих пальцев; а я в ней ровно не знаю ничего. Если я и знал кое-что, то и это со времени моего отъезда уже изменилось. В самом составе управления губерний произошли значительные перемены: многие места и чиновники отошли от зависимости губернатора и поступили в ведомство и управление других министерств; завелись новые чиновники и места, словом — губерния

и губернский город являются относительно многих сторон в другом виде, а я просил вас ввести меня *совершенно* в ваше положение, не какое-нибудь *идеальное*, но *существенное*, чтобы я видел от мала до велика всё, что вас окружает.

Вы сами говорите, что в небольшое время пребывания вашего в К\*\*\* узнали Россию более, чем во всю свою прежнюю жизнь. Зачем же вы не поделились со мной вашими знаниями? Говорите, что не знаете даже, с которого конца начать, что куча сведений вами набрана в голову еще в беспорядке (NB причина неудач). Я вам помогу их привести в порядок, но только выполните следующую за сим просьбу добросовестно, как только можно, — не так, как привыкла исполнять ваш брат — страстная женщина, которая из десяти слов восемь пропустит и ответит только на два, затем, что они пришлись ей как-нибудь по сердцу, но так, как наш брат — холодный, бесстрастный мужчина, или, лучше, как деловой, толковый чиновник, который, ничего не принимая особенно к своему сердцу, отвечает ровно на все пункты.

Вы должны ради меня начать вновь рассмотрение вашего губернского города. Во-первых, вы мне должны назвать все главные лица в городе по именам, отчествам и фамилиям, всех чиновников до единого. Мне это нужно. Я должен быть им так же другом, как вы сами должны быть другом им всем без исключения. Во-вторых, вы должны мне написать, в чем именно должность каждого. Всё это вы должны узнать лично от них самих, а не кого-либо другого. Разговорившись со всяким, вы должны спросить его, в чем состоит его должность, чтобы он назвал вам все ее *предметы* и означил ее *пределы*. Это будет первый вопрос. Потом попросите его, чтобы он изъяснил вам, чем именно и сколько в этой должности, под условием нынешних обстоятельств, можно сделать добра. Это будет второй вопрос. Потом, чем именно и сколько в этой же самой должности можно наделать зла. Это будет третий вопрос. Узнавши, отправляйтесь к себе в комнату и тот же час всё это на бумагу для меня. Вы уже сим два дела сделаете разом: кроме того, что дадите мне средство впоследствии вам пригодиться, вы

узнаете сами из собственных ответов чиновника, как понимает он свою должность, чего ему недостает, словом — своим ответом он обрисует самого себя. Он вас может даже навести на кое-что сделать теперь же... Но не в этом дело: до времени лучше не торопитесь; не делайте ничего даже и тогда, если бы вам показалось, что можете кое-что сделать и что в силах чему-нибудь помочь. Лучше пока еще попристальней всмотреться; довольствуйтесь покамест тем, чтобы передать мне. Потом на той же страничке, насупротив того же места или на другом лоскутке бумаги — ваши собствен<ные>, замечания, что вы заметили о каждом господине в особенности, что говорят о нем другие, словом — всё, что можно прибавить о нем со стороны.

Потом такие же сведения доставьте мне обо всей женской половине вашего города. Вы же были так умны, что сделали им всем визиты и почти их всех узнали. Впрочем, узнали несовершенно, — я в этом уверен. Относительно женщин вы руководствуетесь первыми впечатлениями: которая вам не понравилась, вы ту оставляете. Вы ищете всё из-



бранных и лучших. Друг мой! за это я вам сделаю упрек. Вы должны всех любить, особенно тех, в которых побольше дрянца, — по крайней мере побольше узнать их, потому что от этого зависит многое и они могут иметь большое влияние на мужей. Не торопитесь, не спешите их наставлять, но просто только расспрашивайте; вы же имеете дар выпрашивать. Узнайте не только дела и занятия каждой, но даже образ мыслей, вкусы, что кто любит, что кому из них нравится, на чем конек каждой. Мне всё это нужно. По-моему, чтобы помочь кому-либо, нужно узнать его всего насквозь, а без того я даже не понимаю, как можно кому-либо дать какой-либо совет. Всякой совет, какой ему ни дашь, будет обращен к нему своей трудной стороной, будет не легок, неудобноисполним. Словом, женщин — всех насквозь! чтобы я имел совершенное понятие о вашем городе.

Сверх характеров и лиц обоего пола, запишите всякое случившееся происшествие, сколько-нибудь характеризующее людей или вообще дух губернии, запишите бесхитростно, в таком виде, как было, или как, в каком

его передали вам верные люди. Запишите также две-три сплетни на выдержку, какие первые вам попадутся, чтобы я знал, какого рода сплетни у вас плетутся. Сделайте, чтобы это записыванье сделалось постоянным вашим занятием, чтобы на это был определен положенный час в дне. Представляйте себе в мыслях, систематически и во всей полноте, весь объем города, чтобы видеть вдруг, не пропустили ли вы мне чего-либо записать, чтобы я получил, наконец, полное понятие о вашем городе.

И если вы меня таким образом познакомите со всеми лицами, с их должностями, и как они ими понимаются, и, наконец, даже с характером самих событий, у вас случающихся, тогда я вам кое-что скажу, и вы увидите, что многое невозможное возможно и неисправимое исправимо. До тех же пор ничего не скажу именно потому, что могу ошибиться, а мне бы этого не хотелось. Мне бы хотелось говорить такие слова, которые попали бы прямо куда следует, ни выше, ни ниже того предмета, на который направлены, — такой дать совет, чтобы вы в ту же минуту сказали: «он

легко, его можно привести в исполнение».

Вот однако же кое-что вперед, и то не для вас, а для вашего супруга: попросите его прежде всего обратить внимание на то, чтобы советники губернск<ого> правления были честные люди. Это главное. Как только будут честны советники, тот же час будут честны капитан-исправники, заседатели, словом — всё станет честно. Надобно вам знать (если вы этого еще не знаете), что самая безопасная взятка, которая ускользает от всяких преследований, есть та, которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз; это идет иногда бесконечной лестницей. Капитан-исправник и заседатели часто уже потому должны кривить душой и брать, что с них берут, и что им нужны деньги для того, чтобы заплатить за свое место. Эта купля и продажа может производиться перед глазами и в то же время никем не быть замечена. Храни вас бог даже и преследовать. Старайтесь только, чтобы сверху было всё честно, снизу будет всё честно само собою. До времени, пока не вышло зло, не преследуйте никого; лучше действуйте тем временем нравственно. Мысль

ваша, что губернатор всегда имеет возможность сделать много зла и мало добра, и что на поприще добра он обрезан в действиях, не совсем справедлива. Губернатор может всегда иметь влияние *нравственное*, даже очень большое, подобно, как и вы можете иметь большое *нравственное* влияние, хотя и не имеете власти, установленной законом. Поверьте, что не сделай он визита какому-нибудь господину, об этом будет весь город говорить, станут расспрашивать, за что и почему — и этот самый господин из-за этой единственной боязни струсит сделать подлость, которую он не струсил бы совершить пред лицом власти и закона. Ваш поступок, т. е. ваш и вашего супруга, с уездным судьей М\*\*\* уезда\*, которого вы нарочно вызвали в город с тем, чтобы примирить его с прокурором, почтить его радушным угощением и дружеским приемом за прямоту, благородство и честность, — поверьте, сделал уже свое действие. Мне нравится при этом случае то, что судья (который, как оказалось, был просвещеннейший человек) одет был таким образом, что его, как вы говорите, не приняли бы в перед-

нюю петербургских гостиных. Хотел бы я в эту минуту поцеловать полу его заношенного фрака. Поверьте, что наилучший образ действий в нынешнее время — не вооружаться жестоко и жарко противу взяточников и дурных людей, и не преследовать их, но стараться, вместо того, выставляя на вид всякую честную черту, дружески, в виду всех, пожимать руку прямого честного человека. Поверьте, что как только будет узноано во всей губернии, что губернатор поступает действительно так — всё дворянство уже будет на его стороне. В дворянстве нашем есть удивительная черта, которая меня всегда изумляла, это — чувство благородства, — не того благородства, которым заражено дворянство других земель, то есть не благородства рождения или происхождения и не европейского *point d'honneur*\*, но настоящего, нравственного благородства. Даже в таких губерниях и таких местах, где, если разобрать порознь иного дворянина, выйдет просто дрянь, а вызови только на какой-нибудь действительно благородный подвиг — всё вдруг поднимется точно каким-то электричеством, и люди, которые

делают пакости, сделают вдруг благороднейшее дело. И потому всякой благородный поступок губернатора прежде всего найдет отклик в дворянстве. А это важно. Губернатор должен непременно иметь нравственное влияние на дворян, только сим одним он может подвигнуть их на поднятие невидных должностей и неприманчивых мест. А это нужно, потому что, если дворянин из той же губернии возьмет какое-нибудь место с тем, чтобы показать, как надобно служить, то, каков бы он ни был сам, хотя и лентяй и многим нехорош, но исполнит так свое дело, как никогда не исполнит присланный чиновник, хотя бы он исшатался век в канцеляриях. Словом, ни в каком случае не должно упускать из виду того, что это те же самые дворяне, которые в двенадцатом году несли всё на жертву, — всё, что ни было у кого за душой.

Когда случится, по причине совершённых гадостей, предать иного чиновника суду, то в таком случае нужно, чтобы он предан был с *отрешением от дел*. Это очень важно. Ибо, если он будет предан суду *без отрешения от дел*, то всё служащее будет еще долго держать

его сторону, он еще долго станет юлить и найдет средства так всё запутать, что никогда не доберется до истины. Но как только он будет предан суду *с отрешением от дел*, он повесит вдруг нос, сделается никому не страшен, на него пойдут со всех сторон улики, всё выйдет на чистую воду и вдруг узнается всё дело. Но, друг, ради Христа, не оставляйте вовсе спихнутого с места чиновника, как бы он дурен ни был: он несчастен. Он должен с рук вашего мужа перейти на ваши руки; он ваш. Не объясняйтесь с ним сами и не принимайте его, но следуйте за ним издали. Вы хорошо сделали, что выгнали надзирательницу при доме умалишенных за то, что она вздумала продавать булки, назначенные этим несчастным, — преступленье вдвойне гадкое, приемля в соображенье то, что сумасшедшие не могут даже и пожаловаться! а потому изгнание ее нужно было сделать публично и гласно. Но не бросайте никакого человека, не отрезывайте возврата никому, следуйте за отрешенным; иногда с горя, с отчаяния, со стыда впадает он еще в большие преступления. Действуйте или через вашего духовника, или во-

обще через какого-нибудь умного священника, который бы навешал его и давал бы вам отчет о нем беспрестанно, а главное, старайтесь, чтобы он не оставался без какого-нибудь труда и дела. Не подобьтесь в этом случае мертвому закону, но живому богу, который всеми бичами несчастий поражает человека, но не оставляет его до самого конца его жизни. Каков бы ни был преступник, но если земля его еще носит и гром божий не порастил его — это значит, что он держится на свете для того, чтобы кто-нибудь, тронувшись его участью, помог ему и спас его. Если же вас, во время ли описаний, которые вы станете делать для меня, или же во время ваших собственных исследований всяких недугов, будут слишком поражать наши печальные стороны и возмутится ваше сердце, — в таком случае советую вам беседовать об этом почаще с архиереем; он же, как видно из слов ваших, умный человек и добрый пастырь. Покажите ему весь лазарет ваш и обнаружьте пред ним все болезни больных ваших. Хотя бы даже он был не большой знаток в науке лечить, то и тогда вы должны ввести его



непременно во все припадки, признаки и явления болезней. Старайтесь ему очертить всё до последнего так живо, чтобы оно так и носилось у него > перед глазами, чтобы город ваш, как живой, пребывал бы беспрестанно в мыслях его, как он должен беспрестанно пребывать в ваших мыслях, чтобы чрез то самое его мысли стремились сами собой на беспрестанную о нем молитву. Поверьте, что от этого самая проповедь его с каждым воскресеньем будет направляться более и более к сердцам слушателей, и он сумеет потом выставить многое начистоту и, не указывая лично ни на кого, сумеет поставить каждого лицом к лицу к его собственной мерзости, так что сам хозяин плюнет на свое же добро. Обратите также внимание на городских священников, узнайте их всех непременно; от них зависит всё, и дело улучшения нашего в их руках, а не в руках кого-либо другого. Не пренебрегайте никем из них, несмотря на простоту и невежество многих. Их скорей можно возвратить к своему долгу, чем кого-либо из нас. У нас, светских, есть гордость, честолюбие, самолюбие, самоуверенность в своем со-

вершенстве, вследствие которых никто у нас не послушается слов и увещаний своего брата, как бы они справедливы ни были, наконец самые развлечения... Духовный же, каков бы он ни был, он всё-таки более или менее чувствует, что ему должно быть всех смиреннее и всех ниже; притом уже в самом ежедневно отправляемом им служении он слышит себе напоминание, словом — он ближе всех нас к возврату на путь свой, а, возвратясь на него сам, может возвратить и всех нас. И потому, хотя бы вы встретили из них вовсе неспособного, не пренебрегайте, но поговорите с ним хорошенько. Расспросите у каждого, что такое его приход, чтобы он дал вам полное понятие, каковы у него в приходе люди и как он сам понимает и знает их. Не забудьте, что я до сих пор не знаю, что такое в вашем городе мещанство и купечество; что они также начинают модничать и курить сигарки, это дело повсюдное; мне нужно взять из среды их *живьем* которого-нибудь, чтобы я видел его с ног до головы во всех подробностях. Итак, узнайте об них обо всех в подробности. Одну сторону этого дела вы

узнаете от священников, другую от полицмейстера, если потрудитесь с ним хорошенько разговориться об этом предмете, третью сторону узнаете от них самих, если не побрезгуете разговориться с которым-нибудь из них, хотя при выходе из церкви в воскресный день. Все забранные сведения послужат к тому, что очертят перед вами *примерный образ* мещанина и купца, чем он должен быть на самом деле; в уроне вы почувствуете идеал того, чего карикатурой стал урод. Если ж вы это почувствуете, тогда призывайте священников и толкуйте с ними: вы им скажете именно то, что им: нужно: самое существо всякого звания, то есть чем должно быть оно у нас, и карикатуру на это звание, то есть чем оно стало вследствие злоупотребления нашего. Больше не прибавляйте ничего. Он будет сам наведен на ум, если только станет исправлять свою собственную жизнь. Священникам нашим особенно нужна беседа с такими уже готовыми людьми, которые умели бы в немногих, но ярких и метких чертах очертить им пределы и обязанности всякого звания и должности. Часто, единственно из-за

этого, иной из них не знает, как ему быть с прихожанами и слушателями, изъясняется общими местами, не обращенными никакой стороной непосредственно к предмету. Войдите также в его собственное положение, помогите его жене и детям, если приход у него беден. Кто погрубей и позадористей, погрозите тому *архиереем*; но вообще старайтесь лучше действовать нравственно. Напоминайте им, что обязанность их слишком страшна, что ответ они дадут больше, чем кто-нибудь из людей всякого другого звания, что теперь и синод и сам государь обращают особенное внимание на жизнь священника, что всем готовится переборка, потому что не только высшее правительство, но даже все до единого в государстве частные люди начинают замечать, что причина злу всего есть та, что священники стали нерадиво исполнять свои должности... Объявляйте им почаще те страшные истины, от которых поневоле содрогнется их душа. Словом, не пренебрегайте никак городскими священниками. С помощью их губернаторша может произвести много нравственного влияния на купечество,

мещанство и всякое простое сословие, обитающее в городе, так много влияния, как даже вы представить теперь себе не можете. Я назову вам, только немного из того, что она может сделать, и укажу на средства, как она может это сделать: во-первых... но я вспомнил, что я совершенно не имею никакого понятия о том, какого рода в вашем городе мещанство и купечество: слова мои могут придтись не совсем кстати, лучше не произносить их вообще; скажу вам только то, что вы изумитесь потом, когда увидите, сколько на этом поприще предстоит вам таких подвигов, от которых в несколько раз больше пользы, чем от приютов и всяких благотворительных заведений, которые не только не сопряжены ни с какими жертвованиями и трудами, но обратятся в удовольствие, в отдохновение и развлечение духа.

Старайтесь всех избранных и лучших в городе подвигнуть также на деятельность общественную: всякой из них может сделать много почти подобного вам. Их можно подвигнуть. Если вы мне дадите только полное понятие об их характерах, образе жизни и за-

нятиях, я вам скажу, чем и как их можно подстрекнуть; есть в русском человеке сокровенные струны, которых он сам не знает, по которым можно так ударить, что он весь встрепетнется. Вы мне уже назвали некоторых в вашем городе как людей умных и благородных; я уверен, что их отыщется даже и более. Не смотрите на отталкивающую наружность, не смотрите ни на неприятные замашки, грубость, черствость, неловкость обращения, ни даже на фанфаронство, щелкоперность поступков и всякие чересчур ловкие развязности. Мы все в последнее время обзавелись чем-то заносчиво-неприятным в обращении, но при всем том в глубине душ наших пребывает более, чем когда-либо добрых чувств, несмотря на то, что мы загромоздили их всяким хламом и даже просто заплевали их сами. Особенно не пренебрегайте женщинами. Клянусь, женщины гораздо лучше нас, мужчин. В них больше великодушия, больше отважности на всё благородное; не смотрите на то, что они закружились в вихре моды и пустоты. Если только сумеете заговорить с ними языком самой души, если только сколь-

ко-нибудь сумеете очертить перед женщиной ее высокое поприще, которого ждет теперь от нее мир, — ее небесное поприще быть воздвижницей нас на всё прямое, благородное и честное, кликнуть клич человеку на благородное стремление, то та же самая женщина, которую вы считали пустой, благородно вспыхнет вся вдруг, взглянет на самую себя, на свои брошенные обязанности, подвигнет себя самую на всё чистое, подвигнет своего мужа на исполнение честное долга и, швырнувши далеко в сторону свои тряпки, всех поворотит к делу. Клянусь, женщины у нас очнутя прежде мужчин, благородно попрекнут нас, благородно хлеснут и погонят нас бичом стыда и совести, как глупое стадо баранов, прежде чем каждый из нас успеет очнуться и почувствовать, что ему следовало давно побежать самому, не дожидаясь бича. Вас любят, и любят сильно, да нельзя им не любить вас, если узнают вашу душу; но до того времени вы всех их любите до единого, никак не взирая на то, если бы кто-нибудь вас и не любил...

Но письмо мое становится длинно. Чув-

ствую, что начинаю говорить вещи, может быть, не совсем приходящиеся кстати ни вашему городу, ни вам в настоящую вашу минуту; но вы сами тому виной, не сообщивши мне подробных сведений ни о чем. До сих пор я точно как в лесу. Слышу только о каких-то неизлечимых болезнях и не знаю, чем кто болит. А у меня обычай не верить по слухам никаким неизлечимостям, и никогда не назову я никакую болезнь неизлечимой по тех пор, пока не ощупаю ее моей собственной рукою. Итак, рассмотрите же вновь, ради меня, весь город. Опишите всё и всех, не избавляя никого от трех неизбежных вопросов: в чем состоит его должность, сколько на ней можно сделать добра и сколько зла. Поступите как прилежная ученица: сделайте для этого тетрадку и не забывайте быть в ваших объяснениях со мной как можно обстоятельней, не забывайте, что я глуп, решительно глуп, по тех пор, пока не введут меня в самое подробнейшее познание. Лучше воображайте, что перед вами стоит ребенок или такой невежда, которому до последней безделушки нужно всё истолковывать; тогда только письмо ваше бу-



дет так, как следует. Я не знаю, отчего вы меня почитаете каким-то всезнайкой. Что мне случилось вам кой-что предсказать и предсказанное сбылось, — это произошло единственно оттого, что вы меня ввели в тогдашнее положение души вашей. Велика важность эдак угадать! Стоит только попристальнее взглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего. Он или соврет, или скажет загадку. Я вас между прочим еще побраню за следующие ваши строки, которые здесь выставлю вам перед глаза: *«Грустно и даже горестно видеть вблизи состояние России, но, впрочем, не следует об этом говорить. Мы должны с надеждой и светлым взором смотреть в будущее, которое в руках милосердного бога»*. В руках милосердного бога всё: и настоящее, и прошедшее, и будущее. Оттого и вся беда наша, что мы не глядим в настоящее, а глядим в будущее. Оттого и беда вся, что как только, всмотревшись в настоящее, заметим мы, что иное в нем горестно и грустно, другое просто гадко или же делается не так, как бы нам хотелось, мы махнем на

всё рукой и давай пялить глаза в будущее. Оттого бог и ума нам не дает; оттого и будущее висит у нас у всех точно на воздухе: слышат некоторые, что оно хорошо, благодаря некоторым передовым людям, которые тоже услышали его чутьем и еще не проверили законным арифметическим выводом; но как достигнуть до этого будущего, никто не знает. Оно точно кислый виноград. Безделицу позабыли! Позабыли все, что пути и дороги к этому светлomu будущему сокрыты именно в этом *темном* и *запутанном* настоящем, которого никто не хочет узнавать: всяк считает его низким и недостойным своего внимания и даже сердится, если выставляют его на вид всем. Введите же хотя меня в познание настоящего. Не смущайтесь мерзостями и подавайте мне всякую мерзость! Для меня мерзости не в диковинку: я сам довольно мерзок. Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил от многого в уныние, и мне становилось страшно за Россию; с тех же пор, как стал я побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом; передо мною стали обнаруживать<ся> исходы,

средства и пути, и я возблагодарил еще более перед провиденьем. И теперь больше всего благодарю бога за то, что сподобил он меня, хотя отчасти, узнать мерзости, как мои собственные, так и бедных моих братьев. И если есть во мне какая-нибудь капля ума, свойственного не всем людям, так и то оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если мне удалось оказать помощь душевную некоторым близким моему сердцу, а в том числе и вам, так это оттого, что всматривался я побольше в эти мерзости. И если я приобрел наконец любовь к людям не мечтательную, но существенную, так это всё же наконец от того же самого, что всматривался я побольше во всякие мерзости. Не пугайтесь же и вы мерзостей, и особенно не отвращайтесь от тех людей, которые вам кажутся почему-либо мерзки. Уверяю вас, что придет время, когда многие у нас на Руси из *чистеньких* горько заплачут, закрыв руками лицо свое, именно оттого, что считали себя слишком чистыми, что хвалились чистотой своей и всякими возвышенными стремленьями куда-то, считая себя чрез это лучшими других. Помните же всё это

и, помолясь, примитесь снова за свои дела бодрей и свежей, чем когда-либо прежде. Перечтите раз пять, шесть мое письмо, именно из-за того, что в нем всё разбросано и нет строгого логического порядка, чему, впрочем, виной вы сами. Нужно, чтобы существо письма осталось всё в вас, вопросы мои сделались бы вашими вопросами, и желанье мое вашим желаньем, чтобы всякое слово и буква преследовали бы вас и мучили по тех пор, пока не исполните моей просьбы таким именно образом, как я хочу.

1846.

## Русской помещик\*

### (Письмо к Б. Н. Б\*\*\*му)

Главное то, что ты уже приехал в деревню и положил себе непременно быть помещиком; прочее всё придет само собою. Не смущайся мыслями, будто прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами, исчезнули навеки. Что они исчезнули, это правда; что виноваты тому сами помещики, это также правда; но чтобы навсегда или навеки они исчезнули, — плюнь ты на этикие слова: сказать их может только тот, кто далее своего носа ничего не видит. Русского ли человека, который так умеет быть благодарным за всякое добро, какому его ни научишь, русского ли человека трудно привязать к себе? Так можно привязать, что после будешь думать только о том, как бы его отвязать от себя. Если только исполнишь в точности всё то, что теперь тебе скажу, то к концу же года увидишь, что я прав. Возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Собери прежде всего мужиков и объясни им, что такое ты, и что такое они. Что

помещик, ты над ними не потому, чтобы тебе хотелось повелевать и быть помещиком, но потому, что ты уже есть помещик, что ты родился помещиком, что взыщет с тебя бог, если б ты променял это званье на другое, потому что всяк должен служить богу на своем месте, а не на чужом, равно как и они также, родясь под властью, должны покоряться той самой власти, под которою родились, потому что нет власти, которая бы не была от бога. И покажи это им тут же в Евангелии, чтобы они все это видели до единого. Потом скажи им, что заставляешь их трудиться и работать все не потому, чтобы нужны были тебе деньги на твои удовольствия, и в доказательство тут же сожги ты перед ними ассигнации, чтобы они видели действительно, что деньги тебе нуль, но что потому ты заставляешь их трудиться, что богом повелено человеку трудом и потом снискивать себе хлеб, и прочти им тут же это в святом писании, чтобы они это видели. Скажи им всю правду: что с тебя взыщет бог за последнего негодяя в селе, и что поэтому самому ты еще больше будешь смотреть за тем, чтобы они работали честно

не только тебе, но и себе самим, ибо знаешь, да и они знают, что, заленившись, мужик на всё способен — сделается и вор и пьяница, погубит свою душу, да и тебя поставит в ответ перед богом. И всё, что им ни скажешь, подкрепи тут же словами святого писания; покажи им пальцем и самые буквы, которыми это написано; заставь каждого перед тем перекреститься, ударить поклон и поцеловать самую книгу, в которой это написано. Словом, чтобы они видели ясно, что ты во всем, что до них клонится, сообразуешься с волей божьей, а не с своими какими-нибудь европейскими или иными затеями. Мужик это поймет, ему не нужно много слов. Объяви им всю правду: что душа человека дороже всего на свете, и что прежде всего ты будешь глядеть за тем, чтобы не погубил из них кто-нибудь своей души и не предал бы ее на вечную муку. Во всех упреках и выговорах, которые станешь делать уличенному в воровстве, лености или пьянстве, ставь его перед лицом бога, а не перед своим лицом; покажи ему, чем он грешит против бога, а не против тебя. И не упрекай его одного, но призови его бабу, его семью, со-

бери соседей. Попрекни бабу, зачем не отваживала от зла своего мужа и не грозила ему страхом божьим; попрекни соседей, зачем допустили, что их же брат, среди их же, зажил собакой и губит ни про что свою душу; докажи им, что дадут за то все ответ богу. Устрой так, чтобы на всех легла ответственность и чтобы всё, что ни окружает человека, упрекало бы и не давало бы ему слишком расстегнуться. Собери силу влиянья, а с нею и ответственность на головы примерных хозяев и лучших мужиков. Растолкуй им ясно, что они не затем, чтобы только самим хорошо жить, но чтобы и других учить хорошему житию, что пьяница не может учить пьяницу и что это их долг. Негодяям же и пьяницам повели, чтобы они оказывали им такое же уваженье, как бы старосте, приказчику, попу или даже самому тебе; чтобы еще завидевши издали примерного мужика и хозяина, летели бы шапки с головы у всех мужиков и всё бы ему давало дорогу; а который посмел бы оказать ему какое-нибудь неуваженье или не послушаться умных слов его, того распеки тут же при всех; скажи ему: «Ах, ты, невымытое ры-



ло! Сам весь зажил в саже, так что и глаз не видать, да еще не хочешь оказать и чести честному! Поклонись же ему в ноги и попроси, чтобы навел тебя на разум; не наведет на разум — собакой пропадешь». А примерных мужиков призвавши к себе и, если они старики, то посадивши их перед собою, потолкуй с ними о том, как они могут наставлять и учить добру других, исполняя таким образом именно то, что повелел нам бог. Так поступи только в течение одного года, и увидишь сам, как всё пойдет на лад; даже и хозяйство от этого сделается лучше. О главном только позаботься, прочее всё приползет само собою. Христос недаром сказал: «Сия вся всем приложится». В крестьянском быту эта истина еще видней, чем в нашем; у них богатый хозяин и хороший человек — синонимы. И в которую деревню заглянула только христианская жизнь, там мужики лопатами гребут серебро.

Но вот, однако же, тебе совет и в хозяйстве. Только раскуси его хорошенько, и не будешь в накладе. Два человека уже благодарят меня; один из них тебе знакомый К\*\*\*. Собственно о том, какими отраслями хозяйства следует

заниматься и как заниматься, я тебе не скажу. Это знаешь ты лучше меня; притом и деревня твоя мне не известна так, как моя собственная ладонь. А относительно всяких нововведений ты умен и смекнул сам, что не только следует придерживаться всего старого, но всмотреться в него насквозь, чтобы из него же извлечь для него улучшение. Но я тебе дам совет насчет соприкосновения помещика с крестьянином в хозяйственных делах и работах, что покамест нужнее всего прочего. Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покосов и уборки хлеба, был пир на всю деревню, чтобы в эти дни был общий стол для всех мужиков на твоём дворе, как бы в день самого светлого воскресенья, и обедал бы ты сам вместе с ними, и вместе с ними вышел бы на работу, и в работе был бы передовым, подстрекая всех работать молодцами, похваливая тут же удальца и укоряя тут же ленивца. Когда же наступит осень и кончатся полевые работы,

воспразднуй таким же образом и еще большим пиршеством окончание работ, в сопровожденьи торжественного и благодарственного молебна. Мужика не бей. Съездить его в рожу еще не большое искусство. Это сумеет сделать и становой, и заседатель, и даже староста; мужик к этому уже привык и только что почешет слегка у себя в затылке. Но умей пронять его хорошенько словом; ты же на меткие слова мастер. Ругни его при всем народе, но так, чтобы тут же обсмеял его весь народ; это будет для него в несколько раз полезней всяких подзатыльников и зуботычин. Держи у себя в запасе все синонимы молодца для того, кого нужно подстрекнуть, и все синонимы бабы для того; кого нужно попрекнуть, чтобы слышала вся деревня, что лентяй и пьяница есть баба и дрянь. Выкопай слово еще похуже, словом — назови всем, чем только не хочет быть русской человек. В комнате не засиживайся, но появляйся почаще на крестьянских работах. И, где ни появляйся, появляйся так, чтобы от твоего прихода глядело всё живей и веселей, изворачиваясь молодцом и щеголем в работе. Поддай и от себя си-

лы словами: «Прихватим-ка разом, ребята, все вместе!» Возьми сам в руки топор или косу; это будет тебе в добро и полезней для твоего здоровья всяких Мариенбадов, медицинских муционов и вялых прогулок.

Замечания твои о школах совершенно справедливы. Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор. Главное уже то, что у мужика нет вовсе для этого времени. После стольких работ никакая книжонка не полезет в голову, и, пришедши дом<ой>, он заснет, как убитый, богатырским сном. Ты и сам будешь делать то же, когда станешь почаще наведываться на работы. Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки. Если в ком истинно уже зародится охота к грамоте, и притом вовсе не затем, чтобы сделаться плутом-конторщиком, но затем, чтобы прочесть те книги, в которых начертан божий закон человеку, — тогда другое дело. Воспитай его как сына и на него одного употреби всё, что

употребил бы ты на всю школу. Народ наш не глуп, что бежит, как от чорта, от всякой письменной бумаги. Знает, что там притык всей человеческой путаницы, крючкотворства и каверзничеств. По-настоящему ему не следует и знать, есть ли какие-нибудь другие книги, кроме святых.

Кстати о священнике. Ты напрасно хлопочешь о его перемене и затеваешь просить архиерея, чтобы он дал тебе более знающего и опытного. Такого священника он тебе не даст, потому что такой священник повсюду нужен. Выбрось даже из головы, чтобы мог отыскаться священник, вполне отвечающий твоему идеалу. Никакая семинария и никакая школа не может так воспитать священника. В семинарии он получает только начальное основание своего воспитания, образуется же вполне в деле жизни. Будь сам ему напутником, ты же понял так хорошо обязанности сельского священника. Если священник дурен, то этому почти всегда виноваты сами помещики. Они наместо того, чтобы пригреть его у себя в доме как родного, поселить в нем желание беседы лучшей, которая могла бы его чему-ни-

будь поучить, бросят его среди мужиков, молодого и неопытного, когда он еще и не знает, что такое мужик, поставят его в такое положение, что он еще должен потворствовать и угождать им, наместо того, чтобы уже с самого начала иметь над ними некоторую власть, и после этого вопиют, что у них священники дурные, что они приобрели мужицкие ухватки и ничем не отличаются от простых мужиков. Да я спрашиваю: кто не огрубеет даже из приготовленных и воспитанных? А ты сделай вот как. Заведи, чтобы священник обедал с тобою всякой день. Читай с ним вместе духовные книги: тебя же это чтение теперь занимает и питает более всего. А самое главное, — бери с собой священника повсюду, где ни бываешь на работах, чтобы сначала он был при тебе в качестве помощника, чтобы он видел самолично всю проделку твою с мужиками. Тут он увидит ясно, что такое помещик, что такое мужик, и каковы должны быть их отношения между собою. А между тем и к нему будет больше уваженья со стороны мужиков, когда они увидят, что он идет с тобой об руку. Сделай так, чтобы он не нуждался в дому сво-

ем, чтобы был обеспечен относительно собственного своего хозяйства, и через то имел бы возможность быть с тобой беспрестанно. Поверь, что он так наконец привыкнет к тебе, что ему будет скучно без тебя. А привыкнувши к тебе, он от тебя нечувствительно наберется познания вещей, и познания человека, и много всякого добра, потому что в тебе, слава богу, всего этого довольно, и ты умеешь так ясно и хорошо выражаться, что всяк невольно усвоет себе не только твои мысли, но даже и образ их выраженья и самые слова твои.

Что же до проповеди, которую ты полагаешь нужною, то на это я тебе скажу вот что: я скорей того мнения, что священнику, не вполне наставленному в своем деле и не ознакомленному с людьми, его окружающими, лучше вовсе не произносить проповеди. Подумал ли ты о том, какое трудное дело сказать умную проповедь и особенно мужикам? Нет, лучше немного потерпи, по крайней мере до тех пор, пока и священник побольше осмотрится, да и ты также. А до того времени посоветую тебе то, что одному уже посовето-

вал и что, кажется, ему пошло уже впрок. Возьми святых отцов и особенно Златоуста, говорю потому Златоуста, что Златоуст, имея дело с народом-невежею, принявшим только наружное христианство, но в сердцах оставшимися грубыми язычниками, старался быть особенно доступным к понятиям человека простого и грубого и говорит таким живым языком о предметах нужных и даже очень высоких, что целиком можно обратить места из проповедей его к нашему мужику, и он поймет. Возьми Златоуста и читай его вместе с твоим священником, и притом с карандашом в руке, чтобы отмечать тут же все такие места, а таких мест у Златоуста десятками во всякой проповеди. И эти самые места пусть он скажет народу; не нужно, чтобы они были длинны: страничка или даже полстранички; чем меньше, тем лучше. Но нужно, чтобы перед тем, как произносить их народу, священник прочитал их несколько раз с тобою вместе, затем, чтобы уметь их произнести ему не только с одушевлением, но таким убедительным голосом, как бы он хлопотал о какой-нибудь собственной выгоде своей, от



которой зависит благополучие его жизни. Увидишь, что это будет действительнее, нежели его собственная проповедь. Народу нужно мало говорить, но метко, — не то он может привыкнуть к проповеди так же, как привыкнул к ней высший круг, который ездит слушать знаменитых европейских проповедников таким же самым образом, как едет в оперу или в спектакль. У К\*\* священник не говорит никакой проповеди, но, зная насквозь всех мужиков, поджидает только исповеди. И на исповеди так проймет из них всякого, что он как из бани выходит из церкви. З\*\*\* послал к нему нарочно исповедывать 30 человек рабочих с своей фабрики, пьяниц и мошенников первейшего разбора, а сам стал на паперти церковной, чтобы посмотреть им в лица в то время, как они будут выходить из церкви: все вышли красные как раки. А кажется, немного и держал их на исповеди; по четыре, по пяти человек исповедывал вдруг. И после того, по сказанию самого З\*\*, в продолжение двух месяцев не показывался ни один из них в кабаке, так что окружные целовальники не могли приложить ума, отчего

это случилось.

Но довольно. Поработай усердно только год, а там дело уже само собой пойдет работать так, что не нужно будет тебе и рук прилагать. Разбогатеешь ты как Крез, в противность тем подслеповатым людям, которые думают, будто выгоды помещика идут врознь с выгодами мужиков. Ты им докажешь делом, а не словами, что они врут, и что если только помещик взглянул глазом христианина на свою обязанность, то не только он может укрепить старые связи, о которых толкуют, будто они исчезнули навеки, но связать их новыми, еще сильнейшими связями, — связями во Христе, которых уже ничего не может быть сильнее. И ты, не служа доселе ревностно ни на каком поприще, сослужишь такую службу государю в званьи помещика, какой не сослужит иной великочинный человек. Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все как один и могут быть примером всем окружающим своей истинно примерною жизнью, — это дело не бездельное в служба истинно законная и великая.

1846.

# Исторический живописец Иванов\*

(Письмо к гр. Матв. Ю. В\*\*\*му)

Пишу к вам об Иванове. Что за непостижимая судьба этого человека! Уже дело его стало, наконец, всем объясняться. Все уверились, что картина, которую он работает — явление небывалое, приняли участие в художнике, хлопочут со всех сторон о том, чтобы даны были ему средства кончить ее, чтобы не умер над ней с голоду художник, — говорю *буквально* — не умер с голоду, — и до сих пор ни слуху, ни духу из Петербурга. Ради Христа разберите, что это всё значит. Сюда принеслись нелепые слухи, будто художники и все профессора нашей Академии художеств, боясь, чтобы картина Иванова не убила собою всё, что было доселе произведено нашим художеством, из зависти стараются о том, чтобы ему не даны были средства на окончание. Это ложь, я в этом уверен. Художники наши благородны, и если бы они узнали всё то, что вытерпел бедный Иванов из-за своего беспримерного самоотверженья и любви к труду, рискуя действительно умереть с голоду, они

бы с ним поделились братски своими собственными деньгами, а не то, чтобы внушать другим такое жестокое дело. Да и чего им опасаться Иванова? Он идет своей собственной дорогой и никому не помеха. Он не только не ищет профессорского места и житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы. Он молит о нищенском содержании, о том содержании, которое дается только начинающему работать ученику, а не о том, которое следует ему, как мастеру, сидящему над таким колоссальным делом, которого не затевал доселе никто. И этого нищенского содержания, о котором все стараются и хлопочут, не может он допроситься, несмотря на хлопоты всех. Воля ваша, я вижу во всем этом волю провиденья, уже так определившую, чтобы Иванов вытерпел, выстрадал и вынес всё, другому ничему не могу приписать.

Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: «Как! восемь лет сидел над картиной и до сих пор картине нет конца!» Но теперь этот упрек затихнул, когда увиде-

ли, что и капля времени у художника не пропала даром, что одних этюдов, приготовленных им для картины своей, наберется на целый зал и может составить отдельную выставку, что необыкновенная величина самой картины, которой равной еще не было (она больше картин Брюлова и Бруни), требовала слишком много времени для работы, особенно при тех малых денежных средствах, которые не давали ему возможности иметь несколько моделей вдруг, и притом таких, каких бы он хотел. Словом — теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы. Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, — явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля того, кто повыше человека. Так уже было определе-

но, чтобы над этою картиной совершилось воспитанье собственно художника, как в рукотворном деле искусства, так и в мыслях, направляющих искусство к законному и высшему назначенью. Предмет картины, как вы уже знаете, слишком значителен. Из евангельских мест взято самое труднейшее для исполнения, доселе еще небранное никем из художников даже прежних богомольно-художественных веков, а именно — первое появленье Христа народу. Картина изображает пустыню на берегу Иордана. Всех видней Иоанн Креститель, проповедывающий и крестящий во имя того, которого еще никто не видал из народа. Его обступает толпа нагих и раздевающихся, одевающихся и одетых, выходящих из вод и готовых погрузиться в воды. В толпе этой стоят и будущие ученики самого спасителя. Всё, отправляя свои различные телесные движенья, устремляется внутренним ухом к речам пророка, как бы схватывая из уст его каждое слово и выражая на различных лицах своих различные чувства: на одних — уже полная вера; на других — еще сомненье; третьи уже колеблются; четвертые

понурили главы в сокрушеньи и покаяньи; есть и такие, на которых видна еще кора и бесчувственность сердечная. В это самое время, когда всё движется такими различными движеньями, показывается вдали тот самый, во имя которого уже совершилось крещение — и здесь настоящая минута картины. Предтеча взят именно в тот миг, когда, указавши на спасителя перстом, произносит: «Се агнец, вземляй грехи мира!» И вся толпа, не оставляя выражений лиц своих, устремляется или глазом, или мыслию к тому, на которого указал пророк. Сверх прежних, не успевших сбежать с лиц, впечатлений, пробегают по всем лицам новые впечатления. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира; и третьи сомнительно колеблют головой, говоря: от Назарета пророк не приходит. А он, в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой уже приближается к людям.

Безделица — изобразить на лицах весь

этот ход *обращения человека ко Христу!* Есть люди, которые уверены, что великому художнику всё доступно. Земля, море, человек, лягушка, драка и пирушка людей, игра в карты и моление богу, словом, всё может достаться ему легко, будь только он талантливый художник, да поучись в академии. Художник может изобразить только то, что он *почувствовал* и о чем в голове его составила уже полная идея; иначе картина будет мертвая, академическая картина. Иванов сделал всё, что другой художник почел бы достаточным для окончания картины. Вся материальная часть, всё, что относится до умного и строгого размещения группы в картине, исполнено в совершенстве. Самые лица получили свое типическое, согласно Евангелию, сходство и с тем вместе сходство еврейское. Вдруг слышишь по лицам, в какой земле происходит дело. Иванов повсюду ездил нарочно изучать для того еврейские лица. Всё, что ни относится до гармонического размещенья цветов, одежды человека и до обдуманной ее наброски на тело, изучено в такой степени, что всякая складка привлекает вниманье знатока.



Наконец, вся ландшафтная часть, на которую обыкновенно не много смотрит исторической живописец, вид всей живописной пустыни, окружающей группу, исполнен так, что изумляются сами ландшафтные живописцы, живущие в Риме. Иванов для этого просиживал по нескольким месяцам в нездоровых Понтийских болотах и пустынных местах Италии, перенес в свои этюды все дикие захолустья, находящиеся вокруг Рима, изучил всякой камешек и древесный листик, словом — сделал всё, что мог сделать, всё изобразил, чему только нашел образец. Но как изобразить то, чему еще не нашел художник образца? Где мог найти он образец для того, чтобы изобразить главное, составляющее задачу всей картины — представить в лицах весь ход человеческого обращения ко Христу? Откуда мог он взять его? Из головы? Создать воображеньем? Постигнуть мыслью? Нет, пустяки! Холодна для этого мысль и ничтожно воображение. Иванов напрягал воображение, елико мог, старался на лицах всех людей, с какими ни встречался, ловить высокие движения душевные, оставался в церквях следить за молит-

вой человека — и видел, что всё бессильно и недостаточно и не утверждает в его душе полной идеи о том, что нужно. И это было предметом сильных страданий его душевных и виной того, что картина так долго затянулась. Нет, пока в самом художнике не произошло истинное обращение ко Христу, не изобразить ему того на полотне. Иванов молил бога о ниспослании ему такого полного обращения, лил слезы в тишине, прося у него же сил исполнить им же внушенную мысль; а в это время упрекали его в медленности и торопили его! Иванов просил у бога, чтобы огнем благодати испепелил в нем ту холодную черствость, которою теперь страждут многие наилучшие и наидобрейшие люди, и вдохновил бы его так изобразить это обращение, чтобы умилился и нехристианин, взглянувши на его картину; а его в это время укоряли даже знавшие его люди, даже приятели, думая, что он просто ленится, и помышляли серьезно о том, нельзя ли голодом и отнятием всех средств заставить его кончить картину. Сострадательнейшие из них говорили: «Сам же виноват; пусть бы большая картина шла своим чере-

дом, а в промежутках мог бы он работать малые картины, брать за них деньги и не умереть с голода», — говорили, не ведая того, что художнику, которому труд его, по воле бога, обратился в его душевное дело, уже невозможно заняться никаким другим трудом, и нет у него промежутков, не устремится и мысль его ни к чему другому, как он ее ни принуждай и ни насилуй. Так верная жена, полюбившая истинно своего мужа, не полюбит уже никого другого, никому не продаст за деньги своих ласк, хотя бы этим средством могла бы спасти от бедности себя и мужа. Вот каковы были обстоятельства душевные Иванова. Вы скажете: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге? Зачем не описал ясно своего действительного положения? тогда бы ему вдруг были высланы деньги». Да, как бы не так. Попробуй кто-нибудь из нас, еще не доказавший сил, еще не умеющий самому себе высказать себя, объясняться с людьми, стоящими на других поприщах, которые не могут, весьма естественно, даже постигнуть, что может существовать в искусстве его высшая степень, свыше той, на кото-

рой оно стоит в нынешнем модном веке! Неужели ему сказать: «Я произведу одно такое дело, которое вас потом изумит, но которого вам не могу теперь рассказать, потому что многое, покуда, и мне самому еще не совсем понятно, а вы, во всё то время, как я буду сидеть над работой, ждите терпеливо и давайте мне деньги на содержание». Тогда, пожалуй, явятся много таких охотников, которые заговорят таким же образом — да им разве безумец даст деньги. Положим даже, что Иванов мог бы в это неясное время выразиться ясно и сказать так: «Мне внушена кем-то свыше меня преследующая мысль — изобразить кистью обращение человека ко Христу. Я чувствую, что не могу этого сделать, не обратившись истинно сам. А потому ждите, покуда во мне самом не произойдет это обращение, и давайте до того времени мне деньги на мое содержание и на мою работу». Да ему тогда в один голос закричим мы все: «Что ты, брат, за нескладицу городишь? за дураков, что ли, нас принял? Что за связь у души с картиной? Душа сама по себе, а картина сама по себе. Что нам ждать твоего обращения! Ты

должен быть и без того христианин; ведь вот мы же все истинные христиане». Вот что мы скажем все Иванову, и каждый из нас почти прав. Не будь этих же самых тяжелых его обстоятельств и внутренних терзаний душевных, которые силою заставили его обратиться жарче других к богу и дали ему способность к нему прибегать и жить в нем так, как не живет в нем нынешний светский художник, и выплакать слезами те чувства, которых он силился добыть прежде одними размышленьями, — не изобразить бы ему никогда того, что начинает он уже изображать теперь на полотне, и он действительно бы обманул и себя и других, несмотря на всё желанье не обмануть.

Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состоянья душевного, когда, по воле бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам. Мои сочиненья тоже связались чудным образом с моей душой и моим внутренним воспитаньем. В продолжение более шести лет я ничего не мог работать для света. Вся работа про-

изводилась во мне и собственно для меня. А существовал я дотолѣ, — не позабудѣте, — единственно доходами с моих сочинений. Все почти знали, что я нуждался, но были уверены, что это происходит от собственного моего упрямства, что мне стоит только присесть да написать небольшую вещь, чтобы получить большіе деньги; а я не в силах был произвести ни одной строки, и когда, послушавшись совета одного неразумнаго человека, вздумал бы<ло> заставить себя насильно написать кое-какіе статейки для журнала, это было мне в такой степени трудно, что ныла моя голова, болели все чувства, я марал и раздирал страницы, и после двух, трех мѣсяцев таковой пытки так расстроил здоровье, которое и без того было плохо, что слег в постель, а присоединившіеся к тому недуги нервическіе и наконец недуги от неумѣнья изъяснить никому в свете своего положенія до того меня изнурили, что был я уже на краю гроба. И два раза случилось почти то же. Один раз, в прибавленіе ко всему этому, я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть, не только от

болезни и страданий душевных, но даже от голода. Это было уже давно тому. Спасен я был государем. Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движенье милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг. Мне было приятно в эту минуту быть обязану ему, а не кому-либо другому. К причинам, побудившим взяться с новою силою за труд, присоединилась еще и мысль, — если удостоит меня бог сделаться точно человеком близким для многих людей и достойным точно любви всех тех, которых люблю, — сказать им: «Не забывайте же, меня бы не было, может быть, на свете, если б не государь». Вот каковы бывают положения. В прибавленье скажу вам, что в это же самое <время> я должен был слышать обвиненья в эгоизме: многие не могли мне простить моего неучастия в разных делах, которые они затевали, по их мненью, для блага общего. Слова мои,

что я не могу писать и не должен работать ни для каких журналов и альманахов, принимались за выдумку. Самая жизнь моя, которую я вел в чужих краях, приписана была сибаритскому желанию наслаждаться красотами Италии. Я не мог даже изъяснить никому из самых близких моих друзей, что, кроме нездоровья, мне нужно было временное отдаление от них самих, затем именно, чтобы не попасть в фальшивые отношения с ними и не нанести им же неприятностей — я даже этого не мог объяснить. Я слышал сам, что мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Сияясь открыть хотя одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желание быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, и не может даже пошевелинуть пальцем и подать



знака, что он еще жив. Нет, храни бог в эти минуты переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку; нужно бежать к одному богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.

То же самое и в деле Иванова; если бы случилось, что он умер от бедности и недостатка средств, вдруг бы всё до единого исполнилось негодованья противу тех, которые допустили это, пошли бы обвинения в бесчувственности и зависти к нему других художников. Иной драматический поэт составил бы из этого чувствительную драму, которою бы растрогал слушателей и подвигнул бы гневом противу врагов его. И всё это было бы ложь, потому что, точно, никто не был бы истинно виновен в его смерти. Один только человек был бы бесчестен и виноват, и этот человек был бы — я: я испробовал почти то же состояние, испробовал его на собственном теле, и не объяснил этого другим! И вот почему я теперь пишу к вам. Устройте же это дело; не то —

грех будет на вашей собственной душе. С моей души я уже снял его этим самым письмом; теперь он повиснул на вас. Сделайте так, чтобы не только было выдано Иванову то нищенское содержание, которое он просит, но еще сверх того единовременная награда, именно за то самое, что он работал долго над своей картиной и не хотел в это время ничего работать постороннего, как ни заставляли его другие люди, и как ни заставляла его собственная нужда. Не скупитесь! деньги все вознаградятся. Достоинство картины уже начинает обнаруживаться всем. Весь Рим начинает говорить гласно, судя даже по нынешнему ее виду, в котором далеко еще не выступила вся мысль художника, что подобного явления еще не показывалось от времен Рафаэля и Леонардо-да-Винчи. Будет окончена картина — беднейший двор в Европе заплатит за нее охотно те деньги, какие теперь плотят за вновь находимые картины прежних великих мастеров, и таким картинам не бывает цена меньше ста или двухсот тысяч. Устройте так, чтобы награда выдана была не за картину, но за самоотвержение и беспримерную любовь

к искусству, чтобы это послужило в урок художникам. Урок этот нужен, чтобы видели все другие, как нужно любить искусство. Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни; как Иванов, учиться и считать себя век учеником; как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плисовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть всё и при высоком и нежном образовании душевном, при большой чувствительности ко всему, вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его сумасшедшим и распустить этот слух таким образом, чтобы он собственными своими ушами, на всяком шагу, мог его слышать. За эти-то подвиги нужно, чтобы ему была выдана награда. Это нужно особенно для художников молодых и выступающих на поприще художества, чтобы не думали они о том, как заводить галстучки да сертучки, да делать долги для поддержания какого-то веса в обществе; чтобы знали вперед, что подкрепление и помощь со сторо-

ны правительства ожидают только тех, которые уже не помышляют о сертучках да о пирушках с товарищами, но отдались своему делу, как монах монастырю. Хорошо бы даже, если бы выданная Иванову сумма была слишком велика, чтобы невольно почесали у себя в затылке все другие. Не бойтесь, эту сумму он не возьмет себе; может быть, из нее и копейки не возьмет для себя, — эта сумма будет вся употреблена на вспомоществованье истинным труженикам искусства, которых знает художник лучше, нежели какой-нибудь чиновник, и распоряженья по этому делу будут произведены лучше чиновнических. За чиновником мало ли что может водиться: у него может случиться и жена-модница, и приятели-едоки, которых нужно угощать обедом; чиновник заведет и штат и блеск; станет даже утверждать, что для поддержания чести русской нации нужно задать пыль иностранцам, и потребует на это деньги. Но тот, кто сам подвизался на том поприще, которому потом должен помочь, кто слышал вопль потребности и нужды истинной, а не поддельной, кто терпел сам и видел, как терпят дру-

гие, и соскорбел им, и делился последней рубашкой с неимущим тружеником в то время, когда и самому нечего было есть и не во что одеться, как делал это Иванов, тот — иное дело. Тому можно смело поверить миллион и спать спокойно, — не пропадет даром копейка из этого миллиона. Поступите же справедливо, а письмо мое покажите многим, как можем, так и вашим приятелям, и особенно таким, которых управлению вверена какая-нибудь часть, потому что труженики, подобные Иванову, могут случиться на всех поприщах, и все-таки не нужно допустить, чтобы они умерли с голоду. Если случится, что один, отделившись от всех других, займется крепче всех своим делом, хотя бы даже и своим собственным, но если он скажет, что это, по-видимому, собственное его дело будет нужно для всех, считайте его как бы на службе и выдавайте насущное прокормление. А чтобы удостовериться, нет ли здесь какого обмана, потому что под таким видом может пробраться ленивый и ничего не делающий человек, следите за его собственной жизнью; его собственная жизнь скажет все. Если он так же,

как Иванов, плюнул на все приличия и условия светские, надел простую куртку и, отгнавши от себя мысль не только об удовольствиях и пирушках, но даже мысль завестись когда-либо женою и семейством или каким-либо хозяйством, ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно, — тогда нечего долго рассуждать, а нужно дать ему средства работать, незачем также торопить и подталкивать его — оставьте его в покое: подтолкнет его бог без вас; ваше дело только смотреть за тем, чтобы он не умер с голода. Не давайте ему большого содержания; дайте ему бедное и нищенское даже, и не соблазняйте его соблазнами света. Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет. Но кого бог удостоил отведать его сладость и кто уже возлюбил истинно свою нищенскую сумку, тот не продаст ее ни за какие сокровища здешнего мира.

1846.

## Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России\*

Долго думал я, на кого из вас напасть: на вас или на вашего мужа? Наконец решаюсь напасть на вас: женщина скорее способна очнуться и двинуться. Положение вас обоих, хотя вы считаете себя на вершине блаженства, по мне, не только не блаженно, но даже хуже положения тех, которые считают себя в горе и несчастье. У вас обоих есть много хороших качеств душевных, сердечных и даже умственных, и нет только того, без чего все это ни к чему не послужит: нет внутри себя управления собою. Никто из вас не господин себе. В вас нет характера, признавая характером *крепость воли*. Ваш муж, чувствуя этот недостаток в себе, женился нарочно затем, чтобы найти в жене себе возбуждение на всякое дело и подвиг. Вы за него вышли замуж затем, чтобы он был вашим возбудителем во всяком деле жизни. Оба друг от друга ждут того, чего нет у обоих. Говорю вам: положение

ваше не только не блаженно, но даже опасно. Вы оба расплыветесь и распуститесь среди жизни, как мыло в воде; все ваши достоинства и добрые качества исчезнут в беспорядке действий, который один делается вашим характером, и станете вы оба — олицетворенное бессилие. Молите бога о *крепости*. У бога можно все вымолить, даже и крепость, которую, как известно, никакими средствами не может достать бессильный и слабый человек. Поступите только умно. «Молись и к берегу гребись», говорит пословица. Произносите в себе и поутру, и в полдень, и ввечеру, и во все часы дня: «Боже, собери меня всю в самое меня и укрепи!» — и действуйте в продолженье целого года так, как я вам сейчас скажу, не рассуждая покуда, зачем и к чему это. Всю хозяйственную часть дома возьмите на себя; приход и расход чтобы был в ваших руках. Не ведите общей расходной книги, но с самого начала года сделайте смету всему вперед, обнимите все нужды ваши, сообразите вперед, сколько можете и сколько вы должны издержать в год, сообразно вашему достатку, и все приведите в круглые суммы. Разделите ваши



деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче — деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче — экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом — всё, что относится к этой части. В четвертой куче — деньги на гардероб, то есть все, что нужно для вас обоих затем, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче — деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа и даже вспомоществование кому-нибудь из ваших родственников, если бы он возымел внезапную надобность. Седьмая куча — богу, то есть деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую. Какие ни представлялись бы вам в это время выгодные по-

купки и как бы ни соблазняли они вас своею дешевизною, не покупайте. На это можете отважиться потом, когда побольше укрепитесь. А теперь не позабывайте ни на миг, что все это вами делается для покупки твердого характера, а эта покупка покамест для вас нужнее всякой другой покупки, и потому будьте в этом упрямы. Просите бога об упрямстве. Даже и тогда, если бы оказалась надобность помочь бедному, вы не можете употребить на это больше того, сколько находится в определенной на то куче. Если бы даже вы были свидетелем картины несчастья, раздирающего сердце, и видели бы сами, что денежная помощь может помочь, не смейте и тогда дотрогиваться до других куч, но поезжайте по всему городу, по всем вашим знакомым и старайтесь преклонить их на жалость: просите, молитесь, будьте готовы даже на унижение себя, чтобы это осталось вам в урок, чтобы вы помнили вечно, как вы были доведены до жестокой необходимости отказать несчастному, как вы должны были из-за этого подвергнуться унижению и даже осмеянию публичному; чтобы это не выходило у вас из ума, чтобы вы

через это приучались обрезать себя в расходах по каждой куче и заранее помышлять о том, чтобы к концу года оставался от каждой остаток для бедных, а не сходились бы только концы с концами. Если вы будете держать это в голове своей беспрестанно, то вы никогда не заедете без надобности сильной в магазин и не купите себе неожиданно для себя самой какое-нибудь украшение для камина или стола, на что так падки у нас как дамы, так и мужчины (последние еще больше и суть не женщины, а бабы). Ваши прихоти будут невольны и нечувствительно сжиматься, и дойдет наконец до того, что вы почувствуете сами, что вам не нужно иметь больше одной кареты и пары лошадей, больше четырех блюд за столом, что званый обед может также насытить людей и на простом сервизе, с прибавкой одного лишнего блюда да бутылки вина, разнесенного без всяких тонкостей в простых рюмках. Вы даже не только не сторите от стыда, если пойдет по городу слух, что у вас не *comme il faut*\*, но еще посмеетесь тому сами, уверившись истинно, что настоящее *comme il faut* есть то, которое требует от чело-

века тот самый, который создал его, а не тот, который приводит в систему обеда, даже и не тот, который сочиняет всякий день меняющиеся этикетки, даже и не сама мадам Сихлер\*. Заведите для всякой денежной кучи особенную книгу, подводите итог всякой куче каждый месяц и перечитывайте в последний день месяца все вместе, сравнивая всякую вещь одну с другою, чтобы уметь узнавать, во сколько раз одна нужнее другой, чтобы видеть ясно, от какой прежде нужно отказаться в случае необходимости, чтобы научиться мудрости постигать, что из нужного есть самое нужнейшее.

Держитесь этого строго в продолжение целого года. Крепитесь и будьте упрямы, и во все это время молитесь богу, чтобы укрепил вас. И вы окрепнете непременно. Важно то, чтобы в человеке хотя что-нибудь окрепнуло и стало непреложным; от этого невольно установится порядок и во всем прочем. Укрепясь в деле вещественного порядка, вы укрепитесь нечувствительно в деле душевного порядка. Распределите ваше время; положите всему непрременные часы. Не оставайтесь по-

утру с вашим мужем; гоните его на должность в его департамент, ежеминутно напоминая ему о том, что он весь должен принадлежать общему делу и хозяйству всего государства (а его собственное хозяйство не его забота: оно должно лежать на вас, а не на нем), что он женился именно затем, чтобы, освободя себя от мелких забот, всего отдать отчизне, и жена дана ему не на помеху службе, но в укрепление его на службе. Чтобы все утро вы работали порознь, каждый на своем поприще, и через то встретились бы весело перед обедом и обрадовались бы так друг другу, как бы несколько лет не видались, чтобы вам было что пересказать друг другу и не попотчевал бы один другого зевотой. Расскажите ему всё, что вы делали в вашем доме и домашнем хозяйстве, и пусть он расскажет вам всё, что производил в департаменте своем для общего хозяйства. Вы должны знать непременно существо его должности, и в чем состоит его часть, и какие дела случилось ему вершить в тот день, и в чем именно они состояли. Не пренебрегайте этим и помните, что жена должна быть помощницей мужа. Если только

в течение одного года вы будете внимательно выслушивать от него всё, то на другой год будете в силах подать ему даже совет, будете знать, как ободрить его при встрече с какою-нибудь неприятностью по службе, будете знать, как заставить его перенести и вытерпеть то, на что у него не достало бы духа, будете его истинный возбудитель на всё прекрасное.

Начните же с этого дня исполнять всё, что я вам теперь сказал. Крепитесь, молитесь и просите бога непрерывно, да поможет вам собрать всю себя в себе и держать себя. Всё у нас теперь расплылось и расшнуровалось. Дряннь и тряпка стал всяк человек; обратил сам себя в подлое подножье всего и в раба самых пустейших и мелких обстоятельств, и нет теперь нигде свободы в ее истинном смысле. Эту свободу один мой приятель, который вами лично не знаем, но которого, однако же, знает вся Россия, определяет так: «Свобода не в том, чтобы говорить произволу своих желаний: *да*, но в том, чтобы уметь сказать им: *нет*». Он прав, как сама правда. Никто теперь в России не умеет сказать самому

себе этого твердого «нет». Нигде я не вижу мужа. Пусть же бессильная женщина ему о том напомнит! Стало так теперь всё чудно, что жена же должна повелеть мужу, дабы он был ее глава и повелитель.

1846.

## **Сельской суд и расправа\***

**(Из письма к М.)**

**Н**икак не пренебрегайте расправой и судом. Не поручайте этого дела управителю и никому в деревне: эта часть важнее самого хозяйства. Судите сами. Этим одним вы укрепите разорванную связь помещика с крестьянами. Суд — божье дело, и я не знаю, что может быть этого выше. Недаром так чувствуется в народе тот, кто умеет произносить правый суд. К вам повалит не только ваша деревня, но и все окружные мужики из других селений, как только узнают, что вы умеете давать расправу. Не пренебрегайте никем из приходящих и судите всех, хотя бы даже и в незначительной ссоре или драке. По поводу этого можете много сказать мужику такого, что пойдет в добро его душе, и чего бы вы никак

не нашлись сказать в другое время, не найдя, к чему прицепиться.

Судите всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого. Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли и другие мужики, чтобы все видели ясно, как день, чем один прав и чем другой виноват. Другой же суд сделайте божеский. И на нем осудите и правого и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был тому виной, что другой его обидел, а второму — как он вдвойне виноват и пред богом и пред людьми; одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел самого Христа в своем брате; а обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились сами собой и пришли на суд, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Если такой суд вы будете произносить, вы будете сами полномочны, как бог, потому что бог вас уполномочит. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых



познаний. Если бы многие из государственных людей начинали свое поприще не бумажными занятиями, а устной расправой дел между простыми людьми, они бы лучше узнали дух земли, свойство народа и вообще душу человека и не заимствовали бы потом из чужеземных земель нам неприличных нововведений. Правосудие у нас могло бы исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав один только бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю, то есть — оба виноваты. И видишь, что весьма здраво поступила комендантша в подвести Пушкина «Капитанская дочь», которая, пославши пору-

чика рассудить городского солдата с бабой, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такой инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи».

1845.

## **Страхи и ужасы России\***

### **(Письмо к графине \*\*\*ой)**

**Н**а ваше длинное письмо, которое вы писали с таким страхом, которое просили сей же час истребить после прочтения и на которое отвечать просили не иначе, как через верные руки, а отнюдь не по почте, я отвечаю не только не по секрету, но, как вы видите, в печатной книге, которую, может быть, прочтет половина грамотной России. Побудило меня к тому то, что, может быть, мое письмо послужит в то же время ответом и прочим, которые, подобно вам, смущаются теми же страхами. То, что вы мне объявляете по секрету, есть еще не более как одна часть всего дела; а вот если бы я вам рассказал то, что я знаю (а знаю я, без всякого сомнения, далеко еще не всё), тогда бы, точно, помутились ваши мысли, и вы сами подумали бы, как бы убежать

из России. Но куды бежать? вот вопрос. Европе пришлось еще трудней, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит: всё, не выключая даже государственных людей, пребывает покуда на верхушке верхних сведений, то есть пребывает в том заколдованном круге познаний, который нанесен журналами в виде скороспелых выводов, опрометчивых показаний, выставленных, сквозь лживые призмы всяких партий, вовсе не в том свете, в каком они есть. Погудите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет ни какое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые вам видятся теперь в России. В России еще брезжит свет, есть еще пути и дороги к спасенью, и слава

богу, что эти страхи наступили теперь, а не позже. Ваши слова: «все падают духом как бы в ожиданья чего-то неизбежного», равно как и слова: «каждый думает только о спасении личных выгод, о сохранении собственной пользы, точно, как на поле сражения после потерянной битвы всякой думает только о спасении жизни: *sauve qui peut*», действительно справедливы; так оно теперь действительно есть; так быть должно: так повелел бог, чтобы оно было. Всяк должен подумать теперь о себе, именно о своем собственном спасении. Но настал другой род спасенья. Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное земное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства. На корабле своей должности и службы должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на кормщика небесного. Кто даже и не в службе, тот должен теперь же вступить на службу и ухватиться за свою должность, как утопающий хватается за доску, без чего не спастись никому. Служить же теперь должен из нас всяк не

так, как бы служил он в прежней России, но в другом небесном государстве, главой которого уже сам Христос, а потому и все свои отношения ко власти ли, высшей над нами, к людям ли, равным и кружащимся вокруг нас, к тем ли, которые нас ниже и находятся под нами, должны мы выполнить так, как повелел Христос, а не кто другой. И уж нечего теперь глядеть на какие-нибудь щелчки, которые стали бы наноситься, от кого бы то ни было, нашему честолюбию или самолюбию, — нужно помнить только то, что ради Христа взята должность, а потому должна быть и выполнена так, как повелел Христос, а не кто другой. Только одним этим средством и может всяк из нас теперь спастись. И плохо будет тому, кто об этом не помыслит теперь же. Помутится ум его, омрачатся мысли, и не найдет он угла, куды сокрыться от своих страхов. Помните *Египетские тьмы*, которые-с такой силой передал царь Соломон, когда господь, желая наказать одних, наслал на них неведомые, непонятные страхи. Слепая ночь обняла их вдруг среди бела дня; со всех сторон уставились на них ужасающие образы; дряхлые

страшилища с печальными лицами стали неотразимо в глазах их; без железных цепей сковала их всех боязнь и лишила всего, все чувства, все побуждения, все силы в них погибли, кроме одного страха. И произошло это только в тех, которых наказал господь. Другие в то же время не видали никаких ужасов; для них был день и свет.

Смотрите же, чтобы не случилось с вами чего-нибудь подобного. Лучше молитесь и просите бога о том, чтобы вразумил вас, как быть вам на вашем собственном месте и на нем исполнить все, сообразно с законом Христа. Дело идет теперь не на шутку. Прежде чем приходить в смущенье от окружающих беспорядков, не дурно заглянуть всякому из нас в свою собственную душу. Загляните также и вы в свою. Бог весть, может быть, там увидите такой же беспорядок, за который браните других; может быть, там обитает растрепанный, неопрятный гнев, способный всякую минуту овладеть вашей душою, на радость врагу Христа; может быть, там поселилась малодушная способность падать на всяком шагу в уныние — жалкая дочь безверья в

бога; может быть, там еще таится тщеславное желанье гоняться за тем, что блестит и пользуется известностью светской; может быть, там обитает гордость лучшими свойствами своей души, способная превратить в ничто все добро, какое имеем. Бог весть, что может быть в душе нашей. Лучше в несколько раз больше смутиться от того, что внутри нас самих, нежели от того, что вне и вокруг нас. Что же касается до страхов и ужасов в России, то они не без пользы: посреди их многие воспитались таким воспитаньем, которого не дадут никакие школы. Самая затруднительность обстоятельств, предоставивши новые извороты уму, разбудила дремавшие способности многих, и в то время, когда на одних концах России еще доплясывают польку и доигрывают преферанс, уже незримо образуются на разных поприщах истинные мудрецы жизненного дела. Еще пройдет десяток лет, и вы увидите, что Европа приедет к нам не за покупкой пеньки и сала, но за покупкой мудрости, которой не продают больше на европейских рынках. Я бы вам назвал многих таких, которые составят когда-нибудь красоту земли

русской и принесут ей вековечное добро; но в чести вашего пола я должен сказать, что женщин еще больше. Целое жемчужное ожерелье их хранит моя память. Все они, начиная с ваших дочерей, которые так живо напомнили мне, во сколько раз родство по душе выше всякого кровного родства (дай бог, чтобы наилучшая сестра с такой готовностью исполняла просьбу своего брата, с какой они исполняли малейшее желание души моей), — начиная с них и продолжая теми, о которых вы едва слышали, и оканчивая теми, о которых вы, может быть, и не услышите никогда, но которые совершеннее всех тех, о коих вы слышали. Все они не похожи одна на другую, и каждая есть сама по себе явление необыкновенное. Только одна Россия могла произвести подобное разнообразие характеров. И только в нынешнее время трудных обстоятельств, ослабления и развращения общего, повсеместной ничтожности общества, могли они образоваться. Но всех перевысила одна, которую я и в глаза не знаю и о которой до меня достигнул только один темный рассказ. Не думал я, чтобы могло существовать на земле подобное



совершенство. Произвести такое умное и великодушное дело и произвести его так, как умела сделать она; сделать так, чтобы отклонить от себя и подозренье в ее собственном участии и разложить весь подвиг на других таким образом, что эти другие стали хвататься ею сделанным делом, как бы собственным своим, в полной уверенности, что они его сделали. Так умно обдумать уже вперед, как убежать от известности, тогда как само дело уже необходимо должно бы кричать о себе и обнаружить ее! Успеть в этом и остаться в неизвестности! Нет, подобной мудрости еще не встречал я ни в ком из нашей братии мужеска пола. И передо мною показались в эту минуту бледными все женские идеалы, создаваемые поэтами: они то же перед этой истиной, что бред воображенья перед полным разумом. Жалки мне также показались в эту минуту все те женщины, которые гонятся за блистающей известностью! И где же явилось такое чудо? В незаметном захолустье России, в то время именно, когда стало трудней изворачиваться человеку, когда запутались обстоятельства всех, и наступили

пугающие вас страхи и ужасы России.  
1846.

## Близорукому приятелю\*

Вооружился взглядом современной близорукости и думаешь, что верно судишь о событиях! Выводы твои — гниль; они сделаны без бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва — и только закрытая книга. Без бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие. Россия не Франция; элементы французские — не русские. Ты позабыл даже своеобразность каждого народа и думаешь, что одни и те же события могут действовать одинаковым образом на каждый народ. Тот же самый молот, когда упадет на стекло, раздробляет его вдребезги, а когда упадет на железо, кует его. Мысли твои о финансах основаны на чтении иностранных книг да на английских журналах, а потому суть мертвые мысли. Стыдно тебе, будучи умным человеком, не войти до сих пор в собственный ум свой, который мог бы самобытно развиться, а захлестнуть его чужеземным навозом. Не вижу и

в проектах твоих участия божьего; не слышу в словах письма твоего, несмотря на весь блеск ума и остроумья, чтобы бог присутствовал в твоих мыслях в то время, когда ты писал его; не вижу я на твоей мысли освященья небесного. Нет, не сделаешь ты добра на своей должности, хотя и желаешь того; не принесут твои дела того плода, которого ждешь. С прекрасными намереньями можно сделать зло, как уже многие и сделали его. В последнее время не столько беспорядков произвели глупые люди, сколько умные, а все оттого, что понадеялись на свои силы да на ум свой. Ты горд, и чем же горд? хоть бы уже своим умом; нет, ты загромоздил сором свой ум, действительно замечательный и великий, и сделал его чужестранцем самому себе. Ты горд чужим, мертвым умом и выдаешь его за свой. Смотри за собой: ты ходишь опасно. Ты метишь в государственные люди, и будешь человеком государственным, потому что у тебя, точно, есть на то способности; но тем строже теперь смотри за собой. Не заводи этих улучшений, которыми уже наполнилась твоя голова еще прежде, чем ты вступил в свою

должность, и помни, что всяким малейшим неосмотрительным поступком можно произвести теперь большое зло. Уже и в твоих нынешних проектах видна скорее боязнь, нежели предусмотрительность. Все мысли твои направлены к тому, чтобы избежать чего-то угрожающего в будущем. Не будущего, но настоящего опасайся. О настоящем велит нам заботиться бог. Кто омрачается боязнью от будущего, от того, значит, уже отступилась святая сила. Кто с богом, тот глядит светло вперед и есть уже в настоящем творец блистающего будущего. А ты горд: ты и теперь уже ничего не хочешь видеть; ты самоуверен: ты думаешь, что уже все знаешь; ты думаешь, что все обстоятельства России тебе открыты; ты думаешь, что уже никто и поучить тебя не может; ты стремишься изо всех сил быть похожим на тех государственных людей, которые скоро блеснули и скоро исчезли, которые имели в себе всё для того, чтобы сделать множество добра, которые даже пламенели желанием сделать добро, даже работали, как муравьи, всю свою жизнь, и при всем том не осталось после них никакого следа, и самая

память о них позабыта; как исчезнувший круг на воде, исчезнула жизнь их посреди России. И до сих пор еще, к нашему стыду, указывают нам европейцы на своих великих людей, умней которых бывают у нас иногда и невеликие люди; но те хоть какое-нибудь оставили после себя дело *прочное*, а мы производим кучи дел и все, как пыль, сметаются они с земли вместе с нами. Ты горд, говорю тебе, и вновь повторяю тебе: ты горд; сторожи над собой и спасай себя от гордости заранее. Начни с того, что уверь самого себя, что ты всех глупее в России и что с этих только пор следует сурьезно поумнеть тебе, и слушай с таким вниманием всякого дельца, как бы ровно ничего не знал и всему от него хотел поучиться. Но тебе еще загадка слова мои; они на тебя не действуют. Тебе нужно или какое-нибудь несчастье, или потрясение. Моли бога о том, чтобы случилось это потрясение, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыносимейшая неприятность на службе, чтобы нашелся такой человек, который сильно оскорбил бы тебя и опозорил так в виду всех, что от стыда не знал бы ты, куда со-

крыться, и разорвал бы за одним разом все чувствительнейшие, струны твоего самолюбья. Он будет твой истинный брат и избавитель. О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех, оплеуха!

1844.

## **Занимающему важное место\***

**В**о имя бога берите всякую должность, какая б ни была вам предложена, и не смущайтесь ничем. Придется ли вам ехать к черкесам на Кавказ или по-прежнему занять место генерал-губернатора — вы теперь нужны повсюду. Что же до затруднительностей, о которых вы говорите, то всё теперь затруднительно; всё стало сложно; везде много работы. Чем больше вхожу умом в существо нынешних вещей, тем менее могу решить, какая должность теперь труднее и какая легче. Для того, кто не христианин, всё стало теперь трудно; для того же, кто внес Христа во все дела и во все действия своей жизни, — всё легко. Не скажу вам, чтобы вы сделались вполне христианином, но вы близки к тому. Вас не шевелит уже честолюбие, вас не увлекают

вперед уже ни чины, ни награды, вы уже во все не думаете о том, чтобы порисоваться перед Европой и сделать из себя историческое лицо. Словом, вы взошли именно на ту степень состоянья душевного, на которой нужно быть тому, кто захотел бы сделать теперь пользу России. Чего ж вам бояться? Я даже не понимаю, как может чего-либо бояться тот, кто уже постигнул, что нужно действовать повсюду, как христианин. Он на всяком месте мудрец, везде знатель дела. Поедете вы на Кавказ — вы прежде всего пристально осмотритесь. Христианское смирение вас не допустит ни к какой быстрой поспешности. Вы, как ученик, сначала будете узнавать. Вы не пропустите ни одного старого офицера, не расспросив о его собственноличных схватках с неприятелем, зная, что только из знания подробностей выводится знание *целого*. Вы заставите всех рассказать себе порознь все подвиги бранной и бивачной жизни; расспросите и цициановцев, и ермоловцев\*, и офицеров нынешней эпохи и, тогда заберете всё, что нужно, обнимете все частности, соедините все отдельные цифры и подведете им итог —

выйдет в итоге сам собою план полководцу: не нужно будет и головы ломать, ясно будет, как день, всё, что вам нужно делать. И когда весь план будет уже в голове вашей, вы и тогда не будете торопиться; христианское смирение вас к тому не допустит. Не объявляя его никому, вы расспросите всякого замечательного офицера, как бы он поступил на вашем месте; вы не оставите неслышанным ни одного мнения, ни даже совета от кого бы то ни было, хотя бы от стоящего на низком месте, зная, что иногда бог может внушить и просто-му человеку умное мнение. Для этого вы не станете собирать военных советов, зная, что не в преньях и спорах, дело, но поодиночке выслушаете каждого, кто бы ни захотел с вами поговорить. Словом, вы всех выслушаете, но сделаете так, как повелит вам ваша собственная голова; а ваша собственная голова повелит вам разумно, потому что всех выслушает. Вы будете даже не в состоянии сделать неразумное дело, потому что неразумные дела делаются от гордости и уверенности в себе. Нехристианское смирение спасет вас повсюду и отгонит то самоослепление, которое на-



ходит на многих даже очень умных людей, которые, узнавши только одну половину дела, уже думают, что узнали всё, и летят опрометью действовать; тогда как, увы, даже и в том деле, которое, по-видимому, насквозь нам известно, может скрываться целая половина неизвестная. Нет, бог от вас отгонит это грубое ослепление. Чего ж вам бояться Кавказа?

Придется ли вам по-прежнему быть генерал-губернатором где-нибудь внутри России — та же христианская мудрость осенит вас. Очень знаю, что теперь трудно начальствовать внутри России — гораздо труднее, чем когда-либо прежде и, может быть, труднее, чем на Кавказе. Много злоупотреблений; завелись такие лихоимства, которых истребить нет никаких средств человеческих. Знаю и то, что образовался другой незаконный ход действий мимо законов государства и уже обратился почти в законный, так что законы остаются только для вида; и если только вникнешь пристально в то самое, на что другие глядят поверхностно, не подозревая ничего, то закружится голова у наиумней-

шего человека. Но вы и тут поступите умно. Христианское смирение заставит вас и здесь не предаваться покуда выводам гордого ума, но терпеливо обсмотреться. Зная, под каким множеством посторонних влияний находится теперь всяк человек, и как все они имеют соприкосновение с отправлением его должности, вы прежде любопытствуете узнать каждого из занимающих главные должности, узнать его со всех сторон с его домашней и семейной жизнью, с его образом мыслей, наклонностями и привычками. Для этого вы не будете употреблять шпионов. Нет, вы спросите его самого. Он вам скажет всё и с вами разговорится, потому что в лице вашем есть уже что-то такое, что внушает к вам доверчивость во всех; с помощью этого. вы узнаете то, чего не узнает никогда крикун-нахрап, или так называемый распекатель. Вы не будете преследовать за несправедливость никого отдельно по тех пор, покуда не выступит перед вами ясно вся цепь, необходимым звеном которой есть, вами замеченный чиновник. Вы уже знаете, что вина так теперь разложилась на всех, что никаким образом

нельзя сказать вначале, кто виноват более других. Есть безвинно-виноватые и: виновно-невинные. Поэтому-то самому вы теперь будете несравненно осторожней и осмотри-тельней, чем когда-либо прежде. Вы станете покрепче всматриваться в душу человека, зная, что в ней ключ всего. Душу и душу нужно знать теперь, а без того не сделать ничего. А узнавать душу может один только тот, кто начал уже работать над собственной душой своей, как начали это делать теперь вы. Если вы узнаете плута не только как плута, но и как человека вместе, если вы узнаете все душевные его силы, данные ему на добро и которые он поворотил во зло или вовсе не употребил, тогда вы сумеете так попрекнуть его им же самим, что он не найдет себе места, куда ему укрыться от самого же себя. Дело вдруг примет другой оборот, если покажешь человеку, чем он виноват перед самим собой, а не перед другим. Тут потрясешь так его всего, что в нем явится вдруг отвага быть другим, и тогда только вы почувствуете, как благородна наша русская порода, даже и в плуте. Ваше нынешнее генерал-губернаторство будет со-

всем другое, нежели прежнее. Главная ошибка вашего прежнего управления, которое однако ж принесло большую пользу, несмотря на то, что вы его осуждаете и порочите, состояла, по моему мнению, в том, что вы не вполне верно определили себе существо этой должности. Вы приняли генерал-губернатора за постоянного начальника и хозяйственного правителя губернии, которого благодетельное влияние может быть ощутительно в губернии только от долговременного его пребывания на одном месте. Один государственный наш муж определил так эту должность: «Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившийся на дороге». Определенье это точней и более согласно с тем, чего требует само правительство от этой должности. Должность эта более временная, чем постоянная. Генерал-губернатор посылается затем, чтобы ускорить биение государственного пульса внутри губернии, привести в быстрое движение всё правительственное производство в губернских местах как связанных между собою, так и независимых, состоящих под управлением отдельных министерств,

дать толчок всему, своим полномочием облегчить затруднительность многих мест в их сношениях с отдаленными министерствами, не внося никаких новых элементов и ничего не заводя от себя, всё заставить обращаться быстрее в законах и границах, уже указанных и определенных. Власть эту, состоящую в верховном блюдении над тем, что уже есть и заведено, вы приняли за хлопотливую обязанность управителя, который сам должен изворачиваться в хозяйстве и принять на себя все мелочные расходы; вы захватили себе часть того, что должно принадлежать губернатору, а не генерал-губернатору, и этим самым уменьшили значение высшее вашей должности. Вы сочли ваше место пожизненным. Вы захотели вашими собственными учреждениями оставить по себе памятник вашего пребывания. Стремленье прекрасное, но если бы вы уже тогда были тем, чем вы есть теперь, то есть более христианином, вы позаботились бы о другом памятнике. Устроить дороги, мосты и всякие сообщения, и устроить их так умно, как устроили вы, есть дело истинно нужное; но угладить многие внут-

ренние дороги, которые до сих пор задерживают русского человека в стремлении к полному развитию сил его и которые мешают ему пользоваться как дорогами, так и всякими другими внешностями образования, о которых мы так усердно хлопчем, есть дело еще нужнейшее. Пушкин, когда видел заботу не о главном, но о том, что уже исходит из главного, обыкновенно выражался пословицей: «Было бы корыто, а свиньи будут». Мосты, дороги и все эти сообщенья суть свиньи, а не что-либо другое. Были бы города, а они сами собой прибегут. В Европе о них не много хлопотали, но как только явились города, сами собой явились дороги: сами же частные люди и завели их без всякого пособия правительств, и теперь развилось их такое множество, что стали уже сурьезно задавать друг другу вопросы: «Зачем эта скорость сообщений? Что выиграло человечество через эти железные и всякие дороги, что приобрело оно во всех родах своего развития, и что пользы в том, что один город теперь обеднел, а другой сделался толкучим рынком, да увеличилось число праздношатающих по всему миру?»

В России давно бы завелась вся эта дрянь сама собою, с такими удобствами, каких и в Европе нет, если бы только многие из нас позаботились прежде о деле внутреннем так, как следует. О сем помыслите прежде, сказал спаситель, а сия вся вам приложится. Ваши подвиги в отношении нравственном были гораздо значительней. Кого я ни слышал, все отзываются с уваженьем о ваших распоряженьях; все говорят, что вы искоренили многие неправды, что постановили многих истинно благородных и прекрасных чиновников. Я это узнал, хотя вы по скромности мне не сказали. Но, вы бы сделали еще более, если бы вспомнили тогда, что ваша должность на время, и что не о том следовало заботиться, чтобы только при вас все было хорошо, но именно о том, чтобы после вас всё было хорошо. Вы должны были беспрестанно представлять себе, что после вас примет эту должность слабый и бездарный последователь, который не только не поддержит вами заведенного порядка, но еще испортит его, а потому уже с самого начала вы должны были помышлять о том, чтобы действовать так прочно и зака-

лить сделанное так крепко, чтобы после вас никто уже не мог своротить того, что раз направлено. Вы должны были рубить зло в корне, а не в ветвях, и дать такой толчок всеобщему движенью всего, чтобы после вас пошла сама собой работать машина, так чтобы незачем было над ней стоять и надсмотрщику, и сим только воздвигнули бы памятник вечный вашего генерал-губернаторства. Теперь я знаю, что вы совсем поступите иначе, а потому не пренебрегайте никак этой должностью, если бы она была вам вновь предложена. Никогда не был еще так важен и нужен генерал-губернатор, как в нынешнее время. Я вам назову уже несколько подвигов таких, которых никто теперь не может сделать кроме генерал-губернатора.

Во-первых, ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познание его должности. Это дело очень не бездельное. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвину-



лись в действиях в ущерб прочим; прямые места обессилели и ослабели от введения множества косвенных и временных. В последнее время стали особенно чувствоваться полномочие и развязанные руки там, где нужно *препятствовать* в действиях, и связанные руки там, где нужно *споспешествовать* им. Возвратить всякую должность в ее законный круг тем более стало теперь трудно, что сами чиновники сбились в своих понятиях о ней. Получая ее по наследству от предшественника в том виде, какой дал ей последний, они все соображаются более или менее с этим видом, а не с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы. От этого многие благонамеренные и даже весьма умные начальники хотели уже уничтожить или вовсе преобразовать те должности, которые следовало только просто возвратить себе. Дело это может произвести только высший и полномочный начальник, если он не пренебрежет вникнуть сам в существо всякой должности. Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей. Рассмотрим нарочно организм

губернии. Первое лицо — губернатор. Он является в нескольких видах своей власти.

Он начальник и правитель полномочный во всем, что ни относится до хозяйственного и полицейского управленья по всей губернии, как городского разумея здесь всё, что ни относится ко внутреннему устройству городов и содержанью среди их порядка, так и земского, включая сюда всё, что производится в землях вне городов: взем податей, распределение повинностей, устройство дорог, постройки и поправки всех родов. В первом случае в его полном и непосредственном распоряжении губернский полицмейстер и городничие всех городов; во втором случае — капитан-исправники и земские заседатели, которые относятся к нему посредством губернского правления, образованного в духе коллегияльных правлений с советниками, а не в виде собственной канцелярии с секретарем, так что ответственность во всяком важном злоупотребленьи, если бы его сделал губернатор, падает непременно на советников и чиновников, и при всем полномочьи своем он уже ограничен.

Он более нежели присутственный член и свидетель деловых производств в других присутственных местах, от него вовсе не зависящих и состоящих под управлением своих особых министерств; если только эти места совершают какие-нибудь сделки и условия, относительно ли отдачи в наймы или на откуп казенных земель, озер, или вообще относительно всяких продаж, закупок и совершенья на них условий, он должен быть уже там. Никакие казенные подряды и сделки не могут быть произведены без его личного присутствия. Таким образом места, вовсе от него не зависящие относительно внутренних своих производств, уже обрезаны его присутствием на всех путях к злоупотреблениям.

Весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция — гражданская палата, находясь в полном заведывании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора, но на всех путях несправедливостей они ограничены на всяком шагу губернатором, который во время объездов своих по всей губернии, случающихся не менее двух раз в год, имеет право,

заглянувши в суд, потребовать на выдержку два-три решенные дела, проверить их у себя на дому, вместе с секретарем своим, и таким образом держать в страхе их всех. Словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребленье повсюду, где бы оно ни было.

На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми; здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить, принимая в соображение то различие воспитаний, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств и которое заключилось только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чином званью губернатора, имея право на первое место

после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непросторно на поприще должностном. Самые места капитан-исправника и заседателей, которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозя именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватит собст<венной> власти; равно как и губернатор посредством предводителя может успешней и сильней действовать на дворян.

Всюду могут случиться просмотры, неправда может проскользнуть везде; за самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено: есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губернским местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил

на всех его страницах свое слово: читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии; никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним только в прямом сношении, и всегда может подать протест на всё, что ни вершится в губернии.

Словом — всё полно, и везде слышна законодательная мудрость как в установлении самих властей, так и в соприкосновеньях их между собою. Я уже и не говорю о тех учреждениях, где еще далее простерлось правительственное предвиденье, упомяну только о совестном суде, подобного которому не знаю в других государствах. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познания душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновенье закона; все дела, относящиеся до малолетних, умалишенных; всё, что может решить одна только совесть человека, и где может быть несправедлив справедливейший закон; всё, что должно быть кончено полюбовно и миролюбно в высоком христианском смысле, без проволочек по высшим инстанциям, — есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дво-

рянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как на человеколюбивого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалованья, никаких наград, и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Сами тяжущиеся мимо собственных выгод своих перенесут дело в совестный суд, как только пронесется слух, что судья судит истинно по совести и уже прославился мудростью своего божеского суда. Кому из нас не хочется примириться?

Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что сам бог строил незримо руками государей. Всё полно, достаточно, всё устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям. Я даже и придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чинов-

ник; всякое новое лицо тут не у места, всякое нововведение — ненужная вставка. А между тем нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов, разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров наместо одного. Да и вообще система ограничения — самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком; на следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограниченья, и тогда ограниченьям не будет конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных, которые состави-



лись из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного, где неизвестны ни самоотверженье, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверье к благородству человека, а без того не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и приставляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их; нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие; чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона, чтобы он видел сам, чем он подлец перед своей должностью; словом — чтобы он был введен в значенье высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебрежет постигнуть сам всякую должность в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значенье его должности. Вследствие этого все ваши сношенья с чиновниками будут самоличны, без всяких секретарей.

рей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия делается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие начальники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые затруднения, дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого незримому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела; у секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней — интриги, ссоры, а с ними вместе и сам чорт путаницы, который как тут во всякое время; и дело кончится тем, что, сверх нанесенья новых беспорядков и сложностей, пожретя несметное количество казенных сумм. Храни вас бог от заведенья канцелярии. Иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно, если разговор близок к нему самому, к исполнению его обязанностей и долга, стало

быть, близок к самой душе его? Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долге человека можно так разговариваться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии самого бога. Говорите же так с вашим подчиненным, то есть — наставительно и питательно его душе! Не забудьте, что на русском языке, — я разумею не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей русской земле, несмотря на чужеземствованье наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но, однако ж, все слышат, что он истинно русский язык — на этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними, как отец с детьми, а отец с детьми не заводит бумажных переписок и напрямик изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познание его должности и сделаете истинно

великий подвиг.

А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить кроме генерал-губернатора и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, не только нужное, а именно: ввести дворянство в познание истинное своего званья. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, третьи берут себе в идеалы дворянства государств иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса: нужно ли на свете дворянство? Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и масса их не слышит. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распушить в нашем дворянстве слух, будто

правительство ищет обессилить их значение и довести их до ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет, с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду <между> дворянством и правительством: с одной стороны показать государю России партию каких-то фантастических бояр, оспаривающих самую власть, а с другой стороны показать дворянству, что государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания. То есть им хотелось заварить в России какую-то кашу и сумятицу, среди которой можно было бы и самим сыграть какую-нибудь роль. Расчет был на то, что взаимное опасенье и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей. Но, слава богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом, тем однако ж не менее искры недоразумений и взаимного недоверья заронились, и я знаю многих дворян, которые уверены сурьезно,

что государь не любит их сословия, и от этого даже тоскуют. Дело это им разрешите и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, — в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? а у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какое-нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило значение своего званья, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразии мыслей, воспитанья, жизни, привычек, при таком сбивчивом образе понятий о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь-то вы можете истинно им всем помочь, потому что, будучи сами русский дворя-

нин и уже понимая высшее значение нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начала всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явление, точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях. Началось оно не насильственным приходом, в качестве вассалов с войсками, всегдашних оспоривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего; началось оно у нас личными выслугами перед царем, народом и всей землей, — выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости какими-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях; нет спеси немецкого дворянства; никто не хвастает у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, — хвастаются разве только какие-нибудь англоманы, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию; может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предком и то таким, который сослужил

истинно верную службу царю и земле своей; а похвастайся он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму его же собратья дворяне. Одним только позволяет себе всяк из них похвастаться — это чувством своего нравственного благородства, которое уже бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был всех хуже и весь зажил в грязи и саже. Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли затем, чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу и увековеченье имен своих в потомстве; если ясно покажете им, что вся русская земля взывает о помощи, и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благо-



родства следует показать тем, которые уже от рождения получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дела, объясните им всю правду. Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду начисто. Скажите им, что Россия, точно, несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой; что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать. Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помрачения и всеобщего уклонения всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудья и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им

скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно: так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля, так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности, опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встрепенется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И, отслуживши, не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое. Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавши вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы, потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о пре-

имуществвах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшения. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей; чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. Сим только одним могут возвесть они это состояние в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названья ни вольных, ни рабов, но называется христианами от имени самого Христа. Всё это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значение нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг.

А вот вам третий подвиг, которого тоже никто не может сделать, кроме генерал-губер-

натора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно: законы собственно гражданские выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. С одной стороны они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаев; с другой стороны они вторгнулись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением церкви. Случилось это не насильственно: разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивши повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи, уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот, под свою опеку и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе не пространны, и если возвратится то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение церкви, тогда их может за-

ключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклоненья от общественного порядка и отношенья собственно государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляуз произошло именно оттого, что европейские философы-законодатели стали заранее определять все возможные случаи уклонений, до малейших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидя в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро или же просто только возможность оспаривать владенье другого. Он уже идет горой, как герой на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человеколюбивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело и даже им хвастается, тогда как он устыдился бы и самой

мысли о том, если бы служитель церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным, и если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом — во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком церковь, а не гражданский закон. Но вот вопрос: как это сделать? Как сделать, чтобы гражданскому закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону; чтобы обычаям возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев, и чтобы за церковь вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать церкви? Словом, как вернуть всё на свое место? В Европе сделать этого невозможно: она обольется кровью, изнеможет в напрасных бореньях и ничего не успеет. В России есть возможность; в России может это нечувствительно совершиться — не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами и даже не заседаниями, не комитетами, не прениями и не журнальными толками и болтовней; в России может

этому дать начало всякой генерал-губернатор  
вверенной его управлению области, и как  
просто: ничем другим, как только собствен-  
ной жизнью своей. Патриархальностью жиз-  
ни своей и простым образом обращенья со  
всеми он может вывести вон моду с ее пусты-  
ми этикетами и укрепить те русские обычаи,  
которые в самом деле хороши и могут быть  
применены с пользой к нынешнему быту. Он  
может сильно подействовать на то, что отно-  
шенья между собою как жителей городов, так  
и помещиков станут проще; а уничтоженье  
этой сложности светских отношений, какая  
ныне, уменьшит непременно ссоры и недо-  
вольствия, которые возникнули, как вихри,  
между обитателями городов. Так же, как на  
водворенье обычаев, может подействовать ге-  
нерал-губернатор на законное водворенье  
церкви в нынешнюю жизнь русского челове-  
ка: во-первых, примером собственной жизни,  
а во-вторых — самими мерами, не принуди-  
тельными и насильственными, но сильней-  
шими в несколько раз всяких насильствен-  
ных. Об этом когда-нибудь мы с вами погово-  
рим после, когда вы действительно возьмете

должность, а до того времени скажу вам только вот что: если уже простой обычай сильнее всякого письменного закона, а между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значения в нынешнем времени, установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда; не слышишь даже авторитета, его утвердившего; иногда он тянется еще от времен язычества, противоположен христианству и всем элементам новой жизни. И если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжение многих лет? Что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно будет признан всеми и освящен свыше самим Христом и его церковью? Такой обычай пойдет вовеки веков и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но это предмет велик; о нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу. Работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам



предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть — бодрящею, освежающею силою пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом в другую губернию затем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточно и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского губернатора. С богом же, и не бойтесь ничего. Но, хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами: не забывайте нигде, что вы на время. Устраивайте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо, но и после вас; чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам в утвержденные вами границы, держась вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте отец истинный всем вам подвластным чиновникам и

каждому помогите свято и честно исполнить  
должность свою. Подавайте братски руку вся-  
кому освободиться от его собственных поро-  
ков и недостатков. Имейте на всех влияние,  
но влияние единственно затем, чтобы заста-  
вить каждого иметь на самого себя влияние.  
Смотрите также, чтобы никто не опирался че-  
ресчур и слишком на вас, как на собственный  
посох свой, подобно тому, как римско-католи-  
ческие дамы опираются на духовников своих,  
без воли которых они не смеют переступить в  
другую комнату, и ждут для этого исповеди;  
но чтобы помнил человек, что нянька ему да-  
ется на время, а не навсегда, и что как только  
отступает от него наставник, тут-то ему и сле-  
дует блюсти за собой осторожней, чем ко-  
гда-либо прежде, помня ежеминутно, что уже  
некому теперь смотреть за ним, и содержа,  
как святыню, в своей памяти всякое слово,  
ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не  
было плача при расставаньи с вами, если бы  
случилось вам оставлять вашу должность, но  
чтобы бодрей и свежей еще глядел каждый  
вперед, а потому ко дню расставанья копите  
всё, что хотели бы вы сказать в наставленьи

каждому: в этот день будут для них святы все слова ваши, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполнят. Для меня наилучшая минута — время расставанья с моими друзьями, всяк из друзей моих, кто теперь ни расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие: никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так гоняются. Заискивать любви к себе есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то — любите ли вы других, а не на то — любят ли вас другие. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил в меня бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излиятий, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприят-

ного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякой начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к постановленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь самому богу.

1845.

## **Чей удел на земле выше\***

**(Из письма к У\*\*\*му)**

**Н**икак не могу сказать вам, чей удел на земле выше, и кому суждена лучшая участь. Прежде, когда я был поглупее, я предпочитал одно звание другому, теперь же вижу, что участь всех равно завидна. Все получают равное воздаяние — как тот, которому вверен был один талант, и он принес на него другой, так и тот, которому дано было пять талантов и который принес на них другие пять. Даже, я думаю, участь первого еще лучше, именно оттого, что он не пользовался на земле извест-

ностью и не вкушал очаровательного напитка земной славы, подобно последнему. Чудна милость божия, определившая равное воздаяние всякому, исполнившему честно долг свой, царь ли он или последний нищий. Все они там уравниются, потому что все внидут в радость, господина своего и будут пребывать *равно* в боге. Конечно, сам Христос сказал в другом месте: «В дому отца моего обители многи суть»; но как подумаю об этих обителях, как подумаю о том, что должны быть у бога обители, не могу удержаться от слез и знаю, что никак бы не решил, какую из них выбрать себе, если бы только действительно был удостоен небесного царства и вопрошен: какую из них хочешь? Знаю только то, что сказал бы: «Последнюю, господи, но лишь бы она была в дому твоём!» Кажется, ничего бы не желалось больше, как только служить тем избранным, которые уже удостоились созерцать во всем величии его славу. Лежать бы только у ног их и целовать святые их ноги!

1845.

## Напутствие\*

На письмо твое теперь не буду отвечать; ответ будет после. Всё вижу и слышу: страданья твои велики. С такую нежною душою терпеть такие грубые обвиненья; с такими возвышенными чувствами жить посреди таких грубых, неуклюжих людей, каковы жители пошлого городка, в котором ты поселился, которых уже одно бесчувственное, топорное прикосновение в силах разбить, даже без их ведома, лучшую драгоценность сердечную, медвежьей лапой ударить по тончайшим струнам душевным, данным на то, чтобы выпеть небесные звуки, — расстроить и разорвать их, видеть, в прибавленье ко всему этому, ежедневно происходящие мерзости и терпеть презренье от презренных! Всё это тяжело, знаю. Твои страданья телесные тяжелы не меньше: твои нервические недуги, твоя тоска и эти страшные припадки агонии, которою ты одержим теперь, — всё это тяжело, тяжело, и ничего больше не могу сказать тебе, как только: тяжело! Но вот тебе утешенье. Это еще начало; оскорблений тебе будет еще

больше: предстанут тебе еще сильнейшие борьбы со взяточниками, подлецами всех сортов и бесстыднейшими людьми, для которых ничего нет святого, которые не только в силах произвести то гнусное дело, о котором ты пишешь, то есть подписаться под чужую руку, дерзнуть взвести такое ужасное преступление на невинную душу, видеть своими глазами кару, постигшую оклеветанного, и не содрогнуться, — не только подобное гнусное дело, но еще в несколько раз гнуснейшие, о которых один рассказ может лишить навеки сна человека сердобольного. (О, лучше бы вовсе не родиться этим людям: весь сонм небесных сил содрогнется от ужаса загробного наказания, их ждущего, от которого никто уже их не избавит). Встретятся тебе бесчисленные новые поражения, неожиданные вовсе. На твоём почти беззащитном поприще и незаметной должности всё может случиться. Твои нервные припадки и недуги будут также еще сильнее, тоска будет убийственной и печали будут сокрушительней. Но вспомни: призваны в мир мы вовсе не для праздников и пирований. На битву мы сюда призваны;

праздновать же победу будем там. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву, и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей: как добрый воин, должен бросаться из нас всяк туда, где пожарче битва. Всех нас озирает свыше небесный полководец, и ни малейшее наше дело не ускользает от его взора. Не уклоняйся же от поля сраженья, а, выступивши на сражение, не ищи неприятеля бессильного, но сильного. За сражение с небольшим горем и мелкими бедами не много получишь славы. Не велика слава для русского сразиться с миролюбивым немцем, когда знаешь вперед, что он победит; нет, с черкесом, которого всё дрожит, считая непобедимым, с черкесом схватиться и победить его, вот слава, которою можно похвалиться! Вперед же, прекрасный мой воин! С богом, добрый товарищ! С богом, прекрасный друг мой!

1846.



## **В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность\***

**Н**есмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии есть очень много своего. Самородный ключ ее уже бил в груди народа тогда, как самое имя еще не было ни на чьих устах. Струи его пробиваются в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и ее предметам, но много привязанности к какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе с звуками. Струи его пробиваются в пословицах наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать всё своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображенья, чтобы составить животрепещущее слово, которое пронимает насквозь природу русского человека, задирая за всё ее живое. Струи его пробиваются, наконец, в самом слове церковных пастырей, — слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по

стремлению направить человека не к увлечениям сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной. Всё это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное и самобытное развитие. Но не из сих трёх источников, уже в нас пребывавших, ведет начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас улаждающая; так же, как и строение нынешнего нашего гражданского порядка произошло не из начал; уже пребывавших прежде в земле нашей. Гражданское строение наше произошло также не правильным, постепенным ходом событий, не медленно-рассудительным введением европейских обычаев, — которое было бы уже невозможно по той причине, что уже слишком вышло европейское просвещение, слишком велик был наплыв его, чтобы не ворваться рано или поздно со всех сторон в Россию и не произвести без такого вождя, каков был Петр, гораздо большего разладу во всем, нежели какой действительно потом наступил, — гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобра-

зователь, когда воля бога вложила ему мысль ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познакомить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых борений и страданий. Крутой поворот был нужен русскому-народу, и европейское просвещение было огниво, которым следовало ударить по всей начинавшей дремать нашей массе. Огниво не сообщает огня кремню, но, покамест им не ударишь, не издаст кремень огня. Огонь излетел вдруг из народа. Огонь этот был восторг, — восторг от пробужденья, восторг вначале безотчетный: никто еще не услышал, что он пробудился затем, чтобы, с помощью европейского света, рассмотреть поглубже самих себя, а не копировать Европу; всё только услышало, что он пробудился. Уже самый этот крутой поворот всего государства, произведенный одним человеком, — и притом самим царем, который великодушно отказался на время от царского званья своего, решился изведать сам всякое ремесло и с топором в руке стать передовым во всяком деле, дабы не произошло никаких, беспорядков, следующих при малейшем из-

мененьи государственных форм, — был делом, достойным восторга. Переворот, который обыкновенно на несколько лет обливает кровью потрясенное государство, если производится бореньями внутренних партий, был произведен, в виду всей Европы, в таком порядке, как блистательный маневр хорошо выученного войска. Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и блеснула отблеском европейских наук. Всё в молодом государстве пришло в восторг, издавши тот крик изумленья, который издает дикарь при виде навезенных блестящих сокровищ. Восторг этот отразился в нашей поэзии, или лучше — он создал ее. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищенье от света, внесенного в Россию, изумленье от великого поприща, ей предстоящего, и благодарность царям, того виновникам. С этих пор стремленье к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека, и оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внося новое, светоносное

начало, которого не видно было ни в одном из тех трех источников ее, о которых упомянуто в начале.

Что такое Ломоносов, если рассмотреть его строго? Восторженный юноша, которого манит свет наук да поприще, ожидающее впереди. Случаем попал он в поэты; восторг от нашей новой победы заставил его набросать первую оду. Впопыхах занял он у соседей немцев размер и форму, какие у них на ту пору случились, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Нет и следов творчества в его риторически составленных одах, но восторг уже слышен в них повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь близкому науколюбивой его душе. Коснулся он северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований — и плодом этого прикосновения была ода: Вечернее размышление о божием величестве, вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины породили известное послание к Шувалову о пользе стекла. Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом ее сияющей будущ-

ности, исполняет его силы чудотворной. Среди холодных строф польются вдруг у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Точно, как бы, выражаясь его же словами:

*Божественный пророк Давид\*  
Священными шумит струнами,  
И бога полными устами  
Исайя восхищен гремит.*

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой вышины, любуясь и не налюбуюсь ее беспредельностью и девственной природой. В описаниях слышен взгляд скорее ученого натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Изумительней всего то, что, заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба\*, он ничуть не стеснил языка: язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него свободнее и лучше в стихах, чем в прозе, и недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно то, что начинатель уже явился господином

и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступленье впереди книги. Его поэзия — начинающийся рассвет. Она у него, подобно вспыхивающей зарнице, освещает не всё, но только некоторые строфы. Сама Россия является у него только в общих географических очертаниях. Он как бы заботился только о том, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями ее границы, предоставив другим наложить краски; он сам как бы первоначальный, пророческий набросок того, что впереди.

С руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, тезоименитство, даже иллюминация и фейерверк стали предметом од. Слагатели их выразили только бездарную прыть наместо восторга. Исключить из них можно одного Петрова, нечуждого силы и стихотворного огня: он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие напомнили только риторически-холодный склад ломоносовских од и показали, наместо благозвучия ломоносовского языка, трескотню и беспорядок слов,

терзающий ухо. Но огниво уже ударило по кремню: поэзия уже вспыхнула: еще не успел отнести руку от лиры Ломоносов, как уже заводил первые песни Державин.

В эпоху Екатерины, царствование которой можно назвать блестящей выставкой первых русских произведений, когда на всех поприщах стали выказываться русские таланты, — с битвами вознеслись полководцы, с учрежденьями внутренними государственные дельцы, с переговорами дипломаты, а с академиями словесники и ученые, — появился и поэт, Державин, с тою же картинно-величавой наружностью, как и все люди времен Екатерины, развернувшиеся в какой-то еще дикой свободе, со множеством недоконченного и не вполне отделанного в частях, как случается с теми произведениями, которые выставляются несколько торопливо напоказ. Мысль о сходстве Ломоносова с Державиным, приходящая в ум при первом взгляде на них обоих, исчезнет вдруг, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самым воспитаньем, последний представляет совершенную противоположность первому. Как один



весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлечением и делом отдохновения\*, так другой предался весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишним и ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у него; но уже видны не одни только географические очерки государства: выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращаются уже к людям всех сословий и должностей, и слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всем, даже в самых его наслаждениях. У него выступило уже творчество. У него есть что-то еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Недоумевает ум решить, откуда взялся в нем этот гиперболический размах его речи. Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства, которое, в виде какого-то темного пророчества, носится до сих пор над нашею землею, прообразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные

останки орд, распаляющие свое воображенье рассказами о богатырях в несколько верст вышиною, живущих по тысяче лет на свете, — что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Иногда бог весть как изда- лека забирает он слова и выраженья затем именно, чтобы стать ближе к своему предме- ту. Дико, громадно всё; но где только помогла ему сила вдохновенья, там весь этот громозд служит на то, чтобы неестественною силою оживить предмет, так что кажется, как бы ты- сячью глазами глядит он. Стоит пробежать его Водопад, где, кажется, как бы целая эпо- пея слилась в одну стремящуюся оду. В Водо- паде перед ним пигмеи другие поэты. Приро- да там как бы высшая нами зримой природы, люди могучее нами знаемых людей, а наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравей- ник, который где-то далеко копышется вдали. О Державине можно сказать, что он певец ве- личия. Всё у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях своих; его полководцы — орлы; словом — всё у него величаво. Заметно, одна-

ко же, что постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было — начертить образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни, готового на битву не с одним каким-нибудь временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был возникнуть, по его мнению, из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непоколебимом камне нашей церкви. Часто, бросивши в сторону то лицо, которому надписана ода, он ставит на его место того же своего непреклонного, правдивого мужа. Тогда глубокие, истины изглашаются у него таким голосом, который далеко выше обыкновенного: возвращается святое, высокое значение тому, что привыкли называть мы общими местами, и, как из уст самой церкви, внимаешь вечным словам его. Сравнительно с другими поэтами, у него всё глядит исполином: его поэтические образы, не имея полной окончательности пластической, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще более величия. Например: поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурей,

*Встает в упор ее волнам\*:  
То скачет в твердь, то, в ад стре-  
мяся,  
Трехзубцем бьет по кораблям;  
Столбом власы седые вьются,  
И глас его гремит в горах.*

Тут, казалось, хотел создаться зримо образ старца Каспия, но потерялся в каком-то духовном, незримом очертании: ухо слышит один гул гремящего моря, и, вместе с седыми власами старца, подымется волос на голове самого читателя, пораженного суровым величием картины. Всё у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина. Кто бы посмел, кроме его, выразиться так, как выразился он в одном месте о том же своем величественном муже, в ту минуту, когда он всё уже исполнил, что нужно на земле:

*И смерть, как гостью, ожидает\*,  
Крутя, задумавшись, усы.*

Кто, кроме Державина, осмелился бы соединить такое дело, каково ожиданье смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но как через это ощутительней видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе! Но надобно сказать, что как это, так и все другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими поэтами нашими, превращаются вдруг у него в неряшество и безобразие, как только оставляет его одушевление. Тогда всё в беспорядке: речь, язык, слог, — всё скрипит, как телега с невымазанными колесами, и стихотворенье — точный труп, оставленный душою. Следы собственного неконченного образованья, как в умственном, так и в нравственном смысле, отразились очень заметно на его твореньях. Муж, проповедывавший другим о том, как править собою, не умел управлять себя, далеко не стал самим собою и должен был напряженной силой вдохновенья добираться до себя же, чтобы заговорить о том, что должно уже свободно изливаться у поэта. Придай воспитанье полное такому мужу — не было бы

поэта выше Державина; теперь же остается он, как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Еще Державин ударял в струны своей лиры, как уже всё вокруг его изменилось: век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра, опрятный, благопристойный, вылощенный. Всё застегнулось и, как бы почувствовав, что уже раскинулось чересчур нараспашку, стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали вполне образцы всему, и так же, как щеголи Парижа завладели надолго нашим обществом, ловкие французские поэты завладели было: на время нашими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего нужно сказать то, что в образец пошел один Лафонтен, затем именно, что был ближе к природе: Дмитриев, Хемницер, Богданович стали производить подобные ему, в простоте,

творенья, обрабатывая те же предметы. Русской язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомую Державину. Наместо оды стали пробовать все роды и формы поэзии. Дмитриев показал много таланта, вкуса, простоты и приличия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарными подражателями Державина и Ломоносова. Но поверхностная эпоха не могла дать богатого содержания нашей поэзии: одно общесветское стало ее предметом, и она сделалась сама похожею на умного и ловкого светского человека, когда он сидит в гостиной и ведет разговор совсем не затем, чтобы повести душевную исповедь свою или подвинуть других на какое-нибудь важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять умением вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкнули, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша, по выходе из церкви, очутилась вдруг на бале. От одного только Капниста слышался аромат истинно душевного чувства и какая-то особенная антологиче-

ская прелесть, дотоле незнакомая. Вот его Деревенский домик в Обуховке\*:

*Приютный дом мой под соломой  
По мне, не низок, не высок;  
Для дружбы есть в нем уголок,  
А к двери, нищему знакомой.  
Забыла лень прибить замок.*

Но не могла оставаться долго наша поэзия на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была сильно ее чуткость от петровского удара европейским огнивом. Вдруг заметила она, что от французов, кроме ловкости, ничего <не> переймет в свое воспитанье, и обратилась к немцам. В немецкой литературе происходило в это время явление странное. Неясные грезы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия, темные признаки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие детство человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, которым подает о себе весть бессмертный дух человека, требующий себе живой пицци. Чуткая поэзия наша оста-



нови́лась с любопы́тством младе́нца перед та-  
ким явле́нием. Ее собстве́нные славя́нские на-  
чала напо́мили ей вдруг о чем-то похо́жем.  
Но при всем том мы сами́ никак бы не столк-  
нулись с немца́ми, если бы не явился среди́  
нас такой поэт, кото́рый показа́л нам весь  
э́тот но́вый, необы́кновенный мир сквозь яс-  
ное сте́кло свое́й собстве́нной приро́ды, нам  
более́ досту́пной, чем неме́цкая. Э́тот поэт —  
Жуковски́й, наша́ замеча́тельнейшая ориги-  
на́льность! Чудно́й, высше́й воле́й вложено́  
было́ ему́ в ду́шу, от дне́й младе́нчества, непо-  
стижи́мое ему́ само́му стре́мление к незримо-  
му и таи́нственному. В ду́ше его́, точно́ как в  
герое́ его́ бала́ды Вади́ме\*, раздава́лся небес-  
ный зво́нок, зову́щий в да́ль. Из-за э́того зова́  
бро́саясь он на всё неизъясни́мое и таи́н-  
ственное повсю́ду, где оно́ ни встреча́лось  
ему́, и ста́л облекать его́ в звуки́, бли́зкие на-  
шей ду́ше. Всё в э́том роде́ у него́ взято́ у чу-  
жих, и больше́ у немцев — почти́ все перево-  
ды. Но на перево́дах так отпеча́талось э́то  
вну́треннее стре́мление, так за́жгло и одуше-  
вило́ их свое́ю живо́стью, что сами́ немцы́,  
выучи́вшись по-руски́, призна́ются, что пе-

ред ним оригиналы кажутся копиями, а переводы его кажутся истинными оригиналами. Не знаешь, как назвать его — переводчиком или оригинальным поэтом. Переводчик теряет собственную личность, но Жуковский показал ее больше всех наших поэтов. Пробежав оглавление стихотворений его, видишь: одно взято из Шиллера, другое из Уланда, третье у Вальтер Скотта, четвертое у Байрона, и всё — вернейший сколок, слово в слово, личность каждого поэта удержана, негде было и высунуться самому переводчику; но когда прочтешь несколько стихотворений вдруг и спросишь себя: чьи стихотворенья читал? — не предстанет перед глаза твои ни Шиллер, ни Уланд, ни Вальтер Скотт, но — поэт, от них всех отдельный, достойный поместиться не у ног их, но сесть с ними рядом, как равный с равным. Каким образом сквозь личности всех поэтов пронеслась его собственная личность — это загадка, но она так и видится всем. Нет русского, который бы не составил себе из самих же произведений Жуковского верного портрета самой души его. Надобно сказать также, что ни в ком из переведенных

им поэтов не слышно так сильно стремление уноситься в заоблачное, чуждое всего видимого, ни в ком также из них не видится это твердое признание незримых сил, хранящих повсюду человека, так что, читая его, чувствуешь на всяком шагу, как бы сам, выражаясь стихами Державина:

*Под надзирание ты предан\*  
Невидимых, бессмертных сил  
И легионам заповедан  
Всех ангелов, чтоб цел ты был.*

Переводя, производил он переводами такое действие, как самобытный и самоцветный поэт. Внеся это новое, дотоле незнакомое нашей поэзии стремление в область незримого и тайного, он отрешил ее самую от материализма не только в мыслях и образе их выраженья, но и в самом стихе, который стал легок и бестелесен, как видение. Переводя, он оставил переводами початки всему оригинальному, внес новые формы и размеры, которые стали потом употреблять все другие наши поэты. Лень ума помешала ему сделаться преимущественно поэтом-изобретателем, — лень выдумывать, а не недостаток

творчества. Признаки творчества показал он в себе уже с самого начала своего поприща: Светлана и Людмила разнесли в первый раз греющие звуки нашей славянской природы, более близкие нашей душе, чем какие раздавались у других поэтов. Доказательством тому то, что они произвели впечатление сильное на всех в то время, когда поэтическое чутье у нас было еще слабо развито; элегической род нашей поэзии создан им. Есть еще первоначальнейшая причина, от которой произошла и самая лень ума: это — свойство *оценивать*, которое, поселившись властительно в его уме, заставляло его останавливаться с любовью над всяким готовым произведением. Отсюда его тонкое критическое чутье, которое так изумляло Пушкина. Пушкин сильно на него сердился за то, что он не пишет критик. По его мнению, никто, кроме Жуковского, не мог так разъять и определить всякое художественное произведение. Это свойство разбирать и оценивать отражается в его живописных описаньях природы, которые все его собственные, самобытные произведения. Взявши картину, его пленившую, он

не оставляет ее по тех пор, покуда не исчерпает всю, разъяв как бы анатомическим ножом ее неуловимейшую подробность. Кто уже мог написать стихотворенье *Отчет о солнце\**, где подстережены все видоизменения солнечных лучей и волшебство картин, ими производимых в разные часы дня, равно как с такой же живописной подробностью изобразить в *Отчете о луне\** волшебство лунных лучей, с целым рядом ночных картин, ими производимых, — тот, разумеется, должен был заключить в себе в большой степени свойство *оценивать*. Его Славянка с видами Павловска — точная живопись. Благоговейная задумчивость, которая проносится сквозь все его картины, исполняет их того греющего, теплого света, который наводит успокоенье необыкновенное на читателя. Становишься тише во всех своих порывах, и какой-то тайной замыкаются твои собственные уста.

В последнее время в Жуковском стал замечаться перелом поэтического направленья. По мере того, как стала перед ним проясняться чище та незримо-светлая даль, которую он видел дотоле в неясно-поэтическом отдале-

нии, пропадали страсть и вкус к призракам и привиденьям немецких баллад. Самая задумчивость уступила место светлости душевной. Плодом этого была Ундина\*, творенье, принадлежащее вполне Жуковскому. Немецкий пересказчик того же самого преданья в прозе не мог служить его образцом. Полный создатель светлости этого поэтического создання есть Жуковский. С этих пор он добыл какой-то прозрачный язык, который ту же вещь показывает еще видней, чем как она есть у самого хозяина, у которого он взял ее. Даже прежняя воздушная неопределенность стиха его исчезла: стих его стал крепче и тверже; всё приуготовлялось в нем на то, дабы обратить его к передаче совершеннейшего поэтического произведения, которое, будучи произведено таким образом, как производится им, при таком напоеньи всего себя духом древности и при таком просветленном, высшем взгляде на жизнь, покажет непременно первоначальный, патриархальный быт древнего мира в свете родном и близком всему человечеству, — подвиг, далеко высший всякого собственного создания, который доставит Жу-

ковскому значение всемирное. Перед другими нашими поэтами Жуковский то же, что ювелир перед прочими мастерами, то есть мастер, занимающийся последнею отделкой дела. Не его дело добыть в горах алмаз — его дело оправить этот алмаз таким образом, чтобы он заиграл всем своим блеском и выказал бы вполне свое достоинство всем. Появление такого поэта могло произойти только среди русского народа, в котором так силен гений восприимчивости, данный ему, может быть, на то, чтобы оправить в лучшую оправу всё, что не оценено, не возделано и пренебрежено другими народами.

В то время, когда Жуковский стоял еще на первой поре своего поэтического развития, отрешая нашу поэзию от земли и существенности и унося ее в область бестелесных видений, другой поэт, Батюшков, как бы нарочно ему в отпор, стал прикреплять ее к земле и телу, выказывая всю очаровательную прелесть осязаемой существенности. Как тот терялся весь в неясном еще для него самом идеальном, так этот весь потонул в роскошной прелести видимого, которое так ясно слышал и

так сильно чувствовал. Всё прекрасное во всех образах, даже и незримых, он как бы силится превратить в осязательную негу наслаждения. Он слышал, выражаясь его же выражением, стихов и мыслей сладострастье. Кажется, как бы какая-то внутренняя сила равно<ве>сия, пребывающая в лоне поэзии нашей, храня ее от крайности какого бы то ни было увлечения, создала этого поэта именно затем, чтобы в то время, когда один станет приносить звуки северных певцов Европы, другой обвеял бы ее ароматическими звуками полудня, познакомивши с Ариостом, Тассом, Петраркою, Парни и нежными отголосками древней Эллады; чтобы даже и самый стих, начинавший принимать воздушную неопределенность, исполнился той почти скульптурной выпуклости, какая видна у древних, и той звучащей неги, какая слышна у южных поэтов новой Европы.

Два разнородные поэта внесли вдруг два разнородные начала в нашу поэзию; из двух начал вмиг образовалось третье: явился Пушкин. В нем середина. Ни отвлеченной идеальности первого, ни преизобилья сладостраст-



ной роскоши второго. Всё уравновешено, сжато, сосредоточено, как в русском человеке, который немногословлив на передачу ощущения, но хранит и совокупляет его долго в себе, так что от этого долговременного ношения оно имеет уже силу взрыва, если выступит внаружу. Приведу пример. Поэта поразило вид Казбека, одной из высочайших кавказских гор, на верхушке которой увидел он монастырь, показавшийся ему реющим в небесах ковчегом. У другого поэта полились бы пыльные стихи на несколько страниц. У Пушкина всё в десяти строках, и стихотворенье оканчивает он сим внезапным обращением:

*Далекий, возделенный брег!\*  
Туда б, сказав прости ущелью,  
Подняться к горной вышине!  
Туда б, в заоблачную келью,  
В соседство бога скрыться мне!*

Именно одно это мог бы сказать русской человек, в то время как и француз, и англичанин, и немец пустились бы на подробный отчет ощущений. Никто из наших поэтов не был еще так скуп на слова и выраженья, как Пушкин, так не смотрел осторожно за самим

собой, чтобы не сказать неумеренного и лишнего, пугаясь приторности того и другого.

Что ж было предметом его поэзии? Всё стало ее предметом и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкой и трепаком у кабака, — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке — всё становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на всё, что ни есть в природе видимой и внешней. Всё становится у него отдельною картиной; всё предмет его; изо всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком твореньи бога, — его высшую сторону, знакомую только поэту, не делая из нее никакого примененья к жизни в потребность человеку, не обнаруживая нико-

му, зачем исторгнута эта искра, не подставляя к ней лестницы ни для кого из тех, которые глухи к поэзии. Ему ни до кого не было дела. Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: смотрите, как прекрасно творение бога! и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: смотрите, как прекрасно божие творение. От этого сочинения его представляют явление изумительное противуречием тех впечатлений, какие они порождают в читателях. В глазах людей весьма умных, но не имеющих поэтического чутья, они — отрывки недосказанные, легкие, мгновенные; в глазах людей, одаренных поэтическим чутьем, они — полные поэмы, обдуманые, оконченные, всё заключающие в себе, что им нужно.

На Пушкине оборвались все вопросы, которые дотоле не задавались никому из наших поэтов и в которых виден дух просыпающегося времени. Зачем, к чему была его поэзия? Какое новое направленье мысленному миру дал Пушкин? Что сказал он нужное своему веку? Подействовал ли на него, если не спаси-

тельно, то разрушительно? Произвел ли влияние на других, хотя личностью собственного характера, гениальными заблуждениями, как Байрон и как даже многие второстепенные и низшие поэты? Зачем он дан был миру и что доказал собою? Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше, — что такое поэт, взятый не под влиянием какого-нибудь времени или обстоятельств и не под условием также собственного, личного характера, как человека, но в независимости ото всего; чтобы, если захочет потом какой-нибудь высший анатомик душевный разъять и объяснить себе, что такое в существе своем поэт, это чуткое создание, на всё откликающееся в мире и себе одному не имеющее отклика, то чтобы он удовлетворен был, увидев это в Пушкине. Одному Пушкину определено было показать в себе это независимое существо, это звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе. При мысли о всяком поэте представляется больше или меньше личность его самого. Кому при помышлении о Шиллере не предстанет вдруг эта светлая,

младенческая душа, грезившая о лучших и совершеннейших идеалах, создававшая из них себе мир и довольная тем, что могла жить в этом поэтическом мире? Кому, читающему Байрона, не предстанет сам Байрон, этот гордый человек, облагодетельствованный всеми дарами неба и не могший простить ему своего незначительного телесного недостатка, от которого ропот перенесся и в поэзию его? Сам Гёте, этот Протей из поэтов, стремившийся обнять всё, как в мире природы, так и в мире наук, показал уже сим самым наукообразным стремленьем свою личность свою, исполненную какой-то германской чинности и теоретически-немецкого притязанья подладиться ко всем временам и векам. Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его сочинений о нем самом? Поди, улови его характер, как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай

себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел. Зачем не вышел? — это другой вопрос. Он сам на него отвечает стихами:

*Не для житейского волненья\*,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.*

Пушкин слышал значенье свое лучше тех, которые задавали: ему запросы, и с любовью исполнял его. Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня, — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный; ничего не вносил он туда необдуманного, опрометчивого из собственной жизни своей; не вошла туда нагишом растрепанная действительность. А между тем всё там до единого есть история его самого. Но это ни для кого незримо. Читатель услышал одно только благоуханье; но какие вещества перегорели в груди поэта затем, чтобы издать это благоуханье, того никто не может услышать. И как он лелеял их в себе! как вынашивал их! Ни один итальянский поэт не отделявал так сонетов

своих, как обрабатывал он эти легкие, по-видимому мгновенные создания. Какая точность во всяком слове! Какая значительность-всякого выраженья! Как всё округлено, окончено и замкнуто! Все они точно перлы, трудно и решить, которое лучше. Словно сверкающие зубы красавицы, которые уподобляет царь Соломон овцам-юницам, только что вышедшим из купели, когда они все как одна и все равно прекрасны.

Как ему говорить было о чем-нибудь потребном современному обществу в его современную минуту, когда хотелось откликнуться на всё, что ни есть в мире, и когда всякой предмет равно звал его? Он хотел было изобразить в Онегине современного человека и разрешить какую-то современную задачу — и не мог. Столкнувшись с места своих героев, сам стал на их месте и, в лице их, поразился тем, чем поражается поэт. Поэма вышла собрание разрозненных ощущений, нежных элегий, колких эпиграмм, картинных идиллий, и, по прочтении ее, наместо всего, выступает тот же чудный образ на всё откликнувшегося поэта. Его совершеннейшие произведения: Бо-

рис Годунов и Полтава — тот же верный отклик минувшему. Ничего не хотел он ими сказать своему времени; никакой пользы соотечественникам не замышлял он выбором этих двух сюжетов; не видно также, чтобы он исполнился особенного участия к кому-нибудь из выведенных здесь героев и предпринял бы из-за этого эти две поэмы, так мастерски и художественно отработанные. Он изумился только необычности двух исторических событий и хотел, чтобы, подобно ему, изумились другие.

Чтение поэтов всех народов и веков породило в нем тот же отклик. Герой испанский Дон Жуан, этот неистощимый предмет бесчисленного множества драматических поэм, дал ему вдруг идею сосредоточить все дело в небольшой собственной драматической картине, где еще с большим познанием души выставлены неотразимый соблазн развратителя, еще ярче слабость женщины и еще слышней сама Испания. Гётев Фауст навел его вдруг на идею сжать в двух-трех страничках главную мысль германского поэта — и удивишься, как она метко понята и как сосредото-



точена в одно крепкое ядро, несмотря на всю ее неопределенную разбросанность у Гёте. Су-ровые терцины Данта внушили ему мысль, в таких же терцинах и в духе самого Данта, изобразить поэтическое младенчество свое в Царском Селе, олицетворить науку в виде строгой жены, собирающей в школу детей, и себя в виде школьника, вырвавшегося из класса в сад, затем, чтобы остановиться перед древними статуями, с лирами и циркулями в руках, говорившими ему живе́й науки, где видно, как уже рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться.

И как верен его отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русской весь с головы до ног: все черты нашей природы в нем отозвались, и все окинуто иногда одним словом, одним чутко найденным и метко прибран-ным прилагательным именем.

Свойство это в нем разрасталось постепен-

но, и он откликнулся бы потом целиком на всю русскую жизнь, так же, как откликался на всякую отдельную ее черту. Мысль о романе, который бы поведал простую, безыскусственную повесть пряморусской жизни, занимала его в последнее время неотступно. Он бросил стихи единственно затем, чтобы не увлечься ничем по сторонам и быть проще в описаньях, и самую прозу упростил он до того, что даже не нашли никакого достоинства в первых повестях его. Пушкин был этому рад и написал Капитанскую дочь, решительно лучшее русское произведение в повествовательном роде. Сравнительно с Капитанской дочкой все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность вошли в ней на такую высокую степень, что сама действительно <сть> кажется перед нею искусственной и карикатурной. В первый раз выступили истинно русские характеры: простой комендант крепости, капитанша, поручик; сама крепость с единственной пушкой, бестолковщина времени и простое величие простых людей, всё — не только самая правда, но еще как бы лучше ее. Так

оно и быть должно: на то и призванье поэта, чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде. Всё показывало в Пушкине, что он на то был рожден и к тому стремился. Почти в одно время с Капитанской дочкой оставил он мастерские пробы романов: Рукопись села Горохина\*, Царский араб\* и сделанный карандашом набросок большого романа: Дубровский. В последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательней было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь. Отголоски этого слышны в изданном уже по смерти его стихотвореньи, в котором звуками, почти апокалипсическими, изображен побег из города\*, обреченного гибели, и часть его собственного душевного состояния. Много готовилось России добра в этом человеке... Но, становясь мужем, забирая отовсюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал он о том, как управиться с ничтожными и малыми. Внезапная смерть

унесла его вдруг от нас — и всё в государстве услышало вдруг, что лишилось великого человека.

Влияние Пушкина, как поэта, на общество было ничтожно. Общество взглянуло на него только в начале его поэтического поприща, когда он первыми молодыми стихами своими напомнил было лиру Байрона; когда же пришел он в себя и стал наконец не Байрон, а Пушкин, общество от него отвернулось. Но влияние его было сильно на поэтов. Не сделал того Карамзин в прозе, что он в стихах. Подражатели Карамзина послужили жалкой карикатурой на него самого и довели как слог, так и мысли до сахарной приторности. Что же касается до Пушкина, то он был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг него вдруг образовалось их целое созвездие: Дельвиг, поэт-сибарит, который нежился всяким звуком своей почти эллинской лиры и, не выпивая залпом всего напитка поэзии, глотал его по капле, как знаток вин, присматриваясь к цвету и обоня самый

запах; Козлов, гармонический поэт, от которого раздались какие-то дотоле неслышанные, музыкально-сердечные звуки; Баратынский, строгий и сумрачный поэт, который показал так рано самобытное стремление мыслей к миру внутреннему и стал уже заботиться о материальной отделке их, тогда как они еще не вызрели в нем самом; темный и неразвившийся, стал себя выказывать людям и сделался чрез то для всех чужим и никому не близким. Всех этих поэтов возбудил на деятельность Пушкин; других же просто создал. Я разумею здесь наших так называемых антологических поэтов, которые произвели понемногу; но если из этих немногих душистых цветков сделать выбор, то выйдет книга, под которою подпишет свое имя лучший поэт. Стоит назвать обоих Туманских\*, А. Крылова, Тютчева, Плетнева и некоторых других, которые не выказали бы собственного поэтического огня и благоуханных движений душевных, если бы не были зажжены огнем поэзии Пушкина. Даже прежние поэты стали перестраивать лад лир своих: известный переводчик Илиады Гнедич, преложитель псалмов Ф.

Глинка, партизан-поэт Давыдов, наконец сам Жуковский, наставник и учитель Пушкина в искусстве стихотворном, стал потом учиться сам у своего ученика. Сделались поэтами даже те, которые не рождены были поэтами, которым готовилось поприще не менее высокое, судя по тем духовным силам, какие они показали даже в стихотворных своих опытах, как-то: Веневитинов, так рано от нас похищенный, и Хомяков, слава богу, еще живущий для какого-то светлого будущего, покуда еще ему самому не разоблачившегося. Сила возбудительного влияния Пушкина даже повредила многим, особенно Баратынскому и еще одному поэту, о котором будет речь ниже, — повредила именно тем, что они стали передавать невызревшие движенья души своей, тогда как самая душа не набралась еще поэзии, доступной и близкой другим, и когда определено было им совершить прежде свое внутреннее воспитание и до времени умолкнуть. Всех соблазнила эта необыкновенная художественная отработка стихотворных созданий, которую показал Пушкин. Позабыв и общество, и всякие современные связи с ним

человека, и всякие требования земли своей, всё жило в какой-то поэтической Элладе, повторяя стихи Пушкина:

*Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.*

Из поэтов времени Пушкина более всех отделился Языков. С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира, разгул и буйство сил, удаль всякого выраженья, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему не даром. Владеет он языком, как араб диким конем своим, и еще как бы хвастается своею властью. Откуда ни начнет период, с головы ли, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный. Всё, что выражает силу молодости, не расслабленной, но могучей, полной будущего, стало вдруг предметом стихов его. Так и брызжет юношеская свежесть ото всего, к чему он ни прикоснется. Вот его купанье в реке:

*Покровы прочь! Перед челом\**  
*Протянем руки удалые*  
*И — бух!*

*Блистательным до-  
ждем*  
*Взлетают брызги водяные.*  
*Какая сильная волна!*  
*Какая свежесть и прохлада!*  
*Как сладострастна, как нежна*  
*Меня обнявшая наяда!*

Вот у него игра в свайку, которую он назвал прямо-русскою игрой. Юноши-молодцы стали в кружок:

*Тяжкий гвоздь стойком и плотно*  
*\**  
*Бьет в кольцо; кольцо бренчит,*  
*Вешний вечер беззаботно*  
*И невидимо летит.*

Всё, что вызывает в юноше отвагу — море, волны, буря, пиры и сдвинутые чаши, братский союз на дело, твердая как кремень вера в будущее, готовность ратовать за отчизну — выражается у него с силою неестественной. Когда появились его стихи отдельной книгой, Пушкин сказал с досадой. «Зачем он назвал



их: Стихотворенья Языкова — их бы следовало назвать просто: хмель! Человек с обыкновенными силами ничего не сделает подобного; тут потребно буйство сил». Живо помню восторг его в то время, когда прочитал он стихотворение Языкова к Давыдову, напечатанное в журнале. В первый раз увидел я тогда слезы на лице Пушкина (Пушкин никогда не плакал; он сам о себе сказал в послании к Овидию: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их»). Я помню те строфы, которые произвели у него слезы. Первая, где поэт, обращаясь к России, которую уже было признали бессильною и немощной, взывает так:

*Чу! труба продребезжала!\*  
Русь! тебе надменный зов!  
Вспомяни ж, как ты встречала  
Все нашествия врагов!  
Созови от стран далеких  
Ты своих богатырей,  
Со степей, с равнин широких,  
С рек великих, с гор высоких,  
От осьми твоих морей.*

И потом строфа, где описывается неслы-

ханное самопожертвование — предать огню собственную столицу со всем, что ни есть в ней священного для всей земли:

*Пламень в небо упирая,  
Лют пожар Москвы ревет.  
Златоглавая, святая,  
Ты ли гибнешь? Русь, вперед!  
Громче буря истребленья!  
Крепче смелый ей отпор!  
Это жертвенник спасенья,  
Это пламя очищенья,  
Это фениксов костер.*

У кого не брызнут слезы после таких стрóf? Стихи его точно разымчивый хмель; но в хмеле слышна сила высшая, заставляющая его подыматься кверху. У него студентские пирушки не из бражничества и пьянства, но от радости, что есть мочь в руке и поприще впереди, что понесутся они, студенты

*На благородное служенье  
Во славу чести и добра\*.*

Беда только, что хмель перешел меру и что сам поэт загулялся чересчур на радости от своего будущего, как и многие из нас на Руси, и осталось дело только в одном могучем по-

рыве.

Всех глаза устремились на Языкова. Все ждали чего-то необыкновенного от нового поэта, от стихов которого пронеслась такая богатырская похвальба совершить какое-то могучее дело. Но дела не дождались. Вышло еще несколько стихотворений, повторивших слабей то же самое; потом тяжелая болезнь посетила поэта и отразилась на его духе. В последних стихах его уже не было ничего, шевелившего русскую душу. В них раздались скучанья среди немецких городов, безучастные записки разъездов, перечень однообразно-страдальческого дня. Всё это было мертво русскому духу. Не заметили даже необыкновенной отработки позднейших стихов его. Его язык, еще более окрепнувший, ему же послужил в улику: он был на тощих мыслях и бедном содержании, что панцырь богатыря на хилом теле карлика. Стали говорить даже, что у Языкова нет вовсе мыслей, а одни пустозвонкие стихи, и что он даже и не поэт. Всё пришло противу него в ропот. Отголоски этого ропота раздались нелепо в журналах, но в основаньи их была правда. Языков не

сказал же, говоря о поэте, словами Пушкина:

*Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв.*

У него, напротив, вот что говорит поэт:

*Когда тебе на подвиг всё готово\*,  
В чем на земле небесный виден  
дар,  
Могучей мысли свет и жар  
И огнедышащее слово —  
Иди ты в мир, да слышит он по-  
эта.*

Положим, это говорится об идеальном поэте; но идеал свой он взял из своей же природы. Если бы в нем самом уже не было начал тому, не мог бы и представить он себе такого поэта. Нет, не силы его оставили, не бедность таланта и мыслей виной пустоты содержанья последних стихов его, как самоуверенно возгласили критики, и даже не болезнь (болезнь дается только к ускоренью дела, если человек проникнет смысл ее) — нет, другое его осилило: свет любви погаснул в душе его — вот почему примеркнул и свет поэзии. Полюби по-

требное и нужное душе с такою силою, как полюбил прежде хмель юности своей — и вдруг подымутся твои мысли наравне со стихом, раздастся огнедышащее слово: изобразишь нам ту же пошлость болезненной жизни своей, но изобразишь так, что содрогнется человек от проснувшихся железных сил своих и возблагодарит бога за недуг, давший ему это почувствовать. Не по стопам Пушкина надлежало Языкову обрабатывать и округлять стих свой; не для элегий и антологических стихотворений, но для дифирамба и гимна родился он, это слышали все. И уже скорее от Державина, чем от Пушкина, должен был он засветить светильник свой. Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свету; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое. Уделы поэтов не равны. Одному определено быть верным зеркалом и отголоском жизни — на то и дан ему многосторонний, описательный талант. Другому повелено быть передовою, возбуждающею силою общества во всех его благородных и высших дви-

жениях — и на то дан ему лирический талант. Не попадает талант на свою дорогу, потому что не устремляет глаз высших на самого себя. Но промысл лучше печется о человеке. Бедой, злом и болезнью насильно приводит он его к тому, к чему он не пришел бы сам. Уже и в лире Языкова заметно стремление к повороту на свою законную дорогу. От него слышали недавно стихотворенье Землетрясение, которое, по мнению Жуковского, есть наше лучшее стихотворенье.

Из поэтов времени Пушкина отделился князь Вяземский. Хотя он начал писать гораздо прежде Пушкина, но так как его полное развитие было при нем, то упомянем о нем здесь. В князе Вяземском — противоположность Языкову: сколько в том поражает ничтога мыслей, столько в этом обилие их. Стих употреблен у него, как первое попавшееся орудие: никакой наружной отделки его, никакого также сосредоточенья и округленья мысли, затем, чтобы выставить ее читателю как драгоценность. Он не художник и не заботится обо всем этом. Его стихотворенья — импровизации, хотя для таких импровизаций нуж-

но иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову. В нем собралось обилие необыкновенное всех качеств: ум, остроумие, наглядка, наблюдательность, неожиданность выводов, чувство, веселость и даже грусть; каждое стихотворение его — пестрый фараон всего вместе. Он не поэт по призванию: судьба, наделивши его всеми дарами, дала ему как бы в придачу талант поэта, затем, чтобы составить из него что-то полное. В его книге: Биография Фонвизина\* обнаружилось еще видней обилие всех даров, в нем заключенных. Там слышен, в одно и то же время, политик, философ, тонкий оценщик и критик, положительный государственный человек и даже опытный ведатель практической стороны жизни, словом — все те качества, которые должен заключать в себе глубокий историк в значении высшем. И если бы таким же пером, каким начертана биография Фонвизина, написано было все царствование Екатерины, которое уже и теперь кажется нам почти фантастическим от чрезвычайно обилия эпохи и необыкновенного столкновения необыкновенных лиц и характеров, то

можно сказать почти наверно, что подобного по достоинству исторического сочинения не представила бы нам Европа. Но отсутствие большого и полного труда есть болезнь князя Вяземского, и это слышится в самих его стихотворениях. В них заметно отсутствие внутреннего гармонического согласования в частях, слышен разлад: слово не сочеталось со словом, стих со стихом, возле крепкого и твердого стиха, какого нет ни у одного поэта, помещается другой, ничем на него не похожий; то вдруг защежит он чем-то вырванным живьем из самого сердца, то вдруг оттолкнет от себя звуком, почти чуждым сердцу, раздавшимся совершенно не в такт с предметом; слышна несобранность в себя, не полная жизнь своими силами; слышится на дне всего что-то придавленное и угнетенное. Участь человека, одаренного способностями разнообразными и очутившегося без такого дела, которое бы заняло все до единой его способности, тяжелей участи последнего бедняка. Только тот труд, который заставляет целиком всего человека обратиться к себе и уйти в себя, есть наш избавитель. На нем только, как



говорит поэт,

*Душа прямится, крепнет воля\*,  
И наша собственная доля  
Определяется видней.*

В то время, когда наша поэзия совершала так быстро своеобразный ход свой, воспитываясь поэтами всех веков и наций, обвеваясь звуками всех поэтических стран, пробуя все тоны и аккорды, один поэт оставался в стороне. Выбравши себе самую незаметную и узкую тропу, шел он по ней почти без шума, пока не перерос других, как крепкий дуб перерастает всю рощу, вначале его скрывавшую. Этот поэт — Крылов. Выбрал он себе форму басни, всеми пренебреженную, как вещь старую, негодную для употребления и почти детскую игрушку — и в сей басне умел сделаться народным поэтом. Это наша крепкая русская голова, тот самый ум, который сродни уму наших пословиц, тот самый ум, которым крепок русской человек, ум выводов, так называемый задний ум. Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу,

отсед, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной. Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума, или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русской человек, наши пословицы значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья в них отразилось много народных свойств наших; в них всё есть: издевка, насмешка, попрек, словом — всё шевелящее и задирающее за живое; как стоглавый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уваженье к ним выразилось многими поговорками: «Пословица недаром молвится» или «Пословица вовек не сломится». Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она свьше его понятия.

Отсюда-то ведет свое происхождение Кры-

лов. Его басни отнюдь не для детей. Тот ошибется грубо, кто назовет его баснописцем в таком смысле, в каком были баснописцы Лафонтен, Дмитриев, Хемницер и, наконец, Измайлов. Его притчи — достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски; в их проделках между собою слышны проделки и обряды производств внутри России. Кроме верного звериного сходства, которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, но даже сам горшок поворачивается как живой, они показали в себе еще и русскую природу. Даже осел, который у него до того определился в характере своем, что стоит ему высунуть только уши из какой-нибудь басни, как уже читатель вскрикивает вперед: «это осел Крылова!»\* — даже осел, несмотря на свою принадлежность климату других земель, явился у него русским человеком. Несколько лет производя кражу по чужим огородам, он возгорелся вдруг чинолюбьем, захотел ордена и заважничал страх, когда хозяин повесил ему на шею звонок, не размыслив того, что теперь всякая кража и па-

кость его будет видна всем и привлечет отовсюду побои на его бока. Словом — всюду у него Русь и пахнет Русью. Всякая басня его имеет, сверх того, историческое происхождение. Несмотря на свою неторопливость и, по видимому, равнодушие к событиям современным, поэт, однако же, следил всякое событие внутри государства; на всё подавал свой голос и в голосе этом слышалась разумная середина, примиряющий третейский суд, которым так силен русский ум, когда достигает до своего полного совершенства. Строго взвешенным и крепким словом так разом он и определит дело, так и означит, в чем его истинное существо. Когда некоторые чересчур военные люди стали было уже утверждать, что всё в государствах должно быть основано на одной военной силе и в ней одной спасение, а чиновники штатские начали, в свою очередь, притрунивать над всем, что ни есть военного, из-за того только, что некоторые обратили военное дело в одни погончики да петлички, он написал знаменитый спор пушек с парусами, в котором вводит обе стороны в их законные границы сим замечательным четверостиши-

ем:

*Держава всякая сильна\*,  
Когда устроены в ней мудро ча-  
сти:  
Оружием — врагам она грозна,  
А паруса — гражданские в ней вла-  
сти.*

Какая меткость определенья! Без пушек не защитишься, а без парусов и вовсе не поплывешь. Когда у некоторых доброжелательных, но недальнозорких начальников утвердилось было странное мнение, что нужно опасаться бойких, умных людей и обходить их в должностях из-за того единственно, что некоторые из них были когда-то шалуны и замешались в безрассудное дело\*, он написал не меньше замечательную басню: Две бритвы, и в ней справедливо попрекнул начальников, которые

*Людей с умом боятся  
И держат при себе охотней дура-  
ков.*

Особенно слышно, как он везде держит сторону ума, как просит не пренебрегать ум-

ного человека, но уметь с ним обращаться. Это отразилось в басне Музыканты, которую заключил он словами: «По мне, уж лучше пей, да дело разумеи!» Не потому он это сказал, чтобы хотел похвалить пьянство, но потому, что заболела его душа при виде, как некоторые, набравши к себе, наместо мастеров дела, людей бог весть каких, еще и хвастаются тем, говоря, что хоть мастерства они и не смыслят, но зато отличнейшего поведенья. Он знал, что с умным человеком всё можно сделать и не трудно обратить его к хорошему поведенью, если сумеешь умно говорить с ним, но дурака трудно сделать умным, как ни говори с ним. «В воре — что в море, а в дураке — что в пресном молоке», говорит наша пословица. Но и умному делает он также крепкие заметки, сильно попрекнувши его в басне Стоячий пруд за то, что дал задремать своим способностям, и строго укоривши в басне Сочинитель за развратное и злое их направление. Вообще его занимали вопросы важные. В книге его всем есть уроки, всем степеням в государстве, начиная от главы, которому говорит он:

*Властитель хочет ли народы  
удержать?\**  
*Держи бразды не вкруть, но мощ-  
ную рукою,*

— и до последнего труженика, работающе-  
го в низших рядах государственных, которо-  
му указывает он на высокий удел в виде пче-  
лы, не ищущей отличать своей работы:

*Но сколь и тот почтен, кто, в ни-  
зости сокрытый\*,  
За все труды, за весь потерянный  
покой,  
Ни славою, ни почестями не  
льстится  
И мыслью оживлен одной,  
Что к пользе общей он тру-  
дится.*

Слова эти останутся доказательством веч-  
ным, как благородна была душа самого Кры-  
лова. Ни один из поэтов не умел сделать свою  
мысль так ощутительной и выразаться так  
доступно всем, как Крылов. Поэт и мудрец  
слились в нем воедино. У него живописно  
всё, начиная от изображенья природы плени-  
тельной, грозной и даже грязной, до передачи

малейших оттенков разговора, выдающих живьем душевные свойства. Всё так сказано метко, так найдено верно и так усвоено крепко вещи, что даже и определить нельзя, в чем характер пера Крылова. У него не поймаешь его слога. Предмет, как бы не имея словесной оболочки, выступает сам собою, натурою перед глаза. Стиха его также не схватишь. Никак не определишь его свойства: звучен ли он? легок ли? тяжел ли? Звучит он там, где предмет у него звучит; движется, где предмет движется; крепчает, где крепнет мысль, и становится вдруг легким, где уступает легковесной болтовне дурака. Его речь покорна и послушна мысли и летает как муха, то являясь вдруг в длинном, шестистопном стихе, то в быстром, одностопном; рассчитанным числом слогов выдает она ощутительно самую невыразимую ее духовность. Стоит вспомнить величественное заключение басни Две бочки:

*Великий человек лишь виден на делах,  
И думает свою он крепку думу*



## Без шуму.

Тут от самого размещения слов как бы слышится величие ушедшего в себя человека.

От Крылова вдруг можно перейти к другой стороне нашей поэзии — поэзии сатирической. У нас у всех много иронии. Она видна в наших пословицах и песнях и, что всего изумительней, часто там, где видимо страдает душа и не расположена вовсе к веселости. Глубина этой самобытной иронии еще пред нами не разоблачилась, потому что, воспитываясь всеми европейскими воспитаньями, мы и тут отделились от родного корня. Наклонность к иронии, однако ж, удержалась, хотя и не в той форме. Трудно найти русского человека, в котором бы не соединялось, вместе с умением пред чем-нибудь истинно возблагодарить, свойство — над чем-нибудь истинно посмеяться. Все наши поэты заключали в себе это свойство. Державин крупною солью рассыпал его у себя в большей половине од своих. Оно есть у Пушкина, у Крылова, у князя Вяземского; оно слышно даже у таких поэтов, которые в характере своем имели нежное, меланхолическое расположение: у Капниста, у

Жуковского, у Карамзина, у князя Долгорукого, — оно есть что-то сродное нам всем. Естественно, что у нас должны были развиваться писатели собственно сатирические. Уже в то время, когда Ломоносов настроивал свою лиру на высокий лирический лад, кн<язь>. Кантемир находил пищу для сатиры и хлестал ею глупости едва начинавшегося общества. В разные эпохи появлялось у нас множество сатир, эпиграмм, насмешливых перелицовок наизнанку известнейших произведений и всякого рода пародий едких, злых, которые останутся, вероятно, всегда в рукописях и в которых всюду видна большая сила. Стоит вспомнить пародии кн<язя> Горчакова, сатиру на литераторов Воейкова: Дом сумасшедших, и талантливые пародии Михаила Дмитриева, где желчь Ювенала соединилась с каким-то особенным славянским добродушием. Но сатира скоро попросила себе поприща обширнейшего и перешла в драму. Театр начался у нас так же, как и повсюду, сначала подражаниями, потом стали пробиваться черты оригинальные. В трагедии явились нравственная сила и незнание человека под усло-

вием взятой эпохи и века; в комедии — легкие насмешки над смешными сторонами общества, без взгляда в душу человека. Имена Озерова, Княжнина, Капниста, князя Шаховского, Хмельницкого, Загоскина, А. Писарева помнятся с уважением; но всё это побледнело перед двумя яркими произведениями: перед комедиями Фонвизина Недоросль и Грибоедова Горе от ума, которых весьма остроумно назвал князь Вяземский двумя современными трагедиями. В них уже не легкие насмешки над смешными сторонами общества, но раны и болезни нашего общества, тяжелые злоупотребленья внутренние, которые беспощадной силой иронии выставлены в очевидности потрясающей. Обе комедии взяли две разные эпохи. Одна поразила болезни от непросвещения, другая — от дурно понятого просвещенья.

Комедия Фонвизина поражает огрубелое зверство человека, происшедшее от долгого бесчувственного, непоколебимого застоя в отдаленных углах и захолустьях России. Она выставила так страшно эту кору огрубенья, что в ней почти не узнаешь русского челове-

ка. Кто может узнать что-нибудь русское в этом злобном существе, исполненном тиранства, какова Простакова, мучительница крестьян, мужа и всего, кроме своего сына? А между тем чувствуешь, что нигде в другой земле, ни во Франции, ни в Англии не могло образоваться такое существо. Эта безумная любовь к своему детищу есть наша сильная русская любовь, которая в человеке, потерявшем свое достоинство, выразилась в таком извращенном виде, в таком чудном соединении с тиранством, так что, чем более она любит свое дитя, тем более ненавидит всё, что не есть ее дитя. Потом характер Скотинина — другой тип огрубения. Его неуклюжая природа, не получив на свою долю никаких сильных и неистовых страстей, обратилась в какую-то более спокойную, в своем роде художественную любовь к скотине, наместо человека: свиньи сделались для него то же, что для любителя искусств картинная галерея. Потом супруг Простаковой — несчастное, убитое существо, в котором и те слабые силы, какие держались, забиты понуканьями жены, — полное притупление всего! Наконец,

сам Митрофан, который, ничего не заключа<sup>я</sup> злобного в своей природе, не имея желанья наносить кому-либо несчастье, становится нечувствительно, с помощью угождений и баловства, тираном всех, и всего более тех, которые его сильнее любят, то есть матери и няньки, так что наносить им оскорбление — сделалось ему уже наслаждением. Словом — лица эти как бы уже не русские; трудно даже и узнать в них русские качества, исключая только разве одну Еремеевну да отставного солдата. С ужасом слышишь, что уже на них не подействуешь ни влиянием церкви, ни обычаями старины, от которых удержалось в них одно пошлое, и только одному железному закону здесь место. Всё в этой комедии кажется чудовищной карикатурой на русское. А между тем нет ничего в ней карикатурного: все взято живьем с природы и проверено знаньем души. Это те неотразимо-страшные идеалы огрубения, до которых может достигнуть только один человек русской земли, а не другого народа.

Комедия Грибоедова взяла другое время общества — выставила болезни от дурно по-

нятого просвещения, от принятия глупых светских мелочей наместо главного, словом — взяла донкишотскую сторону нашего европейского образования, несвязавшуюся смесь обычаев, сделавшую русских не русскими, но иностранцами. Тип Фамусова так же глубоко постигнут, как и Простаковой. Так же наивно, как хвастается Простакова своим невежеством, он хвастается полупросвещением, как собственным, так и всего того сословия, к которому принадлежит: хвастается тем, что московские девицы верхние выводят нотки, словечка два не скажут, всё с ужимкой; что дверь у него отперта для всех, как званых, так и незваных, особенно для иностранных; что канцелярия у него набита ничего не делающей родней. Он и благопристойный степенный человек и волокита, и читает мораль и мастер так пообедать, что в три дни не сварится. Он даже вольнодумец, если соберется с подобными себе стариками, и в то же время готов не допустить на выстрел к столицам молодых вольнодумцев, именем которых честит всех, кто не подчинился принятым светским обычаям их обще-

ства. В существе своем это одно из тех выветрившихся лиц, в которых, при всем их светском *compte il faut*, не осталось ровно ничего, которые своим пребыванием в столице и службой так же вредны обществу, как другие ему вредны своей неслужбой и огрубелым пребыванием в деревне. Вредны, во-первых, собственным именьям своим — тем, что, предавши их в руки наемников и управителей, требуя от них только денег для своих балов и обедов, званых и незваных, они разрушили истинно законные узы, связывавшие помещиков с крестьянами; вредны, во-вторых, на служащем поприще — тем, что, доставляя места одним только ничего не делающим родственникам своим, отняли у государства истинных дельцов и отвадили охоту служить у честного человека; вредны, наконец, в-третьих, духу правительства своею двусмысленной жизнью — тем, что, под личиною усердия к царю и благонамеренности, требуя поддельной нравственности от молодых людей и развратничая в то же время сами, возбудили негодование молодежи, неуважение к старости и заслугам и склонность к вольнодум-

ству действительному у тех, которые имеют некрепкие головы и способны вдаваться в крайности. Не меньше замечателен другой тип: отъявленный мерзавец Загорецкий, везде ругаемый и, к изумленью, всюду принимаемый, лгун, плут, но в то же время мастер угодить всякому сколько-нибудь значительному или сильному лицу доставленьем ему того, к чему он греховно падок, готовый, в случае надобности, сделаться патриотом и ратоборцем нравственности, зажечь костры и на них предать пламени все книги, какие ни есть на свете, а в том числе и сочинителей даже самих басен за их вечные насмешки над львами и орлами, и сим обнаруживший, что, не бояся ничего, даже самой позорнейшей брани, боится, однако ж, насмешки, как чорт креста. Не меньше замечателен третий тип: глупый либерал Репетилов, рыцарь пустоты во всех ее отношениях, рыскающий по ночным собраниям, радующийся, как бог весть какой находке, когда удастся ему пристегнуться к какому-нибудь обществу, которое шумит о том, чего он не понимает, чего и рассказать даже не умеет, но которого бредни слушает



он с чувством, в уверенности, что попал наконец на настоящую дорогу и что тут кроется действительно какое-то общественное дело, которое, хотя еще не созрело, но как раз созреет, если только о нем пошумят побольше, станут почаще собираться по ночам да позадористей между собою спорить. Не меньше замечателен четвертый тип: глупый фрунтовик Скалозуб, понявший службу единственно в умении различать форменные отлички, но, при всем том, удержавший какой-то свой особенный философски-либеральный взгляд на чины, признающийся откровенно, что он их считает как необходимые каналы к тому, чтобы попасть в генералы, а там ему хоть трава не расти; все прочие тревоги ему ни по чем, а обстоятельства времени и века для него не головомная наука: он искренно уверен, что весь мир можно успокоить, давши ему в Вольтеры фельдфебеля. Не меньше замечательный также тип и старуха Хлестова, жалкая смесь пошлости двух веков, удержавшая из старинных времен только одно пошрое: с притязаньями на уваженье от нового поколения, с требованьями почтенья к себе от тех са-

мых людей, которых сама презирает, готовая выбрать вслух и встречного и поперечного за то только, что не так к ней сел или перед нею оборотился, ни к чему не питающая никакой любви и никакого уваженья, но покровительница арапченок, мосек и людей в роде Молчалнна, словом — старуха-дрянь в полном смысле этого слова. Сам Молчалин — тоже замечательный тип. Метко схвачено это лицо, безмолвное, низкое, покамест тихомолком пробирающееся в люди, но в котором, по словам Чацкого, готовится будущий Загорецкий. Такое скопище уродов общества, из которых каждый окарикатурил какое-нибудь мнение, правило, мысль, извративши по-своему законный смысл их, должно было вызвать в отпор ему другую крайность, которая обнаружилась ярко в Чацком. В досаде и в справедливом негодовании противу их всех, Чацкий переходит также в излишество, не замечая, что через это самое и через этот невоздержанный язык свой он делается сам нестерпим и даже смешон. Все лица комедии Грибоедова суть такие же дети полупросвещения, как Фонвизиновы — дети непросвещения; рус-

ские уроды, временные, преходящие лица, образовавшиеся среди брожения новой закваски. Прямо-русского типа нет ни в ком из них; не слышно русского гражданина. Зритель остается в недоумения насчет того, чем должен быть русской человек. Даже то лицо, которое взято, по-видимому, в образец, то есть, сам Чацкий, показывает только стремление чем-то сделаться, выражает только негодование противу того, что презренно и мерзко в обществе, но не дает в себе образца обществу.

Обе комедии исполняют плохо сценические условия; в сем отношении ничтожная французская пьеса их лучше. Содержание, взятое в интригу, ни завязано плотно, ни мастерски развязано. Кажется, сами комики о нем не много заботились, видя сквозь него другое, высшее содержание и соображая с ним выходы и уходы лиц своих. Степень потребности побочных характеров и ролей измерена также не в отношении к герою пьесы, но в отношении к тому, сколько они могли пополнить и пояснить мысль самого автора присутствием своим на сцене, сколько могли собою дорисовать общность всей сатиры. В

противном же случае, то есть если бы они выполнили и эти необходимые условия всякого драматического творенья и заставили каждое из лиц, так метко схваченных и постигнутых, изворотиться перед зрителем в живом действии, а не в разговоре — это были <бы> два высокие произведения нашего гения. И теперь даже их можно назвать истинно общественными комедиями, и подобного выраженья, сколько мне кажется, не принимала еще комедия ни у одного из народов. Есть следы общественной комедии у древних греков; но Аристофан руководился более личным расположеньем, нападал на злоупотребленья одного какого-нибудь человека и не всегда имел в виду истину: доказательством тому то, что он дерзнул осмеять Сократа. Наши комики двигнулись общественной причиной, а не собственной, восстали не противу одного лица, но против целого множества злоупотреблений, против уклоненья всего общества от прямой дороги. Общество сделали они как бы собственным своим телом; огнем негодованья лирического зажглась беспощадная сила их насмешки. Это — продолжение той же бра-

ни света со тьмой, внесенной в Россию Петром, которая всякого благородного русского делает уже невольно ратником света. Обе комедии ничуть не созданы художественные и не принадлежат фантазии сочинителя. Нужно было много накопиться сору и дрязгу внутри земли нашей, чтобы явились они почти сами собой, в виде какого-то грозного очищения. Вот почему по следам их не появлялось в нашей литературе ничего им подобного и, вероятно, долго не появится.

Со смертью Пушкина остановилось движение поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накапливается вдали: самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще всё находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг него настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не разда-

вались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете. В нем слышатся признаки таланта первостепенного; поприще великое могло ожидать его, если бы не какая-то несчастная звезда, которой управленью захотелось ему над собой признать. Попавши с самого начала в круг того общества, которое справедливо можно было назвать временным и переходным, которое, как бедное растение, сорвавшееся с родной почвы, осуждено было безрадостно носиться по степям, слыша само, что не прирасти ему ни к какой другой почве и его жребий — завянуть и пропасть, — он уже с ранних пор стал выражать то раздражающее сердце равнодушие ко всему, которое не слышалось еще ни у одного из наших поэтов. Безрадостные встречи, беспечальные расставанья, странные, бессмысленные любовные узы, неизвестно зачем заключаемые и неизвестно зачем разрываемые, стали предметом стихов его и подали случай Жуковскому весьма верно определить существо этой

поэзии словом: *безочарование*. С помощью таланта Лермонтова, оно сделалось было на время модным. Как некогда с легкой руки Шиллера пронеслось было по всему свету *очарованье* и стало модным, как потом с тяжелой руки Байрона пошло в ход *разочарованье*, порожденное, может быть, излишним очарованьем, и стало также на время модным, так наконец пришла очередь и *безочарованью*, родному детищу байроновского разочарования. Существование его, разумеется, было кратковременней всех прочих, потому что в *безочарованьи* ровно нет никакой приманки ни для кого. Признавши над собою власть какого-то обольстительного демона, поэт покушался не раз изобразить его образ, как бы желая стихами от него отделаться. Образ этот не вызначен определительно, даже не получил того обольстительного могущества над человеком, которое он хотел ему придать. Видно, что вырос он не от собственной силы, но от усталости и лени человека сражаться с ним. В неоконченном его стихотвореньи, названном: Сказка для детей, образ этот получает больше определительности и больше смысла.

Может быть, с окончанием этой повести, которая есть его лучшее стихотворение, отделился бы он от самого духа, а вместе с ним и от безотрадного своего состояния (приметы тому уже сияют в стихотвореньях Ангел, Молитва и некоторых других), если бы только сохранилось в нем самом побольше уваженья и любви к своему таланту. Но никто еще не играл так легкомысленно с своим талантом и так не старался показать к нему какое-то даже хвастливое презренье, как Лермонтов. Незаметно в нем никакой любви к детям своего же воображенья. Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолобно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и многоречие. В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой. Тут видно больше углубленья в действительность жизни; готовился будущий великий живописец русского быта...



Но внезапная смерть вдруг его от нас унесла. Слышно страшное в судьбе наших поэтов: как только кто-нибудь из них, упустив из виду свое главное поприще и назначенье, бросался за другое или же опускался в тот омут светских отношений, где не следует ему быть и где нет места для поэта, внезапная, насильственная смерть вырывала его вдруг из нашей среды. Три первостепенных поэта: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов, один за другим, в виду всех, были похищены насильственной смертью, в течение одного десятилетия, в пору самого цветущего мужества, в полном развитии сил своих — и никого это не поразило. Даже не содрогнулось ветреное племя.

Но пора, однако же, сказать в заключение, что такое наша поэзия вообще, зачем она была, к чему служила и что сделала для всей русской земли нашей? Имела ли она влияние на дух современного ей общества, воспитавши и облагородивши каждого, сообразно его месту, и возвысивши понятия всех вообще, сообразно духу земли и коренным силам народа, которыми должно двигаться государство? Или же она была, просто, верной карти-

ной нашего общества, — картиной полной и подробной, ясным зеркалом всего нашего быта? Не была она ни тем, ни другим; ни того, ни другого она не сделала. Она была почти незнаема и неведома нашим обществом, которое в то время воспитывалось другим воспитанием, под влиянием гувернеров французских, немецких, английских, под влиянием выходцев из всех стран, всех возможных сословий, с различными образами мыслей, правил и направлений. Общество наше, — чего не случалось еще доселе ни с одним народом, — воспитывалось в неведении земли своей посреди самой земли своей. Даже язык был позабыт, так что поэзии нашей были даже отрезаны дороги и пути к тому, чтобы коснуться его уха. Если и пробивалась она к обществу, то какими-то незаконными и проселочными дорогами: или счастливо написанная музыка заносила в гостиную какое-нибудь стихотворное произведение; или же плод незрелой молодости поэта, ничтожное и слабое его произведение, но отвечавшее каким-нибудь чужеземно-вольнодумным мыслям, занесенным в голову общества чуже-

земными воспитателями, бывало причиной, что общество узнавало о существовании среди его поэта. Словом — поэзия наша ни поучала общество, ни выражала его. Как бы слыша, что ее участь не для современного общества, неслась она всё время выше общества; если ж и опускалась к нему, то разве затем только, чтобы хлестнуть его бичом сатиры, а не передавать его жизнь в образец потомству. Дело странное: предметом нашей поэзии всё же были мы, но мы в ней не узнаем себя. Когда поэт показывает нам наши лучшие стороны, нам это кажется преувеличенным, и мы почти готовы не верить тому, что говорит нам о нас же Державин. Когда же выставляет писатель наши низкие стороны, мы опять не верим, и нам это кажется карика<турок>. Есть, точно, в том и другом как бы какая-то преувеличенная сила, хотя в самом деле преувеличения нет. Причиною первого то, что наши лирические поэты, владея тайной прозревать в зерне, почти неприметном для простых глаз, будущий великолепный плод его, выставляли очнщенной всякое свойство наше. Причиною второго то, что сатирические наши

писатели, нося в душе своей, хотя еще и неясно, идеал уже лучшего русского человека, видели ясней всё дурное и низкое русского действительно человека. Сила негодованья благородного давала им силу выставлять ярче ту же вещь, чем как ее может увидеть обыкновенный человек. Вот отчего в последнее время, сильней всех прочих свойств наших, развилась у нас насмешливость. Всё смеется у нас одно над другим, и есть уже внутри самой земли нашей что-то смеющееся над всем равно, над стариной и над новизной, и благоговееющее только пред одним нестареющим и вечным. Итак, поэзия наша не выразила нам нигде русского человека вполне, ни в том *идеале*, в каком он должен быть, ни в той *действительности*, в какой он ныне есть. Она собрала только в кучу бесчисленные оттенки разнообразных качеств наших; она совокупила только в одно казнохранилище отдельно взятые стороны нашей разносторонней природы. Поэты наши слышали, что не приспело еще время живописать себя целиком и хвататься собой, что еще нужно нам самим прежде организоваться, стать собой и сде-

латься русскими. Еще только размягчена и приготовлена наша природа к тому, чтобы принять ей следуемую форму; еще не успели мы вывести итогов из множества всяких элементов в начал, нанесенных отовсюду в нашу землю, еще во всяком из нас бестолковая встреча чужеземного с своим, а не разумное извлечение того самого вывода, для которого повелена богом эта встреча. Слыша это, они как бы заботились только о том, чтобы не пропало в этой борьбе лучшее из нашей природы. Это лучшее забирали они отовсюду, где находили, и спешили его выносить на свет, <не заботясь о том>, где и как его поставить. Так бедный хозяин из обхваченного пламенем дома старается выхватить только то, что есть в нем драгоценнейшего, не заботясь о прочем. Поэзия наша звучала не для современного ей времени, но чтобы, — если настанет, наконец, то благодатное время, когда мысль о внутреннем построении человека в таком образе, в каком повелел ему состроиться бог из самородных начал земли своей, сделается, наконец, у нас общею по всей России и равно желанною всем, — то чтобы увидели

мы, что есть действительно в нас лучшего собственно нашего, и не позабыли бы его вместить в свое построение. Наши собственные сокровища станут нам открываться больше и больше, по мере того, как мы станем внимательней вчитываться в наших поэтов. По мере большего и лучшего их узнанья, нам откроются и другие их высшие стороны, доселе почти никем не замечаемые: увидим, что они были не одними казначеями сокровищ наших, но отчасти даже и строителями нашими, или действительно имея о том мысль, или ее не имея, но показавши своей высшей от нас природой которое-нибудь из наших народных качеств, которое в них развилось видней, затем именно, чтобы блеснуть пред нами во всей красе своей. Это стремление Державина начертать образ непреклонного, твердого мужа в каком-то библейско-исполтинском величии, не было стремленьем произвольным: начала ему он услышал в нашем народе. Широкие черты человека величавого носят и слышатся по всей русской земле так сильно, что даже чужеземцы, заглянувшие вовнутрь России, ими поражаются еще

прежде, чем успевают узнать нравы и обычаи земли нашей. Еще недавно один из них, издавший свои записки с тем именно, чтобы показать Европе с дурной стороны Россию,[16] не мог скрыть изумленья своего при виде простых обитателей деревенских изб наших. Как пораженный, останавливался он перед нашими маститыми, беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому. И эту мысль повторил он несколько раз на страницах своей растворенной ненавистью к нам книги. Это свойство *чуткости*, которое в такой высокой степени обнаружилось в Пушкине, есть наше народное свойство. Вспомним только одни названья, которыми народ сам характеризует в себе это свойство, например: название *уха*, которое дается такому человеку, в котором все жилки горят и говорят, который миг не постоит без дела; *удача* — всюду спеющий и

езде успевающий, и множество есть у нас других названий, определяющих различные оттенки и уклонения этого свойства. Свойство это велико: не полон и суров выйдет русский муж, начертанный Державиным, если не будет в нем чутья откликаться живо на всякой предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте божьего творенья. Этот ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, который обнаружился в Крылове, есть наш *истинно русской ум*. Только в Крылове отразился тот верный такт русского ума, который, умея выразить истинное существо всякого дела, умеет выразить его так, что никого не оскорбит выраженьем и не восстановит ни против себя, ни против мысли своей даже несходных с ним людей, одним словом — тот верный такт, который мы потеряли среди нашего светского образования и который сохранился доселе у нашего крестьянина. Крестьянин наш умеет говорить со всеми себя высшими, даже с царем, так свободно, как никто из нас, и ни одним словом не покажет неприличия, тогда как мы часто не умеем поговорить даже с равным себе таким об-



разом, чтобы не оскорбить его каким-нибудь выраженьем. Зато уже, в ком из нас действительно образовался этот сосредоточенный, верный, истинно русский такт ума — он у нас пользуется уваженьем всех; ему все позволяют сказать то, чего никому другому не позволят; на него никто уж и не сердится. У всех наших писателей бывали враги, даже у самых незлобнейших и прекраснейших душою (стоит вспомнить Карамзина и Жуковского); но у Крылова не было ни одного врага. Эта *молодая удаль* и отвага рвануться на дело добра, которая так и буйствует в стихах Языкова, есть удаль нашего русского народа, то чудное свойство, ему одному свойственное, которое дает у нас вдруг молодость и старцу и юноше, если только предстанет случай рвануться всем на дело, невозможное ни для какого другого народа, — которое вдруг сливает у нас всю разнородную массу, между собой враждующую, в одно чувство, так что и ссоры и личные выгоды каждого — всё позабыто, и вся Россия — один человек. Все эти свойства, обнаруженные нашими поэтами, есть наши народные свойства, в них только видней раз-

вившиеся; поэты берутся не откуда же нибудь из-за моря, но исходят из своего народа. Это — огни, из него же излетевшие, передовые вестники сил его. Сверх того поэты наши сделали добро уже тем, что разнесли благозвучие, до толе небывалое. Не знаю, в какой другой литературе показали стихотворцы такое бесконечное разнообразие оттенков звука, чему отчасти, разумеется, способствовал сам поэтический язык наш. У каждого свой стих и свой особенный звон. Этот металлический, бронзовый стих Державина, которого до сих пор не может еще позабыть наше ухо; этот густой, как смола или струя столетнего тока, стих Пушкина; этот сияющий, праздничный стих Языкова, влетающий как луч в душу, весь сотканный из света; этот облитый ароматами полудня стих Батюшкова, сладостный, как мед из горного ущелья; этот легкой, воздушный стих Жуковского, порхающий, как неясный звук эоловой арфы; этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вяземского, проникнутый подчас едкой, щемящей русской грустью, — все они, точно разнозвонные колокола или бесчисленные клавиши одного

великолепного органа, разнесли благозвучие по русской земле. Благозвучие не так пустое дело, как думают те, которые незнакомы с поэзией. Под благозвучие, как под колыбельную, прекрасную песню матери, убаюкивается народ-младенец еще прежде, чем может входить в значение слов самой песни, и нечувствительно сами собой стихают и умиряются его дикие страсти. Оно так же бывает нужно, как во храме куренье кадильное, которое уже невидимо настраивает душу к слышанию чего-то лучшего еще прежде, чем началось самое служение. Поэзия наша пробовала все аккорды, воспитывалась литературами всех народов, прислушивалась к лирам всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык затем, чтобы приготовить всех к служению более значительному. Нельзя уже теперь заговорить о тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынешнее поколение поэтов; нельзя служить и самому искусству — как ни прекрасно это служение, — не уразумев его цели высшей и не определив себе, зачем дано нам искусство; нельзя повторять Пушки-

на. Нет, не Пушкин и никто другой должен стать теперь в образец нам: другие уже времена пришли. Теперь уже ничем не возьмешь — ни своеобразьем ума своего, ни картинной личностью характера, ни гордостью движений своих: христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт. Другие дела наступают для поэзии. Как во время младенчества народов служила она к тому, чтобы вызывать на битву народы, возбуждая в них браннолюбивый дух, так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за нашу душу, которую сам небесный творец наш считает перлом своих созданий. Много предстоит теперь для поэзии — возвращать в общество того, что есть истинно прекрасного, и что изгнано из него нынешней бессмысленной жизнью. Нет, не напомним они уже никого из наших прежних поэтов. Самая речь их будет другая; она будет ближе и родственней нашей русской душе. Еще в ней слышней выступят наши народные начала. Еще не бьет всей силой кверху тот само-

родный ключ нашей поэзии, который уже кипел и бил в груди нашей природы тогда, как и самое слово поэзия не было ни на чьих устах. Еще никто не черпал из самой глубины тех трех источников, о которых упомянуто в начале этой статьи. Еще доселе загадка — этот необъяснимый разгул, который слышится в наших песнях, несется куды-то мимо жизни и самой песни, как бы сгораемый желаньем лучшей отчизны, по которой тоскует со дня создания своего человек. Еще ни в ком не отразилась вполне та многосторонняя поэтическая полнота ума нашего, которая заключена в наших многоочитых пословицах, умевших сделать такие великие выводы из бедного, ничтожного своего времени, где в таких тесных пределах и в такой мутной луже извращивался русской человек, и которые говорят только о том, какие огромные выводы может сделать нынешний русский человек из нынешнего широкого времени, в которое нанесены итоги всех веков и, как не разобранный товар, сброшены в одну беспорядочную кучу. Еще тайна для многих этот необыкновенный лиризм — рожденье верховной трезвости

ума, — который исходит от наших церковных песней и канонов и покуда так же безотчетно возносит дух поэта, как безотчетно подмывают его сердце родные звуки нашей песни. Наконец, сам необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь, обогащаться ежеминутно, почерпая с одной стороны высокие слова из языка церковно-библейского, а с другой стороны выбирая на выбор меткие названья из бесчисленных своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, недоступной никакому другому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего человека, — язык, который сам по себе уже поэт и который недаром был на время позабыт нашим лучшим обществом: нужно было, чтобы выболтали мы на чужеземных наречьях всю дрянь, какая ни пристала к нам вместе с чужеземным образованием, чтобы все те неясные звуки, неточные названья вещей, — дети

мыслей невыяснившихся и сбивчивых, которые потемняют языки, — не посмели бы по-мрачить младенческой ясности нашего <языка> и возвратились бы мы к нему, уже готовые мыслить и жить своим умом, а не чужеземным. Всё это еще орудия, еще материалы, еще глыбы, еще в руде дорогие металлы, из которых выкуется иная, сильнейшая речь. Пройдет эта речь уже насквозь всю душу и не упадет на бесплодную землю. Скорбью ангела загорится наша поэзия и, ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию, — нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты, и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитания и мнений, скажут в один голос: «Это наша Россия; нам в ней уютно и тепло, и мы теперь действительно у себя дома, под своей

родной крышей, а не на чужбине».

## Светлое воскресенье\*

**В** русском человеке есть особенное участие к празднику светлого воскресенья. Он это чувствует живей, если ему случится быть в чужой земле. Видя, как повсюду в других странах день этот почти не отличен от других дней, — те же всегдашние занятия, та же вседневная жизнь, то же будничное выражение на лицах, — он чувствует грусть и обращается неволью к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот день, и сам человек радостней и лучше, нежели в другие дни, и самая жизнь какая-то другая, а не вседневная. Ему вдруг представятся — эта торжественная полночь, этот повсеместный колокольный <звон>, который как всю землю сливает в один гул, это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот день все другие приветствия, этот поцелуй, который только раздается у нас, — и он готов почти воскликнуть: «Только в одной России празднуется этот день так, как ему следует праздноваться!» Разумеется, всё это мечта; она ис-



чезнет вдруг, как только он перенесется на самом деле в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день какой-то полусонной беготни и суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, вместо радостных встреч, — если ж и встреч, то основанных на, самых корыстных расчетах; что честолюбие кипит у нас в этот день еще больше, чем во все другие, и говорят не о воскресеньи Христа, но о том, кому какая награда выйдет, и кто что получит; что даже и сам народ, о котором идет слава, будто он больше всех радуется, уже пьяный попадает на улицах, едва только успела кончиться торжественная обедня, и не успела еще заря осветить земли. Вздохнет бедный русской человек, если только всё это припомнит себе и увидит, что это разве только карикатура и посмеянье над праздником, а самого праздника нет. Для проформы только какой-нибудь начальник чмокнет в щеку инвалида, желая показать подчиненным чиновникам, как нужно любить своего брата, да какой-нибудь отстаый патриот, в досаде на молодежь, которая бранит старинные русские наши обычаи,

утверждая, что у нас ничего нет, прокричит гневно: «У нас всё есть — и семейная жизнь, и семейные добродетели, и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг свой исполняем мы так, как нигде в Европе; и народ мы на удивленье всем».

Нет, не в видимых знаках дело, не в патристических возгласах и не в поцелуе, данном инвалиду, но в том, чтобы в самом деле взглянуть в этот день на человека, как на лучшую свою драгоценность, — так обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться, как бы своему наилучшему другу, с которым несколько лет не видались и который вдруг неожиданно к нам приехал. Еще сильнее! еще больше! потому что узы, нас с ним связывающие, сильнее земного кровного нашего родства, и породнились мы с ним по нашему прекрасному небесному отцу, в несколько раз нам ближайшему нашего земного отца, и день этот мы — в своей истинной семье, у него самого в дому. День этот есть тот святой день, в который празднует святое, небесное свое братство всё человечество до единого, не исключив из него ни од-

ного человека.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять всё человечество, как братьев, сделалось любимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать всё человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы всё было общее — и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно восприздновать этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движеньям! Но на этом-то са-

мом дне, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата — он его не обнимет. Всё человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, — он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше всех других требующий сострадания к себе, — он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбили его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видал в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века, я часто именно тот

самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершенный христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, наместо того, чтобы призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане!

Нет, не воспрядновать нынешнему веку светлого праздника так, как ему следует воспрядноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие, имя ему — *гордость*. Она была известна и в прежние веки, но то была гордость более ребяческая, гордость своими силами физическими, гордость богатствами своими, гордость родом и званием, но не доходила она до того страшного духовного развития, в каком предстала теперь. Теперь явилась она в двух видах. Первый вид ее — гордость чистотой своей.

Обрадовавшись тому, что стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в чистоту и красоту свою. Никто не стыдится хвастаться публично душевной красотой своей и считать себя лучшим других. Стоит только приглядеться, каким рыцарем благородства выступает из

нас теперь всяк, как беспощадно и резко судит о другом. Стоит только прислушаться к тем оправданиям, какими он оправдывает себя в том, что не обнял своего брата даже в день светлого воскресенья. Без стыда и не дрогнув душой, говорит он: «Я не могу обнять этого человека: он мерзок, он подл душой, он запятнал себя бесчестнейшим поступком; я не пущу этого человека даже в переднюю свою; я даже не хочу дышать одним воздухом с ним; я сделаю крюк для того, чтобы объехать его и не встречаться с ним. Я не могу жить с подлыми и презренными людьми — неужели мне обнять такого человека, как брата?» Увы! позабыл бедный человек девятнадцатого века, что в этот день нет ни подлых, ни презренных людей, но все люди — братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое. Всё разом и вдруг им позабыто: позабыто, что, может быть, затем именно окружили его презренные и подлые люди, чтобы, взглянув на них, взглянул он на себя и поискал бы в себе того же самого, чего так испугался в других. Позабыто, что он сам может на всяком шагу,

даже не приметив того сам, сделать то же подлое дело, хотя в другом только виде, — в виде, не пораженном публичным позором, но которое, однако же, выражаясь пословицей, есть тот же блин, только на другом блюде. Всё позабыто. Позабыто им то, что, может, оттого развелось так много подлых и презренных людей, что сурово и бесчеловечно их оттолкнули лучшие и прекраснейшие люди и тем заставили пуще ожесточиться. Будто бы легко выносить к себе презренье! Бог весть, может быть, иной совсем был не рожден бесчестным человеком; может быть, бедная душа его, бессильная сражаться с соблазнами, просила и молила о помощи, и готова была облобызать руки и ноги того, кто, подвигнутый жалостью душевной, поддержал бы ее на краю пропасти. Может быть, одной капли любви к нему было достаточно для того, чтобы возвратить его на прямой путь. Будто бы дорогой любви было трудно достигнуть к его сердцу! Будто уже до того окаменела в нем природа, что никакое чувство не могло в нем пошевелиться, когда и разбойник благодарен за любовь, когда и зверь помнит ласкавшую его руку! Но

всё позабыто человеком девятнадцатого века, и отталкивает он от себя брата, как богач отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела до страданий его; ему бы только не видеть гноя ран его. Он даже не хочет услышать исповеди его, боясь, чтобы не поразилось обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты своей. Такому ли человеку восприздновать праздник небесной любви?

Есть другой вид гордости, еще сильнейший первого — гордость ума. Никогда еще не возростала она до такой силы, как в девятнадцатом веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. Всё вынесет человек века: вынесет названье плута, подлеца; какое хочешь дай ему названье, он снесет его — и только не снесет названье дурака. Над всем он позволит посмеяться — и только не позволит посмеяться над умом своим. Ум его для него — святыня. Из-за малейшей насмешки над умом своим он готов сию же минуту поставить своего брата на благородное расстоянье и посадить, не дрогнувши, ему пу-



лю в лоб. Ничему и ни во что он не верит; только верит в один ум свой. Чего не видит его ум, того для него нет. Он позабыл даже, что ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы: в человеке, и стоит без движенья и даже идет назад, когда не возвышаются нравственные силы. Он позабыл и то, что нет всех сторон ума ни в одном человеке; что другой человек может видеть именно ту сторону вещи, которую он не может видеть и, стало быть, знать того, чего он не может знать. Не верит он этому, и всё, чего не видит он сам, то для него ложь. И тень христианского смиренья не может к нему прикоснуться из-за гордыни его ума. Во всем он усумнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в боге усумнится, но не усумнится в своем уме. Уже ссоры и брани начались не за какие-нибудь существенные права, не из-за личных ненавистей — нет, не чувственные страсти, но страсти ума уже начались: уже враждуют лично из несходства мнений, из-за противуречий в мире мысленном. Уже образовались целые партии, друг друга не видевшие, никаких личных сноше-

ний еще не имевшие — и уже друг друга ненавидящие. Поразительно: в то время, когда уже было начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, — дорогой ума, и на крыльях журнальных листов, как всепогубляющая саранча, нападает на сердца людей повсюду. Уже и самого ума почти не слышно. Уже и умные люди начинают говорить ложь противу собственного своего убеждения, из-за того только, чтобы не уступить противной партии, из-за того только, что гордость не позволяет сознаться перед всеми в ошибке — уже одна чистая злоба воцарилась наместо ума.

И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему ли восприздновать этот день? Исчезнуло даже и то наружно-добродушное выражение прежних простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе

к человеку. Гордый ум девятнадцатого века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своем виде. Почуя, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру, какие доселе еще никогда не давались — и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя всё, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священнейшие законы Христа и между тем боятся не исполнить ее малейшего приказанья, дрожа перед нею, как робкий мальчишка. Что значит, что даже и те, которые сами над нею смеются, пляшут, как легкие ветреники, под ее дудку? Что значат эти так называемые бесчисленные приличия, которые стали сильнее всяких корен-

ных постановлений? Что значат эти странные власти, образовавшиеся мимо законных — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а божи помазанники остались в стороне? Люди темные, никому неизвестные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мненьями и мыслями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо, в виду всех, чертит исходящая снизу нечистая сила — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться? Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей сохранять еще наружные святыи обычаи церкви, небесный хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь приходит глуше и глуше скликать в одну семью разошедшихся людей и, грустно окинувши всех, уходит как незнакомый и чу-

жой всем? Всем ли точно он незнаком и чужд? Но зачем же еще уцелели кое-где люди, которым кажется, как бы они светлеют в этот де<нь> и празднуют свое младенчество, — то младенчество, от которого небесное лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное младенчество, которое утратил гордый нынешний человек? Зачем еще не позабыл человек навеки это младенчество, и, как бы виденное в каком-то отдаленном сне, оно еще шевелит нашу душу? Зачем всё это, и к чему это? Будто не известно, зачем? Будто не видно, к чему? Затем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздника, сделалось бы вдруг так грустно, так грустно, как грустно ангелу по небу. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века, но в обычаях вечного века, в один бы день только обнять и обхватить человека, как виноватый друг обнимает великодушного, всё ему простившего друга, хотя бы только затем, чтобы

завтра же оттолкнуть его от себя и сказать ему, что он нам чужой и незнакомый. Хотя бы только пожелать так, хотя бы только насильно заставить себя это сделать, ухватиться бы за этот <день>, как утопающий хватается за доску! Бог весть, может быть, за одно это желанье уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.

Но и одного дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; всё мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Всё глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!

Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует, и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского? Что значит в самом деле, что самый праздник исчез, а видимые признаки его так ясно носятся по лицу

земли нашей: раздаются слова: Христос воскрес! и поцелуй, и всякой раз также торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник светлого воскресенья воспроецируется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а

жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя всё, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья противу сословья и тех озлобленных партий, какие водятся в Европе и которые поставляют препятствие непреодолимое к соединенью людей и братской любви между ними, что есть, наконец, у нас отвага, никому несрод-



ная, и если предстанет нам всем какое-нибудь дело, решительно невозможно ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши, всё позорящее высокую природу человека, то с болью собственного тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли дома свои и земные достатки, так рванется у нас всё сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды — всё бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия — один человек. Вот на чем основываясь, можно сказать, что праздник воскресенья Христова: воспразднуется прежде у нас, чем у других. И твердо говорит мне это душа моя; и это не мысль выдуманная в голове. Такие мысли не выдумываются. Внушеньем божьим порождаются они разом в сердцах многих людей, друг друга не видавших, живущих на разных концах земли, и в одно время, как бы из одних уст, изглашаются. Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и

говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется светлое воскресенье Христово».

# О Современнике и др

## О Современнике\*

### (Письмо к П. А. Плетневу)

Наконец поговорю с тобой о Современнике. Современник вышел плохим журналом, несмотря на прекрасную цель, которую ты имел в виду. Даже эта самая прекрасная цель, во имя которой ты предпринял его, не обнаружилась никому очевидно и ясно из самого журнала; напротив, всяк спрашивал в недоумении друг у друга: «Объясните мне, зачем и для чего издает Плетнев свой журнал? что хочет он сказать им? что значат эти общие места в его программе, эти повторения о беспристрастии, о бескорыстной любви к искусству, о стремлении к истине и т. п., которые обещает всякой журналист и которых не исполняет никто?» Тощее содержание его тоненьких книжек, не живой, безучастный, вялый и неопределенный слог его суждений обо всем современном задавал только загадку решать: зачем он назван Современником. Будем гово-

рить откровенно. У тебя нет качеств журналиста: ни юношеского живого участия ко всем волнениям современным, ни того трепета любопытства к вопросам, раздающимся в массе общества, ни наконец энциклопедического науколюбивого стремления обнимать с равной охотой всё, что ни относится к развитию познаний человеческих во всех родах. Твоя антологическая душа получила только на долю себе один возвышенный дар — услаждаться благоуханьем прекрасных цветов поэзии и обонять аромат высших движений души человеческой. Не певцу Миниха\* и некоторых других прекрасных элегий, свидетельствующих о чистоте вкуса и скромной тишине души самого певца, выступать было на поприще полемическое. Современник даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то, что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозрение в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуман-ные и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники,

обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем сильного желанья издавать этот журнал в нем не было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живей к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека. По смерти Пушкина, пораженный этой скорбной для всех утратой, а для тебя еще

скорбнейшей, чем для всех, пораженный сиротством современного общества, очутившегося без поэзии, как без света, осужденного выслушивать пустые и черствые пренья и споры об искусстве наместо дел самого искусства, пораженный этим сиротством, которое, впрочем, началось уже и при Пушкине, ты взялся горячо за издание журнала, стремясь насильно создать ту поэтическую Элладу, которая образовалась сама собой в начале поприща Пушкина. В пылу великодушного увлечения своего ты даже позабыл то, что не мы управляем делами и событиями, но чертится свыше всему черед свой. Ты даже не заметил того, что имел такую цель, которой ни в каком случае нельзя было достигнуть листками периодического ежемесячного издания. Современник как журнал не удался бы даже и тогда, если бы ты заключал в себе все качества журналиста. Признаюсь, я даже не могу и представить себе, чем может быть нужно нынешнему времени появление нового журнала. Это энциклопедическое образование публики посредством журналов уже не так теперь потребно, как было прежде. Пуб-

лика уже более приготовлена. Уже всё зовёт ныне человека к занятиям более сосредоточенным, не только значительность современных вопросов, но даже самая пустота современного общества и легковесная ветреность дел его приглашают ныне человека взглянуть строго на самого себя, спросить с большей отчетливостью свои силы и определить себе труд не временный, минутный, но тот живительный и полный, который ответствен одним тем способностям, которыми своеобразно наделен из нас каждый уже от самого рождения своего. Никакой новый журнал не может дать теперь обществу пищи питательной и существенной. Современник должен отбросить от себя название журнала; он должен сжаться по-прежнему в книги наместо листов и более еще, чем при Пушкине, походить на альманах: он должен скорей напомнить собой Северные цветы\* барона Дельвига, с которым было у тебя так много сходства в уменья нас<ла>ждаться и нежиться благоуханными звуками поэзии. Пусть лучше будет выходить он три раза всякой год в урочные времена: первый раз ко дню светлого воскресенья, как

светлый подарок на праздник, во второй раз к 1-му октября, то есть ко времени, когда все съезжаются у нас из дач и деревень в города, в третий раз — к новому году. Словом — пусть он будет современен тем эпохам, когда с большей жадностью встречается новая книга. Всё собственно журнальное в нем не должно иметь места: ни возвещенья о новостях ежедневных, ни политические известия, ни наименования всех выходящих книг, разве только один строгий отчет о замечательнейших из них за всю треть в таком виде, чтоб он сам собой мог уже составить замечательную литературную статью. Нужно, чтобы здесь ничто не поминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в литературе и существует журнальная полемика. Самые статьи должны быть допущены сосредоточенные, полные, которые ничем не походили бы на торопливые, отрывочные статьи журналов. Нужно, чтобы здесь были одни лучшие цветы современной нашей литературы. Этого можно достигнуть только таким изданием, которое будет выходить не более трех раз в год: в три месяца можно набрать книжку. Современ-



менное нам время, слава богу, не без талантов. Часть прозаическая альманаха может быть теперь гораздо значительней и богаче, чем когда-либо прежде. Поименуем нарочно тех современных писателей, статьями которых может украситься Современник. Прежде всего следует назвать графа Соллогуба\*, который бесспорно есть нынешний наш лучший повествователь. Никто не щеголяет таким правильным, ловким и светским языком. Слог его точен и приличен во всех выражениях и оборотах. Остроты, наблюдательности, познаний всего того, чем занято наше высшее модное общество, у него много. Один только недостаток: не набралась еще собственная душа автора содержания более строгого и не доведен еще он своими внутренними событиями к тому, чтобы строже и отчетливей взглянуть вообще на жизнь. Но, если и это в нем совершится, он будет вполне верный живописец лучшего общества; значительность творений его выиграет больше чем сто на сто. Непосредственно за ним следует назвать другого писателя, который скрыл свое имя под вымышленным: козак Луганский\*. Он не поэт,

не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремленья производить творческие со-здания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Всё у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизамательнейшая повесть. По мне он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса и своеобразью моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России. Всё,

что ни достанет он из своей многовмещающей памяти и что ни расскажет достоверным языком своим, будет драгоценным подарком, для твоего альманаха. Я не знаю, почему замолчал Н. Павлов\*, писатель, который первыми тремя повестями своими получил с первого раза право на почетное место между нашими прозаическими писателями и который повредил себе только тем, что, не захотевши быть самим собой, вздумал копировать (в трех новых повестях своих) тех модных нувеллистов, которые гораздо его ниже. Он мог бы всегда, не прибегая ни к напряженным вымыслам поэтическим, ни к мозаичным искусственным украшениям речи, так изуродовавшим благородный и ясный слог его, взять на выдержку первое психологическое явление нашего общества и рассказать его так отчетливо и умно, что повесть его имела бы все принадлежности тех строгих классических произведений, которые остаются навсегда образцами в литературе. Я вижу тоже много достоинств в писателе, который подписывает под своими сочинениями имя: Кулиш\*. Цветистый слог и большое познание

нравов и обычаев Малой России говорят о том, что он мог бы прекрасно написать историю этой земли. Он мог бы еще с большим успехом составить живые статьи для альманаха и в них рассказать просто о нравах и обычаях прежних времен, не вставляя этого в повесть или драматический рассказ, подобно тому, как некогда рассказывал Корнилович\* о временах до Петра и при Петре. Роман же его, довольно любопытный по частям, вял и скучен в целом: эти драгоценные перлы сведений исторических, которые рассыпаны на страницах его, погибают там совершенно бесплодно. Мне сказывали, что вообще в последнее время *повесть* сделала у нас успех, и несколько молодых писателей показали особенное стремление к наблюдению жизни действительной. Из того, что удалось прочесть мне самому, я заметил также тому признаки, хотя постройка самих повестей мне показалась особенно неискусна и неловка; в рассказе заметил я излишество и многословие, а в слоге отсутствие простоты. Но я уверен, что если в каждом из этих писателей прежде сформируется человек, чем писатель — все

прочее придет само собою, и каждый из них, обнаруживая еще сильнее особенности пера своего, не покажет ни одного из этих недостатков. Не могу не упомянуть о писателе, выступившем на литературное поприще драмою *Смерть Ляпунова*\*. Не имея в себе полной зрелости строения драматического, которое доступно одним только опытным драматургам, драма эта имеет в себе много тех достоинств, которые пророчат в творце ее писателя замечательного. Слышать живость минувшего и уметь заговорить о нем таким живым языком — это свойство великое! Я бы на его месте так и впился в русские летописи и ни на миг не оторвался бы от этого чтения. Он может много извлечь оттуда прекрасных предметов. Почему знать, может быть, от такого чтения родилась бы в нем благословенная мысль написать правдивую историю времени, его преимущественно поразившего. Вполне историческое произведение, исполненное писателем, умеющим так живо чувствовать исторические характеры, и написанное таким живым пером, будет в несколько раз значительней исторических драм. Кстати о мо-

лодых и начинающих писателях: мне бы очень хотелось, чтобы ты отыскал Прокоповича\* и умел склонить его взяться за перо повествователя. Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у всех других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, всё изливалось у него непринужденно-обильно, всё доставалось ему легко и пророчило в нем плодовицейшего романиста. Он задремал теперь, я это знаю; он дал заснуть в себе желанию действовать на поприще просторном, самый круг его стал тесен и перед ним мало жизненного поля для наблюдений. Но жизнь везде жизнь, и чем меньше ее простор и теснее ее круг, тем основательней и глубже он может быть нами исследуем и проникнут. Уже самая своя собственная душевная повесть, предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека на животное-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа. Какой бы праздник был душе мо-

ей, если бы я встретил в Современнике повесть, под которою было бы подписано его имя! Что же касается до меня самого, то я по-прежнему не могу быть работящим и ревностным вкладчиком в твой Современник. Ты уже сам почувствовал, что меня нельзя назвать писателем в строгом классическом смысле. Из всех тех, которые начали писать со мною вместе, еще в лета моего школьного юношества, у меня менее, чем у всех других, замечались те свойства, которые составляют необходимые условия писателя. Скажу тебе, что даже в самых ранних помышлениях моих о будущем поприще моем, никогда не представлялось мне поприще писателя. Столкнулся я с ним почти нечаянно. Некоторые мои наблюдения над некоторыми сторонами жизни, мне нужными для дела душевного, издавна меня занимавшего, были виной того, что я взялся за перо и вздумал преждевременно поделиться с читателем тем, чем мне следовало поделиться уже потом, по совершении моего собственного воспитанья. Мне доставалось трудно всё то, что достается легко природному писателю. Я до сих пор, как ни бьюсь, не

могу обработать слог и язык свой, первые необходимые орудия всякого писателя: они у меня до сих пор в таком неряшестве, как ни у кого даже из дурных писателей, так что над мной имеет право посмеяться едва начинающий школьник. Всё мною написанное замечательно только в психологическом значении, но оно никак не может быть образцом словесности, и тот наставник поступит неосторожно, кто посоветует своим ученикам учиться у меня искусству писать или подобно мне живописать природу: он заставит их производить карикатуры. Доказательство этому можешь видеть на некоторых молодых и неопытных подражателях моих, которые именно через это самое подражание стали несравненно ниже самих себя, лишив себя своей собственной самостоятельности. У меня никогда не было стремленья быть отголоском всего и отражать в себе действительность, как она есть вокруг нас, — стремленья, которое тревожит поэта во всё продолженье его жизни и умирает в нем только с его собственной смертью. Я даже не могу заговорить теперь ни о чем, кроме того, что близко моей



собственной душе. Итак, если я почувствую, что чистосердечный голос мой будет истинно нужен кому-нибудь, и слово мое может принести какое-нибудь внутреннее примиренье человеку, тогда у тебя в Современнике будет моя статья; если ж нет — ее не будет. И ты на меня за это никак не гневайся. Я здесь не упомянул также ни об одном из тех современных прозаических писателей наших, которые, будучи заняты собственными изданиями или же сидя над трудами более отвлеченными, требующими полного внимания, не имеют ни возможности, ни досуга поработать для твоего Современника. Их не следует и беспокоить. Здесь кстати я должен тебя побранить. Ты был несправедлив, приписывая безучастное невнимание многих литераторов к твоему журналу их равнодушию к общему делу, нелюбви к искусству, деньголюбию и т. п. У всякого есть свое внутреннее дело; у всякого совершается в душе свое собственное событие, на время его отвлекающее от участия в деле общем; и никак нельзя требовать, чтобы другой жертвовал собой и своей собственной целью для какой-нибудь нами любимой мыс-

ли или нашей цели, к которой мы предположили себе стремиться. Каждому определяет бог дорогу, непохожую на ту, которую назначено проходить другому, и нельзя мерять всех одним и тем же аршином. А потому уважай и самый отказ другого даже и тогда, если бы он не захотел объявить причины, почему не может дать статьи в Современник. Довольствуйся тем, что дадут. Если только одни поименованные мною писатели дадут статьи свои, то и этого уже будет достаточно. Но я знаю, что дадут еще и другие, которых я не назвал. Вопреки людям, жалующимся на недостаток талантов в нынешнее время, я вижу их теперь гораздо больше, чем когда-либо прежде. Они не попали на свою дорогу. Еще никто из них не умел стать самим собой и это причина их неприметности; но многие из них уже болеют этим желанием, хотя и не знают, как удовлетворить ему. Стремление узнать назначенье свое есть теперь страдание многих людей, одаренных способностями. Оно-то есть настоящая, истинная причина дремоты и бездейственности на поприще литературном.

Стихотворная часть Современника может быть также весьма богата, не взирая на то, что, по-видимому, в современном обществе угаснуло расположение к поэзии. Слава богу, еще здравствует сам патриарх нашей поэзии: еще небо хранит нам Жуковского. В награду за безукоризненную, чистую жизнь ему одному из всех нас дано почувствовать свежесть молодости в старческие лета и силу юноши для дела поэтического. Его нынешние труды далеко полновесней и значительней прежних. Не нужно судить о нем по тем стихотворным сказкам и повестям, которые были помещены в последнее время в Современнике\*. Они не могли и не должны были произвести никакого впечатленья на общество, и нечего удивляться, что общество, оценивая всякое новое произведение относительно своих собственных потребностей душевных, ища в нем ответа на тревожные исканья свои, назвало эти стихотворенья *ребячеством Жуковского*. Они, точно, назначены для малолетних детей. Повести и сказки эти должны были выйти особой книжкой под названьем: *Подарок детям от Жуковского*. Он сделал ошибку, по-

славши их в журнал. Я говорил это ему тогда же, советуя или ничего не посылать или посылать то, что пришлось бы по душе взрослому человеку. Но теперь я знаю, что он пришлет тебе в Альманах который-нибудь из тех перлов, которые выработались во глубине его собственной души, где в последнее время так много произошло прекрасного. Еще, слава богу, здравствуют два другие первоклассные наши поэты: князь Вяземский и Языков, и могут подарить Современник новыми, дотоле не раздававшими<ся> от них звуками, — звуками, исторгнутыми из выстрадавшегося сердца, песнями самой души, уже набравшейся строгого содержания высшей поэзии. Самые наши молодые, недавно показавшиеся поэты, которых я здесь не называю по именам, которые показали покуда одно благозвучие, легкость и щегольство стихосложения, но еще не показали истинных и верных ощущений своих, могут заговорить струнами поэзии, более нам близкой. Поэзия есть чистая исповедь души, а не порождение искусства или хотенья человеческого; поэзия есть правда души, а потому и всем равно может быть доступна. Спо-

способность вымысла и творчества есть слишком высокая способность и дается одним только всемирным гениям, которых появление слишком редко на земле; опасно и вступить на этот путь другому. Многие даже из первокласснейших талантов становились ниже себя, зашедши в область вымысла, но высоко возвышались даже и небольшие таланты, когда событиями собственной души своей были наведены на то, чтобы передавать одну чистую правду души. Приспевает время, когда жажда исповеди душевной становится сильнее и сильнее. Много поэтических звуков издадут даже и те, которые не помышляли быть поэтами; много прекрасных цветков, много драгоценных вкладов нанесут к тебе со всех сторон в твой Современник. Ты сам, хотя уже давно не пробовал звуков оставленной и позабытой тобою лиры, примешься за нее вновь. Ты, верно, испытал в это время тоже не мало скорбных минут и никем не услышанного горя, твоя душа, верно, томилась также желаньем передать и объяснить себя, искала друга, которому могло бы быть доступно тяжкое состоянье ее, и, не найдя его нигде,

обратилась наконец к тому родному всем нам существу, которое одно умеет принимать любовно на грудь к себе тоскующего и скорбящего и к которому наконец все живущее обратится. Припомни же все эти минуты, как минуты скорбей, так и минуты высших утешений, тебе ниспосланных; передай их, изобрази в той правде, в какой они были. Тебе помогут слезы умиления и растроганные чувства признательной души твоей; они помогут тебе передать с такой силой, с какой не сумеет передать их великий, владеющий чародейством вымысла, но еще не выстрадавший поэт. Современник тогда оправдает данное ему название, но оправдает его в другом — высшем смысле: он будет современен всем высшим минутам русского писателя и человека. Он тогда ближе приблизится к той <цели>, которая доселе так отдаленно и неясно представлялась в твоих мыслях: он соединит эстетическим союзом прекрасного братства всех пишущих. Один только ты в России можешь предпринять и выполнить такое издание, потому что один только ты питал о нем постоянную мысль, один только ты не имел в виду

денежных интересов и вознаграждений за труды, один ты безотчетно питал чистую, младенческую любовь к искусству, сделавшую тебя другом лучших поэтов наших и превратившую для тебя самое искусство в твое собственное, как бы родное и семейственное дело. Стало быть, одному только тебе может быть вверено такое издание. Оно должно быть роскошно; оно должно быть во всех отношениях драгоценным подарком: печататься со всей возможной типографической роскошью, украситься лучшими гравюрами и виньетами, какие могут только быть произведены у нас в России (граверов выбери русских, иностранцев сюда не вмешивай). Меру книгам дай небольшую, немного чем побольше Северных цветов, словом — чтобы и по достоинству и по виду издание походило на драгоценность. Всё это можешь исполнить один только ты, потому что, не имея в виду пользоваться доходами с него для своего собственного содержания и прокормленья, ты можешь всё употребить на красоту самого издания и таким образом доставить хлеб бедным художникам нашим, которым приходит-

ся иногда претерпевать горькую чашу.

Итак, если всё это, что я теперь сказал, пришлось тебе по сердцу, то, благословясь, приступай с богом к составленью первой книжки Современника ко времени наступающего праздника светлого воскресения 1847 года, а письмо мое поставь первой статьей в виде программы или вступленья в самую книгу. До того же времени дай его прочесть всем тем, от которых ты пожелал бы иметь статью. Как ни слабо и ни поверхностно оно написано, но я уверен, что по прочтеньи его всяк согласится вместе с тобой и со мной в необходимости такого издания в России и, верно, даст тебе наилучшее из своих произведений. В газетных листах ты можешь объявить о нем только немногими словами — именно, что Современник будет выходить в трех книгах в означенные сроки; прибавь к этому одни только имена тех, которых статьи будут помещены — этого достаточно. Пусть лучше всё остальное, как достоинство статей, так и роскошь самого издания, будет приятной неожиданностью для каждого читателя.



## Авторская исповедь\*

Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как Выбранные места из переписки с друзьями. И что всего замечательней, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк наперерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложеньем. Как, однако же, ни были потрясающи и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть всё и воспользоваться этим случаем, как указанием свыше — рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мненьями, осужденьями и упреками, уверяясь, чем далее, более, что если только истре-

бишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние всё выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон, словом — тот всеми искомый средний голос, который недаром называют гласом народа и гласом Божиим. Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определено считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения: первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возмнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на вниманье всей России и может преобразовывать целое общество; второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщенье человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался; третье, что книга есть произведе-

ние христианина, глядящего с верной точки на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо *отчасти*, никак не может быть справедливо *вполне*. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке; прежде всего желанье добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро; сознание искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах, желанье искреннее учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других; смирение и рядом с ним гордость, и, может быть, гордость в самом смирении; упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия и всё, что таит внутри человек, выступи-

ло внаружу, с той еще разницей, что завопило это крикливей и громче, как в писателе, у которого всё, что ни есть в душе, просится на свет, ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь.

Но к этому заключению, может быть, более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее, всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влияньем страха смерти своей, который преследовал меня во всё время болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон, мне несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочиненья моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел

неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состоянья. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим; другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя, в речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшиеся и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неуменье выражаться, принадлежности не вполне организовавшегося писателя, всё это споспешествовало то-

му, чтобы сбить не одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений невпопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противоположною причиною; где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничиженьем то, что было вовсе не уничиженьем. А что главное всего: не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в сужденьях своих о моей книге всякой выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого.

Сделаю вскользь замечанья два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам, совершенно ясным, и, остановившись над двумя, тремя местами,

стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух, трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного — это показалось мне очень странно, тем более, что я полжизни думал сам о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовав, что нужно быть очень умну для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастырей церкви полезней и нужней для мужика всего того, что может сказать ему наш брат писатель. Сколько я себя ни помню, я всегда стоял за просвещение народное, но мне казалось, что еще прежде, чем просвещение самого народа, полезней просвещение тех, которые имеют ближайшие столкновения с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим вниманья к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло

из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую, грамотность, вредит всем, затем, чтобы жить на счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходи<мыми> книги умных писателей, которые, почувствовав сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающийся в наставлениях писателя. Тоже не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках, на меня нападавших, есть много справедливого, вывели заключения, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу. [17] Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда\* останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках



моих литературных я заговорил, потому что пришлось кстати, по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей! Не менее странно также — из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный <путь?> совершенствования человеческого. И прежде и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если, при этой похвальной жадности знать чужеземное, упустишь из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра, собьют, спутают и разбросают мысли, наместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знания <можно> почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде, чем вводить что-либо но-

вое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое; иначе применение самого благодетельнейшего открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом.

Словом, все эти односторонние выводы людей умных и притом таких, которых я во все не считал односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположеньи, когда читал мою книгу; что уже вперед установилось какое-то предубежденье, прежде чем она явилась в свет, и всякой глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо всё то, что способно опровергнуть предубежденье, а самого читателя успокоить. Сила эта странного раздраженья была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и приписывали ему рецепты от умственного расстройства. Не

могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди также умные, и притом не раздраженные, превозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового, что же и ново в ней, то ложь, а не истинно. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь; в ней есть изливянье и души и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказывать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблужденье, как и всякой человек, могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь; но назвать всё, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя, как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства, ему одному принадлежащие, — исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было,

но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произнести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к охуденью себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какою был произнесен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего — в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы кого-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порок, в котором только что попрекнули своего брата; как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность; как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснис-

ходительны и придиричивы сами. Благороден по крайней мере тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится, хоть бы в глазах всего света, сказать, что он ошибся. Но довольно. Вовсе не затем, чтобы защищать себя с нравственных сторон моих, я подаю теперь голос. Нет, я считаю обязанностью отвечать только на тот запрос, который сделан мне почти единоустно от лица читателей всех моих прежних сочинений, — запрос: зачем я оставил тот род и то поприще, которое за собою уже утвердил, где был почти господин, и принял-ся за другое, мне чуждое?

Чтобы отвечать на этот запрос, я решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства, чтобы дать возможность всякому справедливее осудить меня, чтобы увидал читатель, переменял ли я поприще свое, умничал ли сам от себя, желая дать себе другое направление, или и в моей судьбе так же, как и во всем, следует признать участие того, кто располагает миром не всегда сообразно тому, как нам хочется, и с которым трудно бороться человеку. Может быть, эта чистосердечная повесть моя

послужит объяснением хотя некоторой части того, что кажется такой необъяснимой загадкой для многих, в недавно вышедшей моей книге. Если бы случилось так, я был бы этому истинно рад, потому что вся эта странная история меня утомила сильно, и мне не легко самому от этого вихря недоразумений.

Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще. Знаю только то, что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано, в те поры, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал, просто, что я выслужусь и всё это доставит служба государственная. От этого страсть служить была у меня в юности очень сильна. Она пребывала неотлучно в моей голове впереди всех моих дел и занятий. Первые мои опыты, первые упражненья в сочиненьях, к которым я получил навык в последнее время пребывания мо-

его в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим, хотя, несмотря на мой меланхолической от природы характер, на меня часто находила охота шутить и даже надоедать другим моими шутками; хотя в самых ранних суждениях моих о людях находили умение замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так мелкие и смешные. Говорили, что я умею не то что передразнить, но *угадать* человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать, с удержаньем самого склада и образа его мыслей и речей. Но всё это не переносилось на бумагу, и я даже вовсе не думал о том, что сделаю со временем из этого употребление.

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая

происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с годами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно. Он уже давно склонял меня приняться за большое сочинение и наконец, один раз, после того, как я ему прочел одно небольшое изображение небольшой сцены, но которое, однако ж, поразило его больше всего мной прежде читанного, он мне сказал: «Как с этой способ-



ностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью, не приняться за большое сочинение! Это, просто, грех!» Вслед за этим начал он представлять мне слабое мое сложение, мои недуги, которые могут прекратить мою жизнь рано; привел мне в пример Сервантеса, который, хотя и написал несколько очень замечательных и хороших повестей, но если бы не принялся за Донкишота, никогда бы не занял того места, которое занимает теперь между писателями, и, в заключение всего, отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то в роде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет Мертвых душ. (Мысль Ревизора принадлежит также ему). На этот раз и я сам уже задумался сурьезно, — тем более, что стали приближаться такие года, когда сам собой приходит запрос всякому поступку: зачем и для чего его делаешь? Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем. Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно и над тем, что действительно достой-

но осмеянья всеобщего. В Ревизоре я решился собрать в одну кучу всё дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, какие делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над всем. Но это, как известно, произвело потрясающее действие. Сквозь смех, который никогда еще во мне не появлялся в такой силе, читатель услышал грусть. Я сам почувствовал, что уже смех мой не тот, какой был прежде, что уже не могу быть в сочиненьях моих тем, чем был дотоле, и что самая потребность развлекать себя невинными, беззаботными сценами окончилась вместе с молодыми моими летами. После Ревизора я почувствовал, более нежели когда-либо прежде, потребность сочиненья полного, где было бы уже не одно то, над чем следует смеяться. Пушкин находил, что сюжет М<ертвых> д<уш> хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров. Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, не давши себе отчета, что та-

кое именно должен быть сам герой. Я думал просто, что смешной проект, исполнением которого занят Чичиков, наведет меня сам на разнообразные лица и характеры; что родившаяся во мне самом охота смеяться создаст сама собою множество смешных явлений, которые я намерен был перемешать с трогательными. Но на всяком шагу я был останавливаем вопросами: зачем? к чему это? что должен сказать собою такой-то характер? что должно выразить собою такое-то явление? Спрашивается: что нужно делать, когда приходят такие вопросы? Прогонять их? Я попробовал, но неотразимые вопросы стояли передо мною. Не чувствуя существенной надобности в том и другом герое, я не мог почувствовать и любви к делу изобразить его. Напротив, я чувствовал что-то в роде отвращения: всё у меня выходило натянуто, насильно и даже то, над чем я смеялся, становилось печально.

Я увидел ясно, что больше не могу писать без плана, вполне определительного и ясного, что следует хорошо объяснить прежде самому себе цель сочиненья своего, его существенную полезность и необходимость, вследствие

чего сам автор возгорелся бы любовью истинной и сильной к труду своему, которая живо творит всё и без которой не идет работа. Словом, чтобы почувствовал и убедился сам автор, что, творя творенье свое, он исполняет именно тот долг, для которого он призван на землю, для которого именно даны ему способности и силы, и что, исполняя <его>, он служит в то же самое время так же государству своему, как бы он действительно находился в государственной службе. Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменял множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я еще не знал тогда, как много мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не забывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный че-

ловек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, — нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином, во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то, что сторал действительно желаньем служить честно. Но как только я почувствовал, что на поприще писателя могу сослужить также службу государственную, я бросил всё: и прежние свои должности, и Петербург, и общества близких душе моей людей, и самую Россию, затем, чтобы вдали и в уединении от всех обсудить, как это сделать, как произвести таким образом свое творенье, чтобы доказало оно, что я был также гражданин земли своей и хотел служить ей. Чем более обдумывал я свое сочинение, тем более чувствовал, что оно может действительно принести пользу. Чем более я обдумывал мое сочинение, тем более видел, что не случайно

следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатлелись истинно русские, коренные свойства наши. Мне хотелось в сочинении моем выставить преимущественно те высшие свойства русской природы, которые еще не всеми ценятся справедливо, и преимущественно те низкие, которые еще недостаточно всеми осмеяны и поражены. Мне хотелось сюда собрать одни яркие психологические явления, поместить те наблюдения, которые я делал издавна сокровенно над человеком, которые не доверял дотоле перу, чувствуя сам незрелость его, которые, быв изображены верно, послужили бы разгадкой многого в нашей жизни, словом — чтобы, по прочтении моего сочиненья, предстал как бы невольно весь русский человек, со всем разнообразьем богатств и даров, доставшихся на его долю, преимущественно перед другими народами, и со всем множеством тех недостатков, которые находятся в нем, также преимущественно пред всеми другими народами. Я думал, что лирическая сила, которой у меня был запас, поможет мне изобразить так

эти достоинства, что к ним возгорится любовью русской человек, а сила смеха, которого у меня также был запас, поможет мне так ярко <изобразить> недостатки, что их возненавидит читатель, если бы даже нашел их в себе самом. Но я почувствовал в то же время, что всё это возможно будет сделать мне только в таком случае, когда узнаешь очень хорошо сам, что действительно в нашей природе есть достоинства и что в ней действительно есть недостатки. Нужно очень хорошо взвесить и оценить то и другое и объяснить себе самому ясно, чтобы не возвести в достоинство того, что есть грех наш, и не поразить смехом вместе с недостатками нашими и того, что есть в нас достоинство. Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор, как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным, — тем более, что он заразите-

лен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже, во след за ним, тот, кто, потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время всё современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Всё, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустытника, меня занимало,



и на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он. Поверкой разума поверил я то, что другие понимают ясной верой и чему я верил дотолé как-то темно и неясно. К этому привел меня и анализ над моею собственной душой: я увидел тоже математически ясно, что говорить и писать о высших чувствах и движениях человека нельзя по воображенью: нужно заключить в себе самом хотя небольшую крупицу этого, словом — нужно сделаться лучшим. Это может показаться довольно странным, особенно для тех, которые получили в юности совершенно оконченное и полное воспитание. Но надобно сказать, что я получил в школе воспитанье довольно плохое, а потому и не мудрено, что мысль об ученьи пришла ко мне в зрелом возрасте. Я начал с таких первоначальных книг, что стыдился даже показывать и скрывал все свои занятия. Я наблюдал над собой, как учитель над учеником, не в книжном ученьи, но и в простом нравствен-

ном, глядя на себя самого, как на школьника. Я поместил кое-что из этих проделок над самим собою в книге моих писем, вовсе не затем, чтобы пощеголять чем-нибудь (да и не знаю, чем тут щеголять), но из желанья добра: авось кому-нибудь принесет это пользу: я был уверен, что много, подобно мне, воспитались в школе плохо и потом, подобно мне, спохватились, желая искренно себя поправить. Я часто слышал, как многие жаловались, что не могут отстать от дурных привычек, при всем желаньи своем отстать от них. Я и поместил это, кое-как приспособивши к другому, и поместил это я не иначе, как увидевши на опыте, что многое из этого уже пришло в пользу некоторым людям, которых я знал. В ответ же тем, которые попрекают мне, зачем я выставил свою внутреннюю клеть, могу сказать то, что все-таки я еще не монах, а писатель. Я поступил в этом случае так, как все те писатели, которые говорили, что было на душе. Если бы и с Карамзиным случилась эта внутренняя история во время его писательства, он бы ее также выразил. Но Карамзин воспитался в юношестве. Он образовался

уже как человек и гражданин, прежде чем выступил на поприще писателя. Со мной случилось иначе. Я не считал ни для кого соблазнительным открыть публично, что я стараюсь быть лучшим, чем я есть. Я не нахожу соблазнительным томиться и стогать явно, в виду всех, желаньем совершенства, если сходил за тем сам сын божий, чтобы сказать нам всем: «Будьте совершенны так, как совершенен отец ваш небесный». Что же касается до обвинений, будто я, из желанья похвастаться смиреньем, в книге моей показал уничиженье паче гордости, то на это скажу, что ни смиренья, ни уничиженья здесь нет. Пришедшие к этому заключению обманулись сходством признаков. Против<ным> я действительно казался себе самому вовсе не от смиренья, но потому, что в мыслях моих чем далее, тем яснее представлялся идеал прекрасного человека, тот благостный образ, каким должен быть на земле человек, и мне становилось всякой раз после этого противно глядеть на себя. Это не смирение, но скорее то чувство, которое бывает у завистливого человека, который, увидевши в чужих руках вещь

лучшую, бросает свою и не хочет уже глядеть на нее. Притом мне посчастливилось встретить на веку своем, и особенно в последнее время, несколько таких людей, перед душевными качествами которых показались мне мелкими мои качества, и всякий раз я негодовал на себя за то, что не имею того, что имеют другие. Тут нужно обвинять разве завистливую вообще натуру.

Но возвращаюсь к истории. Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще. Всё меня приводило в это время к исследованию общих законов души нашей: мои собственные душевные обстоятельства, наконец обстоятельства внешние, над которыми мы не властны и которые всякой раз обращали меня противовольно вновь к тому же предмету, как только я от него отдалялся. Несколько раз, упрекаемый в недеятельности, я принимался за перо. Хотел насильно заставить себя написать хоть что-нибудь в роде небольшой повести или какого-нибудь литературного сочинения, и не мог произвести ничего. Усилия мои оканчивались почти все-

гда болезнью, страданиями и наконец такими припадками, вследствие которых нужно было надолго отложить всякое занятие. Что мне было делать? Виноват я разве был в том, что не в силах был повторять то же, что говорил или писал в мои юношеские годы? Как будто две весны бывают в возрасте человеческом! И если всяк человек подвержен этим необходимым переменам при переходе из возраста в возраст, почему же один писатель должен быть исключеньем? Разве писатель также не человек? Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был — жизнь, а не что другое. Жизнь я преследовал в ее действительности, а не в мечтах воображения, и пришел к тому, кто есть источник жизни. От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движеньях его, которые пропускаются без вниманья людьми — и я пришел к тому, который один полный ведатель души и от кого одного и мог только узнать полнее душу. Я не успокоился по тех пор, покуда не разрешились мне некоторые

собственные мои вопросы относительно меня самого. И только тогда, когда нашел удовлетворенье в некоторых главных вопросах, мог приступить вновь к моему сочинению, первая часть которого составляет еще поныне загадку, потому что заключает в себе некоторую часть переходного состоянья моей собственной души, тогда как еще не вполне отделилось во мне то, чему следовало отделиться.

Как только кончилось во мне это состояние, и жажда знать человека вообще удовлетворилась, во мне родилось желанье сильное знать Россию. Я стал знакомиться с людьми, от которых мог чему-нибудь поучиться и разузнать, что делается на Руси; старался наиболее знакомиться с такими опытными практическими людьми всех сословий, которые обращены были лицом ко всяким проделкам внутри России. Мне хотелось сойтись с людьми всех сословий и от каждого что-нибудь узнать. Всякой должностной и чем-нибудь занятой человек стал в глазах моих интересен. Прежде всего я хотел определить себе всякую должность, всякое сословие, всякое место и всякое звание в государстве. Мне ка-

залось это необходимым для писателя, который берет людей на разных поприщах. Не держа в собственной голове своей весь долг и всю обязанность того человека, которого описываешь, не выставишь его, как следует, верно и притом так, чтобы он действительно был в урок и в поученье живущему. Из-за этого я старался завести переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщать. Прочих я просил набрасывать легкие портреты и характеры, первые, какие им попадутся. Всё это было мне нужно не затем, чтобы в голове моей не было ни характеров, ни героев: их было у меня уже много; они выработались из познания природы человеческой гораздо полнейшего, чем какое было во мне прежде; но сведения эти мне, просто, нужны были, как нужны этюды с натуры художнику, который пишет большую картину своего собственного сочинения. Он не переводит этих рисунков к себе на картину, но развешивает их вокруг по стенам, затем, чтобы держать перед собою неотлучно, чтобы не погрешить ни в чем против действительности, противу времени, или эпохи, какая им взята.

Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных. Угадывать человека я мог только тогда, когда мне представлялись самые мельчайшие подробности его внешности. Я никогда не *писал* портрета, в смысле простой копии. Я *создавал* портрет, но создавал его вследствие соображенья, а не воображенья. Чем более вещей принимал я в соображение, тем у меня верней выходило создание. Мне нужно было знать гораздо больше, сравнительно со всяким другим писателем, потому что стоило мне несколько подробностей пропустить, не принять в соображение — и ложь у меня выступала ярче, нежели у кого другого. Этого я никак не мог объяснить никому, а потому и никогда почти не получал таких писем, каких я желал. Все только удивлялись тому, как мог я требовать таких мелочей и пустяков, тогда как имею такое воображение, которое может само творить и производить. Но воображение мое до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не созда-



ло ни одной такой вещи, которую где-нибудь не подметил мой взгляд в натуре. Я поместил в книге моей *Переписка с друзьями* несколько писем к помещикам и к разным должностным лицам (из них большая часть не напечатана) вовсе не затем, чтобы со мной безусловно согласились, но чтобы опровергнули меня приведеньем анекдотических фактов. Возраженья такого рода от людей практических и опытных для меня важны тем, что поставляют меня ближе к делу, раскрывая мне глубже внутренность России. Но вместо дел, интересных для всякого русского человека, и наших русских вопросов, занялись моей собственной личностью и исписали целые листы о том, имею ли я право мешаться в подобные дела. Я сделал в то же время воззвание ко всем читателям Мертвых душ, — воззвание несколько неприличное и не весьма ловкое. Я очень знал, что над ним многие посмеются; но я готов был выдержать всякое осмеяние, лишь бы только добиться своего. Я думал, что, может, хоть пять, шесть человек захотят исполнить мою просьбу так, как я желал. Я не требовал собственно поправок на Мертвые

души: мне хотелось, под этим предлогом, добыть частных записок, воспоминаний о тех характерах и лицах, с которыми случилось кому встретиться на веку, изображений тех случаев, где пахнет Русью. Зная, что у всех нас есть какая-то лень на подъемность, на работу, вследствие которых почти всякому из нас трудно что-нибудь доставать из своей памяти, я думал, что чтение Мертвых душ может расшевелить, особенно, если и карандаш и бумага будет при этом под рукой. Я выставил свой адрес и просил прислать мне в письме только тех, которые не захотели бы печатать, но вообще я считал гораздо полезнее сделать их всеобщею известностью. Мне казалось даже необходимым и в нынешнее время это распространение известий о России посредством живых фактов, потому что в это время, которое недаром называют переходным, почти у всякого человека, на всех поприщах, заметно стремление преобразовать, поправлять, исправлять и вообще торопиться средствами противу всякого зла. Я думал, что теперь более, чем когда-либо, нужно нам обнаружить внаружу всё, что ни есть

внутри Руси, чтобы мы почувствовали, из какого множества разнородных начал состоит наша почва, на которой мы все стремимся сеять, и лучше бы осмотрелись прежде, чем произносить что-либо так решительно, как ныне все произносят. Я питал втайне надежду, что чтение Мерт<вых> душ наведет некоторых на мысль писать свои собственные записки, что многие почувствуют даже некоторое обращение на самих себя, потому что и в самом авторе, в то время, когда писаны были Мертвые души, произошло некоторое обращение на самого себя. Я думал, что тот, кто уже находится на склоне дней своих и тревожим мыслью, что жизнь его протекла без пользы, и он сделал мало для общего добра земли своей, почувствует сильнее, что верным и живым изображеньем людей, характеров и случаев своего времени он может познакомить с Русью людей молодых и начинающих действовать и таким образом больше чем вознаградит прекрасно за свою недеятельность. Молодой же, тот, кто вступает еще на поприще, кто еще ни к чему не охладел и потому имеет живость взгляда, кого любо-

пытно занимает всё, может изобразить эпоху современную, как она представляется молодым глазам юноши. Словом, я думал, как дитя; я обманулся некоторыми: я думал, что в некоторой части читателей есть какая-то любовь. Я не знал еще тогда, что мое имя в ходу только затем, чтобы попрекнуть друг друга и посмеяться друг над другом. Я думал, что многие сквозь самый смех слышат мою добрую натуру, которая смеялась вовсе не из злобного желанья. Но на мое приглашение я не получил записок; в журналах мне отвечали насмешками. Привожу всё это затем, чтобы показать, как я употреблял все силы держаться на своем поприще и придумывал все средства, которые могли двинуть мою работу, не имея и в мыслях оставлять звание писателя. Не могу не заметить при этом случае, что многие изъявляли изумление тому, что я так желаю известий о России и в то же время сам остаюсь вне России, не соображая того, что, кроме болезненного состоянья моего здоровья, потребовавшего теплого климата, мне нужно было это удаление от России затем, чтобы пребывать живее мыслью в России.

Для <тех>, которые не могут этого почувствовать, объяснюсь, хотя мне несколько трудно объясняться во всем том, что составляет свойства, собственно мне принадлежащие. Почти у всех писателей, которые не лишены *творчества*, есть способность, которую я не назову воображеньем, способность представлять предметы отсутствующие так живо, как бы они были пред нашими глазами. Способность эта действует в нас только тогда, когда мы отделимся от предметов, которые описываем. Вот почему поэты большею частию избирали эпоху, от нас отделившуюся, и погружались в прошедшее. Прошедшее, отрывая нас <от> всего, что ни есть вокруг нас, приводит душу в то тихое, спокойное настроение, которое необходимо для труда. У меня не было влечения <я> к прошедшему. Предмет мой была современность и жизнь в ее нынешнем быту, может быть, оттого, что ум мой был всегда наклонен к существенности и к пользе, более осязательной. Чем далее, тем более усиливалось во мне желанье быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в

том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает; перо писателя нечувствительно и незаметно переходит в сатиру, притом, находясь сам в ряду других и более или менее действуя с ними, видишь перед собою только тех человек, которые стоят близко от тебя; всей толпы и массы не видишь, оглянуть всего не можешь. Я стал думать о том, как бы выбраться из ряду других и стать на такое место, откуда бы я мог увидеть всю массу, а не людей только, возле меня стоящих, — как бы, отделившись от настоящего, обратить его некоторым образом для себя в прошедшее. Мое расстроившееся здоровье и вместе с ним маленькие неприятности, которые я бы теперь перенес легко, но которых тогда не умел еще переносить, заставили меня подняться в чужие края. Я никогда не имел влечения и страсти: к чужим краям. Я не имел также того безотчетного любопытства, которым бывает снедаем юноша, жадный впечатлений. Но, странное дело, даже в детстве, даже во время

школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвованье и что, именно для службы моей отчизне, я должен буду воспитаться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне, картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может бы<ть>, это было, просто, то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, ехать в чужие: края, единственно затем, чтобы, по выраженью его,

*Под небом Африки моей\**  
*Вздыхать о сумрачной России.*

Как бы то ни было, но это противувольное мне самому влеченье было так сильно, что не прошло пяти месяцев по прибытии моем в Петербург, как я сел уже на корабль, не будучи в силах противиться чувству, мне самому непонятному. Проект и цель моего путе-

шествия были очень неясны. Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться, точно как бы предчувствовал, что узнаю цену России только вне России и добуду любовь к ней вдали от нее. Едва только я очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей (пароход был аглицкий, и на нем ни души русской), мне стало грустно; мне сделалось так жалко друзей и товарищей моего детства, которых я оставил и которых я всегда любил, что прежде, чем вступить на твердую землю, я уже подумал о возврате. Три дни только я пробыл в чужих краях и, несмотря на то, что новость предметов начала меня завлекать, я поспешил на том же самом пароходе возвратиться, боясь, что иначе мне не удастся возвратиться. С тех пор я дал себе слово не питать и мысли о чужих краях, и точно, во все время пребывания моего в Петербурге, в продолжение целых семи лет не приходили мне никогда на мысли чужие края, покамест обстоятельства моего здоровья, некоторые огорчения и наконец потребность большего уединения не заставили меня оставить Рос-



сию.

Два раза я возвращался потом в Россию, один раз даже с тем, чтобы в ней остаться навсегда. Я думал, что теперь особенно, получивши такую страсть узнавать всё, я в силах буду узнать многое. Но, странное дело, среди России я почти не увидал России. Все люди, с которыми я встречался, большею частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. Я узнавал только то, что делается в англиском клубе, да кое-что из того, что я и сам уже знал. Известно, что всякой из нас окружен своим кругом близких знакомых, из-за которого трудно ему увидеть людей посторонних. Во-первых, уже потому, что с близкими обязан быть чаще, а во-вторых, потому, что круг друзей так уже сам по себе приятен, что нужно иметь слишком много самоотверженья, чтобы из него вырваться. Все, с которыми мне случилось познакомиться, наделяли меня уже готовыми выводами, заключениями, а не просто фактами, которых я искал. Я заметил вообще некоторую перемену в мыслях и умах. Всяк глядел на вещи взглядом более философическим, чем когда-либо прежде,

во всякой вещи хотел увидеть ее глубокий смысл и сильнейшее значение, — движенье, вообще показывающее большой шаг общества вперед. Но с другой стороны, от этого произошла торопливость делать выводы и заключения из двух, трех фактов о всем целом и беспрестанная позабывчивость того, что не все вещи и не все стороны соображены и взвешены. Я заметил, что почти у всякого образовывалась в голове своя собственная Россия, и оттого бесконечные споры. Мне нужно было не того, мне нужно было просто таких бесед, как бывали в старину, как всяк рассказывал только то, что видел, слышал на веку, и разговор казался собраньем анекдотов, а не рассуждением. Это мне нужно было уже и потому, что я и сам начинал невольно заражаться этой торопливостью <ю> заключать и выводить, всеобщим поветрием нынешнего времени.

Провинции наши меня еще более изумили. Там даже имя Россия не раздается на устах. Раздавалось, как мне показалось, на устах только то, что было прочитано в новейших романах, переведенных с французского.

Словом — во всё пребыванье мое в России Россия у меня в голове рассеивалась и разлеталась. Я не мог никак ее собрать в одно целое; дух мой упадал, и самое желанье знать ее ослабевало. Но как только я выезжал из нее, она совокуплялась вновь в моих мы<sup>с</sup>лях целой, желанье знать ее пробуждалось во мне вновь, и охота знакомиться со всяким свежим человеком, недавно выехавшим из России, становилась вновь сильна. Во мне рождалось даже уменье выспрашивать, и часто в один час разговора я узнавал то, чего не мог, живя в России, узнать в продолжение недели. Всякий знает, что за границей знакомства делаются гораздо легче, что на водах в Германии и на зимовьях в Италии сходятся люди, которые, может быть, не столкнулись бы никогда внутри земли своей и оставались бы век незнакомыми. Вот что заставило меня предпочесть пребыванье вне России, даже и в отношении <к тому, чтобы> побольше слышать о России. Я очень долго думал о том, каким бы образом узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъездами по государству немного возьмешь, останутся в голо-

ве только станции да трактиры. Знакомства и в городах и деревнях тоже довольно трудны для разъезжающего не по казенной надобности, могут принять за какого-нибудь шпиона, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. Если ж узнают, что разъезжающий есть и писатель вместе, тогда положенье еще смешнее: половина читающей России уверена сурьезно, что я живу единственно для осмеянья всего, что ни есть в человеке, от головы до ног. А между тем никогда еще до сих пор не чувствовал <я> так сильно потребность знать современное состояние нынешнего русского человека, — тем более, что теперь так разошлись все в образах мыслей, так вихорь недоразумений обуял всех, что никто не в силах судить верно друг друга, и нужно как бы щупать собственною рукою всякую вещь, не доверяя никому. Я не мог быть без этих сведений. Ныне избранные характеры и лица мое<го> соч<ине>ния крупней прежних. Чем выше достоинство взятого лица, тем ощутительней, тем осязательней нужно выставить его перед читателем. Для этого нужны все те бесчислен-

ные мелочи и подробности, которые говорят, что взятое лицо действительно жило на свете. Иначе оно станет идеальным: будет бледно и, сколько ни навяжи ему добродетелей, будет всё ничтожно. Нужно, чтобы русский читатель действительно почувствовал, что выведенное лицо взято именно из того самого тела, с которого создан и он сам, что это живое и его собственное тело. Тогда только сливается он сам с своим героем и нечувствительно принимает от него те внушения, которых никаким рассуждением и никакою проповедью не внушишь. Это полное воплощение в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своем весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, держа в голове все крупные черты характера, собираю в то же время вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши. У меня в этом отношении ум тот самый, какой бывает у большей части русских людей, то есть способный больше вывести, чем

выдумывать. Мне всегда нужно было выслушать слишком много людей, чтобы образовалось во мне собственное мое мнение, и тогда только мое мнение находили здравым и умным. Когда же я не всех выслушаю и потороплюсь выводом, оно выходило только резко и необыкновенно. Даже в нынешней моей книге: Переписка с друзьями, в которой многое походит на одни предположения, собственно предположений нет. В ней всё выводы; но дело в том, что одни выводы взяты из всех сторон дела и потому всем ясны, другие из некоторых, не всем известных, и потому темны, а для многих кажутся даже и вовсе нелепицей. Вот отчего в редком моем сочинении не встречается рядом и зрелость и незрелость, и муж и ребенок, и учитель и ученик.

Итак, всего того, что мне нужно, я не мог достать. А не доставши его, мудрено ли, что я не мог работать? Как воевать с собою, если сделался требователен к самому себе? Как полететь воображеньем, если б оно и было, если рассудок на всяком шагу задает вопрос: зачем? Зачем случились многие такие обстоятельства, которых я не призывал? Зачем мне

определено было не иначе приобрести познание души человека, как произведя строгий анализ над собственной душою? Зачем желанием изобразить русского человека я возгорелся не прежде, как узнавши получше общие законы действий человеческих, а узнал их не прежде, как пришедши к тому, кто один ведатель и действий человеческих и всех малейших наших душевных тайн?.. Зачем жажда знать душу человека так томила меня? Зачем, наконец, были такие обстоятельства, о которых я не могу даже сказать, но которые заставляли меня, против воли моей собственной, входить глубже в душу человека? Зачем венцом всех эстетических наслаждений во мне осталось свойство восхищаться красотой души человека везде, где бы я ее ни встретил? Зачем жажда знать душу человека так томила меня постоянно от дней моей юности? Определите мне прежде, зачем всё это произошло, и тогда спрашивайте: зачем я не могу писать того, что писал?

Я старался действовать наперекор обстоятельствам и этому порядку, не от меня начертанному. Я пробовал несколько раз писать

по-прежнему, как писалось в молодости, то есть как попало, куда ни поведет перо мое; но ничто не лилось на бумагу. Обрадовавшись тому, что расписался кое-как в письмах к моим знакомым и друзьям, я захотел тотчас же из этого сделать употребление, и едва только оправился от тяжелой болезни моей, как составил из них книгу, постаравшись дать ей какой-то порядок и последовательность, <что>бы она походила на дельную книгу, не размысливши того, что многое, обращенное к некоторым, общество примет на свой <счет>, особенно после завещанья, обращенного к лицу всех соотечественников. Я боялся сам рассмат<ривать> ее недостатки, а почти закрыл глаза на нее, зная, что если рассмотрю я построже мою книгу, может, она будет так же уничтожена, как я уничтожал Мертвые души и как уничтожал всё, что ни писал в последнее время. Я думал, что этой книгой я хоть сколько-нибудь заплачу за долгое мое молчание, введу и объясню мое трудное положение, почему я не мог писать в это время, обращу внимание на практическое и на дело жизни. Я думал вслед ее заговорить о том, что



раскроет предо мною побольше Русь, освежит, оживит меня и заставит меня взяться за перо. Не тут-то было: всё обрушилось на меня упреками. Я услышал только толки о том, что не решается толками. Руки мои опустились. Порыв, который, мне показалось, начал было во мне пробуждаться, погас, и я нечувствительно сам собой пришел теперь к тому вопросу, который я до сих пор и не думал еще задавать в себе: должен ли я в самом деле писать? должен ли я оставаться на этом поприще, от которого в последнее время так явно меня всё отвлекало? Положим, если бы даже я в силах был как-нибудь победить <себя>, перо мое получило бы беглость и страницы полились непринужденно одна за другою — таково ли душевное состоянье мое, чтобы сочиненья мои были действительно в это время полезны и нужны нынешнему обществу? Бросим взгляд на нынешнее состояние общества, благоприятно ли нынешнее время для писателя вообще и вслед за тем для такого писателя, как я?

Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем

когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Всё чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: всё ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общеою. Со всеми замечательными, стоящими впереди других людьми случились какие-нибудь душевные внутренние перевороты, с иными даже в такие годы, в какие никогда невозможны были доселе перемены в человеке и улучшения. Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в т<у> сторон<у>, где думают услышать хоть что-нибудь о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой

книги, кроме той, где может содержаться хотя бы намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое тот писатель, которого главный талант состоит в творчестве.

Все более или менее согласны в том, что писатель-творец творит творенье свое в поученье людей. Требования от него слишком велики — и справедливо: для того, чтобы передавать одну верную копию с того, что видим перед глазами, есть также другие писатели, одаренные иногда в высшей степени способностью живописать, но лишенные способности *творить*. Но кто создает, кто трудится над этим долго, кому приходится дорого его создание, тот должен уже потрудиться недаром. Нужно, чтобы в создании его жизнь сделала какой-нибудь шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя наученьем его. Так, по крайней <ме-

ре», определяют поэтов и вообще писателей, наделенных творчеством, эстетики как нынешнего времени, так и прежних времен. Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно. Это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглою кистью, может рисовать всякую минуту всё, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем.

Стало быть, в нынешнее время, когда все так заняты вопросом жизни, такой писатель может, более чем кто-либо другой, быть разрешителем современных вопросов; но когда и в каком случае? В таком случае и тогда, когда уж он всё разрешил себе, что ни тревожит его самого. Если он, при всех великих дарах, при картинной живописи слова, при орлиной силе взгляда, при возносящей силе лиризма и поражающей силе сарказма, и приобретет полное познание земли своей и своего народа в корне и в ветвях, воспитается как гражданин своей земли и как гражданин всего человечества, и как кремень станет во всем том, в чем повелено быть крепку скале — человеку, тогда он выступай на поприще. Владея та-

кими средствами, орудьями, станет подавать он обществу людей, потребных ему в нынешнее время, в современную эпоху и оденет их портретною живостью, которая делает <то, что> изображенный образ преследует нас повсюду так, что нельзя и оторваться. Разумеет<ся>, что с такими средствами ему ничего не будет стоить выгнать из голов всех тех героев, которых напустили туда модные писатели. Заговори только с обществом, наместо самых жарких рассуждений, этими живыми образами, которые, как полные хозяева, входят в души людей, и двери сердец растворятся сами навстречу к принятию их, если только почувствуют, хоть каплю почувствуют, что они взяты из нашей природы, из того же тела. Тогда, разумеется, кто может подействовать ныне сильнее такого писателя, и кто может быть более его нужным нынешнему времени и нынешней эпохе? Но если он, имея действительно некоторые из тех орудий, сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно

выходить на поприще: его влиянье может быть скорей вредно, чем полезно. Это строе- нье себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличнее от дру- гих, чем своеобразнее, тем больше может про- извести всеобщих заблуждений и недоразу- мений. То, что в нем есть не более, как есте- ственное явленье, законный ход его необык- новенного организма, состоянье временн<ое> духа, может показать<ся> другим людям вер- ховною точкою, до которой следует всем дой- ти. Чем больше одушевится он любовью к ге- роям и лицам своим, чем больше отделает, чем с большею живостью выставит их, тем больше вреда. Пример тому в глазах наших. Известная французская писательница, боль- ше всех других наделенная талантами, в немного лет произвела сильное измененье в нравах, чем все писатели, заботившиеся о развращении людей. Она, может быть, и в по- мышленьи не имела проповедовать разврат, а обнаружила только временное заблужденье свое, от которого потом, может быть, и отка-

залась, переступивши в другую эпоху своего состояния душевного. А слово уже брошено. Слово как воробей, говорит наша пословица, выпустивши его, не схватишь потом.

Я сам писатель, не лишенный творчества, я владею также некоторыми из тех даров, которые способны увлекать. Покорный, общему стремлению, которое не от нас, но совершается по воле того <... >, [помышляю я] о своем собственном строении, как помышляют и другие. Я чувствую, что и теперь нахожусь далеко от того, к чему стремлюсь, а потому не должен выступать. Самая вышедшая книга Переписка с друзьями служит тому доказательством. Если и эта книга, которая не более, как рассуждение, говорят, неопределительностью своею производит заблуждения, распространяет даже ложные мысли; если и из этих писем, говорят, остаются в голове, как живые картины, целиком фразы и страницы, — что же было, если бы я выступил <с> живыми образами повествовательного сочинения вместо этих писем? Я сам слышу, что я тут гораздо сильнее, чем в рассуждениях. Теперь еще может меня оспаривать критика, а тогда вряд

ли бы в силах был меня кто опровергнуть. Образы мои были соблазнительны и так бы заст<ряли> крепко в головы, что критика бы их оттуда не вытащила. Не нужно упускать того из виду, <что> все выставленные лица и характеры должны были доказать истину моих собственных убеждений. Как сравню эту книгу с уничтоженными мною Мертвыми душами, не могу <не> возблагодарить за насланное мне внушение <их> уничтожить. В книге моих писем я всё-таки стою на высшей точке, нежели в уничтоженных Мертвых душах. Темнота выражения во многих местах сбивает только читателя, но если бы пояснее выразил ту же самую мысль, со мною бы многие перестали спорить. В уничтоженных Мертвых душах гораздо больше выразалось моего переходного состояния, гораздо меньшая определительность в главных основаниях и мысль двигательней, а уже много увлекательности в частях, и герои были соблазнительны. Словом — как честный <человек>, я должен бы оставить перо, даже и тогда, если бы действительно почувствовал позыв к нему. На это дело следует взглянуть благора-



зумно. Все те, которые легкомысленно требуют от меня продолжения писать и в то же время бранят мою нынешнюю книгу, должны по крайней мере рассмотреть поближе всё это дело и не пропустить всех тех обстоятельств, которых не пропускает никакой судья, если только произносит над кем-либо суд свой. Мне кажется, что теперь не только тот, кто пишет, но всякой ум вообще, если только склонен к тому, чтобы делать выводы и заключения, а сам в то же время еще <... >, должен удержаться от деятельности. Из людей умных должны выступать на поприще только <те>, которые кончили свое воспитанье и создались как граждане земли своей, а из писателей только такие, которые, любя Россию так же пламенно, как тот, который дал себе названье Луганского козака, умеют по следам его живописать природу, как она есть, не скрывая ни дурного, ни хорошего в русском и руководствуясь единственно желаньем ввести всех в действительное положение русского человека.

Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это

составляло единственный предмет всех моих <по>мышлений, когда я всё прочее оставил, все лучшие приманки жизни и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем, чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего. Мне не легко отказаться от писательства, одни из лучших минут в жизни моей были те, когда я наконец клал на бумагу то, что выносилось долговременно в моих мыслях; когда я и до сих пор уверен, что едва есть ли высшее из наслаждений, как наслажденье *творить*. Но, повторяю вновь, как честный человек, я должен положить перо даже и тогда, если бы чувствовал позыв к нему.

Не знаю, достало ли бы у меня честности это сделать, если бы не отнялась у меня способность писать; потому что, — скажу откровенно, — жизнь потеряла бы для меня тогда вдруг всю цену, и не писать для меня совершенно значило то же, что не жить. Но нет лишений, во след которым нам <не> посылается замена, в свидетельство, что ни на малое время не оставляет человека создатель. Сердце ни на минуту не остается пусто и не может

быть без какого-нибудь желанья. Как земля, на время освобожденная от пашни, износит другие травы, покуда вновь не обратится под пашню, оплодотворенная и удобренная ими, так и во мне, как только способность писать <меня оставила>, мысли как бы сами вновь возвратились к тому, о чем я помышлял в самом детстве. Мне захотелось служить на какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной должности, но служить земле своей, так служить, как я хотел некогда, и даже гораздо лучше, нежели я некогда хотел. Мысль о службе меня никогда не оставляла. Я примирился и с писательством своим только тогда, когда почувствовал, что на этом поприще могу также служить земле своей. Но и тогда, однако же, я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место. Планы мои <и> виды были только горды и заносчивы. Мне казалось, что если только доказать, что я точно знаю русского человека в корне и в существенных его началах, как в тех, которые обнаружены всем, так равно и в тех, <которые> в нем покуда скрыты и видны не для

всех, что знаю душу человека не по книгам и рассказам, но по опыту, влекомый от младенчества желаньем знать человека, — то мне дадут такое место, где я буду в соприкосновении с людьми разных сословий, с многими людьми в соприкосновении личном, а не посредством бумаг и канцелярий, где я могу употребить с действительной пользой мое знание человека и где могу быть полезным многим людям, а для себя самого приобрести еще большее познание человека. Мне казалось, что больше всего страждет всё на Руси от взаимных недоразумений, а что больше нам нужен всякой такой человек, который <бы> при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще, проникнут был желаньем истинным мирить. Я видел и уже испытал, как личным переговором и объяснением прекращать можно много таких <дел>, которые никогда не оканчиваются на бумаге. Я думал, что хоть теперь и нет таких мест, но что я получу после того, как выйдет вполне мое сочинение, и приготавливал уже в мыслях и самый проект, в котором намеревался изъяснить, как вследствие тех способ-

ностей, какие у меня есть, я могу быть нужен и полезен России. Замыслы мои были горды, но так как они были основаны только на успехе моего сочинения, то и упали вместе с тем, как оставила меня способность производить созданныя поэтические. Теперь все должности мне кажутся равны, все места равнозначительны, от малого до великого, если только на них взглянешь значительно. И мне кажется, что если только хотя сколько-нибудь умеешь ценить человека и понимать его достоинство, которое в нем бывает даже и среди множества недостатков, и если только при этом хоть сколько-нибудь имеешь истинно христианской любви к человеку и, в заключенье проникнут точно любовью к России, — то, мне кажется, на всяком месте можно сделать много добра. Сила влияния нравственного выше всяких сил. Место и должность сделались для меня, как для плывущего по морю пристань и твердая земля.

Я убежден, что теперь всякому тому, кто пламенеет желаньем добра, кто русской и кому дорога честь земли русской, должно сейчас <?> также брать многие места и должно-

сти в государстве, с такой же ревностью, как становился некогда из нас всяк в ряды противу неприятелей спасать родную землю, потому что неправда велика и много опозорила <... > С другой стороны я убежден, что место и должность нужны для самого себя, для <... >

Как ни бурно нынешнее время, как ни мятутся и ни волнуются вокруг умы, как ни возмущает тебя собственный ум твой, — но можно остаться среди всего этого в тишине, если с тем именно возьмешь свое место, чтобы на нем исполнить долг таким образом, чтобы не стыдно было дать и за который дашь ответ небу. Как бы то ни было, но жизнь для нас уже не загадка. Она была тогда загадка, когда умнейшие из людей, <от> мыслителей до поэтов, над ней задумывались и приходили только к сознанию, что не знают, что такое жизнь. Но когда один всех наиумнейший, сказал твердо, не колеблясь никаким сомнением, что он знает, что такое жизнь, когда этот один признан всеми за величайшего человека из всех доселе бывших, даже и теми, которые не признают в нем его божественности, тогда следует поверить ему на слово, да-

же и в таком случае, если бы он <был> просто человек. Стало быть, вопрос решен: что такое жизнь.

Этого мало. Нам дан полнейший закон всех действий наших, тот закон, которого не может стеснить или остановить никакая власть, который можно внести даже в тюремные стены, но которого, однако ж, нельзя исполнять на воздухе: нужно для того стоять хоть на каком-нибудь земном грунте. Находясь в должности и на месте, все-таки идешь по дороге; не имея определенного места и должности, идешь через кусты и овраги, как попало, хотя и та же цель. По дороге идти легче, нежели без дороги. Если взглянешь на место и должность, как на средство к достижению не цели земной, но цели небесной, во спасенье своей души — увидишь, что закон, данный Христом, дан как бы для тебя самого, как <бы> устремлен лично к тебе самому, затем, чтобы ясно показать тебе, как быть на своем месте во взятой тобою должности. Христианину сказано ясно, как ему быть с высшими, так что если хотя немного он из того исполнит, все высшие его любят. Христиа-

нину сказано ясно, как ему быть с теми, которые его пониже, так что если хотя отчасти он это исполнит, все низшие ему предадутся всею душой своей. Всю эту всемирность человеколюбивого закона Христова, всё это отношение человека к человечеству может из нас перенести всяк на свое небольшое поприще. Стоит только всех тех людей, с которыми происходят у нас частные неприятности наищекотливейшие, обратить именно в тех самых ближних и братьев, которых повелевает больше всего прощать и любить Христос. Стоит только не смотреть на то, как другие с тобою поступают, а смотреть на то, как сам поступаешь с другими. Стоит только не смотреть на то, как тебя любят другие, а смотреть только на то, любишь ли сам их. Стоит только, не оскорбяс<ь> ничем, подавать первому руку на примиренье. Стоит поступать так в продолжение небольшого времени, и увидишь, что и тебе легче с другими, и другим легче с тобою, и в силах будешь точно произвести много полезных дел почти на незаметном месте. Трудней всего на свете тому, кто не прикрепил себя к месту, не определил се-



бе, в чем его должность: ему трудней всего применить к себе закон Христов, который на то, чтобы исполняться на земле, а не на воздухе; а потому и жизнь должна быть для него вечной загадкой. Пред ним узник в тюрьме имеет преимущество: он знает, что он узник, а потому и знает, что брат из закона. Пред ним нищий имеет преимущество: он тоже при должности, он нищий, а потому и знает, что брат из закона Христова. Но человек, не знающий, в чем его должность, где его место, не определивший себе ничего и не остановившийся ни на чем, пребывает ни в мире, ни вне мира, не узнает, кто ближний его, кто братья, кого нужно любить, кому прощать. Весь мир не полюбишь, если не начнешь прежде любить тех, которые стоят поближе к тебе и имеют случай огорчить тебя. Он ближе всех к холодной черствости душевной.

Итак, после долгих лет и трудов, и опытов, и разм<sup><ышлений></sup>, идя видимо вперед, я пришел к тому, о чем уж<sup><е></sup> помышлял во время моего детства: что назначенье человека — служить и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в

земном государстве затем, чтобы служить на нем государю небесному и потому иметь в виду его закон. Только так служа, можно угождать всем: государю, и народу, и земле своей.

Уверившись в этом, я уже готов был тогда взять всякую должность, хотя, соображаясь с своими способностями, старался выбрать такую, которая продолжала бы практически знакомить с русским человеком, чтобы, если возвратится мне способность писать, набрались бы у меня материалы. Одной из главных причин моего путешествия к святым <местам> было желанье искреннее помолиться и испросить благословений на честное исполнение должности, на вступленье в жизнь, у самого того, кто открыл нам тайну жизни, на том самом месте, где некогда проходили стопы его; поблагодарить за всё, что ни случилось в моей жизни, испросить деятельности и напутственного освежения на дело, для которого я себя воспитывал и к которому приготавлиал себя. Тут я не нахожу ничего странного, если и ученик, по окончании своего <ученья>, спешит сказать благодарственное слово учителю. Если сын спешит на могилу отца пе-

ред тем, как предстоит ему поприще, — почему же и мне не поклониться той могиле, которой поклоняются все, на которой все получают себе какое-нибудь напутствие, где вдохновляются все, даже и не поэты? Странно, может <быть>, то, что я об этом сказал в печатной книге. Но я в то время только что оправился от тяжелой болезни. Я был слаб; я не думал, что я буду в силах совершить это путешествие. Мне хотелось, чтобы помолились <обо> мне те, которых вся жизнь стала одно<ю> молитвой. Я не знал, как сделать, чтобы голос мой достигнул в глубину келий и стен затворников, в мысли, что авось кто-либо из прочитавших донесет им мое слово. Я просил обо мне и других молиться, потому что не знал, чья молитва из нас угодней тому, кому мы все молимся. Знаю только то, что наипрезреннейший из нас может завтра же сделаться лучше всех нас, и его молитва будет всех ближе к богу. За это не следовало бы меня много осуждать, а выполнить, помня слова: просящему дай.

Как случилось, что я должен обо всем входить в объяснения с читателем, этого я сам не

могу понять. Знаю только то, что никогда, даже с наискреннейшими приятелями, я не хотел изъясняться насчет сокровеннейших моих помышлений. Я решился твердо не открывать ничего из душевной своей истории, выносить всякие заключения о себе, какие бы ни раздавались, в уверенности, что когда выйдет второй и третий том Мертвых душ, всё будет объяснено ими и никто не будет делать запроса: что такое сам автор? хотя автор и должен был весь спрятаться за своих героев. Но, начавши некоторые объяснения по поводу моих сочинений, я должен был неминуемо заговорить о себе самом, потому что сочиненья связаны тесно с делом моей души, Бог весть, может быть, и в этом была также воля того, без воли которого ничто не делается на свете; может быть, произошло это именно затем, чтобы дать мне возможность взглянуть на себя самого. Мне легко было почувствовать некоторую гордость, особенно после того, <как> удалось мне действительно избавиться от многих недостатков. Эта гордость во мне бы жила беспрестанно, и ее бы мне никто не указал. Известно, что достаточно

приобрести в обращениях с людьми некоторую ровность характера и снисходительность, чтобы заставить их уже не замечать в нас наших недостатков. Но, когда выступишь перед лицом незнакомых людей, перед лицом всего света, и разберут по нитке всякое твое действие, всякой поступок, и люди всех возможных убеждений, предубеждений, образов мыслей взглянут на тебя каждый по-своему, и посыплются со всех сторон упреки впопад и не впопад, ударят и с умыслом, и невзначай по всем чувствительным струнам твоим, — тут поневоле взглянешь на себя с таких сторон, с каких бы никогда на себя не взглянул; станешь в себе отыскивать тех недостатков, которых никогда бы не вздумал прежде отыскивать. Это та страшная школа, от которой или точно свихнешь с ума, или поумнееешь больше, чем когда-либо. Не без стыда и краски в лице я перечитываю сам многое в моей книге, но при всем том благодарю бога, давшего мне силы издать ее в свет. Мне нужно было иметь зеркало, в которое бы я мог глядеться и видеть получше себя, а без этой книги вряд ли бы я имел это зеркало. Итак, за-

мышленная от искреннего желания принести пользу другим книга моя принесла прежде всего пользу мне самому.

Но да позволено мне будет сказать здесь несколько слов относительно полезности ее другим. Точно ли бесполезна моя книга другим и особенно обществу в его нынешнем, современном виде? Мне кажется, все судившие ее взглянули на нее какими-то широкими <глазами>, как-то уже слишком сторяча. Нужно было судить о ней похладнокровнее. Вместо того, чтобы выступать ратниками за всё общество и вызывать меня на суд перед всю Россию, нужно было рассмотреть дело проще, рассмотреть книгу, что такое она в своем основании, а не останавливаться над частями и подробностями прежде, чем объяснился вполне внутренний смысл ее. От этого вышли пустые придирки к словам и приписанье многому такого смысла, который мне никогда и в ум, не мог придти.

Начать с того, что я всегда имел право сказать о том, о чем говорил в моей книге, если бы только выразился попроще и попримичнее. Учить общество в том смысле, какой

некоторые мне приписали, я вовсе не думал. Учить я принимал в том простом значении, в каком повелевает нам церковь учить друг друга и беспрестанно, умея с такой же охотой принимать и от других советы, с какой подавать их самому. А я был готов в то время принимать и от других советы. Я не представлял себе общества школой, наполненной моими учениками, а себя его учителем. Я не всходил с моей книгой на кафедру, требуя, чтобы все по ней учились. Я пришел к своим братьям, соученикам, как равный им соученик; принес несколько тетрадей, которые успел записать со слов того же учителя, у которого мы все учимся; принес на выбор, чтобы всяк взял, что кому придется: Тут были письма, писанные к людям разных характеров, разных склонностей, и притом находившимся на разных степенях своего собственного душевного состояния, которые никак не могли прийтись ровно всем. Я думал, что каждый схватит только, что нужно ему, а на другое не обратит внимания. Я не думал, что иной, схвативши то, что нужно для другого, будет кричать: «Это мне не нужно!» — и сердиться за то. Я

никакой новой науки не брался проповедать. Как ученик, кое в чем успевший больше другого, я хотел только открыть другим, как полегче выучивать уроки, которые даются нам нашим учителем. Я думал, что, при прочтении книги, будет мне сказано: «Благодарю тебя, собрат», а не: «Благодарю тебя, учитель». Если бы не завещание, которое я поместил довольно неосторожно, в котором намекал о поучении, которое обязан дать всяк автор поэтическими созданными своими, никто бы и не вздумал мне приписывать этого апостольства, несмотря даже на решительный слог и некоторую лирическую торжественность речи. Но в книге моей отыщет много себе полезного всяк тот, кто уже глядит в собственную душу свою.

Что же касается до мненья, будто книга моя должна произвести вред, с этим не могу согласиться ни в каком случае. В книге, несмотря на все ее недостатки, слишком явно выступило желанье добра. Несмотря на многие неопределительные и темные места, главное видно в ней ясно, и после чтения ее приходишь к тому же заключенью, что верхов-



ная инстанция всего есть церковь и разрешение вопросов жизни в ней. Стало быть, во всяком случае, после книги моей читатель обратится к церкви, а в церкви встретит и учителей церкви, которые укажут, что следует ему взять из моей книги для себя, а может быть, дадут ему, наместо моей книги, другие познавательнее, полезнее и для которых он оставит мою книгу, как ученик бросает склады, когда выучится читать по верхам.

В заключеньи всего я должен заметить: сужденья больш<ею> частью были слишком уж решительны, слишком резки, и всяк укоровший меня в недостатке смиренья истинного, не показал смиренья относительно меня самого. Положим, я в гордости своей, основавшись на многих достоинствах, мне приписанных всеми, мог подумать, что я стою выше всех и имею право произносить <суд> над другим. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал, что он стоит выше меня? Как бы то ни было, но чтобы произнести полный суд над чем бы то ни было, нужно <быть> выше того, которого судишь. Можно делать замечанья по ча-

стям на то и на другое, можно давать и мнения, и советы, но выводы <ть>, основываясь на этих мнениях, обо всем человеке, объявлять его решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, которых я бы не в силах <был взвести> даже <на> отъявленного мерзавца, который заклеимен клеймом всеобщего презрения. Мне кажется, что прежде, чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично, в виду всего света. Не мешало бы подумать прежде, чем произносить такое обвинение: «Не ошибаюсь ли я сам? Ведь я тоже человек. Дело здесь душевное. Душа человека — кладезь, не для всех доступный иногда, и на видимом сходстве некоторых признаков нельзя основываться. Часто и наискуснейшие врачи принимали одну болезнь за другую и узнавали ошибку свою только тогда, когда разр<ез>ывали уже мертвый труп». Нет, в

книге: Переписка с друзьями — как ни много недостатков во всех отношениях, но есть также в ней много того, что не скоро может быть доступно всем. Нечего утверждаться на том, что прочел два или три раза книгу, иной и десять раз прочтет, и ничего из этого не выйдет. Для того, чтобы сколько-нибудь почувствовать эту книгу, нужно иметь или очень просту<ю> и добрую душу, или быть слишком многосторонним человеком, <который> при уме, обнимающем со всех сторон, заключал бы высокий поэтический талант и душу, умеющую любить полною и глубокою любовью.

Не могу не признаться, что вся эта путаница и недоразумение было для меня очень тяжело, — тем более, что я думал, что в книге моей скорей зерно примиренья, а не раздора. Душа моя изнемогла бы от множества упреков, из них многие были так страшны, что не дай их бог никому получать. Не могу не изъяснить также и благодарности тем, которые могли бы также осыпать меня за многое упреками, но которые, почувствовав, что их уже слишком много для немогущей природы чело-

века, рукой скорбящего брата приподняли меня, повелевши ободриться. Бог да вознаградит их: я не знаю выше подвига, как подать руку изнемогшему духом.

## **Учебная книга словесности для русского юношества\***

### **Начертание Н. Гоголя Прспект.**

**В** двух больших томах: в первом — часть *поэтическая*, во втором часть *прозаическая*. Каждый том состоит из двух половин: в первой половине изложение правил, или теория, во второй — примеры. Первая половина, то есть правила, должна быть напечатана <на> большими четкими литерами всплошь, не разделяя на столбцы, с широким бордюром вокруг, дабы не слишком велика была квадра, — с пробелами и расстановка <ми>; вторая же половина, или примеры, должна быть напечатана тесно в два столбца мелким шрифтом и вокруг, вместо бордюра, одна тоненькая линеечка или черта. Заглавия те же и в правилах и в примерах, и должны быть зану-

мерованы теми же номерами, — дабы вдруг можно было, по прочтении правила, найти ему соответствующие и принадлежащие приме<ры>.

## О науке

Наука у нас еще не разрабатывается как полное целое. Еще не думают о совокуплении ее в цельное крепкое ядро. В трудах наших ученых также раздаются не переварившиеся европейские мнения, и такими же торчат яркими заплатами их собственные мысли, как всё это раздается в наших гостинных спорах и разговорах: всего нанесено и всё не переварилось. А между тем только в одной русской голове (если только эта голова устоялась) возможно создание науки как науки, и русской ум войдет в сок свой. Наука, окинутая русским взглядом, всеозирающим, расторопным, отрешившимся от всех сторонних влияний, ибо русский отрешился даже от самого себя, чего не случалось доселе ни с одним народ<ом>. Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; французу, о чем бы он ни говорил, во всех его мненьях и словах будет слышен француз; англичанину и подавно,

более всех нельзя отделиться от своей природы. Стало быть, полное беспристрастие возможно только в русском уме, и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому, разумеется, при его полном и совершенном воспитании. К этому нужно при-совокупить нашу способность схватывать живо малейшие оттенки других наций и, наконец, живое и меткое наше слово, не *описывающее*, но *отражающее*, как в зеркале, предмет. Наука у нас непременно дойдет до своего высшего значения и поразит самым существом, а не краснобайством преподавателя, его даром рассказывать, или же применениями к тому, что интересуется моды, и всякими другими наумянваниями и подслащиваниями, которыми стараются сделать <науку> удобопроглотимую. Она поразит своим живым духом, из нее же исходящим, и сим только станет доступною всем: и простолюду<иму>, и не простолюдиму. Ее сила будет в ее многозначительном краткословии, а краткословья этого, сколько мне кажется, не добыть никому из народов, кроме русского, ибо сама природа наша требует его. Нам не

нужно то постепенное, медленное развитие мыслей, не прерывающий<ся> исход и вывод одного из другого, без которого немец не ступит шага и не пойдет по дороге. У нас, напротив, всякий скучает, начиная от образованного до простолюдима, когда ему дается слишком<м> долгая инструкция и толкуют то, что он и сам уже смекнул, и не можем идти шаг за шагом, так, как идет немец. Отсюда неуспех всякого изложения науки ходом немецкой философии. Проследи лучше наш ученый сам в себе науку, прежде чем стал ее проповедать, проживи как в беседе с нею, как монах живет с богом, наложив молчание на уста свои. И когда уже совокупилась в тебе самом наука в одно крепкое ядро, и содержишь ее в голове всю в неразрушаемой связи, — тогда можешь проповедывать ее. И нечего уже тогда плестись: не бойсь, нити не потеряешь, когда она в голове. Несись ровными и мерными скачками, не усиливая и не замедляя, борзо, как добрый ямщик, который ни лошадей не горячит, ни сам не горячит<ся>, несется не подлой рысцой, не во всю прыть, не сломя голову, а тем веселящим сердце лѐтом, с каким

начал дорогу, и прилетает на станцию, не заморив коней, ни себя самого. Иной езды мы не любим. Смело поступи, как наш сказочный конь: мелкие кусты и травник промеж ног пропускает. Не заботься, тебя поймут. Сметливость — наше свойство, и у нас давно живет пословица: умный поп хоть губами шевели, а мы, грешные, догадываемся.

## **Что такое слово и словесность**

Говорится всё, записывается немного, и только то, что нужно. Отсюда значительность литературы. Всё, что должно быть передано от отцов к сыновьям в научение, а не то, что болтает ежедневно глупый <?> человек, то должно быть предметом словесности. Поэтому только тот, кто больше, глубже знает какой-либо предмет, кто имеет сказать что-либо новое, тот только может быть литератором. Поэтому злоупотребление, если кто пишет без надобности или потребности внутренней передать свои <... >, кто пишет только затем, <... >

Поэтому для того, чтобы писать, нужно иметь или очень много сведений и познаний не общих всем, тогда писанья его будут при-



надлежать к области науки, или же изобилие ощущений и опытности, тогда он поэт, и его произведения принадлежат области поэтической.

Тому и другому необходима способность воображать и живо представлять себе предмет, о котором говорит.

Письменностью или словесностью называют сумму всего духовного образования человека, которое передано было когда-либо словом или письмом. Но в самом деле словесность не есть сумма всех познаний человеческих. Она не есть также сама в себе что-либо существенное. Она есть только образ, которым передает человек человеку всё им узнаваемое, найденное, почувствованное и открытое, как в мире внешних явлений, так и в мире явлений внутренних, происходящих в собственной душе его. Ее дело в том, чтобы передать это в виде яснейшем, живейшем, способном остаться навеки в памяти.

Открыть тайны такого живого передавания занимается *наука словесности*. Но научить этой тайне не может наука словесности никого, так же как никакой науке и ника-

кому искусству нельзя научиться в такой степени, чтобы быть мастером, а не ремесленником, — если не даны к тому способности и орудия в нас самих. Но при всем том наука словесности [так же нужна], как для всякого другого знания нужна наука. Нужно для того, чтобы ввести в сущность дела, показать, в чем дело, дабы если точно есть в нас способности, силы, — навести их на путь, вдвинуть их в надлежащую колею; дабы, как по углаженной дороге, быстрее устремилось б<ы> их развитие. Если ж нет способностей, то чтобы знал учащи<йся>, чего требует предмет этот, — видел бы всю великость того, чего он требует, и не отважился бы вслед за другими принимать<ся> за ее роды высокие или же просто не свойственные его свойству, а выбрал бы оружие по руке. Ибо словесность обширна, объемлет всё, и нет человека, который не был бы способен для какого-нибудь ее рода, если только есть в голове его рассудок и может он о чем-нибудь порядочно размыслить.

Есть два языка словесности, две одежды слова, два слишком отличных рода выраже-

ний: один слишком возвышенный, весь гармонический, который не только живым, картинным представлением всякой мысли, самыми чудными сочетаниями звуков усиливает силу выражений и тем живей выдает жизнь всего выражаемого, — род, доступный весьма немногим и сим даже немногим доступный только в минуты глубоко растроганного <со>стояния душевного настроения чувств, называемый поэтическим, высшим языком человеческим, или, как называли все народы, языком богов; — и другой, простой, не ищущий слишком живых образов, картинности выражения, ни согласных сочетаний в звуках, предающий<ся> естественному ходу мыслей своих в самом покойном расположении духа, в каком способен находиться всякий, — род прозаический. Он всем доступный, хотя между тем может неприметно возвыситься до поэтического состояния и гармонии, по мере, как доведется к такому растроганному настроению душевному, до которого также может достигнуть всякий человек в душевные, истинные минуты. Само собою разумеется; что как в том роде, так и в этом есть

тысячи оттенков и ступеней, высших и низших, из которых одни даются в удел только необыкновенным гениям, другие — счастливым талантам и наконец третьи — почти всем сколько-нибудь способным людям. Само собою также разумеется, что иногда тот и другой род врываются в пределы друг друга, и то, что иногда поэзия может снисходить почти до простоты прозаической и проза возвышаться до величия поэтического. Но тем не менее они составляют два отдельные рода человеческой речи. Отдел этот слишком яствен и резок. Слова поэзия и проза произносятся в таком же противуречащем друг другу значении, как слова день и ночь.

## **О ПОЭЗИИ**

Родник поэзии есть красота. При виде красоты возбуждается в человеке чувство хвалить ее, песнословить и петь. Хвалить такими словами, чтобы и другой почувствовал красоту им восхваляемого. Поэт только тот, кто более других способен чувствовать красоту творения. Потребность поделиться своими чувствами воспаляет его и превращает в поэта. Двумя путями передает он другим ощу-

щения: или от себя самого лично, — тогда поэзия его лирическая; или выводит других людей и заставляет их действовать в живых примерах, — тогда поэзия его драматическая и повествующая. Третий род — так называемый описательный, или дидактический, может входить равно в оба рода, но не есть сам по себе путь, которым передает свои впечатления поэт.

## **О поэзии лирической**

Поэзия лирическая есть портрет, отражение и зеркало собственных высших движений души поэта, его самонужнейшие заметки, биография его восторговений. Она есть, начиная от самых высших до самых низших ее родов, ничто иное, как отчет ощущений самого поэта. Гремит ли он в оде, поет ли в песне, жалуется ли в элегии, или же повествует в балладе, повсюду высказывает личные тайны собственной души поэта. Словом, она есть чистая личность самого поэта и чистая правда. Ложь в лирической поэзии опасна, ибо обличит себя вдруг надутостью: тот, кто имеет чутье поэта, в миг ее услышит и называет лжецом надевшего маску поэта. Она обширна и

объемлет собою всю внутреннюю биографию человека, начиная от его высоких движений, в оде, и до почти прозаических и чувственных в мелком антологическом стихотворении, в котором он желает отыскать сторону поэтическую.

## **Оды, гимны и лирические воззвания**

Ода есть высочайшее, величественнейшее, полнейшее и стройнейшее из всех поэтических созда<ний>. Ее предметом может послужить только одно высокое: ибо одно высокое может, только внушить душе то лирическое, торжественно <е> настроение души, какое для нее нужно и без какого не произвести оды поэту, как бы велик он ни был. Посему и предмет од или сам источник всего — бог или то, что слишком близко высокою чувств своих к божественному. Нужно слишком быть проникнуто святыней предмета, нужно долго носить в себе самом высокий предмет, сродниться с ним, облагодухать<ся> им самому, — дабы быть в силах произвести оду. Мгновенное же восторжение святыней предмета может произвести гимн, а не оду. Ода требует высокого торжес<твенного> спокойствия, а не по-

рыва. Она не летит вверх, как гимн, но как бы пребывает вся на равной высоте, паря, а не улета. И потому всегда в равносильных и равномерных строфах и при свободе своей сохраняет в себе строгий порядок. Гимн не имеет тех качеств. Он есть первое излияние чувств<в>, которые просятся из души внаружу. Он беспорядочен, как самые сильно возбужденные в нас чувства, которые стремятся только поскорей выразиться, не думая о том, откуда и с чего приличнее начать: и начинается он и оканчивается, где ему вздумается, имея вожатаем одно вдохновение, которое внушило поэту на ту пору обнявшее его чувство. Он редко сдерживает себя границами размеренных строф, но льется бесстрофно, быстро, как ручьи возбужденных чувств, и прекращается вдруг, неожиданно, быстро. Поэтому это излиянье благодарения душевного чаще всего его предмет, или же восхваление того, что возбудило в нем такое чувство. Гимн и восхваленье почти синонимы. Есть еще род лирических стихотворений, которые составляют средину между одой и гимном: толь<ко> приобретают некоторый порядок размерен-

ные строфы и некоторое спокойствие, хотя не имеют еще той великой полноты и просторной рамы, какая принадлежит оде. Тогда их называют поэты стансами, то есть просто строфами. Наконец есть еще род, уступающий всем трем в полноте, который можно назвать лирическими воззваниями, которые заключают в себе как бы один только клич, вопль, возглас, приглашение или крик, возбуждающий к чему-либо других. Он бывает быстр, краток, но тем не менее возвышен, иногда даже слишком высок своею лаконичскою силою, и чрез то имеет право причисляться к высокому лирическому роду, становясь наряду с одой.

## **Песня**

Песня составляет самый богатейший отдел поэзии у народов славянских. Преобладание поэтического элемента в глубине славянской души и особенное мелодическое расположение нашего языка были причиною происхождения бесчисленного множества песен в нашей словесности, которые уже и вдревле, когда слова не записывались и словесность, не переходя в письменность, оставалась в



буквальном смысле словесностью, составляли наше достояние. Впоследствии, когда более и более наши поэты стали входить в развитие собственного поэтического духа, песня явилась как необходимое выражение всех тех впечатлений, которые обнимали душу самого поэта, пробуждали в нем лирическое чувство. Она сделалась как бы историей поэтических ощущений поэта, которые слишком нежны для оды и не восходят до той превыспренности<сти>, но зато ощущаются гораздо чаще, нежели те, которые служат предметом оды. А потому редкий из наших поэтов не оставил прекрасных образцов, не говоря уже о Пушкине, который является как царь в средине этой области и которого всякое лирическое сочинение, как только появлялось в свет, в тот же миг перекладывалось на музыку и распевалось от необыкновенного обилия мелодии в звуках. Жуковский, Батюшков, Капнист, Нелединский-Мелецкий, Языков, Козлов, Баратынский, Туманский, Лермонтов подарили поэзию нашу множеством самых мелодических песен. Песня обнимает всё: все чувства и ощущения жизни, и потому может делиться

на множество разных родов; может изображать уединен<ие>, внутренние движения и поэтические мечты поэта, может выражать страсть и любовь, может быть застольной, и выражать веселье души и грусть; может изображать картину или состояние другого, как в романсе, переходя от дифирамба до тихой элегической задумчивости. Словом, всё что ни приводит к настроен<ному> состоянию дух, есть уже ее предмет, хотя это не есть та величаявая, высокая восторженность, как в оде, возвышенная уже самым величием взятого предмета. В песне восторг как бы утишенный, — это ликование духа уже после самого дела, или случившего<ся> велик<ого> восторг<а>, празднество во время отдыха. Как бы позабыв самый предмет своей радости, поющий хочет потеряться в гармонических звуках. Посему в песне почти музыкальная стройность строф, уместные повторения и счастливые возвращения к тому же составляют необыкновенную прелесть песни. Ее строфы гораздо короче, нежели строфы оды. Строфы длинные или тяжеловесные ей не приличны: чрез это песня будет не удобна для пе-

нья. Она никак тоже не должна быть и длинна, потому что и впечатленья все быстры.

Сочиняющий песню должен как бы слышать в то же время ее внутреннюю музыку, дающую тайный размер и стихам и строфам. Лучшие песни сочинялись в самую минуту пляски, пиршества и вызывались ударом смычка, свистом волынки, звоном стаканов, мерным ударом стоп. От этого они получают то невыразимо-мелодическое свойство звуков, составляющее такую прелесть в песнях народных.

Самые поэтические мечты и нежные внутренние изгибы души своей тогда выражались хорошо и были достойны песни, когда они не мечтались в его воображении, а как бы пелись в самой душе поэта.

## **Элегия**

Элегия есть как бы покоенное изложение чувств, постоянно в нас пребывающих, не тех великих и сильных, которые пробуждаются в нас мгновенно при воззрении на предметы великие, не тех, которые, подобно святыне, сохранно пребывая в глубине души, стремят на великие подвиги человека, — но тихих, бо-

лее ежедневных, более дружных с обыкновенным состоянием человека. Это сердечная история — то же, что дружеское откровенное письмо, в котором выказываются сами собою излучины и состояния внутренние души. В сравнении с одой и гимном она слишком отступила далеко в лиризме. Лирический свет ее перед светом гимна, что свет луны перед солнцем. Ее бы можно было назвать дидактическим и описательным сочинением, если бы она не была изливанием умягченного и слишком нежного состояния души, подвинутого на тихую исповедь, которая не может излиться без душевно<й> лирической теплоты. Всё в ней тихо. Что взывает как бы громом гремящего оркестра в оде, поется в песне, — в ней произносится речитативом. Подобно сердечному письму, <она> может быть и коротка и длинна, скупа на слова и неистоцимо говорлива, может обнимать один предмет и множество предметов, по мере того, как близки эти предметы ее сердцу. Чаще всего носит она одежду меланхолическ<ую>, чаще всего в ней слышатся жалобы, потому что обыкновенно в такие минуты ищет сердце выска-

заться и бывает говорливо.

## <Дума>

Дума есть род стихотворений, не заимствованный ниоткуда, но образовавшийся у славян. Песни северных конунгов имеют с ней некоторое сходство. Она не есть баллада, которой содержанием избирают<ся> таинственные поэтические предания, неясные, шевелящие и пугающие воображение явления. В ней ничего нет такого, что бы было необъяснено, неопределенно и заманивало бы самой поэтической своею неопределенностью. Напротив, в ней всё определено и ясно. Ее предмет — происшествие истинно историческое, действительно бывшее, или же предание, так живо хранящееся в народе, что сама история внесла его в свои страницы. Думы могут быть только об одних исторических лицах. Этот род можно бы скорей причислить к сочинениям повествовательно-драматическим, если бы думы не распевались, подобно песням, нашими старцами слепцами, хотя и речитативом, и если бы не писались мерными строфами, среди которых многие есть отзывные и повторяющие, дающие гармониче-

ское округление пиесе — свойство, составляющее неизъяснимую прелесть песни.

## **Поэзия повествовательная или драматическая**

Поэзия повествовательная, в противоположность лирической, есть живое изображение красоты предметов, движения мыслей и чувств вне самого себя, отдельно от своей личности, до такой степени, что чем более автор умеет отделиться от самого себя и скрыться самому за лицами, им выведенными, тем больше успевает он и становится сильнее и живей в этой поэзии; чем меньше умеет скрыться и воздержаться от вмешиванья своей собственности, тем более недостатков в его творении, тем он бессильней и вялее в своих представлениях. Значительность поэзии повествовательной или драматической увеличивается по мере того, когда поэт стремится доказать какую-нибудь мысль и, чтобы развить эту мысль, призывает в действие живые лица, из которых каждое своей правдивостью и верным сколком с природы увлекает внимание читателя и, разыгрыва<sup>я</sup> роль свою, ему данную автором, служит к доказатель-

ству его мысли. По мере того, чем совершается это естественней, и всё происшествие кажется живым, естественным случаем, недавно случившимся, — между тем как внутренне двигнуто глубоким логическим выводом ума. Тогда сочинение живое, драматическое, кипящее пред очами всех становится с тем вместе в высшей степени дидактическое и есть верх творчества, доступного одним только великим гениям.

Значительность поэзии драматической или повествовательной уменьшается по мере того, как автор теряет из виду значительную и сильную мысль, подвигающую его на творчество, и есть простой списыватель сцен, перед ним происходящих, не приводя их в доказательство чего-нибудь такого, что нужно сказать свету. Тогда значительность самого происшествия им управляет, и он получает только от него свою значительность, хотя она и не в нем, но в происшествии, а достоинство его в чутье и умение выбрать происшествие.

Пространство и пределы этой поэзии драматически-повествовательной велики. Она

объемлет в себе бесчисленные роды, начиная с самых величайших: эпопеи и драмы — до самых мелких: басни или притчи.

## Эпопея

Величайше<sup>e</sup>, полнейшее, огромное и многостороннейшее из всех созданий драматическо-повествовательных есть эпопея. Она избирает в героя всегда лицо значительное, которое было в связях, в отношен<sup>иях</sup> и в соприкосновении со множеством людей, событий и явлений, вокруг которого необходимо должен соиздаться весь век его и время, в которое он жил. Эпопея объемлет не некоторые черты, но всю эпоху времени, среди которого действовал герой с образом мыслей, верований и даже познаний, какие сделало в то время человечество. Весь мир на великое пространство освещается вокруг самого героя, и не одни частные лица, но весь народ, а и часто и многие народы, совокупясь в эпопею, оживают на миг и восстают точно в таком виде перед читателем, в каком представляет только намеки и догадки история. Поэтому-то эпопея есть создание всемирное, принадлежащее всем народам и векам, долговечней-



шее, не стареющееся и вечно живое, и потому вечно повторяющееся в устах. — Высокое совершенство<тво> всех качеств нужно соединить в себе поэту сверх высочайшего гения. Посему явления эти слишком редки в мире и, кроме одного Гомера, то есть кроме двух эпоей Илиады и Одиссеи, вряд ли есть другие, вполне вмещающие в себе ту полноту, видимость и многосторо<нность>, какой требует эпопея. Сравнив с Гомером всех других эпиков, видим только, как входят они в частности, и, несмотря даже на явное желание захватить и объять много, стесняют пределы свое<го> значень<я>, всемирное уходит у них из вида, и эпопея превращается даже в явление частное. С тем вместе пропадает и та величаявая безыскусственная простота, которая является у великого патриарха всех поэтов так, что весь погаснувший древний мир является у него в том же сиянии, освещенный тем же солнцем, как бы не погасал вовсе, дабы сохраниться навеки живым в памяти всего человечества.

## **Меньшие роды эпопеи**

В новые веки произошел род повествовательных сочинений, составляющих как бы

середину между романом и эпопеей, героем которого бывает хотя частное и невидное лицо, но однако же значительное во многих отношениях для наблюдателя души человеческой. Автор ведет его жизнь сквозь цепь приключений и перемен, дабы представить с тем вместе вживе верную картину всего значительного в чертах и нравах взятого им времени, ту земную, почти статистически схваченную картину недостатков, злоупотреблений, пороков и всего, что заметил он во взятой эпохе и времени достойного привлечь взгляд всякого наблюдательного современника, ищущего в былом, прошедшем живых уроков для настоящего. Такие явления от времени до времени появлялись у многих народов. Многие из них хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим.

Всемирности нет, но есть и бывает полный эпический объем замечательных частных явлений, по мере того как поэт облакает в стихи.

Так Ариост изобразил почти сказочную страсть к приключениям и к чудесному, кото-

рым была занята на время вся эпоха, а Сервантес посмеялся над охотой к приключениям, оставшимся, после рококо, в некоторых людях, в то время, когда уже самый век вокруг их переменялся, тот и другой сжились с взятою ими мыслью. Она наполняла неотлучно ум их и потому приобрела обдуманную, строгую значительность, сквозит повсюду и дает их сочинениям малый вид эпопеи, несмотря на шуточный тон, на легкость и даже на то, что одна из них писана в прозе.

## **Эклога и идиллия**

Есть род драматических описательных произведений, которые издавна уже дано имя эклог и идиллий и которые вообще называются пастушескими. Эти два рода соединяют весьма несправедливо вместе и еще несправедливей смешивают одно с другим. Чтобы видеть существенное различие между ним, поговорим о каждом роде отдельно: сначала об эклоге, потом об идиллии.

### **Эклога**

Эклога есть слово греческое и значит просто: избранная пьеса. Те сочинения, которые назвал Virgilius эклогами, имеют только

внешний вид сельских или пастушеских стихотворений. Пастухи его препираются друг с другом в песнопении, и песнопенья так возвышенны, что приемлют вид од, гимнов, ничуть не уступая в возвышенности одам Горация, так что вследствие сего произвольно взятое имя эклога стало выражать в наших понятиях <sup>х</sup> состязание двух или многих между собою в песнопении или восхвалении чего-либо. Словом, как бы это было лирическое произведение, но облеченное в драматическую форму. Лица берутся не для них самих, но для того, что должны они рассказать. Их собственное драматическое значение ничтожно. Они рисуют друг другу, начертывают один другому картину того, чего не захотел поэт сказать от своих собственн<sup>ых</sup> <sup>у</sup>ст. Они не свои выражают страсти, не сами действуют, но повествуют о событиях других и восхваляют вне их находящиеся предметы, иногда даже вовсе выходящие из их быта. Посему эклога есть скорей возвышенное стихотворе<sup>ние</sup>, чем скромное сельское. Эклогой можно назвать состязание Гомера с Гезиодом, прекрасно переделанное из Мильвуа Батюш-

ковым. Эклогой можно назвать разговор двух шаманов о завоеваниях Ермака, Дмитриева. Эклогой можно назвать стихотворение Катен<ина>, где поэт грек и поэт славянин состязаются друг с другом в песнопении. Наконец эклогами можно назвать все те картинно-лирические стихотворения, которые с недавнего времени введены нашими поэтами, которые имеют наружный вид препираний, разговоров и споров между предметами неодушевленными, но которых, однако же, поэт одушевляет и заставляет их рассказывать друг другу в картинном виде событие, служащее к проявлению той мысли, которая занимала самого поэта. Таков например Спор у Лермонтова Машук с Шат-горою о будущей судьбе Кавказа. Таковы споры городов и рек, приемлющих на время вид одушевленных лиц, которые теперь весьма часто являются у наших поэтов.

## **Идиллия**

Хотя с мыслью об идиллии соединяют мысль о пастушеском и сельском быте, но пределы ее шире и могут обнимать быт многих людей, если только с таким бытом нераз-

лучны простота и скромный удел жизни. Она живописует до мельчайших подробностей этот быт, и как, по-видимому, ни мелка ее область, не содержа в себе ни высокого лирического настроения, ни драматического интереса, ни сильного потрясающего события, хотя, по-видимому, она не что иное, как всё первое попадающееся на глаза наши из обыкновенной жизни, — но тот, однако ж, ошибется, кто примет ее в одном таком смысле. Поэтому почти всегда управляла ею какая-нибудь внутренняя мысль, слишком близкая душе поэта, а быт и самую идиллию он употреблял как только удобнейшие формы. Лучшие идиллии имели какое-нибудь историческое значение и писались по какому-нибудь случаю. Так, Гнедича Рыбаки заключает в себе случаю его собственной жизни, и в барине, о котором говорит рыбак, он изображает русского вельможу, приветствовавшего благосклонно первые труды поэта. Так, всякая идиллия Дельвига была писана по какому-нибудь поводу, не говоря уже о прекрасной идиллии: Изобретение ваяния, которая с первого заглавия говорит о том. Идиллия Купальницы была напи-

сана по поводу понравившегося поэту эстампа, висевшего в его комнате.

Идиллия не сказка и не повесть, хотя и содержит в себе что-то похожее на происшествие, но живое представление тихого, мирного быта, сцена, не имеющая драматического движения. Ее можно назвать в истинном смысле картиною; по предметам, ею избираемым, всегда простым, — картиной фламандской.

## Роман

Роман, несмотря на то, что в прозе, но может быть высоким поэтическим созданием. Роман не есть эпопея. Его скорее можно назвать драмой. Подобно драме, он есть сочинение слишком условленное. Он заключает также в себе строго и умно обдуманную завязку. Все лица, долженствующие действовать или, лучше, между которыми должно завязаться дело, должны быть взяты заранее автором; судьбою всякого из них озабочен автор и не может их пронести и передвигать быстро и во множестве, в виде пролетающих мимо явлений. Всяк приход лица, вначале, по-видимому, не значительный, уже возвещает о его

участии потом. Всё, что ни является, является потому только, что связано слишком с судьбой самого героя. Здесь, как в драме, допускается одно только слишком тесное соединение между собою лиц; всякие же дальние между ними отношения или же встречи такого рода, без которых можно бы обойтись, есть порок в романе, делает его растянутым и скучным. Он летит, как драма, соединенный живым интересом самих лиц главного происшествия, в которое запутались действующие лица, и которое кипящим ходом заставляет самые действующие лица развивать и обнаруживать сильней и быстро свои характеры, увлекательная увлеченье. Потому всякое лицо требует окончательного поприща. Роман не берет всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни, такое, которое заставило обнаружиться в блестящем виде жизнь, несмотря на условленное пространство.

## **<Повесть>**

Повесть избирает своим предметом случай, действительно бывшие или могущие случиться со всяким человеком, — случай почему-нибудь замечательный в отношении



психологическом, иногда даже вовсе без желания сказать нравоучение, но только остановить внимание мыслящего или наблюдателя. Повесть разнообразится чрезвычайно. Она может быть даже совершенно поэтической и получает название поэмы, если происшествие, случившееся само по себе, имеет что-то поэтическое; или же придано ему поэтическое выражение отдаленность<ю> времени, в которое происшествие случилось; или же сам поэт взял его с той поэтической стороны, с какой может взять только поэт и которая только пребывает в нем. Так повесть Бахчисар<айский> фонтан есть уже поэма по тому теплому роскошному колориту, в который с начала до конца облек ее всю поэт. Она может быть просто живой рассказ, мастерски и живо рассказанный картинный случай, каковы Жуковского Матте<о> Фальк<оне>, Языкова Сурмин. Или же берет с сатирической стороны какой-нибудь случай, тогда делается значительным созданием, несмотря на мелочь взятого случая; таковы Модная жена <Дмитриева>, граф Нулин Пушкина, который сверх того имел значительное выражение, как живая

картина. Иногда даже само происшествие не стоит внимания и берется только для того, чтобы выставить какую-нибудь отдельную картину, живую, характеристическую черту условного времени, места и нравов, а иногда и собственной фантазии поэта.

### **<Сказка>**

Сказка может быть созданием высоким, когда служит аллегорическою одеждою, облакающею высокую духовную истину, когда обнаруживает ощутительно и видимо даже простолюдину дело, доступное только мудрецу. Таковы отчасти две повести Жуковского о жизни человеческой. Сказка может быть создание не высокое по своему содержанию, но <в> высшей степени исполненное прелести поэтической, если поэт, взяв народный мотив, возлелеет ее воображеньем своим и усвоит вполне себе и разовьет из <нее> поэму, как, например, Руслан и Людмила. Наконец, сказка может быть создание значительное, когда содержание создано всё поэтом, но в духе народном отгаданы дух и время, какова Лермонтова <Про> купца Калашникова, и, наконец, сказка может быть просто пересказ по-

что слово в слово народной сказки, — создание менее всего значительное, которое выигрывает только от того, когда поэт сумеет привести ее в лучший порядок, вычистить, удержав в ней то, что есть в ней ее характерное, и отстранив то, что <при>бавлено лишнего. Таковы сказки Жуковского <и> Пушкина о царе Султане, о царе Берендее, о царе Сал<тане?>, о Спящей царевне и семи братьях.

### **<Ученые рассуждения и трактаты>**

Ученые рассуждения и трактаты должны быть коротки и ясны, отнюдь не многословны. Нужно помнить, что наука для тех, которые еще не знают ее. В последнее время стали писать рассужд<ения> начиная с Лединых яиц. Это большая погрешность. Думая через это более раскрыть дело, более темнят. Терминов нужно держаться только тех, которые принадлежат миру той науки, о которой дело, а не общих философ<ских>, в которых блуждает, как в лабиринте, и отдаляется от дела. Приступ должен быть не велик и с первого же раза показать, в чем дело. Заключение должно повторить дело трактата и в сокращении обнять его снова, чтобы читатель мог повто-

ритель самому себе.

## **<Примеры>** **<Оды>**

Вечернее размышление, Ломоносова.

Водопад, Державина.

Гимн богу, Дмитриева.

... Капниста\*.

Землетрясение, Языков.

Пастырь, Пушкина\*.

Подражание Иову, Ломоносов.

Вельможа, Державина.

Гений, Языкова.

Ода Ломоносова: На восстановление дома Романовых\* в лице родившегося императора Павла I.[18]

Осень во время осады Очакова.

Императору, Николаю, Пушкина\*.

Давыдову, Языкова.

На переход Альпийских гор, Державина.

Поэту, Языкова.

Благодарность Фелице, Державина.

России, Хомякова.

... Капниста\*.

Пророк, Пушкина.

Фелица, Державина.

Подражание псалму СХХХVI, Языкова.  
Благодарность Фелице, Державин<a>.  
На смерть Мещерского, Державин <a>.  
На смерть Орлова, Державин<a>\*.  
Клеветникам России, Пушкин<a>.  
К нерусским, Языкова.  
Зубову, Державина\*.  
Наполеон, Пушкина.  
Мой истукан, Державина.  
Пророк, Лермонтова.  
К XIX веку, Лермонтова\*.  
К » веку, М. Лихонина\*.  
Изображение Фелицы, Державина.  
Ответ Рафаэля певцу Фелицы, Капниста.  
Елисавете, Ломоносова\*.  
Лебедь, Державина.

## **Песни**

Уже со тьмою ноци, Капниста\*.  
У кого душевны силы, Нелединского-Мелецкого.  
Талисман, Пушкина.  
Венецианская ночь, Козлова.  
Кудри, кудри шелковые, Дельвига\*.  
Телега жизни, Пушкина.  
По дороге зимней, скучной, Пушкина\*.

Цепи, Державина.

Жуковского. Отымет наши радости\*.

В местах, где Рона протекает, Батюшкова\*.

Где твоя родина, певец молодой? Языкова\*.

Море блеска, гул, удары... Языкова\*.

Ночь. Померкла неба синева, Языкова\*.

Я взлелеян югом, югом, В. Туманского.

Ночь, Жуковского.

Делибаш, Пушкина.

Русская песня: Гой, красна земля Володи-  
мира, Хомякова.

Дельвига, Песня.

Я ехал к вам: живые сны... Пушкина\*.

Ночной зефир струит эфир, Пушкин<a>.

*Пловец.* Нелюдимо наше море, Языкова.

... Козлова.

Песнь Гаральда, Батюшкова\*.

Мечта, Державина.

Две вечерние думы, Хомякова:

1-я Вчерашняя ночь была так светла.

2-я. Сумрак вечерний тихо взошел.

Ты велишь мне равнодушным, Неледин-  
ского-Мелецкого.

Лермонтова. *Молитва.* Одну молитву чуд-  
ную.

»                    Завещание. Наедине с то-  
бою брат.

Зима. Что ты, муза, так печальна, Дер-  
жав<ина>\*.

Мотылек и цветы. К нарисованному изоб-  
ражению того и друг<ого>, Жуковского.

Два рыцаря перед девой, испанск<ий> ро-  
манс, Пушкина\*.

Песнь пажа, Пушкина\*.

Старость и младость, Капниста.

Прости мне дерзкое роптанье, Нелединско-  
го-Мелецкого.

Карикатура. Сними с меня завесу, седая  
старина, Дмитриева.

Что мне делать в тяжелой участи моей?

Мерзлякова (Тоска сельской девушки)\*.

Многи лета, многи лета (народная песня),  
Жуковского\*.

Выйду я на реченьку, *Нелединского-Мелец-*  
*кого*.

Ах, когда б я прежде знала, Дмитриева.

Уныние, Капниста: Дни отрады, где сокры-  
лись?

*Ангел*. По небу полуночи ангел летел, *Лер-*  
*монтова*.

Таинственный посетитель, Жуковского.  
Пятнадцать мне минуло лет, Богдановича\*.  
Когда веселий на крылах, Нелединско-  
го-Мелецкого.

К младенцу, Дмитриева.

Чувство в разлуке (Что не девица в тереме  
своем), Мерзлякова\*.

К востоку, всё к востоку, Жуковского\*.

Полно льститься мне слезами, Неледин-  
ского-Мелецкого.

Донскому воинству, Шатрова (Грянул вне-  
запно гром над Москвою).

С Миленой позднею порою, Капниста\*.

К месяцу, Жуковского.

Весеннее чувство, Жуковского.

Сон, Жуковского. Заснув на холме луговом.

## Элегии

Роняет лес багряный свой убор, Пушкина\*.

Умиравший Тасс, Батюшкова.

На смерть королевы Виртембергск<ой>,  
Жуковского\*.

На воспоминанье кн. Одоевск<ого>, Лер-  
монтова\*.

Пожар, Языкова.

На развалинах замка в Швеции, Батюшко-



ва.

Финляндия, Баратынского.

Элегия, Давыдова.

Пушкина, Ненастный день потух. Туманной ночи мгла\*.

Второй перевод Греевой <элегии>, Жуковского\*.

Я берег покидал туманный Альбиона, Батюшкова\*.

Элегия, А. Крылова.

Череп, Баратынского.

Лицейская годовщина, Пушкина.

Миних, Плетнева.

Элегия, Баратынского.

Тоска в немецком городке.

Элегия, Языкова.

Элегия, Пушкина.

» Пушкина.

О сжальтесь надо мною, о дайте волю мне, Хомякова\*.

Арфа, Державина.

Когда для смертного умолкнет шумный день, Пушкина\*.

Зима. Что делать нам в деревне? я встречаю, Пушкина.

Вечер, Жуковского.

## **Эклоги**

Гомер и Гезиод, Батюш<кова>

Ермак. Дмитриева.

» Катенина\*.

Спор <Казбека> с Шат-горою, Лермонтова.

Олег, Языкова.

## **Идиллии**

Рыбаки, Гнедича.

Купальницы, Дельвига.

Каприз, Пушкина\*.

Изобретение ваяния, Дельвига.

Сцены из Цыган. Пушкина.

Последние стихот<ворения> Пушкина.

Солдат, Дельвига\*.

Сторож ночной, Жуковского\*.

ДУМЫ.

Олег, Пушкина\*.

Эвпатий, Языкова.

Острогжск, Рылеева.

Пир на Неве, Пушкина\*.

Кудесник, Языкова.

## **Антологические**

Труд, Пушкина.

Монастырь на Казбеке, Пушкина.

Недуг, Шевырева.

К статуе Петра Великого, Ломоносова\*.

(Гремящие по всем концам земным победы).

Пир Потемкина, данный Екатерине, Державина.

Домик поэта в Обуховке, Капниста\*.

Красавице перед зеркалом, Пушкина.

Домовому, Пушкина.

Буря, Языкова.

Птичке, Ф. Туманского.

Нереида, Пушкина.

Вдохновенье. Сонет, Дельвига.

Красавице, Пушкина.

На спуск корабля Златоуста, Ломоносова.

Весна, Языкова.

К статуе играющего в бабки, Пушкин<a>\*.

На перевод Илиады, Пушкин <на>.

*Сонет* при посылке книги, воспоминание об искусстве, Батюшкова.

О милых призраках, Жуковского\*.

Поэту. Сонет, Пушкина.

К портрету Жуковского, Пушкина.

Нимфа, Баратынского.

Черта к биографии Державина, Держави-

на.

Последние стихи, Веневитинова.

Последние стихи, *Державина\**.

Элегия болевшего ногами поэта, *Языкова\**.

Сафо, *Пушкина*.

Дориде, *Пушкина*.

Сожженное письмо, *Пушкина*.

Рифма, *Пушкина*.

Мой голос для тебя и ласковый и томный,

*Пушкина*.

Ты и вы, *Пушкина*.

К портрету Жуковского, *Пушкина*.

На холмах Грузии лежит ночная мгла,

*Пушкина*.

## О сословиях в государстве\*

Прошло то время, когда идеализировали и мечтали о разного рода правлениях, и умные люди, оболыщенные формами, бывшими у других народов, горячо проповедывали: одни — совершенную демократию, другие — монархию, третьи — аристократию, четвертые — смесь всего вместе, пятые — потребность двух борющихся сил в государстве и на бореньи их основывали <... > Наступило время, когда всякий более или менее чувствует, что правленье не есть вещь, которая сочиняется в голове некоторых, что она образуется нечувствительно, сама собой, из духа и свойств самого народа, из местности — земли, на которой живет народ, из истории самого народа, которая показыва<ет> человеку глубокомысленному, когда и в каких случаях успевал народ и действовал хорошо и умно, и требует — внимательно всё это обсудить и взвесить.

История государства России начинается добровольным приглашеньем верховной власти. «Земля наша велика и обильна, а поряд-

ка в ней нет: придите княжить и владеть нами», — слова эти были произне<сены> людьми вольных городов. Добровольным разумным сознанием вольных людей установлен монарх в России. Все сословия, дружно требуя защиты от самих себя, а не от соседних врагов, утвердили над собою высшую власть с тем, чтобы рассудить самих себя — потребность чисто понятная среди такого народа, в котором никто не хочет уступить один другому и где только в минуты величайшей опасности, когда приходится спасти родную землю, всё соединяется в один человек и делается одним телом. Сим определена высокая зак<он>ность монарха-самодержца.

Итак, в самом начале, во время, когда не пробуждается еще потребность организации стройной, во время, когда легко ужиться с безнач<алием>, уже всё потребовало одного такого лица, которое, стоя выше всех, не будучи связано личною выгодою ни с каким сословием преимущественно, внимало бы всему равно и держало бы сторону каждого сословия в государстве. Во всю историю нашу прошла эта потребность суда постороннего

че<л>ове<ка>. Великий князь или, просто, умный князь уже требуется как примиритель других князей. Духовенство является как примиритель между князей или даже между народом, и сам государь судится народом не иначе, как верховный примиритель между собою. Стало быть, законность главы была признана всеми единогласно.

Вопрос: какие начала правления преимущественно слышатся и слышались в истории народа?

Если правление переходило сколько-нибудь в народное, это обнаруживалось совершенною анархией и полным отсутствием всякого правления: ни одного человека не бывало согласн<ого>, всё спорило между собою.

Если правление переходило совершенно в монархич<еское>, то есть в правление чиновников от короля, воспитавшихся на служебном письменном поприще, государство наполнялось взяточниками, для ограниченья которых требовались другие чиновники; через года два следовало и тех ограничивать, и образовывалась необыкновенная сложность, тоже близкая к анархии.

Стало быть, вопрос: где, в каких случаях следует допустить демократическое, народное участие и где, в каких случаях участие короны и правительствующего корпуса? То и другое в руках монарха — и аристократия и демократия; тому и другому он господин; та и другая ему равно близка. Каковы же и в чем отношения монарха к подданному? Это — лицо, которое уже должно жить другою жизнью, нежели обыкновенный червь. Он должен отречься от себя и от своей собственности, как монах; его пищей должно быть одно благо его — счастье всех до единого в государстве; его лицо не иначе, как священно.

Где особенно и в каких случаях полезна мирская сходка? Тогда, когда уже решенное определение <?> следует привести в исполнение. Никто лучше мира не умеет, как разложить и сколько на кого, потому что они знают и свои состоянья и свои силы. Поэтому кто не сообразив и наложит на каждого заплатить по рублю, будет несправедлив, но, сложивши сумму, какая должна выйти, если положить рубль на человека, — потребовать эту



сумму со всего мира. Это можно применить ко многому и в других сословиях.

Верховный совет государства предполагается состоящим из лиц, знающих нужды своего государ<ства>, которые достигнули этого звания не одним письменным поприщем и повышением за выслугу лет, но имея по службе, на многих поприщах внутри государства, случай стоять лицом <к тому>, как там происходит внутри государства. Стало быть, определения такого совета относительно всего государства могут быть менее всех других ошибочны.

Определение расходится по лицу России. Его требуется исполнить и применить <к> делу. Вот тут дело упирается на совете тех, которые должны исполнить и применить к делу: как удобней, как возможней, как необременительней ни для кого исключительно исполнить. Здесь необходимость веча, или совещания всего того сословия, к которому относится дело.

Правительство не имеет дела порознь [ни с кем] из со<словия>, но с целым сословием вместе. Всё сословие отвечает. Сословие име-

ет употребить и полицию, и насильственные меры к приведению в послушание того слушника, который бы воспротивился.

Везде, где только применены к делу постановления, там необходимо совещање самих тех, на которых должны применять <их>. Сами они должны из себя избрать для того и чиновников, и блюстителей, и ускорителей, не требовать от правительства никакого для этого жалованья и не обременять этим сложность государственного механизма.

Но где дело касается до определения постановлений, там совещаются одни испытанные в делах государственные мужи, и определенье уже непреложно, если скреплено рукой монарха. Сословия могут посылать своих депутатов, которые могут предъявлять справедливые причины упущения или необходим<ые> требования, но они принимаются только к соображению и усмотрению. Если они будут отвергнуты, сословие не имеет права на апелляцию. Само собою разумеется, что правда должна быть на стороне тех людей, которых <... > все стороны государства, — особенно, если правда эта узаконена тем, кто сто-

ит выше всех в государстве и которому равно близки выгоды всех.

Дело в том, чтобы организовались сословия, чтобы почувствовало всякое сословие свои границы, пределы, обязанности, и знали, где их дело и деятельность, а потому в воспитанье человека, с самого начала, долж<ны> войти обязанности того сословия, к которому он принадлежит, чтобы он с самого начала почувст<вовал>, что он гражданин и не без места в своем государстве.

Взглянем на наши сословия от высших до низших. Начнем с дворянства.

Дворянство наше должно было непременно <иметь> другой характер, чем дворянства других краев. Во всех других землях дворянство образовалось из пришельцев, из народов, захвативших земли туземцев и обративших народ силою в своих вассал<ов>. Оно установило насильственно отдельную касту аристократии, в которую уже не допускали никого. У нас дворянство есть цвет нашего же нас<еления?>. Большею частью заслуги пред царем, народом и всей землей русской возводили у нас в знатный род людей из всех ре-

шительно сословий. Право над другими, если рассмотреть глубже, в основании, основано на разуме. Они не что иное, как управители государя. В награду за доблести, за испытанную честную службу даются ему в управленье крестьяне, даются ему, как просвещеннейшему, как ставшему выше пред другими, — в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели, или капитан-исправники. Вольно было помещикам, позабывши эту высокую обязанность, глядеть на крестьян, как на предмет только дохода для своей роскоши и увеселений. Этим они ничуть не доказали, что государи были неправы, а доказали только, что они сами уронили званье помещика.

Итак, дворянству нашему досталась прекрасная участь заботиться о благосостоянии низших... Вот первое, что должно нача<sup>ть</sup> чувствовать это сословие с самого начала. Из-за это<sup>го</sup> само<sup>го</sup> они должны составить между собою одно целое, совеща<sup>нье</sup> они должны иметь между собою об управлении

крестьянами. Они не должны попустить между собой присутствие такого помещика, который жесток или несправедлив: он делает им всем пятно. Они должны заставить его переменить образ обращения. Они должны поступить так же, как в полку общество благородных офицеров поступает с тем, который обесчестит подлым поступком их общество, они приказывают ему выйти из круга, и он не осмеливается преступить этого, ничем уже не смягчаемого определе<ния>. Дворянство должно быть сосудом и хранит<елем> высокого нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра, которые должны сторожить сами за собою. Так должны быть он<и> в России, где не хвастают ни родом, ни происхожде<нием>, ни point d'honneur, но каким-<то> нравственным благородством, которое, к сожалению, обнаруживает<ся> только во дни выс<оких> са<мо>пожертвований. Это от самой юности дол<жно> быть внушаемо, как в первую принадлежность.

Последний в государстве и многочис<лен>ный класс — крестьяне составляют также словие и имеют много о чем совещаться меж-

ду собою. Состоя под управлением помещика, они имеют тоже о чем совещаться. Установленный сбор, повинность, положенную на каждого человека, помещик должен представить принес<и?> миру, который сам должен и собрать и принес<ти>, потому что они лучше себя знают относительно всяких состояний, и помещику никогда не <... > Он также должен лучше чувствовать свое сословие, что имеет право законно требовать помещик, за что должен заплатить ему и нанимать, как вольного человека, и переговариваться с помещиком целым миром.

Сословие граждан, самое [разнохарактерное], меньше всего получившее [определенное выражение], от неопределенности занятий и от некоторого безвластия, должно непременно возвыситься до понятия <... > Оно должно помнить, что они стражи и хранители благосостояния и должны сами из себя избирать чиновников. Полиция тогда только не будет брать взяток и грабить, когда сами граждане будут исполнять <... > Лучшая полиция, по признанию всех, в Англии и то потому, что этим занимается город, выбирая для

этого чиновн<ика> и платя ему жалованье от себя. Правитель города должен требовать от магистрата, чтобы сдела<но> было так же точно; а магистрат уже сам рассмыслит, как это сделать так, чтобы тягость упала на все сословие.

# Приложения

## I

### Оглавление V тома Собрания сочинений

1. Жизнь.
  2. Мысли о географии.
  3. О преподавании Всеобщей истории (переделанное).
  4. География[19] России.
  5. Скульптура, живопись и музыка.
  6. Искусство есть примирение с жизнью.
  7. О театре.
  8. Одиссея, перевод<енная> Жуковск<им>.
  9. О лиризме наших поэтов (сокращ<ено>).
  10. О том, что такое слов<о>.
  11. Брюллов.
  12. Истор<ический> живоп<исец> Иванов.
  13. Письма[20] по поводу Мертвых душ.[21]
  14. Просвещение.
  15. Письмо о церкви и духовенстве.
  16. О том же.
- Древняя Россия.
- Что такое долг.



Женщина в свете.

Женщина в семье.

Предмет для лирического поэта.

Христианин идет вперед.

В чем особенности русского поэта.

Светлое воскресенье.

## **Предисловие к V тому Собрания сочинений\***

**К**нига «Переписка с друзьями» произвела большие толки вкривь и вкось. Несмотря на то, что много было таких обвинений, от которых содрогнулось во мне сердце и которых я бы, может быть, не в силах был бы сделать и дурному человеку, я решился воспользоваться всяким замечанием. Вновь пересмотрел всё, в одних умерил неприличный тон, другие вовсе оставил и несколько прибавил; к этому присоединил несколько статей из Арабесок и кое-какие доселе не изданные, так что пятый том составил в себе почти все мои теоретические понятия, какие я имел о литературе и об искусстве и о том, что должно двигать литературу нашу. Всё же прочее может современем составить отдельный том под названьем юношеских опытов.

**Приписываемое Гоголю  
История средних веков, составленная  
берлинским профессором  
Циммерманом\***

**И**стория средних веков, составленная берлинским профессором Циммерманом. СПбург. 1836.

Непонятно, отчего у нас переводчики из множества оригинальных сочинений выбирают именно худшее. У нас не переведены до сих пор Гизо, Тиери, Гюльман и проч.

**Первый день светлого праздника, соч.  
Л. Я.\***

**П**ервый день светлого праздника, соч. Л. Я. СПб., в Гуттенберговой типогр. 1836, в 16 д., стр. 172.

Не много есть детских книг, написанных таким чистым и приятным слогом.

**Заключительная заметка к отделу  
«Новые книги»\***

**В**от книги, вышедшие в продолжение первой четверти сего года. О большей части их мы ничего не говорили, потому что о них решительно ничего нельзя сказать. Иные по значительности своей требуют особого разбо-

ра. Иные, взятые отдельно, не принадлежат собственно к словесности, которой преимущественно посвящен журнал наш, но, будучи сложены в общий итог книг, входят таким образом в область литературы и в этом отношении получили здесь место. Из сего реестра книг ощутительно заметно преобладание романа и повести, этих властелинов современной литературы. Их почти вдвое больше против числа других книг. Бесперывным появлением в свет они, несмотря на глубокое свое ничтожество, свидетельствуют о всеобщей потребности. История заглядывает урывками в русскую литературу. Капитальных и больших исторических сочинений нет ни в переводах, ни в оригиналах. На статистику и экономию одни намеки. Даже в знаниях практических, не вторгающихся в быт литературный, заметно тоже мелководие.

**Белинский В. Г. — Гоголю, 15/3 июля  
1847\***

**В**ы только отчасти правы, увидав в моей статье *рассерженного* человека: этот эпитет слишком слаб и нежен для выражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, действительно не совсем лестным отзывам о почитателях Вашего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорбленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня достало бы ума промолчать об этом предмете, если б всё дело заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленного чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умолчать, когда под покровом религии и защитою кнута проповедуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный со своею страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания,

развития, прогресса. И Вы имели основательную причину хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, потерявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы я считал любовь мою наградой великого таланта, а потому, что, в этом отношении, представляю не одно, а множество лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большого числа и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том негодовании, которое возбудила Ваша книга во всех благородных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который издали, при появлении ее, все враги Ваши — и не литературные (Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.) и литературные, которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что от Вашей книги отступились даже люди, невидимому, одного духа с ее духом. Если б она и была написана вследствие глубоко-искреннего убеждения, и тогда бы она должна была произвести на публику то же впечатление. И если ее принимали все (за исключением немногих людей, которых надо видеть и знать, чтоб не обрадоваться их

одобрению) за хитрую, но чересчур перетоненную проделку для достижения небесным путем чисто земных целей — в этом виноваты только Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что Вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что вы глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыслящий человек, роль которого Вы так неудачно приняли на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего *прекрасного далека*, а ведь известно, что ничего нет легче, как изда- лека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; потому, что Вы в этом *прекрасном далеке*, живете совершенно чуждым ему, в самом себе, внутри себя, или в однообразии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!),

не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того оправдания, каким лукаво пользуются американские плантаторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди сами себя называют не именами, а кличками: *Ваньками*, *Штешками*, *Васьками*, *Палашками*; страны, где, наконец, нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей. Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что де-

лают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут пер-вых), — что доказывается его робкими и бесплодными полумерами в пользу белых негров и комическим заменением однохвостого кнута треххвостую плетью. Вот вопросы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом полусне! И в это-то время великий писатель, который своими дивно-художественными, глубоко-истинными творениями так могущественно содействовал самосознанию России, давши ей возможность взглянуть на себя самое как будто в зеркале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*.. И это не должно было привести меня в негодование?.. Да если бы Вы обнаружили покушение на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти позорные строки... И после этого Вы хотите, чтобы верили искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы действительно преисполнились истиною Христова, а не дьяволова ученья, — совсем не то написали бы Вы Вашему адепту



из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его крестьяне — его братья по Христе, а как брат не может быть рабом своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами. Как можно льготнее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном в отношении к ним положении. А выражение: *ах ты неумытое рыло!* да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя не считают за людей? А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму которого должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым! И такая-то книга могла быть результатом трудного внутреннего процесса, высокого духовного просветления!.. Не может быть!.. Или Вы больны,

и Вам надо спешить лечиться; или — не смею досказать моей мысли...

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских аравов — что Вы делаете?.. Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите над бездною... Что Вы подобное учение опираете на православную церковь — это я еще понимаю: она всегда была опорой кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем Вы при-мешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какою-нибудь, а тем более православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения. И оно только до тех пор и было *спасением* людей, пока не организовалось в церковь и не приняло за основание принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, стало быть, поборницею неравенства, льстецом власти, врагом и гонительницею братства между людьми, — чем и продолжает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт философским движением прошлого века. И вот почему какой-нибудь Вольтер,

орудием насмешки потушивший в Европе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь всё это теперь вовсе не новость для всякого гимназиста...

А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнусному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что второе когда-то было чем-то, между тем как первое никогда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской власти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника. Кого русский народ называет: *дурья порода, колуханы, жеребцы?* — Попов. Не есть ли поп на Руси, для всех русских, представитель обжорства, скупости,

низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть петицизм, благоговение, страх божий. А русский человек произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он говорит об образе: *годится — молиться, не годится — горшки покрывать*. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации; но религиозность часто уживается и с ними: живой пример Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, всё еще упорно стоят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком много для этого здравого смысла, ясности и положительности в уме; и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в нем да-

же к духовенству; ибо несколько отдельных, исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетическою созерцательностью — ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее можно похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявилась у нас только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия я уронил Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близких к Вам, по их направлению. Что касается до меня лично, предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего

*прекрасного далека*: вблизи-то она не так красива и не так безопасна... Замечу только одно: когда европейцем, особенно католиком, овладевает религиозный дух — он делается обличителем неправой власти, подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии сильных земли. У нас же наоборот, постигнет человека (даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиатров под именем *religiosa mania*, он тотчас же земному богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит через край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усердие, да видит, что этим окомпрометировал бы себя в глазах общества... Бестия наш брат, русский человек!..

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как великую и неоспоримую истину, будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бумаге, Вы не знали, что творили...

«Но, может быть, — скажете Вы мне, — положим, что я заблуждался, и все мои мысли

ложь; но почему ж отнимают у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности моих заблуждений?» — Потому, отвечаю я Вам, что подобное направление в России давно уже не новость. Даже еще недавно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Конечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато они развили общее им с Вами учение с большею энергиею и большею последовательностию, смело дошли до его последних результатов, всё отдали византийскому богу, ничего не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свечке тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, Пушкина, литературу и театр, которые с Вашей точки зрения, если бы только Вы имели добросовестность быть последовательным, нисколько не могут служить к спасению души, но много могут служить к ее гибели. Чья же голова могла переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы слишком высоко поставили себя во мнении русской публики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных

убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может казаться таким в гениальном человеке. Некоторые остановились было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного расстройтва, близкого к положительному сумасшествию. Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть год, два или три, в ней есть связь; сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимны властям предержащим хорошо устраивают земное положение набожного автора. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну наследника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось известным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, затем обнаруживаете недовольство своими прежними произведениями и объявляете, что только тогда останетесь довольны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д. Теперь судите сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас в глазах публики и



как писателя и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение православию, самодержавию и народности. Разительный пример — Пушкин, которому стоило написать только два-три верноподданических стихотворения и надеть камер-юнкерскую ливрею, чтобы

вдруг лишиться народной любви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, будто бы высказанных Вами всем и каждому. Положим, Вы могли это думать о пишущей братии, но публика-то как могла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мертвых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом, и менее горькие правды высказали ей? И она, действительно, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мертвые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя книга позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия, православия и народности и потому, всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, порадитесь вместе со мною падению Вашей книги!..

Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. Ваша книга испугала меня возможностью дурного влияния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет напечатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуныли; но я тогда же сказал им, что несмотря ни на что книга не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действительно, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но мысль — довести о нем до сведения публики — была самая несчастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде всё равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище

угнетения чуждых ему людей, — тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордостью, а с другой — самым позорным унижением своего человеческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным совершенством, стать выше всех смирением может быть плодом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ведет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом Вы позволили себе цинически грязно выражаться не только о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — это уже гадко, потому что если человек, бьющий своего ближнего по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни формы христианства нашего времени. Не истиной христианского учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада берет от Вашей книги. И что за язык, что за фразы! *«Дрянь и тряпка стал теперь всяк чело-*

век!» Неужели Вы думаете, что сказать всяк, вместо всякий, значит выразиться библейски? Какая это великая истина, что когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Вашего имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора «Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиблись, сочтя статью мою выражением досады за Ваш отзыв обо мне как об одном из Ваших критиков. Если б только это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с досадою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и беспристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почитателях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим восторгом ко мне только делает меня смешным; но и эта необходимость тяжела, потому что как-то по-человечески неловко даже за ложную любовь платить

враждою. Но Вы имели в виду людей если не с отменным умом, то всё же и не глупцов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям наделали, может быть, гораздо больше восторженных восклицаний, нежели сколько Вы сказали о них дела; но всё же их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос. Он это сделал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, плохого рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько я помню, за его *«вялый, влачащийся по земле стих»*. Всё это нехорошо! А что Вы только ожидали времени, когда Вам можно будет отдать справедливость и почитателям Вашего таланта (отдавши ее с гор-

дым смирением Вашим врагам), этого я не знал, не мог, да признаться, и не захотел бы знать. Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я читал и перечитывал ее сто раз, и все-таки не нашел в ней ничего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это скоро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не думал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали право писать к Вам без церемоний, имея в виду одну правду. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамошние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доносов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогнала меня за границу и N <Некрасов> переслал мне Ваше письмо в Зальцбрунн, откуда я сегодня же еду с Ан<ненковым> в Париж через Франкфурт на Майне. Неожиданное получение Вашего письма дало мне возможность высказать Вам всё, что лежало у меня на душе против Вас по

поводу Вашей книги. Я не умею говорить вполнину, не умею хитрить: это не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый порадуюсь этому, но не расскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России. И вот мое последнее, заключительное слово: если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние.

Зальцбрунн.

15 июля н. с. 1847 г.



# Комментарии

## От редакции

**В** восьмом томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя печатаются его критические и публицистические статьи, относящиеся к двум различным периодам жизни и творчества Гоголя. Значительная их часть приходится на годы 1831–1836, другая часть падает на последние годы жизни писателя, 1845–1850. В промежутке между этими периодами Гоголь написал лишь одну небольшую рецензию на альманах «Утренняя заря» на 1842 год, напечатанную в «Москвитянине» 1842 г. со значительными дополнениями М. П. Погодина.

Среди статей 1830-х годов главное место занимают статьи, напечатанные в сборнике «Арабески», и статьи, писанные для пушкинского «Современника» 1836 г. В статьях из «Арабесок» Гоголь излагает свои исторические воззрения и свои взгляды на литературу и искусство. Эти статьи по времени совпадают с работой над повестями 30-х годов (в состав сборника вошли «Портрет», «Невский

проспект» и «Записки сумасшедшего») и представляют исключительный интерес для изучения гоголевского реализма. В статье «Несколько слов о Пушкине», высоко оцененной Белинским, Гоголь высказал взгляд на Пушкина как на великого русского национального поэта; в борьбе с романтической эстетикой Гоголь намечает здесь задачи, стоявшие перед русской литературой. В статье «О малороссийских песнях» Гоголь дал глубокую оценку народного творчества, как выражения народной жизни и народного сознания. В статье о картине К. Брюллова «Последний день Помпеи» Гоголь выступил с принципиальной оценкой явлений русского национального искусства.

На страницах «Современника» Гоголь вместе с Пушкиным вел борьбу за развитие передовой, идейной реалистической литературы. Разбирая первый том журнала, В. Г. Белинский особенно выделил статью Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.». Он писал, что эта «статья содержит в себе много замечаний, высказанных умно, остро, благородно и прямо». Борясь против ре-

акционной и беспринципной критики Греча, Булгарина и Сенковского, Гоголь отстаивал критику честную, содержательную, одушевленную любовью к русской литературе. Впоследствии Н. Г. Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» заявил о своем согласии с главными положениями статьи Гоголя и построил свою характеристику Сенковского на основе данной статьи.

В статье «Петербургские записки 1836 года» Гоголь подвергает суровой критике театральный репертуар того времени и высказывает свои взгляды на задачи русского национального театра, на значение комедии, изображающей русские нравы, русской национальной оперы, русского балета. Он как бы обосновывает тот переворот, который совершили постановки «Ревизора» и оперы Глинки «Иван Сусанин», определившие победу национального начала на русской сцене.

Статьи второй половины 40-х годов не только хронологически отделены от первой группы статей. По характеристике самого Гоголя, их отделяет от нее «крутой поворот», который произошел в его творчестве к

1845–1846 гг. Этот поворот нашел наиболее резкое выражение в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), вызвавшей гневную отповедь Белинского в его письме к Гоголю. Обострившийся в 40-х годах кризис крепостного государства совпадает с усилением борьбы крестьян и всего передового русского общества против крепостного права. Выразителем этих освободительных стремлений выступил В. Г. Белинский, предшественник «полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении», по выражению В. И. Ленина.[22] Стремясь осмыслить общественную и литературную борьбу, происходившую тогда в России, и определить свою позицию в этой борьбе, Гоголь не сумел найти правильного ответа на исторические вопросы, выдвинутые новой эпохой. Он не сумел понять всего значения борьбы Белинского и передового демократического лагеря 40-х годов против дворянской монархии и крепостного права, — борьбы, на которую он оказал такое могучее влияние своими произведениями. Многолетнее пребывание за границей, вдали от России, отсут-

ствие личных тесных связей с представителями передового общественного лагеря, воздействие консервативно настроенных друзей и знакомых — всё это явилось причиной такого непонимания. В результате появились «Выбранные места из переписки с друзьями». В этой книге Гоголь выступил с проповедью религиозного покаяния и примирения партий; вместо борьбы он звал к самоусовершенствованию. Гоголь воображал, что он может занять место *над* борющимися партиями, на деле же он как автор «Выбранных мест из переписки с друзьями» оказался во власти реакции, выразителем враждебных прогрессу идей.

В своей книге Гоголь объективно отказался от служения народу и перешел в лагерь самодержавия и помещиков-крепостников.

В. Г. Белинский в своем гениальном письме к Гоголю вскрыл подлинный смысл книги, противопоставил Гоголя-писателя, «надежду, честь и славу России», «одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса», Гоголю — проповеднику пиэтизма, защитнику крепостного права. Белинский осу-

дил «Выбранные места из переписки с друзьями» как с точки зрения интересов народа и освободительного движения, так и с точки зрения творчества самого Гоголя, и его приговор был поддержан всей передовой Россией. Высокую оценку письма Белинского к Гоголю дал В. И. Ленин: «Его знаменитое „Письмо к Гоголю“, подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору».[23] Ленин указывал, что в письме Белинского к Гоголю нашло свое отражение настроение крепостных крестьян против крепостного права.[24]

Письмо Белинского печатается в качестве приложения к настоящему тому.

Тов. А. А. Жданов в своем докладе о журналах «Звезда» и «Ленинград», напоминая о значении письма Белинского к Гоголю, сказал, что «великий критик со всей присущей ему страстностью бичевал Гоголя за его попытку изменить делу народа и перейти на сторону царя».[25]

Письмо Белинского оказало глубокое воз-

действие и на самого Гоголя, признавшего под влиянием страстного протеста Белинского, что он поспешил с опубликованием своей книги и что его дело говорить «живыми образами», а не проповедовать.

В статьях, вошедших в «Выбранные места из переписки с друзьями», при всем том отразилась подлинная тревога Гоголя за судьбы народа, за историческое будущее России. Есть в них и отдельные интересные страницы, которые автор посвятил русской литературе, собственному творчеству (главным образом «Мертвым душам»). Но во всем остальном «Выбранные места из переписки с друзьями» являются документом, выражающим ту систему реакционных взглядов, которая отуманила сознание великого писателя, утратившего ясное понимание истинных задач своего творчества. История всецело подтвердила тот отрицательный приговор, который произнес над этими статьями Гоголя более ста лет назад Белинский.

«Выбранные места из переписки с друзьями» сохраняют свое историческое значение, как основной повод к той полемике, которая

дала русской общественной мысли такое ярчайшее произведение прогрессивной публицистики, как письмо Белинского.

Тот же круг идей, который положен в основу «Выбранных мест из переписки с друзьями», характерен и для примыкающей к ним статьи «О сословиях в государстве».

Кроме указанных циклов и статей, в том включены: статья «О Современнике», «Авторская исповедь» и «Учебная книга словесности».

В издание не введено, как не имеющее прямого отношения к литературной деятельности Гоголя и представляющее узко биографическое значение, его богословское сочинение «Размышление о божественной литургии».

## **Статьи из «Арабесок».**

### **Источники текста**

#### **1. Печатные.**

##### **а. Ко всем статьям:**

*Ар* — Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя. Части первая и вторая. СПб., 1835.

##### **б. К отдельным статьям:**

**«О средних веках»**



*ЖМНП* — Журнал министерства народного просвещения, 1834, ч. III, № 9, отд. II, стр. 409–427.

### **«О преподавании всеобщей истории»**

*ЖМНП* — То же, 1834, ч. I, № 2, отд. II, стр. 189–209.

### **«Взгляд на составление Малороссии».**

*ЖМНП* — То же, 1834, ч. II, № 4, отд. II, стр. 1–15.

### **«О малороссийских песнях»**

*ЖМНП* — То же, 1834, ч. II, № 4, отд. II, стр. 16–26.

### **«Мысли о географии»**

*ЛГ* — Литературная газета, 1831, № 1, от 1 января, стр. 4–7.

## **2. Рукописные.**

*РМ4* — Записная книга Гоголя, из числа принадлежавших Аксакову. *ЛБ*[26] (шифр М. 3231). Черновые автографы статей «Скульптура, живопись и музыка», «Несколько слов о Пушкине», «Об архитектуре нынешнего времени», «Ал-Мамун», «Жизнь», «Шлецер, Миллер и Гердер», «Последний день Помпеи».

*РЛ5* — Разные бумаги Н. В. Гоголя, спасенные М. П. Погодиным от сожжения» (из собрания П. Я. Дашкова). *ПД.* (фонд 652, опись 1, № 1). Лл. 30–33, 35, 50. Черновая редакция статьи «О средних веках» и начало ее второй редакции.

*РЛ1* — Записная книга. *ПБЛ.* Лл. 1–2 об. Черновой автограф статьи «Взгляд на составление Малороссии».

*РМ1* — Черновой набросок к той же статье, вырванный, по всей вероятности, из той же записной книги. *ЛБ* (шифр М. 3220, № 2).

*РН* — Черновой автограф начала статьи «Жизнь». *ЛБ* (шифр М. 3213, № 21).

## I.

Из произведений Гоголя, вошедших в состав его сборника «Арабески», в настоящем томе печатаются только статьи, — повести Гоголя, напечатанные в «Арабесках» («Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего»), и два отрывка из романа «Гетьман» вошли в III том издания.

Статьи из «Арабесок» при жизни Гоголя не переиздавались. Поэтому они печатаются по тексту «Арабесок» в той последовательности,

в которой были помещены в этом сборнике. Немногие мелкие исправления, внесенные в текст по автографам или по более ранним журнальным публикациям, оговорены в вариантах к каждой статье.

## II.

Сборник «Арабески. Разные сочинения Н. Гоголя» (СПб. В типографии вдовы Плюшар с сыном. 1835; цензурное разрешение — 10 ноября 1834 г.) вышел в свет 20–22 января 1835 года в двух частях. В первую часть сборника вошли: 1. Предисловие; 2. Скульптура, живопись и музыка; 3. О средних веках; 4. Глава из исторического романа; 5. О преподавании всеобщей истории; 6. Портрет; 7. Взгляд на составление Малороссии; 8. Несколько слов о Пушкине; 9. Об архитектуре нынешнего времени; 10. Ал-Мамун. Во второй части «Арабесок» Гоголем были помещены: 1. Жизнь; 2. Шлецер, Миллер и Гердер; 3. Невский проспект; 4. О малороссийских песнях; 5. Мысли о географии; 6. Последний день Помпеи; 7. Пленник; 8. О движении народов в конце V века; 9. Записки сумасшедшего. Таким образом, если не считать «Предисловия», каждая

часть «Арабесок» состояла из 9 произведений и объединяла в своем составе повествовательную прозу со статьями по вопросам истории, географии, искусства и литературы. Это разнообразие состава сборника подчеркивалось его названием.

Из художественных произведений и статей, вошедших в состав «Арабесок», до их выхода, в 1831–1834 гг., Гоголем были опубликованы один из отрывков «Гетьмана» («Глава из исторического романа») и 5 статей: «О средних веках», «О преподавании всеобщей истории», «Взгляд на составление Малороссии», «О малороссийских песнях» и «Мысли о географии». Остальные произведения, вошедшие в «Арабески», появились впервые в составе этого сборника.

Подготавливая сборник для печати, Гоголь выставил под отдельными статьями даты (с 1829 по 1834 год). Однако датировки, выставленные Гоголем, нельзя считать вполне точными, за исключением даты, которой помечена статья о картине Брюллова («Август 1834») и которая имеется уже в черновой рукописи этой статьи. В некоторых случаях Го-

Гоголь, повидимому, мог сознательно датировать статьи более ранними годами по сравнению с временем их фактического написания, так как, выступая впервые перед широким читателем в качестве историка и публициста, он испытывал некоторую неуверенность в своих силах. Помечая часть своих статей 1829–1832 годами, Гоголь тем самым как бы оправдывал возможные недостатки своих статей их «молодостью». В других случаях дату, проставленную Гоголем, можно рассматривать как указание на время первоначального замысла статьи, получившего литературное воплощение позднее.

В творчестве Гоголя «Арабески» явились новой, важной и ответственной вехой. С начала 30-х годов Гоголь постоянно и широко интересуется историей, географией, искусством; наряду с художественными замыслами в 1833–1834 гг. у него возникает ряд обширных научных замыслов: всеобщая история и всеобщая география, «История Малороссии», история русской критики. «Арабески» отразили эту широту интересов и разнообразие замыслов Гоголя в следующие годы после

создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В новом сборнике Гоголь сделал попытку выступить перед широкой читающей публикой не только как повествователь, но и как историк и художественный критик. Кроме того, если до «Арабесок» Гоголь выступал как писатель, связанный по преимуществу с украинской тематикой, то в «Арабесках» в центре внимания Гоголя стояла русская жизнь, которая с этого времени навсегда заняла в его творчестве главное место.

Мысль об объединении своих, как уже опубликованных к этому времени, так и еще не опубликованных статей вместе с художественными произведениями, не вошедшими в «Вечера», в составе единого сборника возникла у Гоголя, по всей вероятности, в начале 1834 г. Среди рукописей Гоголя сохранилось два плана будущих «Арабесок» (оба — незаглавленные), различные между собой по составу и порядку включенных в них произведений. Сравнение этих планов позволяет проследить постепенную эволюцию замысла «Арабесок» и изменение их композиции.

Первый, более ранний план «Арабесок» до-

шел до нас в составе Дашковского собрания рукописей Гоголя и хранится в Институте русской литературы (Пушкинском Доме) АН СССР (впервые этот план опубликован В. В. Гиппиусом в сборнике «Н. В. Гоголь. Материалы и исследования», т. 1. М. — Л., 1936, стр. 5). Приводим его полностью:

О средних в<еках>. О малоросс<ийских> песнях. Дождь. Об архитектуре. Мысли о истории. [Женщина] Учитель. [О Пушкине] Кровавый бандурист. Глава из романа. Женщина. Мысли о географии. О Малороссии О естес<твенной?> истории

Этот первоначальный план «Арабесок», значительно отличающийся от окончательного, повидимому, следует приурочить к февралю 1834 г., так как, с одной стороны, в нем упомянута статья «О малороссийских песнях», начатая не ранее 12 февраля 1834 года, а с другой — назван отрывок «Кровавый бандурист», запрещенный цензурой 27 февраля (см. т. III наст. изд., стр. 712–714). Под «Мыслями об истории» Гоголь, очевидно, имел в виду статью, названную позднее «О преподавании всеобщей истории». Отрывок «Дождь»

(«Дождь был продолжительный...») остался незаконченным (см. там же, стр. 331–333); отрывок этот явился зародышем «Невского проспекта» и «Записок сумасшедшего». «Учитель» и «Женщина», фигурирующие также во втором плане сборника, остались за пределами «Арабесок». Статья «О естес<твенной?> истории», вероятно, осталась неосуществленной. В. В. Гиппиусом было высказано предположение, что статья эта была задумана как отклик Гоголя на книгу М. А. Максимовича «Размышления о природе». (См. отзыв Гоголя о ней, т. X наст. изд., стр. 291; ср. В. Гиппиус. «Заметки о Гоголе». Ученые записки Лен. Гос. Университета, серия филологических наук, в. 11, л. 1941, стр. 7–9.)

Второй, позднейший план «Арабесок», набросан Гоголем на стр. 3 тетради *PM4 (ЛБ)*. Тетрадь эта содержит черновые автографы значительного числа произведений, вошедших в «Арабески». Второй план «Арабесок» опубликован Н. С. Тихонравовым в Сочинениях Гоголя, 10 изд., т. V, стр. 557–558.

Скульптура, живоп<ись> и музыка 1.  
О Пушкине 6.



[Об архитект<уре>]

О средних веках 2.

Взгляд на Малороссию 7.

Глава из историч<еского> ром<ана>

Об архитектуре 9.

Женщина 10.

О [плане] преподаван<ии> всеобщей исто-  
рии 5.

Миллер, Шлецер и Гердер.

О малорос<сийских> песнях

Невский проспект.

[Учитель]. О переселении народов.

О преподаван<ии> географии.

Отрывок из романа.

[Учитель]. Тракт<ат?> о правлении.

Учитель.

Картина Брюлова.

Записки сумасшедш<его> музыкант<а>.

В отличие от первого, второй план «Арабе-  
сок» уже близок к окончательному составу  
сборника. В нем, как и в самом сборнике, 18  
названий, но вместо «Портрета», «Жизни» и  
«Ал-Мамуна» еще фигурируют «Женщина»  
и «Учитель» (не включенные в сборник), а  
также не осуществленная Гоголем статья, на-

званная в перечне «Тракт<ат?> о правлении» (см. о ней в комментарии к статье «Ал-Мамун»<sup>\*)</sup>). Датировать второй план «Арабесок» можно концом августа — сентябрем 1834 г., так как он составлен Гоголем позднее написания статьи о «Последнем дне Помпеи» (август 1834), но до завершения работы над «Записками сумасшедшего» и «Ал-Мамуном» (октябрь 1834).

Окончательно план сборника определился у Гоголя, вероятно, лишь к концу октября 1834 г. К этому времени Гоголь закончил работу над редактированием отдельных произведений и статей, и весь сборник в уже окончательном виде смог быть представлен в цензуру. При прохождении через предварительную цензуру урезкам подвергся лишь «Невский проспект» (см. т. III наст. изд., стр. 638 и 644); статьи были пропущены без изменений. В ноябре же, очевидно, началось печатание. 14 декабря 1834 г. Гоголь писал М. П. Погодину об «Арабесках»: «Ты спрашиваешь, что я печатаю. Печатаю я всякую всячину. Все сочинения и отрывки и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть и исторические,

известные уже и неизвестные. Я прошу только тебя глядеть на них понисходительнее. В них много есть молодого».

Перед выпуском книги, в конце декабря 1834 г. — начале января 1835 г., у Гоголя вышла новая «довольно неприятная зацепка по цензуре»; на этот раз цензурное вмешательство коснулось «Записок сумасшедшего», из которых Гоголю пришлось выкинуть несколько «лучших мест» (см. т. III, стр. 699, и т. X, стр. 346). Вмешательство цензуры задержало выход уже готового к этому времени сборника. Наконец, около 20–22 января «Арабески» вышли в свет, и первые экземпляры их были посланы Гоголем Пушкину, М. П. Погодину и М. А. Максимовичу.

Посылая «Арабески» Погодину, Гоголь писал 22 января 1835 г.: «Посылаю тебе всякую всячину мою. Погладь ее и потрепли: в ней очень много есть детского и я поскорее ее старался выбросить в свет, чтобы вместе с тем выбросить из моей конторки всё старое, и, стряхнувшись, начать новую жизнь. Изъяви свое мнение об исторических статьях в каком-нибудь журнале. Лучше и приличнее, я

думаю, в журнале просвещения. Твое слово мне поможет. Потому что и у меня, кажется, завелись какие-то ученые неприятели». А в письме к Максимовичу Гоголь шутливо писал, подчеркивая жанровое разнообразие и оригинальность своей новой книги: «Посылаю тебе сумбур, смесь всего, кашу, в которой есть ли масло, суди сам» (т. X наст. изд., стр. 348–349).

Реакционная критика 30-х годов, боровшаяся против Гоголя-реалиста, встретила статьи Гоголя, помещенные в «Арабесках», резко враждебно. «Всё, что бы мы здесь ни сказали, не в состоянии дать надлежащего понятия об уродливости суждений и слога, о тяжких грехах против вкуса, логики и простых обыкновенных познаний в науках и художествах, о напыщенности фраз, внутренней пустоте мысли и дисгармонии языка, какими отличаются эти „пьесы, высказавшиеся от души в разные эпохи жизни и не по заказу“». Читаешь и глазам своим не веришь!», — писал Сенковский в «Библиотеке для чтения» (1835, т. IX, отд. VI. Новые книги, стр. 10).[27]

Аналогичен был отзыв Булгарина: «Автор,

повидимому, обладает обширными сведениями: он толкует обо всем, решительно и смело, но, к сожалению, не всегда впопад. Часто он делает жестокие промахи против самых понятий о науках и искусствах, против логики и истины, и почти всегда против языка и слога» («Северная пчела», 1835, № 273 от 1 апреля, стр. 289).

Молодой Белинский, восторженно приветствовавший в своей статье «О русской повести и повестях Гоголя» повести, помещенные в «Арабесках», смело противопоставивший взглядам реакционной критики, стремившейся ограничить и принизить значение гоголевского творчества, свою глубокую и гениальную оценку Гоголя как «поэта жизни действительной», наследника и продолжателя Пушкина, «главу литературы», в 1830-х годах сурово отнесся к теоретическим статьям Гоголя.[28]

Позднее, в 40-х годах, после появления «Ревизора» и первого тома «Мертвых душ», осветивших весь творческий путь Гоголя, перед Белинским должны были раскрыться новые стороны и в более ранних произведениях ве-

ликого писателя. Поэтому Белинский пересмотрел свой первоначальный отрицательный отзыв о статьях Гоголя из «Арабесок». В письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г., говоря о замышлявшейся им тогда в связи с выходом «Мертвых душ» обобщающей статье о Гоголе, Белинский специально остановился на изменении своего отношения к «Арабескам». «С особенной любовью, — писал он здесь, — хочется мне поговорить о милых мне „Арабесках“, тем более, что я виноват перед ними: во время оно я с жестокою запальчивостью изрыгнул хулу на ваши в „Арабесках“ статьи ученого содержания, не понимая, что тем изрыгаю хулу на духа. Они были для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки» (Белинский. «Письма», т. II, СПб., 1914, стр. 309).

Об изменении своего отношения к некоторым статьям Гоголя из «Арабесок» Белинский тогда же заявил и в печати. В 1843 г. в «Литературных и журнальных заметках» он писал: «... в „Арабесках“ напечатаны его <Гоголя> превосходные критические статьи о Пушкине, о Брюлове, о Шлецере, Миллере и Гердере»

(«Отечественные записки», 1843, т. XXVI, № 1, отд. VIII, стр. 52).

Наиболее высоко оценил Белинский в 1840-х годах статью Гоголя «Несколько слов о Пушкине». Начиная с 1842 г. (впервые — в статье «Русская литература в 1841 г.». Полн. собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. 7. СПб. 1904, стр. 34), Белинский постоянно сочувственно цитирует эту статью, а в своей пятой статье о Пушкине (1844) он называет ее «замечательной статьей» (там же, т. 11. П. 1917, стр. 374).

С сочувственной оценкой статей из «Арабесок», данной Белинским в письме к Гоголю от 20 апреля 1842 г., перекликаются и другие отзывы представителей прогрессивного лагеря 1830-1840-х годов.

Декабрист В. К. Кюхельбекер, прочтя в Свеаборгской крепости статью Сенковского об «Арабесках» в «Библиотеке для чтения», записал по поводу этой статьи и приведенного в ней отрывка лекции Гоголя «О средних веках» в своем дневнике 26 марта 1835 г.: «Об Арабесках Гоголя „Библиотека“... судит по своему: отрывок, который приводит рецен-

зент, вовсе не так дурен; он, напротив, возбуждал во мне желание прочесть когда-нибудь эти Арабески, которые написал, как видно по всему, человек мыслящий» (В. К. Кюхельбекер. «Дневник». Л. «Прибой». 1929, стр. 230).

В. В. Стасов в своих воспоминаниях описывает то глубокое и светлое впечатление, которое произвели на него и его товарищей (тогда еще учащихся) в пору их молодости исторические статьи Гоголя в «Арабесках»: «Не могу теперь сказать — как другие, но что касается до меня лично, то я был тогда в великом восхищении и от исторических статей Гоголя, напечатанных в „Арабесках“. „Шлецер, Миллер и Гердер“, „Средние века“, „Мысли об изучении истории“, всё это глубоко поражало меня картинностью и художественностью изложения... И, мне кажется, эти статьи не пропали даром. Они имели значительное влияние на отношение мое и моих товарищей к истории» (В. Стасов. «Училище Правоведения сорок лет тому назад», «Русская старина», 1881, № 2, стр. 415–416). Влияние «Арабесок» на свое умственное развитие Стасов отмечает и в автобиографических заметках «Мои воспомина-



ния» (В. Стасов. Избранные сочинения, т. 1, М. — Л. «Искусство», 1937, стр. XI).

Приступив в 1850–1851 годах к изданию нового собрания своих сочинений, Гоголь собирался отвести в нем один (пятый) том специально своим статьям, объединив в нем часть статей из «Арабесок» и из «Выбранных мест из переписки с друзьями» (см. набросок плана, составленный Гоголем, в «Приложениях» к настоящему тому, стр. 497). Однако Гоголь умер, только успев начать работу над изданием своих сочинений, и статьи из «Арабесок» были впервые включены в собрание сочинений Гоголя в 1856 г. Н. П. Трушковским (т. V, стр. 1-295).

## <Предисловие>

Написано, вероятно, в начале ноября 1834 г., перед представлением рукописи сборника в цензуру. Однако не исключена возможность, что предисловие написано и позднее, в декабре 1834 г., когда сборник уже печатался. Такой вывод можно сделать из письма Гоголя к Пушкину от конца декабря 1834 г. — начала января 1835 г., вместе с которым Гоголь посылал Пушкину на просмотр текст предисловия (из письма неясно, была ли это рукопись или корректура). При этом Гоголь писал: «... если что, то поправьте и перемените тут же чернилами. Я ведь, сколько вам известно, сурьезных предисловий еще не писал, и потому в этом деле совершенно неопытен» (т. X наст. изд., стр. 346). Были ли внесены Пушкиным какие-либо поправки в текст предисловия, — остается неизвестным, так как предисловие дошло до нас только в тексте «Арабесок».

# Скульптура, живопись и музыка

Печатается по *Ар.*

Черновой автограф статьи «Скульптура, живопись и музыка» в *РМ4* предшествует черновым редакциям других статей и повестей Гоголя (первые страницы тетради заполнены ее прежним владельцем — В. Тарновским, от которого Гоголь получил в подарок тетрадь). Однако, хотя автограф «Скульптуры, живописи и музыки» занимает в тетради первое место, повидимому, статья эта писалась позже последующих статей, по крайней мере части их. Это видно из того, что, работая над «Скульптурой, живописью и музыкой», Гоголь одновременно записал на стр. 47–48 вставку к статье «Несколько слов о Пушкине», которая в тетради занимает место между отрывками «Скульптуры, живописи и музыки». Из этого следует, что Гоголь работал над статьей «Скульптура, живопись и музыка», когда основной текст статьи о Пушкине, к которому относится эта вставка, уже был в тетради. Это подтверждается и тем, что в первом наброске плана «Арабесок», относящемся к февралю 1834 г., «Скульптура, живопись и му-

зыка» еще отсутствует, в то время как статья «О Пушкине» в нем уже названа. Так как в позднейшем плане «Арабесок» «Скульптура, живопись и музыка» также уже фигурирует, то статью эту нужно датировать временем с февраля по август — сентябрь 1834 г. (несмотря на выставленную Гоголем под статьей более раннюю дату «1831»; в рукописи эта дата отсутствует).

Черновой текст статьи длиннее ее окончательного текста. Перед помещением в «Арабесках» статья подвергалась значительной переработке.

Статья посвящена теме о связи между развитием искусства и эпохами исторической жизни человечества. Расцвет скульптуры, живописи и музыки, по мысли Гоголя, соответствует главным эпохам исторической жизни — древности, средневековью и новому времени. В статье Гоголь резко критикует «эгоизм», «бесстыдство и наглость» верхов современного ему общества и призывает искусство к активной борьбе против мира общественного «эгоизма» и «усыпления». В ней намечен тот взгляд на искусство как на актив-

ную силу общественной жизни, который получил свое дальнейшее развитие в последующих высказываниях Гоголя об искусстве вплоть до «Мертвых душ» и «Театрального разезда».

## О средних веках

Печатается по Ар.

Черновая редакция статьи была напечатана К. Михайловым в «Историческом вестнике», 1902, № 2, стр. 630–642. Черновой автограф статьи содержит набросок ее начала, первоначальную редакцию всей статьи и вторую редакцию ее начала. Первый набросок начала статьи состоит всего из двух фраз: «Приступ в изложении материи. О чем говорит важность истор<ии> средних веков». Сделав этот набросок, Гоголь затем приступил к работе над статьей. Судя по тому, что название статьи было включено Гоголем уже в первый план «Арабесок», составленный во второй половине февраля 1834 г. (см. выше), черновую редакцию статьи следует отнести к началу 1834 г. Очевидно, она была задумана, как и статья «О преподавании всеобщей истории», в связи с хлопотами Гоголя о получении

кафедры всеобщей истории в Киевском университете и писалась непосредственно после указанной статьи (см. комментарий к статье «О преподавании всеобщей истории»<sup>\*)</sup>).

В августе — сентябре 1834 г. черновой текст статьи был заново переработан Гоголем, — может быть, дважды — сначала в связи с подготовкой к лекциям в Петербургском университете, затем — для публикации в «Журнале министерства народного просвещения».

Статьей «О средних веках», прочитанной в качестве вступительной лекции, Гоголь в сентябре 1834 г. начал свой курс по истории средних веков в Петербургском университете.

Н. И. Иваницкий, слушавший лекции Гоголя, так вспоминает о впечатлении, которое произвела на него и его товарищей лекция «О средних веках»:

«Не знаю, прошло ли и пять минут, как уж Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневе-

ковой истории. Впрочем, вся эта лекция напечатана в „Арабесках“... не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, но уж не мог оторваться от затверженных фраз, и потому не прибавил к ним ни одного слова.

Лекция продолжалась три четверти часа. Когда Гоголь вышел из аудитории, мы окружили его в сборной зале и просили, чтобы он дал нам эту лекцию в рукописи. Гоголь сказал, что она у него набросана только вчерне, но что со временем он обработает ее и даст нам; а потом прибавил: „На первый раз я старался, господа, показать вам только главный характер истории средних веков; в следующий раз мы примемся за самые факты и должны будем вооружиться для этого анатомическим ножом“» («Отечественные записки», 1853, № 2, отд. VII, стр. 120).

Вскоре после прочтения лекции она была напечатана в сентябрьской книжке «Журнала министерства народного просвещения» (вышла в октябре) под названием: «О средних

веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем». В конце сентября Гоголь держал ее корректуру и при этом отклонил поправку редактора «Журнала министерства народного просвещения» К. С. Сербиновича, просившего о замене в третьем абзаце лекции слова «чутье» (см. письмо Гоголя к Сербиновичу от 29 сентября 1834 г. в т. X наст. изд., стр. 340–341). В дальнейшем, перепечатывая статью в «Арабесках», Гоголь ограничился лишь тем, что выбросил первую фразу журнального текста, придававшую статье характер лекции, и внес в нее несколько стилистических исправлений.

Статья-лекция «О средних веках» иллюстрирует одно из существенных положений Гоголя-педагога (высказанное им в статьях «О преподавании всеобщей истории» и «Мысли о географии»), согласно которому, прежде чем приступить к аналитическому изложению отдельных вопросов курса, преподаватель должен набросать перед своими слушателями общий эскиз «в немногих, но сильных словах», «чтобы они вдруг обняли всё то, о чем



будут слышать», ибо только живо представляя себе целое, они могут «погрузиться глубже в каждую часть».

Рисуя в статье общую картину развития средневековой Европы, Гоголь полемизирует в ней как с историками-просветителями XVIII века, видевшими в средневековье только эпоху варварства и суеверия, так и с реакционными историками-романтиками начала XIX века, которые идеализировали средневековье и призывали к его возрождению. В духе прогрессивной исторической мысли своего времени Гоголь рассматривает средние века, как необходимую в своем историческом своеобразии, но отошедшую в прошлое эпоху, задача которой заключалась в подготовке элементов для следующей, исторически более высокой эпохи, когда «народы достигли состояния управлять собою». С этой точки зрения Гоголь сравнивает средние века с «юностью», с временем «воспитания человека в школе», а власти папы и другие средневековые учреждения — с подмостками и лесами, которые сносятся прочь после того, как построено здание. Такой взгляд на средневековье имел живое

общественное значение, так как он был объективно направлен против пережитков средневековья в русской общественной жизни. Слабой стороной исторических взглядов Гоголя является религиозно-идеалистическая трактовка исторической необходимости (как «провидения»).

## **О преподавании всеобщей истории**

**Р**укописных источников статьи не сохранилось. Печатается по *Ар.*

Статья написана Гоголем в декабре 1833 г. Получив в начале или в середине декабря письмо от М. А. Максимовича, в котором последний извещал его о своем намерении добиваться перевода в Киевский университет и звал туда Гоголя (см. ответ Гоголя на это письмо в т. X наст. изд., стр. 288–289), Гоголь решил хлопотать перед министром народного просвещения С. С. Уваровым о назначении на кафедру всеобщей истории в Киев. В связи с этим Гоголем и была написана настоящая статья — для представления Уварову в качестве программы своего будущего преподавания и для подтверждения своих прав на получение кафедры. Об этом официальном назна-

чении статьи Гоголь писал Пушкину в письме от 23 декабря 1833 г.: «Я решился, однако ж, не зевать и вместо словесных представлений набросать мои мысли и план преподавания на бумагу... Во мне живет уверенность, что если я дождусь прочитать план мой, то в глазах Уварова он меня отличит от толпы вялых профессоров, которыми набиты университеты» (там же, стр. 290). Через посредство Жуковского статья была в начале 1834 г. представлена Уварову, одобрена им и напечатана в февральской книжке «Журнала министерства народного просвещения» под названием «План преподавания всеобщей истории». При печатании статьи Гоголю пришлось, как это видно из его записки к редактору «Журнала министерства народного просвещения» К. С. Сербиновичу от конца января — начала февраля 1834 г. (там же, стр. 294–295), переделать ряд мест статьи в соответствии с замечаниями Уварова и Сербиновича. В упомянутой записке к Сербиновичу Гоголь указывает на одно из добавлений, сделанное Сербиновичем: «Я очень вам благодарен за ваше присовокупление об истинной религии» — имея, очевид-

но, в виду конец следующей фразы, находящейся в VI разделе статьи: «Я должен изобразить восток с его древними патриархальными царствами, с религиями, облеченными в глубокую таинственность, так непонятную для простого народа, *кроме религии евреев, между коими сохранилось чистое, первобытное ведение истинного бога*» (подчеркнутые слова, повидимому, внесены в текст статьи Гоголя Сербиновичем).

При подготовке статьи для «Арабесок» Гоголь ограничился переменной названия и несколькими незначительными стилистическими исправлениями.

Официальное назначение статьи, которая должна была служить в глазах Уварова не только свидетельством достаточной научной подготовленности Гоголя для профессуры, но и ручательством за его политическую благонадежность, несомненно наложило отпечаток на некоторые ее места, особенно в V и X разделах. Кроме того, уже по одному известному нам «присовокуплению» Сербиновича, нетрудно судить, какой характер имели те «замечания» — его и Уварова, — с которыми

Гоголь был вынужден посчитаться. Однако та дань, которую Гоголь отдал официальным требованиям, имела более или менее внешний характер.

Исторические взгляды Гоголя, нашедшие свое выражение в статье «О преподавании всеобщей истории», направлены, с одной стороны, против реакционного романтического «местничества» и партикуляризма, отрицавших единство и связь исторического развития различных народов, с другой — против либерально-буржуазной историографии, стремившейся растворить национальную историю во всеобщей. Основным пафос исторических взглядов Гоголя, как они выражены в статье, состоит в защите идеи единства всеобщей истории, которую Гоголь стремится связать с идеей национального своеобразия истории отдельных народов и стран. При этом одной из главных задач всеобщей истории Гоголь считает изображение исторического прогресса, — той борьбы «с невежеством, природой и исполинскими препятствиями», которую «кровавыми трудами» вел на протяжении всей истории «свободный дух человека».

С этими прогрессивными идеями Гоголя-историка тесно связаны и передовые взгляды Гоголя-педагога, которые он защищал в статье «О преподавании всеобщей истории», — протест Гоголя против бюрократического, казенного преподавания, стремление к живому, творческому восприятию науки, основанному на согласной работе ума и воображения.

## **Взгляд на составление Малороссии**

Печатается по *Ар.*

Черновые наброски, положенные Гоголем в основу данной статьи, относятся, как это видно из писем Гоголя этого времени, к периоду с ноября 1833 г. по январь 1834 г. Первоначально эти наброски мыслились Гоголем не в качестве набросков отдельной статьи, но представляли начало задуманного им большого труда по истории Украины, над которым Гоголь работал в 1833–1834 гг. В письме к М. А. Максимовичу от 9 ноября 1833 г. Гоголь писал об этом: «Теперь я принялся за историю нашей единственной бедной Украины. Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее. Мне кажется, что я напишу ее, что я скажу много то-

го, что до меня не говорили» (Гоголь, АН СССР, т. X, стр. 284). Начатую работу над историей Украины Гоголь продолжал с перерывами в декабре 1833 г. — январе 1834 г. 11 января 1834 г. он писал Погодину: «Я весь теперь погружен в Историю Малороссийскую и Всемирную; и та и другая у меня начинают двигаться...» И далее: «Малороссийская история моя чрезвычайно бешена, да иначе, впрочем, и быть ей нельзя. Мне попрекают, что слог в ней слишком уже горит, не исторически жгуч и жив; но что за история, если она скучна!» (там же, стр. 294). 30 января 1834 г. Гоголь поместил в «Северной пчеле» «Объявление об издании истории Малороссии» (см. т. IX наст. изд.), прося присылать ему материалы по истории Украины для начатого им большого труда. Однако к началу марта 1834 г. (несмотря на то, что еще в письме к М. А. Максимовичу от 12 февраля Гоголь обещает написать всю «Историю Малороссии» «от начала до конца», «в шести малых или в четырех больших томах», там же, стр. 297) Гоголь начал постепенно охладевать к начатой работе. Об этом, как и о причинах своего охлаждения,

Гоголь 6 марта 1834 г. писал к И. И. Срезневскому в ответ на письмо, в котором последний выразил свою готовность помогать Гоголю предоставлением нужных ему материалов. Гоголь писал здесь: «Я к нашим летописям охладел, напрасно силясь в них отыскать то, что хотел бы отыскать. Нигде ничего о том времени, которое должно бы быть богаче всех событиями. Народ, которого вся жизнь состояла из движений, которого невольно (если бы он даже был совершенно недейтелен от природы) соседи, положение земли, опасность бытия выводили на дела и подвиги, этот народ... Я недоволен польскими историками, они очень мало говорят об этих подвигах... И потому-то каждый звук песни мне говорит живее о протекшем, нежели наши вялые и короткие летописи» (т. X наст. изд., стр. 298–299).

Изучая исторические источники, Гоголь искал в них прежде всего живого и правдивого рассказа о жизни и борьбе народа, но сведений о народе он не находил ни у польских шляхетских историков, ни у украинских церковных писателей и книжников XVII–XVIII ве-



ков (см. об этом в книге С. Машинского «Историческая повесть Гоголя». М., 1940, стр. 183–189). Поэтому от чтения исторических записок и официальных бумаг Гоголь переходил постепенно к новому углубленному изучению украинских народных песен, которыми он горячо интересовался и раньше, но которые теперь, прочитанные на этот раз глазами не только писателя и этнографа, но и историка, предстали перед ним в качестве живой, поэтической летописи истории народа, созданной самими народными массами, отразившей «все изгибы и оттенки» их мыслей и чувств. Результатом погружения Гоголя в изучение народной песни явилась статья «О малороссийских песнях», написанная в феврале — марте 1834 г. и отразившая следующий этап в работе Гоголя — историка Украины. Окончив эту последнюю статью, Гоголь не оставляет еще мысли о продолжении работы над «Историей Малороссии». Очевидно, параллельно с работой над статьей «О малороссийских песнях» он перерабатывает и прежние наброски введения к украинской истории и придает им ту форму, в которой «Взгляд

на составление Малороссии» был опубликован в апрельском номере «Журнала министерства народного просвещения» (статья еще не имела здесь того названия, под которым она появилась в «Арабесках», а была озаглавлена: «Отрывок из истории Малороссии. Том I, книга I, глава 1»). Однако постепенно изучение украинских песен и исторических материалов о казачестве привело к другому результату, чем тот, к которому Гоголь стремился вначале: в марте — апреле 1834 г. Гоголь на основе собранного и изученного им исторического материала создает черновую редакцию «Тараса Бульбы», где он не в научной, но в художественной форме гениально воссоздает историческое прошлое Украины, жизнь казачества и его национально-освободительную борьбу против шляхты, подчеркивает единство стремлений и родство украинского и русского народов. Таким образом, задачу, которую Гоголь поставил перед собой как историк, стремясь по летописям и песням воссоздать облик народа и его подвиги, Гоголь разрешил как художник; исторические наброски по истории Украины сыграли роль

подготовительных этюдов для гоголевской исторической повести-эпопеи (и отчасти для других повестей «Миргорода»). В «Отчете по СПб. учебному округу за 1835 год» говорится о двух томах гоголевской «Истории малороссиан» (С. Машинский. Гоголь, 1852–1952. М., 1951, стр. 65); однако до нас дошли лишь разрозненные наброски (см. т. IX настоящего издания).

## Несколько слов о Пушкине

Печатается по *Ар.*

В *РМ4* статья «Несколько слов о Пушкине», начатая на стр. 135, занимает такое положение, которое дает возможность заключить, что она принадлежит к наиболее ранним среди вписанных в нее статей; повидимому, именно с нее Гоголь начал работу над статьями и повестями для «Арабесок» (все остальные статьи, вошедшие в «Арабески», следуют в *РМ4* после статьи «Несколько слов о Пушкине», кроме «Скульптуры, живописи и музыки», написанной, однако, несомненно позже, одновременно с позднейшей вставкой к статье «Несколько слов о Пушкине» на стр. 47–48).

Вывод, что черновой текст статьи хронологически предшествовал другим статьям, записанным в *РМ4* («Об архитектуре нынешнего времени», «Скульптура, живопись и музыка», «Шлецер, Миллер и Гердер», «Жизнь», «Последний день Помпеи», «Ал-Мамун») подтверждается тем, что из статей, вписанных в эту тетрадь, только статьи «Несколько слов о Пушкине» (под заглавием «О Пушкине») и «Об архитектуре» упомянуты в первом плане «Арабесок», относящемся к февралю 1834 г.

В феврале 1834 г. статья еще, повидимому, не была кончена даже в черновом виде (этим можно объяснить то, что, включив название «О Пушкине» в первоначальный план сборника, Гоголь затем зачеркнул его и уже не повторил снова). Дописывался черновой текст статьи в одно время с работой Гоголя над «Скульптурой, живописью и музыкой» (в период с февраля по сентябрь 1834 г.) — во втором плане «Арабесок» упомянуты уже обе эти статьи (первая пока под тем же заглавием «О Пушкине»).

Подготавливая статью к печати, Гоголь изменил ее название и внес в нее ряд существен-

ных исправлений и изменений. Наиболее важное из них — исключение из окончательного текста статьи той ярко-сочувственной характеристики вольнолюбивой лирики молодого Пушкина, которая содержится в черновой редакции статьи: «Он был каким-то идеалом молодых людей. Его смелые, всегда исполненные оригинальности, поступки и случаи жизни заучивались ими и повторялись, разумеется, как обыкнов<енно> бывает, с прибавлениями и вариантами... И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благород<ные> чувства, несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассевают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражений и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства». Не может быть сомнения в том, что эти горячие слова в защиту декабристской вольнолюбивой лирики Пушкина, имеющие решающее значение для понимания всего мировоззрения Гоголя в период создания «Арабесок», были исключены из

печатного текста статьи (как предшествующий им в рукописи конец предыдущей фразы — о молодежи, которая «ненавидит стеснения») по цензурным соображениям: они не могли быть напечатаны в 30-е годы, не говоря уже о том, что опубликование их могло повредить Пушкину, с чем Гоголь не мог не считаться.

Статья «Несколько слов о Пушкине» развивает дальше те оценки Пушкина и отдельных его произведений, которые высказывались Гоголем с начала 30-х годов (см. письма Гоголя этого периода, а также его статьи «Борис Годунов» и «О поэзии Козлова» в настоящем томе). Центральной мыслью всей статьи является мысль о Пушкине как о русском национальном поэте. Мысль эта была высказана и гениально обоснована Гоголем в настоящей статье впервые и впоследствии развита Белинским, Герценом и всей последующей передовой демократической русской критикой. В противовес врагам Пушкина из реакционного лагеря (Булгарин), в противовес либеральным, половинчатым оценкам Пушкина, которые давали в конце 20-х и в начале 30-х

годов Надеждин и И. Киреевский, утверждавшие, что Пушкин лишь после «Бориса Годунова» освободился от посторонних влияний и в его творчестве с этого времени начался новый период «самобытности» и «народности», Гоголь смело заявил о Пушкине в своей статье: «Он при самом начале своем уже был национален...», утверждая, что личность Пушкина, его жизнь и его творчество, свободолюбивые стремления поэта — являются выражением лучших сторон русского национального характера. Строки статьи о «судье в истертом фраке», защита «обыкновенного» в поэзии и требование к поэту быть верным «одной истине» ярко формулировали художественную программу самого Гоголя, легшую в основу «Ревизора» и «Мертвых душ».

# Об архитектуре нынешнего времени

Печатается по Ар.

Статья в *РМЧ* занимает место между статьями «Несколько слов о Пушкине» и «Шлецер, Миллер и Гердер». Черновую редакцию ее можно предположительно датировать концом 1833 г. или началом 1834 г. К февралю 1834 г. черновая редакция статьи уже существовала — это видно из первоначального плана «Арабесок», куда Гоголь внес название статьи «Об архитектуре» вместе с названием статьи о Пушкине.

Статья в черновой редакции написана Гоголем в несколько приемов, с большим количеством исправлений, добавлений и вставок. Перед помещением в «Арабесках» вся статья была переработана заново, а ее заключительная мысль — о возможности создания новых архитектурных форм, образцы для которых дает не природа, а искусство и техника, получила новое, более полное развитие.

В статье «Об архитектуре нынешнего времени» Гоголь выступил с критикой как официальной, казарменной архитектуры, так и реакционных упадочных тенденций буржуаз-



ной культуры и искусства той эпохи. Эта критика нашла свое дальнейшее развитие в статье «Последний день Помпеи». Критикуя буржуазную архитектуру за ее тенденции к отказу от творческого полета мысли, от величественных замыслов и общенародных задач, за пренебрежение лучшим в архитектурном наследстве прошлых веков, Гоголь стремится указать иные пути для русской архитектуры. Он призывает последнюю к творческому решению задач, поставленных перед современной ему архитектурой, с учетом не только художественных форм, созданных в прошлом, но и новых возможностей, создаваемых развитием культуры и техническим прогрессом.

## Ал-Мамун

Печатается по *Ар.*

В *РМ4* текст «Ал-Мамуна» занимает последнее место. Это, а также то, что «Ал-Мамун» не включен ни в один из планов «Арабесок», показывает, что статья является последним по времени произведением из всех вошедших в «Арабески». Более точно время написания статьи устанавливается свидетельством студента Петербургского университета Н. И. Иваницкого, вспоминающего о том, что статья эта была в октябре 1834 г. прочитана Гоголем в виде лекции в университете, где ее слушали приглашенные Гоголем Пушкин и Жуковский («Отечеств. записки», 1853, № 2, Смесь, стр. 120).

Содержание статьи шире, чем свидетельствует данный Гоголем подзаголовок — «Историческая характеристика». Характеристика арабского калифа Ал-Мамуна (IX век) и его царствования служит в ней лишь иллюстрацией для идей, имеющих более широкий смысл — о вреде, который приносит правитель, не знающий условий жизни и нужд своего народа, а также о вреде наносной, космо-

политической культуры, оторванной от национальной жизни. Эти идеи статьи, непосредственно связанные с вопросами русской общественной жизни, отражают прогрессивные общественно-политические взгляды молодого Гоголя и перекликаются с такими его произведениями 30-х годов, как «Тарас Бульба», «Альфред» и «Ревизор».

То, что статья «Ал-Мамун» посвящена не столько специально историческим, сколько историко-политическим проблемам, делает вероятным, что статья эта явилась осуществлением (в иной форме) того замысла, который в плане «Арабесок» обозначен как «Трактат о правлении». Задумав первоначально изложить идею о значении «национальных стихий» в жизни народа и государства в особой теоретической статье, Гоголь затем мог отказаться от этого намерения и облечь свою мысль в более близкую ему как художнику и более зашифрованную в цензурном отношении форму «исторической характеристики».

## Жизнь

Печатается по Ар.

Статья «Жизнь» в РМ4 предшествует началу статьи «Последний день Помпеи». Если принять, что «Жизнь» написана непосредственно перед статьей о Брюллове, работу над ней следует датировать серединой августа 1834 г. Однако датировку в данном случае затрудняет то, что «Жизнь» не включена Гоголем во второй план «Арабесок», относящийся к концу августа или сентябрю 1834 г. Это делает возможным предположение, что «Жизнь» написана (или окончена) не перед статьей о Брюллове, но после нее, т. е. в конце августа — сентябре 1834 г. За это предположение говорит и то обстоятельство, что на обороте дошедшего до нас отдельного листка, на который Гоголем переписаны из тетради начальные строки «Жизни» (РН), находится отрывок географического содержания, связанный, повидимому с переработкой для «Арабесок» статьи «Мысли о географии» (переработка эта осуществлялась Гоголем, вероятно, в последние месяцы перед печатанием).

Черновой автограф «Жизни» характеризу-

ется многочисленными вставками и поправками. С него Гоголь переписал начало статьи крупным каллиграфическим почерком на отдельный листок, испещренный каллиграфическими упражнениями и «пробами пера», отклонившись при этом в двух местах от первоначального текста.

По содержанию «Жизнь» тесно связана с историческими занятиями Гоголя, сделавшего в статье попытку изобразить в обобщающих художественных образах главнейшие культурно-исторические эпохи древнего мира.

## Шлецер, Миллер и Гердер

Печатается по *Ар.*

В *РМ4* черновой текст статьи следует непосредственно за текстом статьи «Об архитектуре нынешнего времени». Так как статья об архитектуре включена в первый набросок плана «Арабесок», относящийся к февралю 1834 г., а статья «Шлецер, Миллер и Гердер» — нет, то последнюю статью можно датировать мартом — апрелем 1834 г.

Август-Людвиг Шлецер (Schlözer; 1735–1809) — немецкий буржуазный историк-просветитель, ученик Вольтера; с 1760 по 1764 г. жил в России, занимался изучением русских летописей. Иоганн Миллер (Müller; 1752–1809) — швейцарский историк. Иоганн-Готфрид Гердер (Herder; 1744–1803) — немецкий писатель и критик-теоретик буржуазно-демократического движения «бури и натиска», автор «Мыслей к философии истории человечества» (1784–1791, сокращенный русский перевод — М. 1829). Гоголь объединил в своей статье имена этих трех историков эпохи Просвещения, как имена представителей новой научной дисциплины, возникшей в

XVIII веке, — всеобщей истории, значение которой Гоголь видел в борьбе против узкого, реакционного эмпиризма и исторического партикуляризма (см. выше).

## **О малороссийских песнях**

**Р**укописных источников статьи не сохранилось. Печатается по *Ар.*

Статья написана по поводу «Запорожской старины» И. И. Срезневского. В письме к М. А. Максимовичу от 29 мая 1834 г. Гоголь писал об обстоятельствах, вызвавших ее появление: «Недавно С. С. Уваров получил от Срезневского экземпляр песней и адресовался ко мне с желанием видеть мое мнение о них в Журнале Просвещения, так же как и о бывших до него изданиях — твоём и Цертелева. Что же я сделал? я написал статью, только самого главного позабыл: ничего не сказал ни о тебе, ни <о> Срезневском, ни о Цертелеве...» (т. X наст. изд., стр. 320). Несколько иначе, ни словом не упоминая об Уварове, излагал Гоголь историю возникновения статьи в письме к самому И. И. Срезневскому от 1 июня 1834 г.: «Я хотел было сделать несколько замечаний и оценку Вашей Запорожской старины и уже

приступ к этому под заглавием *О мало-росс<ийских> песнях* отослал в Журнал Просвещения. Но лень проклятая одолела, и я сел на одном приступе» (там же, стр. 321).

В более раннем письме к Максимовичу, от 12 февраля 1834 г., Гоголь жаловался: «Запорожской старины я до сих пор не могу достать», а в письме к Срезневскому от 6 марта 1834 г. он давал разбор этого издания Срезневского. Таким образом, «Запорожская старина» попала в руки Гоголя во второй половине февраля. Тогда же, очевидно, была начата и настоящая статья, название которой Гоголь включил уже в первый набросок плана «Арабесок».

Гоголь горячо интересовался русскими и украинскими песнями, собирал и записывал их на протяжении всей своей жизни. Часть собранных Гоголем украинских песен была передана им для публикации М. А. Максимовичу и П. В. Киреевскому и вошла в изданные ими собрания. Особенно напряженной и интенсивной была работа Гоголя над изучением украинских народных песен в конце 1833 г. и в 1834 г., в связи с работой Гоголя над заду-



манным им трудом по истории Украины. Переписка Гоголя с Максимовичем за 1833–1834 гг. и со Срезневским за первую половину 1834 г. в значительной своей части посвящена вопросам народной песни.

Статья «О малороссийских песнях» отразила тот глубокий и правильный взгляд Гоголя, который он противопоставил созерцательно-му, пассивному отношению к фольклору, характерному для консервативных собирателей народной поэзии (Цертелева и др.), — взгляд на народную песню, как на живое и непосредственное отражение народной истории, народных патриотических чаяний и идеалов. Зародыш этого взгляда можно видеть в письме Гоголя к Максимовичу от 9 ноября 1833 г. («Моя радость, жизнь моя! песни! как я вас люблю! Что все черствые летописи, в которых я теперь роюсь, пред этими звонкими, живыми летописями!» — т. X наст. изд., стр. 284). Передовые для того времени мысли Гоголя о народной поэзии, как выражении исторического самосознания народа, легли в основу работы Гоголя-художника над фольклорным материалом в «Тарасе Бульбе».

## Мысли о географии

Рукописные источники статьи до нас не дошли. Печатается по Ар.

В ЛГ статья была опубликована под названием «Несколько мыслей о преподавании детям географии» за подписью «Г. Янов». В конце статьи после пометки «Продолжение обещано» следовало редакционное примечание: «Просим читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, который совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем предмете мнение ученых наших преподавателей. В последующих за сим мыслях читатели встретят, может быть, более нового, более относящегося к облегчению науки и приведению оной в ясность и понятность для детей». Примечание это, по всей вероятности, принадлежит О. М. Сомову, соредактору Дельвига по «Литературной газете», который способствовал привлечению в нее Гоголя.

Перед помещением в «Арабесках» статья была композиционно перестроена. В бумагах Гоголя сохранился отрывок на отдельном по-

лулисте (на обороте которого записано начало «Жизни»), связанный, вероятно, с этой переработкой (ЛБ. Шифр М. 3212 № 21). Так как отрывок этот не вошел в окончательную редакцию статьи, приводим его здесь полностью:

«Особенно нужно знакомить с теми места<ми>, где является сила деятельности, которые человек привел из бесплодных в цветущие, как <это> произошло в небольшой мере и как он это совершил, это оставляет добрые впечатл<ения> и постоян<ную> любовь к труду и земледелию, охоту бороться с препятствиями».

Интерес к географии, которую Гоголь стремился тесно связать с историей и этнографией, проходит через всю его жизнь. К началу 30-х годов относится сохранившееся в бумагах Гоголя начало детской книги по географии и замыслы многотомной всеобщей истории и географии (см. IX том наст. изд. и письма Гоголя к М. П. Погодину от 1 и 20 февраля 1833 г.); позднее, в 40-е годы, Гоголь усиленно изучал материалы по географии России, конспектировал «Путешествие» Палласа, сам со-

бирался написать книгу о географии России. Наряду с интересом к географии, в статье отразились основные идеи Гоголя-педагога, направленные против мертвого формализма казенной науки и повторенные в иной форме в статье «О преподавании всеобщей истории», — о значении живого наглядного обучения и необходимости для учителя влиять не только на ум, но и на чувство воспитанника.

## Последний день Помпеи

Печатается по *Ар.*

Под текстом статьи в *РМ4* Гоголем представлена дата «1834. Август».

Картина Брюллова «Последний день Помпеи» была привезена художником в Петербург в конце июля 1834 г. и выставлена для обозрения (в Эрмитаже) между 12 и 17 августа.

Для «Арабесок» текст *РМ4* подвергся значительной переработке, некоторые места были написаны Гоголем заново. Из замененных Гоголем частей черновой редакции статьи особый интерес представляет первоначальная редакция середины второго абзаца (об «эффектах» в живописи). В черновой редакции

статьи мысль Гоголя была выражена сильнее и имела более яркую общественную окраску: Гоголь говорит здесь, что вычурные и лживые эффекты отвратительны, «как отвратителен подлый человек, украшенный знаками отличий», и добавляет: «Эти эффекты отвратительнее всего в литературе, когда они делаются целью бесстыдных торгашей, а не людей, дышащих искусством. Следствия их вредны, потому что простодушная толпа принимает блестящую ложь». Во второй из приведенных фраз можно видеть намек на Сенковского и «Библиотеку для чтения».

Начало статьи «Последний день Помпеи» непосредственно примыкает к рассуждениям Гоголя об искусстве в статье «Об архитектуре нынешнего времени». Как в этой последней статье, говоря о западно-европейской буржуазной архитектуре, так и здесь, говоря о живописи XVIII и начала XIX века, Гоголь выступает против тенденций к измельчанию, идейному оскудению и узкой профессионализации, которые получили свое дальнейшее развитие в эпоху последующего упадка буржуазной культуры. В картине Брюллова «По-

следний день Помпеи» Гоголь, — как и Пушкин, высоко оценивший картину Брюллова, — увидел одно из ярких предвестий будущего расцвета русской живописи, предвестие «светлого воскресения живописи, пребывавшей долгое время в каком-то полунетаргическом состоянии». Гоголь подчеркнул при этом в картине Брюллова в качестве основных не романтические и академические элементы стиля Брюллова, но те реалистические черты, сказавшиеся в его картине, которые связывали ее с последующим развитием русской живописи — отсутствие «отвлеченной идеальности», поиски жизненной правды, слитые с поэтическим отношением к жизни и человеку, стремление одинаково, правдиво изобразить «все предметы, от великих до малых», делающее произведение искусства «чистым зеркалом природы».

## **О движении народов в конце V века**

**Р**укописных источников статьи не сохранилось. Печатается по *Ар.*

В первом плане «Арабесок» названия этой статьи еще нет, во втором — она фигурирует под названием «О переселении народов». Из этого можно заключить, что статья была задумана и, может быть, частично осуществлена за время между февралем и августом 1834 г., вероятнее всего, во второй половине этого периода, когда Гоголь должен был начать усиленно заниматься подготовкой к первым лекциям своего университетского курса по истории средних веков, который он начал читать в сентябре 1834 г.

По содержанию статья соприкасается со второй из дошедших до нас лекций Гоголя по истории средних веков («О движениях народов германских, причинивших разрушение Западной Римской империи», см. том IX наст. изд.), однако по сравнению с этой лекцией исторический материал в статье значительно расширен; в повествование внесены те элементы драматизма, а также художественные характеристики народов и отдельных истори-

ческих лиц, наличия которых Гоголь требовал от писателя-историка.

По свидетельству слушателя университетских лекций Гоголя Н. И. Иваницкого, статья была прочитана Гоголем в сентябре 1834 г. в качестве его второй лекции в Петербургском университете (непосредственно после статьи «О средних веках»). Однако, судя по воспоминаниям того же Иваницкого, статья к этому времени не имела еще той литературной формы, которую она получила в «Арабесках». К тому же всю лекцию Гоголь читал лишь 20 минут («Отечественные записки», 1853, № 2, отд. VII, стр. 120). Это дает основание для вывода, что к середине сентября 1834 г. статья еще не была дописана Гоголем, и Гоголь читал из нее в университете лишь отрывок. Дописывалась статья, очевидно, лишь в конце сентября или в октябре 1834 г., при подготовке «Арабесок» к печати.

\* \* \*



## Женщина

Печатается по *ЛГ* — Литературной газете, 1831, № 4, 16 января, стр. 27–29 (единственный источник текста).

Первая статья Гоголя, появившаяся в печати.

Включена в собрание сочинений Гоголя, изд. Трушковского, т. VI, 1856, стр. 399–409.

### **Борис Годунов. Поэма Пушкина**

Печатается по *РМ19* — беловому автографу с поправками (*ЛБ*, № 3213.7).

Заглавие и посвящение в рукописи зачеркнуты.

Впервые статья опубликована И. С. Аксаковым в газете «Русь», 1881, № 12, 31 января.

Как явствует из содержания статьи, она написана вскоре после выхода в свет «Бориса Годунова» (22–23 декабря 1830) и является одним из первых критических опытов Гоголя.

## О поэзии Козлова

Печатается по РМ20 — беловому автографу с поправками (ЛБ, № 3122.2), являющемуся единственным источником текста. Под текстом подпись: Н. Г.

Статья при жизни Гоголя не была напечатана; она впервые опубликована В. Шенроком в «Русской старине» 1890, т. 65, стр. 850–852.

Статья написана, повидимому, не ранее января 1831 г., так как в ней упоминаются поэма И. Козлова «Безумная», вышедшая в октябре 1830 г., и отзывы о ней. В частности, имеются в виду упреки критики в том, что Козлов изобразил героиню совсем не как русскую крестьянку. Об этом писал А. Дельвиг: «Разделяешь печаль с милым певцом и невольно сердисься на него, что он заставил нас плакать от несчастий вымышленных и рассказанных оперною актрисой, а не настоящей поселянкой» («Литературная газета», 1830, № 68, 2 декабря; номер вышел с запозданием: цензурное разрешение 23 декабря). О том же говорил критик «Телескопа»: «Кто узнает в *Безумной* подмосковную поселянку?»

(«Телескоп» 1831, № 1, стр. 117; номер вышел 7 января 1831 г.). Об этих отзывах говорится, как относящихся к более или менее отдаленному прошлому: «Мне кажутся и донныне странными замечания и упреки многих Козлову...»

С другой стороны, если судить по сноске в конце статьи, она написана по выходе в свет «Субботнего вечера» и мелких стихотворений Козлова. «Субботний вечер» вышел отдельным изданием в 1829 г., первое издание стихотворений — в 1828 г. Однако возможно, что Гоголь имел в виду не эти издания, а собрание 1833 г. в двух частях, вышедшее в свет в конце года (д. ц. 4 октября). Он мог не знать, что «Субботний вечер», являвшийся в этом издании новинкой в сравнении с изданием 1828 г., был издан отдельно за четыре года до того.

Стихи, цитируемые в сноске, заимствованы из послания Языкова «К П. А. Осиповой» 1826 г. Однако Гоголь взял эти стихи не из печатного текста. Стихотворение это было напечатано в сборнике «Стихотворений» Н. М. Языкова 1833 г. с заменой точками двух по-

следних стихов, процитированных Гоголем. Таким образом, цитата Гоголя основывается на рукописном тексте. Точно так же в тексте самого стихотворения нет явных указаний на то, что эти стихи говорят об А. А. Воейковой. Это Гоголь мог узнать от самого автора стихотворения.

## **О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году Источники текста.**

**С** — «Современник», литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Первый том, Санкт-Петербург, 1836, стр. 192–225.

*PM9* — Записная книга Гоголя (*ЛБ*, № 3121, лл. 55–51, 41 об., 41 и 37 об. — 35. Черновые наброски к статье[29]).

*PM6* — Записная книга Гоголя (*ЛБ*, № 3122.1, лл. 23 об. — 25 и 27. Черновые наброски).

Печатается по *С*, с двумя конъектурами: на стр. 172, строка 37, вместо «журналы» напечатано «журналисты» и на стр. 174, строка 6, вместо «что» — «так что». Тексты *PM9* и *PM6* см. в разделе «Другие редакции».

Входит в издания сочинений Гоголя, начи-

ная с издания Трушковского, т. V, 1856, стр. 299–338.

Статья была задумана и написана для первого тома «Современника», где и появилась без подписи автора. Время работы Гоголя над ней определяется упоминанием в черновом тексте объявления о журнале (напечатанного в «Северной пчеле» 1836 г., 3 февраля) и цензурным разрешением «Современника» — 31 марта 1836 г. Ко времени работы над статьей относится записка Гоголя Пушкину, условно датируемая 15 марта 1836 г.: «Посылаю вам Утро чиновника. Отправьте ее, если можно, сегодня же или завтра поутру к цензору, потому что он может ее <взять> в Ценз. комитет вместе с Коляскою, ибо завтра утром заседание. Да возьмите из типографии статью о журнальной литературе. Мы с вами пребезалаберные люди и позабыли, что туды нужно включить многое из остающегося у меня хвоста. Я прошу сделать так, чтоб эта сцена шла вперед, а за ней уже о литературе». Заседание Цензурного комитета, на котором происходило обсуждение «Коляски», состоялось 3 марта, а потому, может быть, настоящую записку

правильнее датировать 2 марта 1836 г. (так это сделано в т. XI наст. изд., стр. 36). Рассмотрение сцены «Утро делового человека» задержалось (на заседании 3 марта сцена не рассматривалась), и этим, быть может, объясняется, что в С статья «О движении журнальной литературы» напечатана непосредственно перед «Утром делового человека». Можно думать, что статья писалась преимущественно в феврале.

Первоначально Гоголь задумывал обозрение журналов только за 1835 г. по обычаю литературных обозрений, появлявшихся в новогодних альманахах и первых номерах журналов. Но вскоре определилась основная тема — критическое рассмотрение журнала «Библиотека для чтения». Об этом косвенно говорят слова чернового текста: «Истинное намерение мое было представить только движение ее (журнальной литературы) за прошлый год; но так как причины всего этого движения заключены еще в 1834 году, то необходимо бросить взгляд на оба эти года». «Библиотека для чтения» основана в 1834 г. В ее основании Гоголь и видел названную им причину.

Повидимому, и план статьи и основные ее положения задуманы не без участия Пушкина. Во всяком случае Пушкин имел возможность основательно ознакомиться с этой статьей до сдачи ее в печать. Но весьма вероятно, что Пушкин не видел корректурных листов, где напечатана статья, и последняя правка происходила уже в его отсутствие. Тем не менее основные изменения, какие мы замечаем при сличении чернового текста с печатным, сделаны, конечно, по указанию Пушкина. Н. С. Тихонравов сообщал: «М. П. Погодин передавал мне, в 1853 году, что Пушкин сообщал ему о невозможности напечатать некоторые, очень игривые выражения в статье „о журнальной литературе“. В рукописном тексте статьи уцелели некоторые из этих выражений» (Соч. Гоголя, 10-е изд., т. 5, стр. 651, сноска). Действительно, подобные места легко обнаружить при сличении чернового текста с печатным.

Характеризуя в статье «Библиотеку для чтения», Гоголь подвергает резкой критике беспринципность и редакторский произвол О. И. Сенковского, касаясь, в частности, следу-

ющих фактов:

*Стр. 159. Большая статья о сагах.* Статья эта напечатана за собственной подписью О. Сенковского в т. I «Библиотеки для чтения» 1834 г. в отделе «Науки и художества», стр. 1-77.

*Стр. 160. «... поставил Кукольника наряду с Гёте».* Это Сенковский сделал в своей статье под псевдонимом «Тютюнджю-Оглу» о драме Кукольника «Торквато Тассо». Особенно приводил в восторг критика последний акт драмы. Он писал: «... всякий из нас смело может возгордиться таким блистательным явлением в русской словесности, как Кукольник... Этот последний акт приносит величайшую честь поэтическим дарованиям юного нашего Гёте» («Библиотека для чтения», т. I, отдел Критики, стр. 29). В дальнейшем Сенковский охладел к творчеству Кукольника. В черновом тексте статьи Гоголь вскрывает направленность памфлетного выпада Сенковского по адресу захваленного им Кукольника: «... спустя несколько времени он же в разборе „Притчей“ Круммахера объявил, что он это так сказал, лишь бы только потому, что взду-



малось поднять такого-то автора». О притчах Круммахера была помещена рецензия в т. XI «Библиотеки для чтения» (август 1835 г.). Здесь рецензент предлагает несколько притчей своего сочинения. В одной из них читаем: «Один веселый и пречудный человек, который в нужде мог собрать ума в голове своей на три страницы, сидя раз после обеда у своего письменного стола, от нечего делать вздумал, как подадут кофе, сделать колоссальную репутацию первому плохому стихотворцу, какой пройдет мимо его дома, чтоб увидеть, что из этого выйдет» (стр. 31–32). В дальнейших притчах сообщается о печальной судьбе стихотворца, возомнившего себя гением.

Стр. 160. «... Вальтер Скотт назван шарлатаном». В томе II журнала 1834 г. Сенковский поместил за подписью «О. О. · · О!» статью по поводу романа Булгарина «Мазепа». Здесь говорилось о происхождении исторического романа: «Один умный человек, одаренный необыкновенно сильным дарованием и еще сильнейшею страстию изумлять людей, стал писать стихи новым, необычайным размером, и увлек за собою толпы подражателей.

Он не имел истинного поэтического гения, и подражатели легко под него подделались. Видя упадок своей стихотворной славы, он кинулся в другую сторону, к другому насильственному средству славы, или попросту шарлатанству, и сделал искусственную смесь истины и вымысла, слитых так удачно, что нельзя было узнать в целом — истина ли это, или вымысел». Слова эти, как явствует из дальнейшего, относятся к Вальтеру Скотту. Эта оценка вызвала многочисленные возражения.

*Стр. 160. «... дело о двух местоимениях: сей и оный».* Сенковский, постоянно ратовавший против употребления канцелярских выражений в литературе, особенно нападал на слова «сей» и «оный». В томе VIII журнала (январь 1835 г.) в отделе «Литературная летопись» он поместил за подписью «Барон Брамбеус» «Резолюцию на челобитную сего, оного, такового, коего, вышеупомянутого, вышереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы и других причастных к оной челобитной по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка». Эта «резолюция» в

свое время вызвала обмен мнений в журналах по поводу употребления канцеляризмов в литературном языке. Гоголь сравнивает пропаганду Сенковского с деятельностью Тредиаковского и Каченовского («один профессор»), который применял на страницах «Вестника Европы» особую орфографию с обильным употреблением букв «і» и «v» в словах греческого происхождения.

Меньше внимания Гоголь уделил изданиям Булгарина и Греча («Северная пчела», «Сын отечества»). Общественное мнение по отношению к этим изданиям, как и вообще ко всей деятельности Булгарина, в достаточной степени определилось. Немного места уделено также Воейкову и редактировавшим им «Литературным прибавлениям к Русскому инвалиду». Упоминается Воейков главным образом потому, что отмечал противоречия «Библиотеки для чтения». О «Телескопе» Н. Надеждина говорится лишь в связи с полемикой этого журнала против «Библиотеки для чтения».

Подробнее останавливается Гоголь на журнале «Московский наблюдатель», основанном

в 1835 г. Приблизительно в те же дни против этого журнала выступил Белинский. Оценки, данные Гоголем и Белинским, как это отмечал и Белинский, в общем совпадают; но статья Гоголя значительно мягче, в частности по отношению к С. Шевыреву. Участников «Московского наблюдателя» Пушкин и Гоголь считали своими союзниками, а потому на страницах «Современника» и не могло быть резкой критики журнала. Кроме того, и здесь внимание Гоголя привлекает главным образом полемика, какая велась в «Московском наблюдателе» со статьями Сенковского в «Библиотеке для чтения». Гоголь также упоминает статью С. Шевырева «Словесность и торговля», которую открывалась первая книга нового журнала. Отмечает Гоголь и статью за подписью П-щ-ва (Н. И. Павлищева) «Брамбеус и юная словесность» (т. 2, стр. 442 и сл., 599 и сл.), являющуюся разбором статьи Сенковского того же названия («Библиотека для чтения» 1834, т. III, стр. 33–60).

Статья Гоголя обратила на себя общее внимание. Белинский в отзыве о первом томе «Современника» писал: «Но самые интерес-

ные статьи — это „О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 гг.“ и „Новые книги“: в них видны дух и направление нового журнала». В рецензии на вторую книгу «Современника» Белинский снова вспомнил статью Гоголя и определил ее так: «Резкий и благородный тон этой статьи, смелые и беспристрастные отзывы о наших журналах, верный взгляд на журнальное дело».

Статья Гоголя была принята как программа журнала и вызвала недоброжелательное отношение к «Современнику» со стороны Сенковского и Булгарина, наиболее задетых Гоголем. Пушкин считал свой журнал недостаточно окрепшим, чтобы вести полемику, и потому, чтобы ослабить впечатление от статьи Гоголя, поместил в третьем томе журнала «Письмо к издателю», подписанное буквами А. Б. и якобы присланное тверским читателем «современника». В этом письме, принадлежащем перу самого Пушкина, в форме критических замечаний на статью Гоголя, в защиту Сенковского, Пушкин по существу не отверг ни одного серьезного обвинения статьи Гоголя и даже подчеркнул, что задача Сенковско-

го — в угождении публике. К письму присоединено было заявление от издателя: «С удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., нахожусь в необходимости дать моим читателям некоторые объяснения. Статья *О движении журнальной литературы* напечатана в моем журнале, но из сего еще не следует, чтобы все мнения, в ней выраженные с такою юношескою живостию и прямотою, были совершенно сходны с моими собственными. Во всяком случае она не есть и не могла быть программой „Современника“».

### **Петербургские записки 1836 года**

**И**сточники текста (значение сокращений см. выше, стр. 765).

**С** — «Современник», литературный журнал А. С. Пушкина, изданный по смерти его в пользу его семейства. Том шестой. Санкт-Петербург, 1837, стр. 403–423. Подпись\*\*\*.

**РМ9**, лл. 35–34. Черновой автограф первой части статьи.

**РМ6**, лл. 18 об. — 21. Черновая редакция второй части статьи.

**ЦД1** — Цензурное дело: Журнал заседания С.-Петербургского цензурного комитета 10

марта 1836 г. о статье «Петербург и Москва (из записок дорожного)». ПД, ф. 244, оп. 16, № 84 (места, исключенные или измененные цензурой).

Печатается по С с поправками по ЦД1 и РМ 6.

Время работы Гоголя над статьей определяется отчасти содержанием, отчасти положением ее в тетрадях. Первая часть («Петербург и Москва») находится между черновыми набросками статьи «О движении журнальной литературы» и рецензией на книгу «Основание Москвы». Так как статья рассматривалась в цензуре 10 марта, то вероятнее всего датировать ее концом февраля — началом марта. Вторая статья «Петербургская сцена 1835/36 гг.» находится в рукописи между рецензиями на роман «Он и она» и на книгу «Обозрение сельского хозяйства удельных имений». Следовательно, ее следует датировать мартом — апрелем (об апреле говорят слова «в прошедшей четверти текущего года»).

Первоначально это были две самостоятельные статьи, готовившиеся, повидимому,

к первому тому «Современника». Уже позднее Гоголь соединил эти статьи вместе и приписал окончание. Упоминания о постановке «Ревизора» (19 апреля 1836 г.) и «Жизни за царя» (27 ноября 1836 г.) относятся ко времени этой переработки. В переделанном виде статья появилась в шестом томе «Современника» (ценз. разр. 2 мая 1837 г.).

Следует решительно отвергнуть мнение, высказанное П. А. Ефремовым, поддержанное Н. С. Тихонравовым и повторявшееся в других изданиях сочинений Гоголя, будто статью «Петербург и Москва» упомянул Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург». Ни по содержанию слов Пушкина, ни по дате написания (статья Пушкина писана не позднее 1835 г.) характеристика его к Гоголю не относится. Догадку Ефремова убедительно опроверг В. В. Гиппиус в статье «Литературное общение Гоголя с Пушкиным», в главе «Два мнимых отзыва Пушкина о Гоголе» (Ученые записки Пермского государственного университета, Отдел общественных наук, вып. II, 1931, стр. 81–89).

Вторая часть статьи связана с размышле-



ниями Гоголя о репертуаре петербургских театров во время подготовки к первой постановке «Ревизора». Обоснованием направления собственной комедии являются слова: «Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудачков! на сцену их, на смех всем! Смех великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц...»

Касаясь засилья на драматической сцене водевилей, мелодрам и драм, Гоголь называет преимущественно те пьесы, которые ставились в январе 1836 г. (сезон 1835–1836 г. закончился 10 февраля; спектакли возобновились в апреле). В части, приписанной в 1837 г., Гоголь возвращается к воспоминаниям 1836 г. Так, к 1836 г. относится замечание: «Нева вскрылась рано». В 1836 г. Нева вскрылась 22 марта, тогда как в среднем вскрытие Невы приходится на числа около 10 апреля. Описываемый Гоголем день («накануне светлого воскресенья») приходился на 28 марта.

## **Рецензии из «Современника»**

Источники текста (значение сокращений)

см. выше, стр. 765).

С. Первый том. 1836, стр. 296–319.

РМБ, № 3122.1. Черновые автографы рецензий.

Отдел «Новые книги» в журнале А. Пушкина «Современник» представлял собой библиографический список новых книг. Отдельные книги этого списка сопровождались рецензиями и замечаниями. В конце перечня первого тома журнала следовало общее заключение обозревателя. Ни под рецензиями, ни под заключением подписей нет.

В черновых рукописях Гоголь не выписывал библиографических данных, кроме одного случая: Атлас Ободовского.

В первой книге «Современника» названо 60 книг. Из них двенадцать рецензированы. Две рецензии принадлежат Пушкину (на «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Востола»). Из остальных десяти восемь, бесспорно, принадлежат Гоголю, так как черновые тексты находятся в его тетради. Отсюда можно заключить, что весь отдел журнала составлял Гоголь, и предположить, что ему же принадлежат и две небольшие заметки, черновики

которых не сохранились, а возможно и заключение. Так как положительных доказательств в пользу его авторства нет, эти две заметки и заключение приводятся особо в качестве статей, принадлежность которых Гоголю окончательно не установлена.

Появление среди заметок Гоголя двух заметок, писанных Пушкиным, объясняется особыми обстоятельствами. Гоголь не мог писать рецензию на собственную книгу, а заметка о «Востоле» — вынужденное объяснение Пушкина по поводу того, что на этой книге значится его имя как издателя.

Первая книга «Современника» имеет цензурное разрешение 31 марта, и заметки, повидимому, писались в феврале и марте 1836 г.

На первой книге прекратилось участие Гоголя в отделе «Новые книги». В дальнейших томах его рецензий нет, и вообще количество рецензий сильно сократилось: во второй книге вовсе нет рецензий, в третьей и четвертой их всего четыре, все писаны Пушкиным.

**И**сторические афоризмы М. Погодина. С, стр. 296–302; РМБ, л. 25 об. — 26.

Эта рецензия подверглась сильной переработке. В черновой редакции имеется ряд колких замечаний, устраненных или сильно смягченных в печати. Вероятно, сделано это было по настоянию Пушкина, который соби-рался привлечь М. Погодина к участию в журнале, а потому не хотел печатать упреки по его адресу. Тем не менее кое-что из подобных замечаний проникло и в печать (например: «две-три незначительные мысли, дурно выраженные»). Пушкин писал Погодину 14 апреля 1836 г., приглашая его участвовать в журнале: «Статья о ваших афоризмах писана не мною, и я не имел ни времени, ни духа ее порядочно рассмотреть. Не сердитесь на меня, если вы ею недовольны».

Выписки из «Афоризмов» Погодина, сделанные для журнала, повидимому, по указанию Гоголя, исправлены по изданию книги М. Погодина. 1836 г.

**П**лавание по Белому морю и Соловецкий монастырь. С, стр. 304; РМБ, л. 16 об.

Рецензируемая брошюра представляет собой краткий путевой очерк о поездке по Белому морю в июне 1835 г. Автор ее Як. Ник. Озерцовский (ум. в 1864 г.), сотрудничал в «Библиотеке для чтения» и других журналах.

**П**оходные записки артиллериста... И. Р... С, стр. 304–305; РМБ, л. 22 об.

Автор этой книги — Радожицкий Илья Тимофеевич (1788–1861). С 11 полевой артиллерийской бригадой он был участником походов 1812–1816 гг. С 1831 до 1838 г. служил в Тульском оружейном заводе. Записки его, изданные в 1835 г., ранее печатались в журнале «Отечественные записки» 1823, 1824 и 1826 гг., а также в «Московском Телеграфе» 1831 г.

**П**исьма леди Рондо... С, стр. 308–309; РМБ, л. 22 об.

Леди Рондо (1699–1783) жила в России с 1731 по 1739 г. Ее письма о России были изданы в Лондоне в 1775 г. Переводчик этой книги — Мих. Ив. Касторский, впоследствии профессор истории Петербургского университета. Перевод его неполон и неточен.

**П**утешествие вокруг света... С, стр. 309–310, РМБ, л. 15 об. — 16.

Перевод «Путешествия» принадлежит А. П. Башуцкому (1803–1876). В просмотре перевода участвовали директор ботанического сада Фишер, академик Бер и адмирал Крузенштерн. Данное «Путешествие» представляет собой беллетристическую сводку записок разных путешественников (в том числе русских: Крузенштерна, Головнина, Коцебу, Литке), изложенную в виде связного описания кругосветного плавания. Французский оригинал книги вышел в свет в 1834 г.

**А**тлас к космографии, изд. Ободовским. С, стр. 311, РМб, л. 22 об.

Автор этого атласа — А. Г. Ободовский (1796–1852), профессор Главного педагогического института.

**М**ое новоселье... С, стр. 313–314; РМб, л. 16 об.

Альманах представлял собою коммерческое предприятие группы третьестепенных литераторов и любителей, из которых, пожалуй, наибольшей известностью пользовался А. Е. Грен, тогда — начинающий, 25-летний поэт и переводчик. В альманахе много произведений, принадлежащих ему и его младшему брату, а также ему посвященных. Очевидно его приятелем был и сам издатель альманаха, В. К. Крыловский, напечатавший в альманахе также свой рассказ.

**С**орок одна повесть лучших иностранных писателей... С, стр. 314–315; РМ6, л. 23.

Сборники, изданные Н. Надеждиным, представляли собой повести современных французских, немецких и английских писателей, преимущественно принадлежавших к романтическому направлению в литературе. Они пользовались большим успехом у читателей.

### **Рецензии, не вошедшие в «Современник»**

Источники текста (значение сокращений см. выше, стр. 765). РМ6, № 3122. 1. РМ9, № 3121.

В черновых тетрадях Гоголя, там же, где находятся черновики рецензий и статей для «Современника», имеется несколько черновых заметок о разных книгах. Как и во всех черновых рецензиях Гоголя, в данных заметках отсутствуют библиографические сведения о рецензируемых книгах. Сопоставление этих заметок с библиографическим перечнем в томе первом «Современника» показывает, что все эти рецензии написаны на книги, имеющиеся в этом перечне. Однако они не



были напечатаны ни в первом, ни в других томах «Современника». Можно думать, что Пушкин решил отказаться от подобного рода кратких характеристик книг, в том числе сочинений, к литературе не имеющих отношения, и ограничиваться немногими, но более подробными разборами.

Список книг в «Современнике» дает возможность совершенно точно определить, о каких именно книгах писал Гоголь. Только одна — последняя — рецензия настолько общего характера, что ее лишь предположительно можно отнести к книге «Картины мира».

В библиографическом списке «Новые книги» при трех названиях поставлена звездочка (\*). При этом заголовок отдела сопровождается сноской: «Книги, означенные звездочками, будут впоследствии разобраны». По поводу этой сноски в третьем томе «Современника» появилось следующее разъяснение от редакции, писанное Пушкиным: «Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух номеров своего журнала; вкрались некоторые ошибки, и одна доволь-

но важная, происшедшая от недоразумения: публике дано обещание, которое издатель ни в каком случае не может и не намерен исполнить — сказано было в примечании к статье: *Новые книги*, что книги, означенные звездочкою, будут со временем разобраны. В списке вновь вышедшим книгам звездочкою означены были у издателя те, которые показались ему замечательными, или которые намерен он был прочитать; но он не предполагал отдавать о всех их отчет публике: многие не входят в область литературы, о других потребны сведения, которых он не приобрел».[30] Отсюда можно заключить, что звездочки поставил Пушкин, а примечание написал Гоголь.

Текст библиографических сведений дается по «Современнику». Заметки даны в порядке журнального списка.

*Летописи русской славы... РМб, л. 16 об.*

Книжка издана по образцу модных тогда «эфемерид», в которых исторические события располагались под календарными датами дней, когда они произошли. Приложенные 6 литографированных портретов рисовал И. К. В. Роде.

*Детский Карамзин... РМб, л. 16 об.*

Книга, предназначенная для детского чтения; представляет собой литографированные рисунки худ. Б. Чорикова, сопровождаемые пояснительным текстом В. М. Строева. Книга выходила ежемесячными выпусками по пять литографий в выпуске.

Сочинения Кантемира начинали серию, задуманную и издававшуюся Д. А. Толстым, Гр. В. Есиповым и М. А. Языковым. Серия прервалась на первых выпусках. Условия издания явствуют из следующих слов объявления: «... мы решились издать Русских классиков, сделавшихся уже собственностью публики, в виде столь ныне употребительных тетрадей (livraisons). Это, облегчая издателей, представляет удобство дешевизны для подписчиков. Тетради выходят по одной, по две и более в месяц. Каждая тетрадь, в красивой цветной обертке, включает в себе до двух печатных листов».

Первый выпуск сочинений Кантемира снабжен вводной статьей, подписанной Г. Д. Т. (гр. Д. Толстой).

*История поэзии С. Шевырева... РМБ, л. 23.*

Рецензия не была напечатана, вероятно потому, что Пушкин сам намеревался дать отзыв об этой книге. Однако и этот отзыв не был напечатан и дошел до нас в черновике (см. Соч. Пушкина, изд. Акад. Наук СССР, т. 12, 1949, стр. 65).

*Они она. РМБ, л. 17.*

Рецензию Гоголя можно отнести к этому роману только потому, что в отделе «Новые книги» в первом томе «Современника» не упоминается никакого другого романа в четырех частях. В данном романе нет ни графа, ни студента, ни Кати, нет увозов, и, следовательно, Гоголь либо передает содержание другого романа, либо умышленно пародирует беспорядочные события первой части данного романа. Впрочем, по литературному уровню роман вполне соответствует характеристике Гоголя. Это — эпигонское произведение с сильным подражанием Марлинскому и французским романистам (главным образом Ж. Жанену, неоднократно упоминаемому автором).

Роман вышел в 1836 г. анонимно, но часть

тиража появилась с именем автора. Роман был переиздан в 1858 г. «Он и она» — первое произведение плодовитого романиста Мих. Ил. Воскресенского (ум. в 1867). Через два года, в 1838 г., появился другой его роман — «Проклятое место». Характерен отзыв Белинского об этом романе, показывающий, что он построен на тех же началах, что и первый: «Помним — и то очень смутно, как сквозь тяжелый сон, что вся завязка и развязка, все сплетения и расплетения романа основаны на чудесном сходстве двух сестер». В романе «Он и она» всё построено на чудесном воскрешении мнимоумершей. Белинский отмечает: «в романе веет дух „юной французской литературы“». В равной степени это применимо и к первому роману автора.

**Недовольные. Комедия...** М. Н. Загоскина. РМБ, л. 15 об.

Пушкин сам собирался написать рецензию на комедию Загоскина, но не напечатал ее. Она известна в черновике (см. Соч. Пушкина, изд. Акад. Наук СССР, т. 12, 1949, стр. 11).

**Путешествие к святым местам...** РМБ, л. 23.

Автор «Путешествия» — по предположению издателя, монах, дьякон Троицко-Сергиевской лавры Иона Маленький, — выехал из Москвы в Иерусалим в 1651 г. и вернулся в следующем 1652 г. Текст его «Путешествия» сохранился в немногих списках (ныне известно два). Издание М. А. Коркунова (1806–1858), преподавателя всеобщей истории в Московском университетском благородном пансионе, представляет собою первую публикацию текста путешествия. Оно не преследовало научных целей. Внешним видом книжки и характером текста объясняется, почему Гоголь в своем отзыве не рассматривает данное «Путешествие» как издание памятника письменности XVII века.

**О**писание Прусского государства... РМ6, л. 22 об.

Книга представляет собой сухой перечень населенных мест с краткими сведениями о каждом.

**У**казатель губернских и уездных почтовых дорог... РМ6, л. 16 об.

Данный указатель принадлежит к типу «дорожников», какими пользовались путешественники в те годы, когда единственным способом дальних передвижений была почтовая гоньба.

**О**снование Москвы... РМ9, лл. 33 об. и 34.

В рецензии Гоголь выходит за пределы разбора романа, характеризуя многочисленные исторические романы того времени. Говоря о «слоге русских мужичков» и «театральных штуках», он имеет в виду места вроде следующих:

«А за что он взъелся на тебя, я хоть и мекал кое-как — да нет, не хватает: как ни кинь, так всё клин» (т. I, стр. 39).

«Я жертвую любимым сыном, — произнес Кучка замогильным голосом; — если он погибнет, то погибнет для меня всё драгоцен-



ное; я останусь одним круглым сиротой! (Немного повыся голос) Но мщение, сладостное мщение сделает меня и с сыном и с благополучием...» (т. I, стр. 85).

Следует отметить, что «русский стиль» и мелодраматический представлены в речах разных персонажей.

**Убийственная встреча...** РМ6, л. 23.

Повесть писана в сентиментально-романтическом духе, с явным подражанием Марлинскому.

**Картины мира...** РМ6, л. 15.

Рецензия относится либо к книге «Картины мира», либо к книге «Руководство к познанию наук, искусств и художеств». Обе книги предназначены для юношества и являются опытами популяризации знаний. Так как в рецензии ставятся общие вопросы, а рецензируемая книга недостаточно охарактеризована, вопрос остается открытым; вероятнее, что Гоголь имел в виду именно «Картины мира».

*Детский павильон... РМ9, л. 33 об.*

Автор книги — Борис Федоров — еще в начале 20-х годов принадлежал к группе писателей, которые вели борьбу с новым направлением и молодыми поэтами, группировавшимися вокруг Пушкина. Б. Федоров писал во всех родах литературы, но ни в одном не создал ничего значительного. Он постоянно был мишенью насмешек, но как верный служитель реакционных идей в литературе и политике находил себе покровителей. Рецензия Гоголя носит явно иронический характер.

*Прекрасная астраханка... РМ6, л. 22 об.*

Анонимный лубочный роман о несчастной любви Стефана, добродетельного сына Степана Разина. Видимо, подобные романы имел в виду Гоголь в рецензии на «Основание Москвы» (см. стр. 201\*).

**Обозрение сельского хозяйства удельных имений...** РМб, лл. 16 об., 21 об. и 22.

Книга является пособием для учащихся Удельного земледельческого училища. Автор ее — М. А. Байков (1800–1849), организатор и директор училища. Первая часть рецензии Гоголя — краткий конспект первой главы книги, с сохранением формулировок автора; вторая — собственные размышления Гоголя.

**Правила построения мореходных и речных пароходов.** РМб, л. 16.

Автор книги — Вас. Ив. Берков с 1829 г. был начальником С.-Петербургской городской верфи. Издал ряд оригинальных и переводных работ по судостроению.

**П**олная ручная кухмистерская книга... РМ6,  
л. 23.

Книга составлена поваром с «40-летней практикой по кондитерской и поварской части», как он сам о том пишет. Гоголь интересовался кулинарией и сам умел отлично готовить.

**Т**орговый адрес-календарь... РМ6, л. 23.

Торговый справочник состоит из 40 небольших глав; из них шесть автор именуется «идеями» («Идеи о распространении шелководства» и др.). Эти главы Гоголь и назвал «проектами не без достоинств».

# Рецензия для «Москвитянина» (Утренняя заря) Источники текста

**М**ск — «Москвитянин», журнал, издаваемый М. Погодиным, 1842, № 1, стр. 304–305.

*РЛ5 (бел.)* — Беловой автограф с поправками М. П. Погодина.

*ПД.* Из собрания П. Я. Дашкова. Разные бумаги, спасенные М. П. Погодиным от сожжения, лл. 24, 25.

*РЛ5 (черн.)* — Черновой автограф. Та же тетрадь, л. 27.

В рецензии Гоголь уделил слишком мало места литературной стороне альманаха. Погодин зачеркнул начало и конец, изменил редакцию нескольких фраз и приписал обширный разбор произведений, вошедших в альманах. Рецензия в печати подписана N. N.

Текст рецензии печатается по беловому автографу до переделок Погодина. Разночтения печатного текста и поправки Погодина (*Пог.*) приводятся в вариантах.

Автограф рецензии (обе редакции) опубли-

кован К. Н. Михайловым в «Историческом вестнике» 1902, № 2, стр. 647–650.

## **«Выбранные места из переписки с друзьями»**

### **I.**

Книга «Выбранные места из переписки с друзьями» вышла в начале 1847 г. Появлению этой книги предшествовала длительная борьба Белинского с силами реакции, стремившимися подчинить Гоголя своему влиянию. В ряде статей, в открытой полемике с представителями официальной реакционно-охранительной и славянофильской критики Белинский раскрыл общественное значение творчества Гоголя — беспощадного обличителя социального строя тогдашней России. Воспитанные Белинским, руководимые и объединяемые его влиянием молодые писатели-реалисты считали Гоголя своим главой и учителем.

Белинский пытался и лично воздействовать на Гоголя, разъяснить писателю истинный смысл его творчества, показать Гоголю расстановку сил, борющихся в литературе и обществе, открыть ему глаза на неблагоприятную роль таких его друзей, как Шевырев и

Погодин, которых Белинский именует «холопами знаменитого села Поречья» (т. е. холопами министра народного просвещения Уварова — владельца села «Поречье». Письмо Белинского Н. В. Гоголю от 20 апреля 1842 г.).

Однако личные связи Гоголя с реакционерами литературными, а затем и с высшим кругом реакционной бюрократии были прочны, и Белинский не мог преодолеть их. В начале 40-х годов Гоголь не пожелал открыто выступить на стороне «Москвитянина» в его полемике с «Отечественными записками», и в 1842 году настойчивость Погодина, требовавшего от Гоголя ааявления о своей солидарности с «Москвитянином», привела лишь к длительной ссоре с ним Гоголя. Гоголь пытался сохранить «независимую позицию» и в дальнейшем, но этому препятствовали жизнь писателя за границей, в отрыве от родины и от передовых людей русского общества.

Длительный период, в течение которого Гоголь ничего не печатал, завершился в середине 1846 года появлением статьи «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Статья эта позже вошла в «Выбранные места из переписки с

друзьями». Появление статьи Гоголя, исполненной «парадоксов, высказанных с превыспренними претензиями на пророческий тон... опечалило всех друзей и почитателей таланта Гоголя и обрадовало всех врагов его» (Белинский. Полн. собр. сочин., под ред. С. А. Венгерова, т. X, стр. 428–429).

В статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» Белинский справедливо усмотрел черты, сближающие Гоголя со славянофильством. Рисуя утопию идеально-патриархального быта, Гоголь высказывал мысли, близкие К. Аксакову, который с позиций реакционного утопизма в 1842 году провозглашал Гоголя Гомером, а его поэму «Мертвые души» сравнивал с древнегреческой эпопеей.

Гоголь чрезвычайно заботился о том, чтобы содержание «Выбранных мест» не разглашалось до их опубликования. Однако еще до выхода книги в свет толки о ней начались, и многие, даже близко стоявшие по своим взглядам к идеям, развитым здесь Гоголем, отнеслись к ней настороженно или даже отрицательно.

Белинский был возмущен славянофилами,



толкавшими Гоголя на путь, который привел его к написанию реакционной книги, и пытавшимися затем отмежеваться от «крайних» выводов, закономерно сделанных Гоголем.

Герцен впоследствии выразил ту же мысль: «Пусть славянофилы подумают о падении Гоголя. Они найдут в нем, может, больше логики, чем слабости. От православного смиренномудрия, от самоотречения, переносящего свою индивидуальность на индивидуальность государя, до обожания самодержца один только шаг» (А. И. Герцен. Избранные сочинения. М. — Л., 1937, стр. 416).

Появление книги Гоголя вызвало острую полемику, способствовавшую прояснению позиций споривших сторон. Через полгода после выхода «Выбранных мест» Белинский писал, что книга Гоголя «теперь памятнее всеми статьями о ней, нежели сама собою». Результатом и завершением полемики вокруг «Выбранных мест» явилось знаменитое зальцбургское письмо Белинского к Гоголю, которое, по определению В. И. Ленина, «было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших гро-

мадное, живое значение и по сию пору» (В. И. Ленин. Соч., 4 изд., т. 20, стр. 223–224).

Настроение Белинского в письме к Гоголю зависело от настроения крепостных крестьян, оно выражало возмущение широких народных масс крепостническими порядками. Мысли, выраженные Белинским в его письме к Гоголю, были сокращенно и иносказательно намечены им ранее в его статье, посвященной «Выбранным местам из переписки с друзьями», напечатанной в «Современнике», 1847 г., т. I, № 2, вскоре после появления книги Гоголя. Уже в этой статье, стесненный цензурой и вынужденный выражать свою мысль чрезвычайно осторожно, Белинский сумел всё же показать реакционную сущность книги Гоголя и несостоятельность его утопических мечтаний. Статья заканчивалась намеком на то, что автор не может развить политические выводы, которые «приходят в голову» при анализе книги Гоголя. Эти выводы он сформулировал через несколько месяцев в своем письме к Гоголю. Вместе с тем Белинский заявил в этой статье, что всё предшествующее реалистическое творчество Гоголя

противоречит взглядам, выраженным в «Выбранных местах». Гениальные художественные произведения Гоголя принадлежат народу, передовой части общества, служат делу освобождения народа.

Вскоре после появления книги она подверглась резкому осуждению со стороны и других критиков.

В 28, 38 и 46 номерах «Московских ведомостей» за 1847 г. были помещены письма к Гоголю Н. Ф. Павлова — писателя, близкого к кругу славянофилов, но не принявшего книгу Гоголя и остроумно отметившего ряд ее недостатков. Письма эти были перепечатаны Некрасовым в «Современнике» (1847, III, Смесь, 1-16, и IV, Смесь, 88–93). В № 35 «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1847 г. появилась статья Эд. Ив. Губера, упрекавшего Гоголя за его отход от реалистического художественного творчества. Белинский положительно оценил эту статью. «Мне очень нравится, — писал он, — статья Губера... именно потому, что она писана прямо, без лисьих верчений хвостом» (Белинский. Письма, СПб., 1914, т. III, стр. 185).

Положительные отзывы о «Выбранных местах» исходили из лагеря вчерашних врагов Гоголя и носили характер издевательства над всем лучшим, что было им создано в течение жизни (статья Булгарина в «Северной пчеле» 1847, № 8, 11 января), или представляли собою донос на революционный характер современной реалистической литературы и на ее главу — Белинского (статья П. А. Вяземского «Языков и Гоголь», «Санкт-Петербургские ведомости», 1847, № 90 и 91). С Вяземским Гоголь нашел нужным даже вступить в полемику в письме от 11 июня 1847 г. В весьма мягкой форме он дает понять Вяземскому, что не сочувствует его «нетерпимости» и намекает, что, по его мнению, Вяземский недооценивает всей сложности современной обстановки.

Против реалистического гоголевского направления в защиту «Выбранных мест» выступил Ап. Григорьев, утверждавший, что последователи Гоголя неверно истолковали смысл его творчества. «Выбранные места», заявлял Ап. Григорьев, не свидетельствуют о переломе в мировоззрении Гоголя. По мысли критика, Гоголь «даже и не думал изменить

своей прежней деятельности», его «последняя книга только поясняет эту же самую деятельность» («Гоголь и его последняя книга» — «Московский городской листок», 1847, № 56 и №№ 62–64, а также «Обозрение журналов за март 1847 г.» — «Московский городской листок 1847 г., № 68, и письма Ап. Григорьева Гоголю по поводу «Выбранных мест» — 1848 г. — в кн. А. А. Григорьев «Материалы для биографии» под ред. Влад. Княжнина. Пг., 1917).

Полемизируя с Ап. Григорьевым и с другими представителями подобных мнений, Герцен в своей брошюре «О развитии революционных идей в России» подчеркнул революционизирующее влияние творчества Гоголя и расценил «Выбранные места» как падение, как отступление от реалистического изображения русской жизни.

Гоголя волновал вопрос об отношении к нему передовой части общества, которая поддерживала его в течение всего творческого пути. Известно, какое огромное впечатление произвел на Гоголя отзыв о нем Герцена (см. М. С. Щепкин. Записки его, письма и пр. П.,

1914, стр. 373–374, и И. С. Тургенев. Соч., т. XI, Л., 1934. «Литературные и житейские воспоминания», стр. 434–435). Еще более жгучей была эта заинтересованность в 1847 году, непосредственно после издания его книги. Между тем вести, приходившие из России, были для Гоголя мало утешительными. А. О. Россет писал ему, что книга его может иметь успех лишь в среде помещиков, а никак не среди прогрессивной разночинной интеллигенции, прежде составлявшей основную массу читателей и поклонников Гоголя: «... она вас читала, — замечает Россет, — теперь прочла; она вас любила и превозносила; теперь же не знаю, любит ли, но ни в каком случае не превозносит, а или бранит, или сожалеет, или подшучивает» (В. И. Шенрок. «Материалы для биографии Гоголя» т. IV, стр. 542).

Самое яркое явление полемики в печати вокруг «Выбранных мест» — статья Белинского в «Современнике» стала известна Гоголю и взволновала его. Он чрезвычайно интересовался отношением к нему Белинского и наивно надеялся, что со временем удастся загладить отрицательное впечатление, которое

произвели на Белинского «Выбранные места». Письмом от 20 июня 1847 г. Гоголь обращается к Прокоповичу с просьбой способствовать примирению с ним Белинского. Тут же было приложено письмо Белинскому, в котором писатель пытался ответить критику, совершенно не замечая принципиального существа его статьи и усматривая в ней следы какой-то личной обиды. Белинский был поражен политической слепотой Гоголя, его нежеланием понять тот вред, который причинила эта книга русскому обществу. В своем ответе Гоголю — зальцбруннском письме от 15 июля 1847 г. Белинский дал гениальную характеристику политической борьбы 40-х годов и четко определил задачи, решение которых стало насущной потребностью общества. Белинский показал, что главным злом современной русской жизни является крепостное право, феодальная эксплуатация и несправедливость широких народных масс. Отмена крепостного права является основным вопросом современности, утверждает Белинский. Вопрос этот выдвигается самим народом, который всё более открыто выражает свое негодование. «Самые

живые, современные, национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже само правительство (которое хорошо знает, что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых)», пишет Белинский. Идеализация крепостнических отношений в главе «Русской помещик» вызывает глубокое возмущение Белинского. Свободный от цензуры, Белинский резко выражает в письме свою ненависть к царизму и духовенству, поддерживающему власть самодержавия, упрекая Гоголя за попытки оправдать самодержавие и духовенство в «Выбранных местах».

Белинский напоминал Гоголю об огромном общественном значении русской литературы, о том, что публика «видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей» от самодержавия, православия и крепостничества и потому, «всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги». Бе-



линский призывал Гоголя отречься от книги «Выбранные места» и «грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомним бы... прежние».

Письмо Белинского произвело огромное впечатление на Гоголя. Под влиянием этого письма Гоголь решил вернуться к художественному творчеству, отказавшись от проповеди своих новых идей. Однако окончательно порвать с реакционной идеологией Гоголь так и не смог, и это определило творческую трагедию писателя в последние годы его жизни.

Письмо Белинского к Гоголю вошло в историю русского освободительного движения, как замечательный документ последовательно-революционной критики, как боевой манифест революционной демократии. Вскоре после смерти Белинского оно превратилось в прокламацию, которую читали, изучали и на которой воспитывались поколения революционеров.

Н. Г. Чернышевский в «Очерках Гоголевского периода» и в статье «Сочинения и письма Н. В. Гоголя, изд. П. А. Кулиша» развил

мысли Белинского о революционизирующем влиянии на общество и литературу реалистического творчества Гоголя и о пагубности для его дарования длительного пребывания за границей, в отрыве от жизни своего народа, в узком кругу реакционно настроенных людей.

## II

### Источники текста:

#### а. Общие для всех статей.

*Пл* — «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя». СПб., 1847.

*РМ* — Беловой автограф (*ЛБ*, М. 8557).

#### б. К статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским».

*С* — «Современник» 1846, т. XLIII, № 7, стр. 175–188.

*МВ* — «Московские ведомости» 1846, № 89, 25 июля, стр. 616–617.

В настоящем издании «Выбранные места из переписки с друзьями» печатаются по тексту беловой наборной рукописи — *РМ* с учетом разночтений по искаженному цензурой прижизненному изданию — *Пл*. К статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» даются варианты по первоначальным публикациям ее

в *МВ* и *С*. Публикация этой статьи в «Москвитянин» (1846, № 7, отд. V, стр. 19–27) представляет собою перепечатку текста *МВ* без изменений.

В VI томе «Сочинений Н. В. Гоголя» под ред. Трушковского, М., 1856, текст «Выбранных мест» напечатан по *Пл*. Места, искаженные и изъяты в этом издании цензурой, были восстановлены впервые в «Полном собрании сочинений Н. В. Гоголя, втором издании наследников, пополненном по рукописи автора» т. III, М., 1867 г., под ред. Чижова.

О замысле «Выбранных мест» в еще неопределенной форме Гоголь сообщал в письме к А. О. Смирновой от 2 апреля 1845 г., выражая намерение закончить задуманный труд до отъезда в Иерусалим. «Это будет небольшое произведение и не шумное по названию, в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих и которое доставит мне в избытке деньги, потребные для пути».

Однако болезнь и связанное с ней угнетенное состояние духа не дали Гоголю возможности сразу приняться за работу. Более чем через год в письме к Н. М. Языкову от 22 апреля

1846 г. Гоголь упоминает о «Выбранных местах» как о замысле, к осуществлению которого он лишь приступает: «Попробуй... дать прочесть Аксакову Ивану мои письма, писанные к тебе о предметах, предстоящих у нас лирическому поэту, по поводу стихотворения «Землетрясение»... Кстати, об этих письмах, ты их береги. Я как рассмотрел всё то, что писал разным лицам в последнее время, особенно нуждавшимся и требовавшим от меня душевной помощи, вижу, что из этого может составиться книга, полезная людям страждущим на разных поприщах... Я попробую издать, прибавив кое-что вообще о литературе. Но покамест это между нами».

О «Выбранных местах» как о замысле, занимающем его воображение, но далеком еще до осуществления, Гоголь упоминает и в письме к Языкову от 5 мая 1846 г.

Около этого времени Гоголь заносит в записную книжку 1845–1846 г. план «Выбранных мест» (см. том IX наст. изд.).

Приступив к работе над книгой летом 1846 г., Гоголь чрезвычайно спешит с ее изданием. 4 июля 1846 г. он отправляет П. А. Плетне-

ву статью «Об Одиссее, переводимой Жуковским» — главу «Выбранных мест», опубликование которой он считал особенно срочным делом, ибо, будучи перепечатана «во всех тех журналах, которые больше расходятся в публике», она должна была, по мнению Гоголя, приготовить публику к восприятию «Одиссеи» в переводе Жуковского. По просьбе Гоголя, статья была опубликована Плетневым в «Современнике» (1846, т. XLIII), а также при посредстве Н. М. Языкова в «Московских ведомостях» (25 июля 1846 г.) и в «Москвитянине» (1846, № 7).

30 июля 1846 г. Гоголь отсылает Плетневу первую тетрадь сочинения с просьбой печатать начало, не дожидаясь продолжения, которое последует без промедлений. Тут же он дает указания о том, как оформлять книгу и какой цензор был бы желателен для ее рассмотрения.

Плетнев, сочувствуя общему направлению книги, начинает сразу печатать ее и просит Гоголя лишь не задерживать присылки следующих частей.

В первую тетрадь, полученную Плетне-

вым, вошли предисловие и семь статей, включая ранее присланную — «Об Одиссее, переводимой Жуковским». 25 августа 1846 г. Гоголь высылает Плетневу вторую тетрадь, точно сообщая о числе страниц, о количестве статей, которые будут в руках Плетнева после получения им этой тетради, содержащей так же, как и первая, семь статей. «Это составит почти половину книги», — сообщает Гоголь. Тщательно подсчитывает он страницы и статьи и в письме от 12 сентября 1846 г., сообщая о высылке третьей тетради с новыми семью статьями «Еще две небольших тетради — и всё будет кончено» — уведомляет он издателя. Четвертая и пятая тетради были отправлены одна за другой (26 сентября и 16 октября 1846 г.). Четвертая тетрадь содержала девять статей, пятая — завершала книгу и состояла из двух статей.

Особенности работы Гоголя над «Выбранными местами» отразились на внешнем виде рукописи. Рукопись представляет собою пять аккуратно сшитых тетрадей, заключающих 79 листов. Через всю рукопись проходит пагинация автора, который нумеровал подряд все

отсылаемые страницы. Рукою Плетнева представлены лишь страницы в статье «Об Одиссее», присланной прежде первой тетради и помещенной в конце ее по указанию Гоголя, внизу последнего листа этой тетради, после окончания текста VI главы «О помощи бедным», написан заголовок: «VII. Об Одиссее, переводимой Жуковским» (письмо Н. М. Я...ву). Последний лист статьи «Об Одиссее» служил конвертом при пересылке статьи Плетневу. Рукою Гоголя на нем обозначен адрес: «St Petersburg Russie. Его превосходительству ректору С.-П.-Бургского университета Петру Александровичу Плетневу. В С.-П.-Бурге на Васильевском острове в Университете». Почтовые штемпели: «Carlsbad 7 Juli Franco Grenze» и «Получено 1846 июль 9 полдень».

Первые два листа (листы 15–16) второй тетради переписаны другим лицом (статьи: «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве», «О том же», начало «О лиризме наших поэтов»). В статье «О лиризме наших поэтов» л. 19 является вставкой, присланной одновременно с пятой тетрадью.

На последнем листе внизу помета: «ко-

нец».

Текст рукописи белой с многочисленными поправками автора. Иногда, поправки посылались Плетневу в письмах уже после отправки текста в виде указаний. Так, в письме к Плетневу от 25 августа 1846 г. Гоголь просит произвести некоторые изменения в статье «О помощи бедным»: вставить после слов «Туда несите помощь» фразу: «Но нужно, чтобы помощь эта произведена была ~ не обратится в добро» (стр. 235 основного текста и варианты, стр. 671) и заменить слово «расхлестывается» на «расхлещется» (стр. 671). Письмом от 3 октября 1846 г. Гоголь сообщает Плетневу новые варианты двух фраз из статьи «Занимающему важное место» (см. стр. 359, 360 и варианты, стр. 702, 703).

В ряде писем Плетневу писатель напоминает о присланной с пятой тетрадью большой вставке в статью «О лиризме наших поэтов», а в письме от 2 ноября 1846 г. просит исключить из текста главы «Русской помещик» слова: «назови немцем, если не хватит другого слова», а также примечание к ним (стр. 324 и варианты, стр. 695) и из статьи «Близорукому



приятелю» слова: «Сел верхом на коротконосьи» (стр. 347 и варианты, стр. 700).

Называя свое произведение «Выбранными местами из переписки с друзьями», прося своих корреспондентов присылать ему обратно письма для переработки и связывая работу над книгой с получением этих писем, Гоголь в то же время заявлял, что старые письма потребовали очень больших переделок. На самом деле письма к друзьям лишь отчасти вошли в книгу. Почти все статьи, составляющие ее, были Гоголем специально написаны вновь. «Выбранные места» писались и составлялись по плану, и Гоголь придавал большое значение композиции книги.

По просьбе Гоголя, книга поступила на цензуру А. В. Никитенко. Гоголь не ожидал больших возражений со стороны цензуры. Однако книга вызвала к себе настороженное отношение цензора вследствие того, что писатель признавал наличие в современной русской жизни острых конфликтов, и предлагал утопические способы их преодоления. Во второй тетради Никитенко направил в духовную цензуру статьи «Несколько слов о нашей

церкви и духовенстве» и «О том же». Духовный цензор высказался против опубликования их, наложив на них резолюцию: «Нельзя пропустить, ибо у сочинителя понятия о сих предметах конфузны» (письмо Плетнева Шевыреву от 1 ноября 1846 г. — Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1. М. — Л., 1936, стр. 164). И лишь вмешательство обер-прокурора синода гр. Протасова, к которому обратился Плетнев, спасло статьи от запрещения. Однако в дальнейшем Никитенко подверг запрещению три статьи третьей тетради: XIX — «Нужно любить Россию», XX — «Нужно проехать по России» и XXI — «Что такое губернаторша» и две — в четвертой: XXVI — «Страхи и ужасы России» и XXVIII — «Занимающему важное место». Попытка Плетнева добиться отмены решения цензора через наследника, которому он прочел запрещенные главы из третьей тетради, не увенчалась успехом. Наследник согласился с цензором, что «это хоть и интересно и написано в добром духе, но... лучше не печатать это» (письмо Плетнева А. В. Никитенко от 4 ноября 1846 г. — Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1. М. —

Л., 1936, стр. 167).

Изменения, которые вносил цензор, имели целью смягчение мест, говорящих о злоупотреблениях и вообще о темных сторонах общественной жизни. Такие места либо вовсе вычеркивались, либо переделывались цензором. Они составляют основную массу цензурных переделок и изъятий. Кроме того, цензор стремился, по возможности, уничтожить все прямые намеки на современные обстоятельства и обращения к определенным лицам. Так, в главе «О помощи бедным» во фразе: «Обращаюсь к нападениям вашим на глупость петербургской молодежи, которая затеяла подносить золотые венки и кубки чужеземным певцам и актрисам в то самое время, когда в России голодают целиком губернии» цензор вычеркнул слово: «петербургской», а слова «когда в России голодают целиком губернии» заменил более неопределенными: «когда голодают столь многие».

Издание «Выбранных мест», вышедшее под редакцией Плетнева в 1847 году, напечатано с цензурными переделками, которые в настоящем томе приведены как разночтения

этого издания с указанием в скобках «цензурн.» (см. варианты). Наибольшим цензурным искажениям и изъятиям среди пропущенных цензурой статей подверглись: «О лиризме наших поэтов», «О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности», «Русской помещик» и «Исторический живописец Иванов».

Рукопись, по которой печатается текст «Выбранных мест» в настоящем издании (*РМ*), испещрена пометками, исправлениями и зачеркиваниями цензора, а также полистно скреплена подписью Никитенки. Следы типографской краски свидетельствуют о том, что набор издания 1847 г. (*Пл*) производился непосредственно с этой рукописи.

Многочисленные цензурные переделки, сокращения и изъятия ослабили и без того непоследовательную и противоречивую критику социальной действительности в книге Гоголя. В результате этого реакционная направленность «Выбранных мест» выступила в издании 1847 года с особой силой и определенностью.

Гоголь выразил крайнее неудовольствие

тем, что «Выбранные места» были изданы в столь искаженном виде, и пытался добиться пересмотра решений цензора и переиздания книги. Он заявлял, что «Плетнев сделал большую неосмотрительность этим выпуском одного клочка наместо всей книги» (письмо А. О. Россету от 11 февраля 1847 г.). Если прежде, начиная работу над книгой, он мечтал о том, что второе издание «Выбранных мест» потребует ввиду того, что произведение вызовет к себе большой интерес, то после выхода книги в свет второе издание представлялось ему необходимым для того, чтобы возместить недостатки первого и напечатать книгу без цензурных изъятов. Еще до получения известия о выходе книги, он обратился к своим петербургским друзьям: П. А. Вяземскому, П. А. Плетневу и М. Ю. Виельгорскому — с просьбой, чтобы они совместно пересмотрели статьи, запрещенные цензурой, и подготовили их текст к представлению царю, которого Гоголь думал просить о пересмотре решения цензора (см., например, письма Гоголя к Вяземскому от 28 февраля 1847 г., к Плетневу от 5 и 15 января 1847 г. и М. Ю. Виельгорскому от

27 марта 1847 г.). Гоголь написал письмо Николаю I и настаивал на том, чтобы друзья помогли ему обратиться к царю. Кроме П. А. Вяземского, П. А. Плетнева и М. Ю. Виельгорского, в подготовке второго издания «Выбранных мест» должен был принять участие А. О. Россет. «Вы уже, без сомнения, знаете, что я писал всем, кому следует, чтобы представить это дело на рассмотрение того, кому следует. А потому, как только это будет разрешено, книга должна явиться вторым изданием в полном виде с размещением всех мест в таком точно порядке, как было у меня, до времени беспорядков, произведенных взбалмошно-неразумной цензурой» — писал Гоголь А. О. Россету 11 февраля 1847 г. и далее обращался к нему с просьбой помочь Плетневу при печатании второго издания книги.

В письме к А. М. Виельгорской от 6 февраля 1847 г. Гоголь обращается к М. Ю. Виельгорскому, прося его ознакомиться с «несправедливо и неосновательно» запрещенными статьями и «вымарками многих мест». При этом писатель посылает Виельгорскому «оглавление статей в том виде и порядке, в каком они

должны следовать одна за другою». Все названия глав, подвергшихся цензурному запрету (за исключением, очевидно, по ошибке пропущенной главы «Занимающему важное место»), отмечены крестами — для того, чтобы обратить на них внимание Виельгорского. Рукопись хранится в ПД, ф. 652, оп. 1, № 7 (воспроизведена на вкладном листе в кн.: Н. В. Гоголь. Материалы и исследования, т. 1, М. — Л., 1936, между стр. 208 и 209).

Друзья Гоголя не разделяли иллюзий, которые возникли у писателя в его «прекрасном далеке». Они понимали, что Николай I не будет заступником Гоголя перед цензурой. 3 декабря 1846 г. П. А. Плетнев писал Гоголю о том, что запрещение части писем из «Выбранных мест» подтверждено наследником и заявлял о неосуществимости проекта представить письма на рассмотрение царю. Поэтому Плетнев, Виельгорский и Вяземский и не спешили с обсуждением запрещенных глав книги. В то же время, ознакомившись с толками вокруг «Выбранных мест» и полемикой, возникшей в связи с выходом в свет книги, после обмена письмами с Белинским и огром-

ного потрясения, вызванного всем этим, Гоголь понял, что второе издание «Выбранных мест» невозможно по другим причинам. Он не мог не видеть, что книга его, по справедливому выражению Белинского, «позорно провалилась сквозь землю», что она возбудила негодование «во всех благородных сердцах», и в ответ на советы Плетнева самому пересмотреть и переделать книгу, заметил: «Оставим на время всё... Не хочу ничего ни делать, ни начинать» (письмо Плетневу от 24 августа 1847 г.).

В письме к А. А. Иванову от 28 декабря 1847 г. Гоголь признает свою книгу неудачной и несвоевременной, а затем, помышляя все же о переиздании «Выбранных мест», предполагает произвести в них существенные переделки. 10 января 1848 г. он пишет пространное письмо Жуковскому о своих взглядах на искусство. В конце письма содержится приписка: «Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибереги его. Его можно будет при втором издании „Переписки“ поставить впереди книги на место „Завещания“, имеющего выброситься, а заглавие



дать ему: „Искусство есть примирение с жизнью“». Письмо напечатано в XIV т. наст. изд.

Полное издание «Выбранных мест» не появилось при жизни писателя; после его смерти, когда в 1855 г. было возбуждено дело о переиздании «Выбранных мест», все попытки бывшего в то время товарищем министра народного просвещения Вяземского воздействовать на Московский цензурный комитет с тем, чтобы восстановить изъятые цензурой в издании 1847 года места, оказались тщетными. И только благодаря заступничеству Вяземского удалось отстоять текст «Выбранных мест» от очередных покушений московской цензуры, пытавшейся доказать необходимость новых изъятий. «Выбранные места» были перепечатаны в VI томе «Сочинений Гоголя» 1856 г. и в III томе «Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, издания его наследников» 1862 г. по тексту издания «Выбранных мест» 1847 г.

Между тем в издании «Выбранных мест» 1847 года были искажения, не только внесенные цензурой, но и происшедшие вследствие редакторской правки Плетнева. Считая, что

Гоголь «писатель монотонный, презревший необходимые усилия, чтобы покорить себе сознательно все сокровища языка» (см. письмо П. А. Плетнева Гоголю от 27 октября 1844 г., Русский вестник, 1890, № 11.), Плетнев во многих случаях «исправлял» слог писателя в книге, которую он издавал и духу которой весьма сочувствовал. Он изменял отдельные, казавшиеся ему слишком разговорными, выражения и слова, иногда перестраивал предложения. Так, гоголевское «чем» он постоянно заменяет «нежели», «перед» — «пред»; выражение «добудешь медным лбом» меняет на «добудешь постоянством» и т. п. В некоторых случаях редакция Плетнева касалась не только стиля, но даже и содержания редактируемого материала. Так, например, в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским», во фразе: «Еще ни у кого из наших писателей, не только у Жуковского, во всем, что ни писал доселе, но даже у Пушкина и Крылова, которые несравненно точнее его на слова и выражения, не достигала до такой полноты русская речь» — Плетнев смягчил высказывание Гоголя о языке Жуковского, заменив слово

«несравненно» словом «часто».

Редакторские исправления Плетнева отмечены в настоящем издании в разделе «Вариантов».

Искажения текста редактором первого издания при всей их «методичности» были незначительны по сравнению с искажениями, внесенными в текст цензурой, и естественно, что по смерти писателя лица, предпринимавшие переиздание «Выбранных мест», стремились к снятию цензурных запретов. Добиться разрешения на восстановление мест, искаженных цензурой, удалось лишь в 1867 г. В III томе «Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя» редактор его Ф. В. Чижов восстановил искаженные цензурой места по рукописи. Чижов перепечатал текст *Пл*, воспроизводя, как правило, редакторские исправления первого издателя и обращаясь к рукописи в местах, содержащих пометы, сделанные красными чернилами цензора. В результате такого метода работы Чижов в отдельных случаях не обратил внимания на вычеркивания цензора, сделанные черными чернилами или же недостаточно ярко. Вме-

сте с тем, восстанавливая места, вычеркнутые цензурой, Чижов иногда допускал неточности, искажая отдельные слова или пропуская части фраз. Так, например, в статье «Исторический живописец Иванов» после слов: «Да зачем же он не изложил всего этого на бумаге?» Чижовым пропущено: «Зачем не описал ясно своего действительного положения?»

Наконец, в некоторых случаях Чижов допустил произвол, внося в текст Гоголя то, что в нем отсутствовало и включение чего не входило в планы писателя. Так, в статье «Завещание» VI пункт, не предназначавшийся для опубликования и замененный в рукописи Гоголя многоточием и сноской: «VI статья содержит распоряжения по делам семейственным», Чижовым был заполнен отрывком из посланной Гоголем матери и сестрам при письме от 14 ноября 1846 г. части завещания, которую Гоголь не собирался вносить в свою книгу. При этом Чижов добавил к примечанию Гоголя без всяких оговорок свои слова, так что оно приобрело следующий вид: «VI статья содержит распоряжения по делам семейственным; мы помещаем здесь часть ее,

характеризующую покойного Н. В. Гоголя» (Полное собрание сочинений Н. В. Гоголя, 1867, т. III, стр. 338); таким образом, примечание стало из авторского — редакторским.

Текст, часть которого произвольно была включена Чижовым в «Выбранные места из переписки с друзьями», печатается в XIII томе настоящего издания, стр. 477–478 по копии, сохранившейся в ЦГЛА.

Стремясь максимально восполнить все пробелы рукописи, возникшие, по его мнению, вследствие цензурных соображений, Чижов раскрывает в ряде случаев фамилии, которые были скрыты за сокращениями и отдельными буквами. Не оговариваясь, он ставит под статьями «О лиризме наших поэтов» и «Просвещение»: «Письмо к В. А. Жуковскому», под статьями: «Об Одиссее...», «Карамзин» и «Предметы для лирического поэта в нынешнее время» — Н. М. Языкову и т. п.

В десятом издании «Сочинений Н. В. Гоголя» под редакцией Н. Тихонравова (М., 1889 г., том четвертый) текст «Выбранных мест» напечатан по Полному собранию сочинений Н. В. Гоголя 1867 г. (под ред. Чижова).

### III.

## Предисловие

«Предисловие» было написано Гоголем в июле 1846 года и 30 июля отправлено Плетневу с первой тетрадью «Выбранных мест».

Отречение Гоголя от всего его предшествующего творчества, содержащееся в «Предисловии», встретило сопротивление передовых сил общества. В ответ на заявление Гоголя в «Предисловии»: «Мне хотелось хотя сим искупить бесполезность всего, доселе мною напечатанного, потому что в письмах моих... находится более нужного для человека, нежели в моих сочинениях», Белинский писал в письме к Гоголю от 15/3 июля 1847 г.: «если Вы имели несчастье с гордым смирением отречься от Ваших истинно великих произведений, то теперь Вам должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы Ваши прежние».

Религиозно-мистические упования Гоголя на паломничество в Иерусалим, выраженные

в «Предисловии», вызвали ироническое отношение Белинского. «Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества... Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей... тому незачем ходить пешком в Иерусалим», — писал Белинский.

## I. Завещание

**Н.** С. Тихонравов высказал вполне вероятное предположение, что Завещание было составлено Гоголем в начале июля 1845 года, во время тяжелой болезни писателя, когда он испытывал полный упадок сил и был обуреваем припадками «болезненных страхов».

*Прощальная повесть*, о которой Гоголь говорит в IV пункте Завещания, очевидно, так и не была им написана.

VI пункт завещания не был включен Гоголем в «Выбранные места». Он был послан матери и сестрам при письме от 14 ноября 1846 года, когда работа Гоголя над «Выбранными местами» была закончена и писатель ждал появления книги.

*Стр. 222... без моей воли и позволения опубликован мой портрет...* — М. П. Погодин без

разрешения Гоголя, с коммерческой целью поместил в «Москвитяине» № 11 за 1843 г. литографию П. Зенькова с портрета Гоголя, сделанного А. А. Ивановым. Гоголь был обижен самоуправством Погодина и надолго прекратил с ним переписку. После появления портрета Гоголя в «Москвитяине» в «Молодике, учено-литературном сборнике», изданном И. Бецким, Харьков, 1844 г., 4 вып., был помещен литографированный С. Полем портрет Гоголя работы К. П. Мазера.

*Стр. 223. Гравировал Иорданов.* Имеется в виду Иордан, Федор Иванович (1800–1883), гравер, друг художников Ф. А. Моллера и А. А. Иванова, живший с ними в Риме и постоянно встречавшийся с Гоголем; впоследствии описал свои встречи с Гоголем. (См. «Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана». М., 1918 г.). Согласно завещанию Гоголя Иордан гравировал портрет работы Ф. А. Моллера после смерти писателя для Сочинений и писем Н. В. Гоголя, издание Кулиша, т. I, СПб., 1857.



## II. Женщина в свете

Адресат не установлен. В письме использованы отчасти письма Гоголя к А. О. Смирновой (от 16 мая 1844 г. и от 28 июля 1845 г.). В то же время в нем нашло отражение отношение Гоголя к С. М. Соллогуб (урожд. Виельгорской) и беседы его с нею.

Возможно, что письмо не было адресовано определенному лицу и Гоголь лишь придал своей публицистической статье форму частного письма.

В статье высказана наивная мысль о возможности преодоления взяточничества посредством морального воздействия на чиновников с тем, чтобы они сократили свои расходы. Белинский показал утопичность «проекта» Гоголя в статье о «Выбранных местах» и иносказательно дал понять, что взяточничество — социальное явление, зависящее не от злой воли или расточительности отдельных чиновников или их жен, а от всей государственной бюрократической системы. Чернышевский отмечал впоследствии, что обличителю взяточничества — Гоголю «связь этого явления с другими явлениями не была...

ясна» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. IV, Гослитиздат. 1948, стр. 636).

### III. Значение болезней

**И**з письма А. П. Толстому. С А. П. Толстым (1801–1873) Гоголь познакомился в 1842–1843 г. за границей. Более тесное сближение их началось с 1844 г. Особенно близок с А. П. Толстым Гоголь был в последние годы своей жизни, с 1848 г. поселившись у Толстого в Москве (дом Талызина). Консерватор и мистик, А. П. Толстой принадлежал к числу наиболее реакционно настроенных знакомых Гоголя. Беседы и переписка с ним, имевшие влияние на Гоголя, сказались на ряде статей «Выбранных мест».

Белинский в статье о «Выбранных местах» противопоставил религиозно-аскетическим рассуждениям Гоголя, содержавшимся в письме к А. П. Толстому, материалистический взгляд на единство духовной и физической жизни человека. Излагая точку зрения Гоголя и противопоставляя ей взгляды «практических людей», Белинский иронически писал: «Эти люди, пожалуй, скажут вам, что только в здоровом теле может обитать здоровая ду-

ша, что только не страждущий никаким расстройством мозг может правильно мыслить... Заткните уши от таких вольнодумных мыслей...» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. X, СПб., 1914, стр. 439).

#### **IV. О том, что такое слово**

**В** статье Гоголь проводит мысль о необходимости тщательного продумывания и отделки произведений, ввиду общественного значения каждого слова писателя.

В статье выразилось раздражение Гоголя против Погодина за бесцеремонное опубликование им в «Москвитяине» портрета, подаренного ему в знак дружбы Гоголем (см. примеч. к главе «Завещание»). Гоголь был крайне недоволен самым фактом опубликования его портрета, а также тем, что опубликованным оказался портрет, на котором он изображен «неряхой, в халате, с длинными взъерошенными волосами и усами». Гоголь пишет в статье о Погодине, который «выказывал перед читателем себя всего во всем своем неряшестве», и заявляет, что читатели «заметили в нем одно только неряшество и неопрятность, которые прежде всего замечает чело-

век, и ничего от него не приняли».

Такая же характеристика Погодина содержится и в дарственной надписи, сделанной Гоголем при поднесении Погодину книги «Выбранные места»: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примечающему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме Неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу, в вечное напоминание грехов его, человек, также грешный, как и он, и во многом еще неопрятнейший его самого» (автограф Гоголя вклеен Погодиным в его дневник за 1847 г., Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина).

Бесцеремонность Погодина по отношению к Гоголю вызвала у Гоголя ослабление дружеских чувств к нему, в результате чего Гоголь смог более объективно, трезво взглянуть на одного из своих друзей-реакционеров, против которых Белинский предостерегал его еще в письме от 20 апреля 1842 г.

Белинский сочувственно процитировал в статье о «Выбранных местах» строки, содер-

жащие характеристику Погодина.

## **V. Чтения русских поэтов перед публикою**

**А**дресат письма не установлен.

В 1843 году в Москве были устроены чтения произведений современных русских писателей. Инициатором и устройтелем этих чтений был М. С. Щепкин, читавший на них главным образом произведения Гоголя; «Повесть о капитане Копейкине» прочел П. М. Садовский, участвовали в чтениях также Мочалов, Коровкин и др.

Прекрасный мастер художественного чтения, Гоголь излагает в этой статье ценные соображения о путях развития художественного чтения в России.

## **VI. О помощи бедным**

Письмо адресовано А. О. Смирновой.

На основании переписки Гоголя с А. О. Смирновой и писем Смирновой к Гоголю от 18 и 30 декабря 1844 г., тематически связанных с письмом «О помощи бедным» («Русская старина», 1888, октябрь, стр. 141–147), Тихонравов уточняет дату, которая значится под статьей, и относит статью к декабрю 1844 года.

## **VII. Об одиссее, переводимой Жуковским**

Письмо адресовано Н. М. Языкову.

4 июля 1846 г., отправляя П. А. Плетневу статью «Об Одиссее», Гоголь писал: «Покамест тебе маленькая просьба (предвестие большой, которая последует в следующем письме). Жуковскому нужно, чтобы публика была несколько приготовлена к принятию «Одиссеи». В прошлом году я писал к Языкову о том, чем именно нужна и полезна в наше время «Одиссея» и что такое перевод Жуковского. Теперь я выправил это письмо и посылаю его для напечатания вначале в твоём журнале, а потом во всех тех журналах, которые больше

расходятся в публике, в виде статьи, заимствованной из «Современника», с оговоркой вроде следующей: «Зная, как всем в России любопытно узнать что-либо о важном труде Жуковского, выписываем письмо о ней Н. Гоголя, помещенное в таком-то номере „Современника“». Плетнев опубликовал «письмо» Гоголя в XLIII томе «Современника» (1846 г., № 7). В Москве та же статья Гоголя была опубликована через посредство Языкова в «Московских ведомостях», 1846 г., 25 июля, № 89, и в «Москвитянине 1846 г., № 7, отд. V, с примечанием, соответствовавшим указанию Гоголя.

В статье содержались выпады против современной социально-обличительной литературы и передовой критики. «Даже эти судорожные, больные произведения века, с примесью всяких неперевавшихся идей, нанесенных политическими и прочими брожениями, стали значительно упадать; только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в простодушии, что козлы, их предводившие, давно уже остано-

вились в раздумье, не зная сами, куда поведсти заблудшие стада свои», — писал Гоголь в этой статье и выражал надежду, что «Одиссея» «освежит критику», которая «устала и запуталась от разборов загадочных произведений новейшей литературы, с горя бросилась в сторону и, уклонившись от вопросов литературных, понесла дичь». Белинский иронически процитировал это место в статье о «Выбранных местах», и Гоголь приписал всё негодование Белинского личной обиде критика. Пытаясь через Прокоповича помириться с Белинским, Гоголь писал Прокоповичу 20 июня 1847 г. о Белинском: «Он, кажется, принял всю книгу написанную на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли... Вероятно, он принял на свой счет козла, который был обращен к журналисту вообще. Мне было очень прискорбно это раздражение... потому, что, как бы то ни было, человек этот говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет. Человек этот... указал справедливо... на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие...». Белинский отвечал на



письмо, адресованное ему и переданное через Прокоповича, из Зальцбрунна: «Тут дело идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет об истине, о русском обществе, о России».

## **VIII. Несколько слов о нашей церкви и духовенстве**

Письмо направлено А. П. Толстому, впоследствии ставшему обер-прокурором Синода. Толстой способствовал развитию у Гоголя религиозно-мистических настроений и сближению его с представителями духовенства (через Толстого Гоголь познакомился со священником Матвеем Константиновским, поддерживавшим в писателе к концу его жизни аскетические настроения).

Такие статьи «Выбранных мест», как «Несколько слов о нашей церкви и духовенстве» и следующая — «О том же» вызвали гневный протест Белинского, который понимал, что борьба за раскрепощение народа неотделимо от борьбы с церковью.

## IX. О том же

Адресовано А. П. Толстому.

### Х. О лиризме наших поэтов

Письмо к В. А. Жуковскому.

Как явствует из начала «письма», в 1846 году Гоголь написал новый вариант этой статьи (первая редакция была им написана в 1845 году). В статье содержится ряд эпизодов, выставляющих образ Пушкина в ложном свете и искажающих его отношение к царю. Характерно, что именно к Жуковскому Гоголь обращается со статьей, в которой заявляет, что только «по смерти Пушкина обнаружались его истинные отношения к государю». Жуковский принадлежал к числу друзей Пушкина, совершенно чуждых ему по своим политическим воззрениям. После смерти Пушкина Жуковский создал легенду о «трогательном» примирении Пушкина с царем на смертном одре. Консервативно настроенные друзья Пушкина и Жуковского — Вяземский, Плетнев и др. всячески поддерживали эту легенду и, ссылаясь на личное знакомство с поэтом, распространяли версию об аполитизме и даже консерватизме Пушкина. Одну из та-

ких легенд, не имеющих под собою никакого основания, пересказывает Гоголь в статье «О лиризме наших поэтов», комментируя стихотворение Пушкина «К Н\*\*\*», обращенное не к Николаю I, как пытается представить Гоголь, а к Н. Гнедичу (см. Н. Ф. Бельчиков. «Пушкин и Гнедич в 1832 г.» — сб. «Пушкин», I. М., 1924).

Цитаты в данной статье приводятся Гоголем по памяти, неточно.

*Стр. 250... Повелительный Стефан...* — цитата из стихотворения Н. М. Языкова «Тригорское».

*Стр. 252. Что пел я россов ту царицу...* — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Мой истукан».

*Стр. 252. Холодна старость дух, у лиры глас отъемлет...* — цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества».

*Стр. 255. Хотя в Наполеоновом столпе виноват, конечно, ты...* — Публикуя данное стихотворение Пушкина, Жуковский внес в его текст ряд искажений, в частности заменил слова «Александрийского столпа» словами:

«Наполеонова столпа».

*Стр. 260. Небесами клянусь: кто жизнью своей...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Герой».

*Стр. 260. Пир на Неве* — Гоголь понимает стихотворение А. С. Пушкина «Пир Петра Первого».

*Стр. 260. Нет, он с подданным мирится...* — цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Пир Петра Первого».

## XI. Споры

Адресат письма не установлен. В главе «Споры» Гоголь стремится занять «независимую» позицию в идейной борьбе 40-х годов и примирить спорящие стороны. Белинский был против таких попыток, основанных на непонимании существа разногласий. В статье о «Выбранных местах» он процитировал отрывки из «споров», содержащие критику славянофильства, применив их как оружие против славянофилов.

## **XII. Христианин идет вперед**

**П**исьмо это, как и письмо «Советы» (XVI), адресовано «Щ.....ву». Применительно к статье «Советы» Чижов раскрывает это обозначение как С. П. Шевыреву (см. Полн. собр. соч. Н. В. Гоголя, 1867 г.).

## **XIII. Карамзин**

**И**звлечение из письма Гоголя к Н. М. Языкову от 5 мая 1846 г. Письмо это писалось в период работы над «Выбранными местами», с расчетом на включение его в книгу. Подготавливая письмо к печати, Гоголь произвел в нем некоторые переделки и стилистические изменения.

Белинский в статье «Выбранные места из переписки с друзьями» процитировал ту часть статьи, где Гоголь дает критическую характеристику М. П. Погодина.

## XIV. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности

Письмо к А. П. Толстому.

Статья содержит замечательные рассуждения Гоголя о значении классической реалистической драматургии и о вреде засилия мелодрам и водевилей на русской сцене, о принципах режиссуры и о пагубном влиянии «пристегнувшихся сбоку чиновников», тормозящих развитие искусства.

Гоголь высказывает в этой статье некоторые постоянно занимавшие его мысли о постановке пьес и значении таких ведущих актеров, как Щепкин, Каратыгин и др. (см. письма Гоголя М. С. Щепкину от 28 ноября 1842 г. и от 24 октября 1846 г., письмо И. И. Сосницкому от 2 ноября 1846 г.). Гоголь придавал огромное значение единству ансамбля, «тона» в спектакле и считал, что объединить актерский коллектив и организовать спектакль может только первоклассный актер: первый трагик — в трагедии и первый комик — в комедии. Талантливый, преданный искусству и знающий свое дело, он должен, по мнению

Гоголя, и отбирать репертуар, и объяснять актерам идею пьесы и учить актеров, как каждому из них передать эту идею в своей роли. Гоголь вынужден признать, что бюрократическая администрация в театре является страшным злом, что именно она насаждает бессмысленные водевили, мелодрамы и балеты, но тут же объявляет, что виноваты во всем «секретари», которым крупные чиновники передоверяют свои полномочия. Все разделы и даже фразы статьи, в которых Гоголь характеризует театральных чиновников, были вычеркнуты цензурой (см. «Варианты»).

В статье содержится полемика с издателем реакционнейшего журнала «Маяк» С. А. Бурачком и сотрудничавшим в этом журнале критиком А. М. Мартыновым. В 1843 году в «Маяке» были напечатаны статьи Мартынова и Бурачка о произведениях Пушкина. Статьи эти носили характер доноса: Пушкин обвинялся в развращении общества, в неверии, в восхвалении уголовных преступлений и т. д.

Белинский указал Гоголю, что, споря с Бурачком и в то же время оправдывая крепост-

ничество, реакционный государственный аппарат и церковь, Гоголь впадает в противоречие с самим собой.

*Стр. 276. Но и тогда струны лукавой...* — отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «В часы забав иль праздной скуки». Гоголь опустил первое четверостишие.

## **XV. Предметы для лирического поэта в нынешнее время**

Два письма Н. М. Языкову.

Для составления этих писем Гоголь воспользовался своими письмами Языкову от 2 и 26 декабря 1844 г. В статье «Предметы для лирического поэта...» Гоголь выражает мысли, близкие к высказываниям в статье «Об Одиссее...». «Сатирой, — заявляет он, — ничего не возьмешь; простой картиной действительности, оглянутаго глазом современного светского человека, никого не разбудишь», и советует поэту взять «событие из минувшего и обратить его к настоящему».

Вторая часть статьи, где излагается мысль о моралистическом обличении как предмете поэзии, и о необходимости показывать идеалы в искусстве с целью нравственного воз-



действия на читателя, по своим идеям связана с замыслом II тома «Мертвых душ».

*Стр. 279. Царские выходы* — книга П. М. Строева «Выходы государей, царей и великих князей Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Феодора Алексеевича». М., 1844.

## **XVI. Советы**

**С**м. примеч. к гл. XII\* — «Христианин идет вперед».

## **XVII. Просвещение**

**П**исьмо В. А. Жуковскому, повторяющее мысли, которые ранее были изложены в статье об «Одиссее...»

## XVIII. Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»

Центральная статья «Выбранных мест», в которой Гоголь подвергает пересмотру всё свое творчество. В статье о «Выбранных местах» Белинский писал: «... самую любопытнейшую часть этой книги составляют „Четыре письма к разным лицам по поводу «Мертвых душ»“. Эти четыре письма обрадовали, привели в восторг, сделали истинно счастливыми некоторых литераторов, особенно занятых литературною славою Гоголя». И далее он кратко резюмировал основные положения статьи Гоголя, показав, какие выводы могут сделать враги реализма, основываясь на этих положениях:

«I. Гоголь сам сознается, что он недоволен всем, что было им написано до сих пор, а потому сжег рукопись второй части «Мертвых душ» и других своих сочинений. Ergo: враги таланта Гоголя правы в том, что столько лет выставляли его писателем без дарования, без вкуса, мастером на одни сальные и грязные картины вроде Поль де Кока.

II. Гоголь сам соглашается, что особенность

его таланта состоит в умении «очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем». Ergo: это явно талант мелкий и ничтожный...

III. Гоголь объявляется торжественно, что согласен с теми, которые бранили его сочинения, и не согласен с теми, которые хвалили их. Ergo: хвалители Гоголя суть литературная партия, уцепившаяся за него для унижения истинных, но ненавистных ей талантов.

IV. Гоголь сам говорит, что «рожден он во все не затем, чтобы произвести эпоху в области литературной, а затем, чтобы спасти свою душу». Ergo: лгали те, которые провозгласили его главою новой литературной школы.

V. Гоголь признается сам, что «в критиках Булгарина, Сенковского и Полевого есть много справедливого, начиная даже с данного ему совета поучиться прежде русской грамоте, а потом уже писать» и что «если бы он не торопился печатанием рукописи...» и пр. Ergo: кроме «Вечеров на хуторе» всё, написанное Гоголем, есть чистый вздор и не заслуживает никакого внимания...» (Белинский).

Полн. собр. соч., т. X, стр. 449 и 452–453).

В скрытой форме Белинский выразил здесь мысль о том, что Гоголь «Выбранными местами» нанес удар передовой литературе и освободительному движению. В письме к Гоголю Белинский, имея в виду почитателей таланта Гоголя, писал: «... их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородного источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их головою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению главною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вяземский... развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (стало быть, на меня всех больше) чистый донос». Таким образом, Белинский дал понять, что отступничество Гоголя наруку не только Булгарину, Сенковскому и пр., но и личным друзьям Гоголя — литературным и политическим реакционерам.

Белинский вернулся к полемике с Гоголем по вопросу о сущности его таланта в статье «Ответ Москвитянину». Не соглашаясь с опре-

делением сущности его творчества в «Выбранных местах», критик дал свое определение: «Это — не один дар выставять ярко пошлость жизни, а еще более — дар выставять явления жизни во всей полноте их реальности и их истинности» (Белинский. Полн. собр. соч., т. XI, стр. 22).

## **XIX. Нужно любить Россию**

## **XX. Нужно проездиться по России**

Оба письма адресованы А. П. Толстому. В содержании писем нашли свое отражение беседы с А. П. Толстым. Как и в других письмах к Толстому, Гоголь пытается здесь удержать его от «крайностей» аскетизма и мракобесия, но сам подпадает под его влияние. Вместе с тем Гоголь говорит здесь откровенно, что «крики на бесчинства, неправды и взятки — не просто негодование благородных на бесчестных, но вопль всей земли» («Нужно любить Россию» — ср. речь губернатора во II томе «Мертвых душ»), рассказывает о повальном взяточничестве, о расточительстве чиновников и помещиков, способных «разорить полдеревни или пол-уезда затем, чтобы доставить хлеб столяру Гамбсу» (статья «Нужно

проездитья по России»). Эти мысли Гоголя навлекли цензурное запрещение на обе статьи, причем Никитенко сначала предпринял «правку» статей, а затем пришел к выводу о невозможности их напечатания.

## **XXI. Что такое губернаторша**

**П**исьмо представляет собою несколько переработанное письмо к А. О. Смирновой от 6 июня 1846 г.

Н. М. Смирнов был в 1845 году назначен губернатором в Калугу. Гоголь дает Смирновой советы о том, как воздействовать на калужское общество, при этом поясняет свои мысли примерами из деятельности «предшественниц» Смирновой, бывших губернаторшами в Калуге (К\*\*\*) — Жуковской (Ж\*\*\*) и Оболенской (О\*\*).

Откровенные рассуждения Гоголя о жизни высших сословий и бюрократии г. Калуги, в особенности же даваемая им характеристика «безопасной взятки», «которую чиновник берет с чиновника по команде сверху вниз», сделали статью неприемлемой для цензуры. Она была целиком запрещена и впервые напечатана в газете «Современность и Экономическая жизнь».

ческий листок» (1860 г., № 1, стр. 9-12), а оттуда перепечатана в журнале «Домашняя беседа» (1866 г., вып. VI).

Демократические читатели 60-х годов восприняли статью Гоголя как проявление помещичьей идеологии. И. С. Тургенев вложил в уста Базарова, попавшего в общество помещиков, заявление: «С тех пор, как я здесь, я препакостно себя чувствую, точно начитался писем Гоголя к калужской губернаторше» (И. С. Тургенев. Сочинения, т. VI, Госиздат, М. — Л., 1930, стр. 340).

*Стр. 314... уездный судья М\*\*\* уезда* — судья Мещевского уезда Клементьев (см. письмо Смирновой к Гоголю от 21 февраля 1946 г. — «Русск. стар.» 1890, № 7, стр. 204–205).

*Стр. 314. point d'honneur* — «вопрос чести» (франц.).

## XXII. Русской помещик

Адресат письма неизвестен. Весьма вероятно, что в письме отразились беседы Гоголя с племянником А. П. Толстого — Виктором Владимировичем Апраксиным. В письме к Плетневу от 15 января 1847 г. Гоголь писал об Апраксине: «Апраксин... весьма дельный молодой человек, вовсе не похожий на юношей щелкоперов. Он смотрит на вещи с дельной стороны и, будучи владельцем огромного имения, намерен заняться благосостоянием его серьезно».

В статье «Русской помещик» особенно наглядно проявились консервативные взгляды Гоголя, ибо здесь трактовался вопрос об отношениях между помещиками и крестьянами. Гоголь идеализировал патриархально-крепостнические отношения и пытался представить дело таким образом, что, если помещики обратятся к патриархальной жизни, антагонизм между ними и крепостными крестьянами будет преодолен.

Появление этой статьи за подписью Гоголя, создателя образа «патриархального» крепостника Собакевича, было более чем неужи-



данно для большинства читателей. Белинский вскрыл помещичий характер «советов» Гоголя в критической статье, а затем, с еще большей отчетливостью — в зальцбруннском письме. Он указывал Гоголю, что никакой идиллии в деревне нет и не может быть, что даже правительство, всецело защищающее интересы помещиков, знает, «что делают помещики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно режут первых». Белинский замечает, что, становясь на позицию защиты крепостного права, Гоголь делается рупором разоблаченных им в «Мертвых душах» эксплуататоров, «учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, ругая их *неумытыми рылами!*..» «А выражение: ах ты, неумытое рыло! да у какого Ноздрева, какого Собакевича подслушали Вы его, чтобы передать миру как великое открытие в пользу и назидание русских мужиков...» — пишет Белинский.

В статье «Русской помещик» Белинского возмутило также заявление Гоголя, «будто простому народу грамота не только не полезна, но положительно вредна». Этому утвер-

ждению Гоголя Белинский противопоставляет факты, говорящие о страстном стремлении народа к просвещению. Вопрос о просвещении народа для Белинского неотделим от вопроса об освобождении крестьян.

*Стр. 327. К\*, З\*\* — лица неустановленные.*

### **XXIII. Исторический живописец Иванов**

**П**исьмо обращено к Матвею Юрьевичу Вильгорскому.

Как и в письме «О театре», Гоголь выступает здесь с защитой искусства от бюрократической администрации, уповая в то же время на «высочайшее покровительство». Приведенные в статье сведения о гениальном художнике Иванове, рисковавшем «умереть с голоду» во время работы над большой картиной и молившем «о нищенском содержании», привлекли внимание цензуры и ряд мест был из статьи изъят.

Положение Иванова было действительно крайне тяжелым. Академия художеств в марте 1846 г. отказалась ходатайствовать о назначении Иванову содержания, между тем как «начальник над русскими художниками» ге-

нерал Киль проверял, как движется работа по выполнению «императорского заказа» и бесцеремонно вторгнулся в его студию.

Статья Гоголя привлекла внимание общества и вынудила правительство Николая I дать художнику некоторое материальное обеспечение.

#### **XXIV. Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России**

**А**дресат письма не указан автором и неизвестен. Цензор вычеркнул в заглавии слова «при нынешнем порядке вещей в России». В статье, посвященной «Выбранным местам», Белинский иронически писал: «Но истинный перл по советодательной части составляют три письма автора. В одном он учит мужа и жену жить по-супружески. Жалеем, что длинота этого письма лишает нас возможности пересказать его содержание: это чудо, прелесть, еще ничего не являлось подобного на русском языке, и перед этим даже путевые записки за границую г. Погодина — просто пас!» (Белинский. Полн. собр. соч., т. X, стр. 445).

В «Полном собрании сочинений» Н. В. Го-

голя 1867 г. статья ошибочно датируется 1845 вместо 1846 года.

*Стр. 340. Comme il faut* — соблюдение светских приличий (франц.).

*Стр. 340. Мадам Сихлер* — владелица модных магазинов.

## **XXV. Сельской суд и расправа**

**А**дресат письма неизвестен.

Статья, как и глава «Русской помещик», касается отношений между помещиками и крестьянами. Имея в виду эту статью, Белинский писал Гоголю: «А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму которого должно пороть и правого и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым !..»

## XXVI. Страхи и ужасы России

Письмо обращено к гр. Луизе Карловне Виельгорской — жене Мих. Ю. Виельгорского.

Гоголь писал Л. К. Виельгорской 22 октября 1846 г.: «Что вы, моя старшая графиня, матушка моих милых сестер, после вашего длинного письма, исполненного гнева на современный порядок вещей (за которое потом вас побраню), вдруг затихнули...». Статья «Страхи и ужасы России», очевидно, и является ответом на «исполненное гневом» письмо Л. К. Виельгорской.

Дочери Виельгорской, о которых упоминает Гоголь в названном письме и в статье, — Софья Михайловна, в замужестве Соллогуб, и Анна Михайловна, в замужестве — Шаховская.

Письмо Гоголя, признающее наличие чрезвычайно напряженных общественных противоречий в России и Европе, было целиком запрещено цензурой.

Наблюдения Гоголя над ростом революционного движения в Европе сказались в его словах: «Погодите, скоро поднимутся снизу

такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся..., что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются...» Белинский напомнил в своем письме Гоголю, что в России зреет небывалое по своему размаху народное движение против крепостного права.

*Стр. 344. Sauve qui peut — спасайся кто может (франц.).*

## **XXVII. Близорукому приятелю**

**А**дресат не установлен.

Несмотря на то, что статья эта в основном направлена против нововведений в области государственного аппарата, цензор произвел в ней много мелких изъятий, так как не мог допустить поучительного тона, в котором Гоголь обращается здесь к представителям высшей бюрократии.

## **XXVIII. Занимающему важное место**

**С**татья, по всей вероятности, адресована А. П. Толстому или, во всяком случае, основывается на беседах с ним. Гоголь считал А. П. Толстого «государственным человеком». В письме Языкову от 12 ноября 1844 г. он писал о Толстом: «Он много видел, был два раза губернатором, в Одессе и в Твери, умел видеть ошибки другого и даже свои собственные, и теперь стал на такую точку, что может, не распекая и не разгоняя людей, сделать существенное добро, т. е. умирить там, где иной с благородным намерением добра может произвести кутерьму и раздор».

Статья «Занимающему важное место» тесно связана со статьей Гоголя «О сословиях в

государстве». Гоголь заявляет, что «не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которого стихии исчезнули повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшения». Тем самым крепостное право расценивалось как высшая форма взаимоотношений в деревне. Точно так же государственный бюрократический аппарат представлялся Гоголю идеально стройным зданием. Вместе с тем Гоголь не считал нужным умалчивать о трудностях, с которыми, по его мнению, может столкнуться в настоящее время крупный чиновник-губернатор. Это повлекло за собою запрещение статьи.

Гоголь был удивлен и огорчен строгостями цензуры, которые были им сочтены за величайшую несправедливость. «Самые важные письма, которые должны были составить существенную часть книги, не вошли в нее, — письма, которые направлены были именно к тому, чтобы лучше ознакомить с бедами, происходящими от нас самих внутри России,



и о способах исправить многое», — писал он 30 января 1847 г. А. О. Смирновой.

*Стр. 349. Цициановцы, ермоловцы* — участники кавказских кампаний: 1802–1806 годов, под командованием генерала П. Д. Цицианова, и 1818–1826 годов, под командованием А. П. Ермолова.

## **XXIX. Чей удел на земле выше XXX. Напутствие**

**А**дресаты писем неизвестны.

Оба письма проникнуты настроением религиозной покорности и выражают реакционную мысль о смирении как высшей добродетели.

## **XXXI. В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность**

**О**тправляя к Плетневу последнюю тетрадь «Выбранных мест», Гоголь 16 октября 1846 г. писал: «Так устал, что нет мочи: в силу сладил, особенно со статьей о поэзии, которую в три эпохи мои писал и вновь сожигал, и наконец теперь написал...»

Первоначальный вариант статьи (1845 г.) был сожжен Гоголем после того, как подвергся суровой критике со стороны Жуковского.

Задуманная задолго до написания «Выбранных мест», статья менее всех других статей книги выражает реакционные идеи Гоголя конца 40-х годов.

В статье содержатся меткие характеристики творчества ряда русских писателей (Ломоносова, Державина, Фонвизина, Крылова, Жуковского, Пушкина, Грибоедова), анализ их художественной системы. Чрезвычайно интересен данный здесь Гоголем очерк развития русской комедии.

Цитаты в данной статье приведены Гоголем по памяти и в большинстве случаев

неточно.

*Стр. 371. Божественный пророк Давид...*  
Цитата из оды Ломоносова «На день рождения императрицы Елизаветы Петровны» 1757 г.

*Стр. 371... заключа стихотворную речь свою в узкие строфы немецкого ямба...* — Гоголь выражает здесь ошибочное мнение, распространенное в его время, о том, что Ломоносов якобы заимствовал стихотворные размеры из немецкой литературы.

*Стр. 372. Как один весь предался наукам, считая стихотворство свое только развлеченьем и делом отдохновенья...* Гоголь перефразирует здесь пример из «Российской грамматики» Ломоносова: Стихотворство — моя утеха, физика — мои упражнения.

*Стр. 374. Встает в упор ее волнам...* Отрывок из оды Державина «На возвращение графа Зубова из Персии».

*Стр. 374. И смерть, как гостью, ожидает...*  
Цитата из стихотворения Державина «Ариштипова баня».

*Стр. 376. Деревенский домик в Обухове — «Обуховка», элегия Капниста.*

*Стр. 376. Вадим* — герой баллады «Вадим», части поэмы «Двенадцать спящих дев» Жуковского.

*Стр. 377. Под надзирание ты предан...* Из стихотворения Державина «Победителю».

*Стр. 378. Отчет о солнце* — «Летний вечер».

*Стр. 378. Отчет о луне* — «Подробный отчет о луне», послание.

*Стр. 378. Ундина* — старинная повесть Жуковского, написанная им по мотивам Ламота Фуке; далее речь идет об «Одиссее» в переводе Жуковского.

*Стр. 380. Далекий, возделенный брег!..* — Цитата из стихотворения Пушкина «Монастырь на Казбеке».

*Стр. 382. Не для житейского волненья...* — Из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа».

Далее Гоголь подразумевает «Каменного гостя», «Сцену из Фауста» и незаконченное стихотворение Пушкина «В начале жизни школу помню я».

*Стр. 385. Рукопись села Горохина* — «История села Горюхина».

*Стр. 385. Царский араб* — «Арап Петра Ве-

ЛИКОГО».

*Стр. 385. ...побег из города... — см. «Странник» Пушкина.*

*Стр. 386. Стоит назвать обоих Туманских...* Туманский В. И. (1800–1860) — автор элегий и посланий; Туманский Ф. А. (1801–1853) — автор нескольких стихотворений, среди которых известная «Птичка». Крылов А. А. (1798–1829) — автор нескольких элегий, помещенных в журналах и альманахах 20-х годов.

*Стр. 387. Покровы прочь! Перед челом...* Цитата из стихотворения Языкова «Тригорское».

*Стр. 387. Тяжкий гвоздь стойком и плотно...* Цитата из послания Языкова «А. Н. Вульф» (1828).

*Стр. 388. Чу! труба продребезжала!.. и Пламень в небо упирся...* Цитаты из послания Языкова «Д. В. Давыдову».

*Стр. 388... На благородное служенье  
Во славу чести и добра.* Повидимому, искаженная цитата из стихотворения Языкова «Дерпт», содержащего строки:

*И благородное стремленье  
На поле славы и наук.*

*Стр. 389. Когда тебе на подвиг всё готово...*  
Из стихотворения «Поэту».

*Стр. 391. В его книге: Биография Фонвизи-на...* Гоголь понимает монографию П. А. Вяземского «Фонвизин», которую он знал в рукописи. Книга была напечатана в 1848 г.

*Стр. 391. Душа прямится, крепнет воля...*  
Цитата из послания Языкова «К Вульффу, Тютчеву и Шепелеву».

*Стр. 393. «это осел Крылова!»...* Гоголь пересказывает далее басню Крылова «Осел».

*Стр. 393. Держава всякая сильна...* Цитата из басни Крылова «Пушки и паруса»; об этой басне и идет речь у Гоголя в данном отрывке.

*Стр. 393... некоторые из них... замешались в безрассудное дело...* Речь идет об участниках движения декабристов.

*Стр. 394. Властитель хочет ли народы удержатъ?.. Двустышие, очевидно, по ошибке приписано Гоголем Крылову.*

*Стр. 394. Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый...* Цитата из басни Крылова «Орел и пчела».

*Стр. 405. Маркиз Кустин — Гоголь понимает Кюстина — автора книги «Россия в 1839 г.»*

вышедшей в Париже в 1843 г. на французском языке.

## **XXXII. Светлое воскресенье**

Статья связана с письмами: «О помощи бедным», «Чей удел на земле выше», «Напутствие». Критика «гордыни» представителей высших сословий в этой главе была вычеркнута цензором.

### **О современнике**

Печатается по *РЛ* — беловому автографу (*ПД*, ф. 652, оп. № 1, № 39, лл. 54–61), являющемуся единственным источником текста.

Статья была послана П. А. Плетневу при письме от 4 декабря 1846 г. и предназначалась для первой книжки «Современника» за 1847 г. «... письмо мое поставь первой статьей, в виде программы или вступленья в самую книгу» — писал Гоголь Плетневу. Эту просьбу Плетнев не смог выполнить, так как уже 23 октября 1846 г. он согласился на передачу «Современника» И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову.

8 декабря 1846 г. Гоголь сообщает Плетневу: «... я, между прочим, узнал новость, о которой ты меня совсем не известил, а именно:

что «Современник» уже не в твоих руках, а перешел в руки Никитенку, Белинскому и Тургеневу. А я послал (ничего об этом не ведая) на прошлой неделе тебе статью о «Современнике», которую ты, вероятно, имеешь уже в руках и прочел».

При жизни Гоголя статья оставалась ненапечатанной. Впервые в сокращенном виде ее опубликовал П. А. Кулиш («Сочинения и письма Н. В. Гоголя», т. VI, СПб., 1857, стр. 297–307). В *РЛ* места, пропущенные в издании Кулиша, были отчеркнуты синим карандашом; сокращены были строки, в которых Гоголь дает характеристику журнала и его издателя. Полностью (по автографу) статья была напечатана Н. С. Тихонравовым («Сочинения Н. В. Гоголя», издание 10, т. IV, М., 1889, стр. 227–238), а затем с более полным учетом вариантов В. И. Шенроком («Письма Н. В. Гоголя», т. III, СПб., 1901, стр. 267–282).

Данная в начале статьи характеристика «Современника» точно отражала положение этого журнала, издававшегося и редактировавшегося после смерти Пушкина П. А. Плетневым. Отрешенность журнала от обществен-



ной и литературной борьбы, принятая Плетневым поза «беспристрастия», скрытая за этим ненависть издателя ко всему передовому, прогрессивному обрекли журнал на самое жалкое существование. К плетневскому «Современнику» большинство литераторов и читателей относились, по выражению Гоголя, с «безучастным невниманием».

О своем отношении к журналу «Современник» Гоголь писал А. О. Смирновой в письме от 28 декабря 1844 г.

Гоголь в своей статье критикует плетневский «Современник» и определяет качества, нужные, по его мнению, современному журналисту (необходимость «юношеского живого участия ко всем волнениям современным», «трепета любопытства к вопросам, раздающимся в массе общества» и т. д.). Вместе с тем Гоголь выдвигает программу, согласно которой «Современник» должен превратиться в литературный альманах. «Нужно, чтобы здесь ничто не поминало читателю о том, что есть какие-нибудь распри в литературе и существует журнальная полемика», — пишет Гоголь.

В статье отразились противоречия мировоззрения Гоголя этого периода.

*Стр.* 421. «... певцу Миниха» — автору элегии «Миних» П. А. Плетневу («Сын отечества», 1821, № 26). О П. А. Плетневе и об его отношении к Гоголю см. в примечаниях к X тому настоящего издания.

*Стр.* 423. *Северные цветы* — литературный альманах, издававшийся ежегодно в Петербурге с 1825 по 1832 г. А. А. Дельвигом (последний выпуск после смерти Дельвига издан Пушкиным).

*Стр.* 424. *Соллогуб*, В. А. (1814–1882) — беллетрист, сотрудник «Отечественных записок» 1840-х годов, автор известной повести «Тарантас» (1845), высоко оцененной В. Г. Белинским. В 50-е годы Соллогуб стал заурядным «светским» писателем, представителем либерального «обличительства».

*Стр.* 424. *Козак Луганский* — псевдоним В. И. Даля (1801–1872), одного из писателей гоголевской школы, знатока русского народного быта и языка. Белинский высоко ценил очерки и повести Даля 30-40-х годов.

*Стр.* 425. *Н. Павлов* — Павлов, Н. Ф.

(1805–1846), беллетрист, поэт, литературный критик и публицист, автор сборника «Три повести» (1835). *Три новые повести* — «Маскарад», «Миллион» и «Демон» (1839).

*Стр. 425.* Кулиш, П. А. (1819–1897) — украинский писатель, историк и публицист, издатель и биограф Гоголя, участник буржуазно-националистического движения на Украине. Роман же его, довольно любопытный по частям... Роман П. А. Кулиша «Михайло Чернышенко или Малороссия восемьдесят лет назад», ч. 1–3. Киев, 1843.

*Стр. 425.* Корнилович, А. О. (1795–1833) — декабрист; занимался историей Петра I, издал (совместно с Сухоруковым) альманах «Русская старина» на 1825 г., принимал участие в альманахе «Полярная звезда» и в других изданиях 1820-х годов.

*Стр. 425.* Писатель, выступивший на литературное поприще драмой «Смерть Ляпунова» — С. А. Гедеонов (1816–1878). В конце 1845 г. «Смерть Ляпунова» была поставлена в Александринском театре и шла на столичных и провинциальных сценах. Впоследствии С. А. Гедеонов был директором Эрмитажа (с

1863 г.) и директором императорских театров (1867–1875).

*Стр. 426. Прокопович, Н. Я. (1810–1857) — гимназический товарищ Гоголя, поэт, преподаватель русского языка и словесности. О Прокоповиче см. в примечаниях к X тому настоящего издания.*

*Стр. 428. Стихотворные сказки и повести, которые были помещены в последнее время в Современнике... — «Сказка об Иване царевиче и сером волке» (1845, т. XXXIX), «Выбор креста» (1846, т. XLI), «Тюльпанное дерево» (1846, т. XLIII), «Кот в сапогах» (1846, т. XLIV).*

## **<авторская исповедь.>**

Печатается по *РМ* — беловому автографу (*ЛБ*, М. 3217).

В рукописи — единственном источнике текста — заглавия нет. Озаглавлено С. П. Шевыревым, редактировавшим «Сочинения Н. В. Гоголя, найденные после его смерти». М., 1855. В приложении к этому изданию, содержащему вторую часть «Мертвых душ», и была впервые опубликована данная статья.

Работа над «Авторской исповедью» относится к концу мая — июлю 1847 г. В письмах Гоголь называл свое произведение «повестью моего авторства» или «повестью моего писательства». Не будучи напечатана при жизни Гоголя, «Авторская исповедь» получила распространение в списках.

Статья была откликом на полемику вокруг «Выбранных мест из переписки с друзьями», прежде всего на статью Белинского в «Современнике».

В рецензии на «Сочинения Гоголя» 1855 г., предназначенной для «Современника», Н. Г. Чернышевский писал: «Статья эта написана по поводу неблагоприятных для автора отзы-

вов о «Переписке с друзьями» с целью служить ему оправданием, объяснением происхождения его книга и органической связи, соединяющей это странное явление с его прежними произведениями, которых отрицание видела критика во многих письмах» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III. М., 1947, стр. 774).

Стремясь к самооправданию и к тому, чтобы сгладить тяжелое впечатление, произведенное «Выбранными местами», Гоголь, однако, не смог здесь отказаться от основных положений своей книги.

«Авторская исповедь» — документ, дающий яркое представление о личности писателя, о противоречиях его мировоззрения, о творческом методе Гоголя. Исключительный интерес представляют содержащиеся в «Авторской исповеди» высказывания Гоголя о художественном творчестве; писатель раскрывает здесь принципы своего реалистического искусства.

В «Авторской исповеди» Гоголь сообщает ценнейшие сведения о роли Пушкина в создании «Ревизора» и «Мертвых душ».

*Стр. 435... явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству...* Речь идет о Белинском; на протяжении всей статьи Гоголь полемизирует с Белинским и вместе с тем ищет примирения с ним.

*Стр. 450. Под небом Африки моей...* — пушкинские строки из «Евгения Онегина» (глава первая, строфа L).

## **Учебная книга словесности для русского юношества. Начертание Н. Гоголя**

**П**ечатается по *РМ* — черновому автографу (*ЛБ*, М. 3219).

Рукопись — единственный источник текста — состоит из отдельных листов, вложенных в две обложки, на первой из которых рукою Гоголя обозначено: «№ 5», а на второй написано название рукописи. В автографе множество описок, недописанных слов, вставок; в ряде случаев отсутствует согласование между словами.

Рукопись представляет собой наброски к задуманной Гоголем «Учебной книге словесности». В *ЛБ* находятся списки произведений

разных авторов (16 лл.), переписанные рукою Гоголя (шифр М. 3225. 6). Эта рукопись имеет прямое отношение к «Учебной книге словесности». Здесь мы находим тексты многих стихотворений, включенных Гоголем в перечень примеров к «Учебной книге». Так, например, на лл. 3–4 приведены по памяти тексты стихотворений Лермонтова: 1. «К современному поколению» (так озаглавил Гоголь лермонтовскую «Думу»), 2. «Молитва», 3. «Ангел», 4. «Завещание», причем последние три стихотворения сопровождаются пометой: «К отделу песней». Все эти стихотворения названы Гоголем в примерах к «Учебной книге».

Автограф «Учебной книги словесности» не датирован. Датировка, предложенная В. И. Шенроком (примечания к VI тому «Собрания сочинений Н. В. Гоголя», изд. 10, стр. 762), неточна. Указав на то, что в «Учебной книге» в качестве примеров приведены стихотворения начала 1840-х годов (крайняя дата — стихотворение Языкова «К не нашим», декабрь 1844 г.), В. И. Шенрок делает вывод, что работа над книгой началась не ранее 1844 г., и устанавливает дату 1844–1846 годы, ставшую тра-



диционной. Однако естественнее предположить, что 1844 начало 1845 г. — время окончания работы над рукописью, так как взятые из современной русской поэзии примеры обрываются как раз на 1844 г. Отнесение работы над книгой к более раннему периоду подкрепляется тем, что в ней почти совсем отсутствуют церковно-монархические рассуждения, постоянно встречающиеся в работах и переписке Гоголя в 1845–1846 гг. Так, например, в разделе об оде и гимне, в отличие от статьи 1846 г. «О лиризме наших поэтов», вошедшей в «Переписку с друзьями», нет ни слова о любви к царю, о библейском характере лиризма.

Текст «Учебной книги словесности» должен был войти в состав VI тома «Сочинений Гоголя» 1856 г. под ред. Трушковского. Однако цензор отметил два места в рукописи, не подлежащих напечатанию (шесть строк в разделе «О науке»: «В трудах наших ученых ~ не переварилось» — см. стр. 468 — «как отзыв неблагоприятный для наших ученых», и название думы Рылеева «Острогожск», приведенное Гоголем в *примерах*). Цензор заявил

также, что книга, представляющая собой учебное руководство, должна пройти особую цензуру Министерства народного просвещения. Пока длилась ведомственная волокита, VI том «Сочинений Гоголя» вышел в свет без «Учебной книги». «Дело о напечатании «Учебной книги словесности Гоголя» опубликовано в сборнике документов «Литературный музей», I, Петроград, 1922, стр. 147–152.

Впервые «Учебная книга словесности» была напечатана в VI томе «Сочинений Н. В. Гоголя», изд. 10, 1896, стр. 401–425.

Возникновение замысла книги по теории словесности в первой половине 40-х годов вполне закономерно. Развитие реализма в литературе привело к тому, что все бывшие в обращении учебные руководства безнадежно устарели. В 1841 г. Белинский задумал «Теоретический и критический курс русской литературы». В «Отечественных записках», 1841, т. XV, № 3, была опубликована статья Белинского «Разделение поэзии на роды и виды», представляющая собой отрывок из задуманной книги. В примечании к этой статье сообщался проспект книги Белинского и писалось, что

в обществе обнаруживается «живая потребность эстетического образования, живое стремление к разумному сознанию законов изящного», «между тем у нас нет ни одной книги, которая хоть сколько-нибудь удовлетворяла бы этой потребности, несмотря на несколько попыток в этом роде».

Теоретико-литературные вопросы заняли тогда важное место в общественно-литературной борьбе, в частности — в полемике между Белинским и К. Аксаковым по поводу «Мертвых душ». В центре полемики оказался вопрос о соотношении эпоса и романа. В статье «Разделение поэзии на роды и виды» Белинский писал, что роман и есть эпос нового мира и что нелепо думать, будто в наше время возможен древний эпос. К. Аксаков, решая эти вопросы с отвлеченно-идеалистических позиций, видел в современном романе искажение древнего эпоса. В полемике обсуждался также вопрос об авторском определении «Мертвых душ» как «поэмы».

За борьбой, которая развернулась вокруг поэмы, Гоголь следил уже за границей. В «Учебной книге словесности» содержатся от-

клики на полемику вокруг «Мертвых душ». Гоголь расходился с К. Аксаковым по основному вопросу полемики. Обозревая поэтические роды и жанры, Гоголь выдвигает особую категорию — «меньшие роды эпопеи». Этот род, по мнению Гоголя, возник в новые времена и составляет «как бы средину между романом и эпопеей». Проходящая через всю «Учебную книгу» мысль о взаимных переходах поэтических родов и жанров, элементы историзма, признание того, что в основе поэтического творчества лежит изучение действительности, находились в резком противоречии с эстетикой славянофилов.

Понятие «меньшего рода эпопеи» Гоголь раскрывает на основе «Мертвых душ», не называя прямо своего произведения. Он вполне определенно высказывается по вопросам, затронутым в полемике. Так, например, в словах: «Многие из них (речь идет о «меньшем роде эпопеи» — Л. Л.) хотя писаны и в прозе, но тем не менее могут быть причислены к созданиям поэтическим» — Гоголь как бы поясняет, почему он назвал «Мертвые души» поэмой. Строки о том, что в «меньших родах эпо-

пей» «всемирности нет, но есть и бывает полный эпический объем» — возражение К. Аксакову, утверждавшему, что «Мертвые души» носят «всемирный» характер. Гоголь здесь поддерживает положение Белинского, который решительно возражал Аксакову, не сумевшему понять великое национальное значение творений Гоголя и умозрительно рассуждавшему о «всемирности» «Мертвых душ».

Сопоставление текста «Учебной книги словесности» со статьей Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» приводит к выводу о том, что Гоголь хорошо знал эту статью и учитывал ее при работе над «Учебной книгой». Гоголь близок к Белинскому в характеристике повести (отнесение к повести южных поэм Пушкина), думы (сравнительная характеристика думы и баллады). В определении идиллии как картины, сцены Гоголь и Белинский основываются на предисловии Гнедича к переведенной им идиллии Теокрита «Сиракузянки или праздник Адониса». Гоголь и Белинский восторженно относятся к идиллии Гнедича «Рыбаки», которую наряду с «Дере-

венским сторожем» Жуковского приводят в качестве лучших образцов этого жанра.

Работая над «Учебной книгой словесности» за границей, Гоголь не имел под руками нужных ему произведений; многие произведения он называл и цитировал по памяти. Приводим точные названия произведений, взятых Гоголем в качестве примеров:

...<Гимн богу> *Капниста* — «Возношение души к богу. Псалом ХLI»

*Пастырь, Пушкина* — «В часы забав иль праздной скуки» (?)

*Ода Ломоносова:... На восстановление дома Романовых...* — «Ода на рождение великого князя Павла Петровича. 1754 г.»

*Императ<ору> Никола<ю>, Пушкина* — «Гнедичу» («С Гомером долго ты беседовал один») — см. выше, стр. 783, примечание к статье «О лиризме наших поэтов»

...<России> *Капниста* — «На истребление в России звания раба Екатериною второю в 15 день февраля 1786 года». («Красуйся, счастлива Россия!»)

*На смерть Орлова, Державин<а>* — «На кончину графа Орлова»

*Зубову, Державина* — «На возвращение графа Зубова из Персии»

*К XIX веку, Лермонтова* — «Дума»

*К » веку, М. Лихонина* — «Век ума»

*Елисавете, Ломоносова* — «Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны. 1752 г.»

*Уже со тьмою ноци, Капниста* — «На смерть Юлии»

*Кудри, кудри шелковые, Дельвига* — «Песня» (Гоголь приводит в качестве названия третью строку песни Дельвига)

*По дороге зимней, скучной, Пушкина* — «Зимняя дорога»

*Жуковского, Отымает наши радости* — «Песня»

*В местах, где Рона протекает, Батюшкова* — «Пленный»

*Где твоя родина, певец молодой? Языкова* — «Моя родина»

*Море блеска, гул, удары, Языкова* — «Водопад»

*Ночь. Померкла неба синева, Языкова* — «Мысль о юге»

*Я ехал к вам: живые сны..., Пушкина* —

«Приметы»

*Песнь Гаральда, Батюшкова* — «Песнь Гаральда смелого»

*Зима. Что ты, муза, так печальна, Державина* — «Зима» (П. Л. Вельяминову)

*Два рыцаря перед девой, испанск<ий> романс, Пушкина* — «Пред испанкой благородной»

*Песнь паж, Пушкина* — «Паж, или пятнадцатый год»

*Что мне делать в тяжкой участи моей? Мерзлякова (Тоска сельской девушки)* — «Сельская элегия»

*Многи лета, многи лета (народная песня), Жуковского* — «Многолетие»

*Пятнадцать мне минуло лет, Богдановича* — «Песня»

*Чувство в разлуке (Что не девица в тереме своем) Мерзлякова* — «Чувства в разлуке»

*К востоку, всё к востоку, Жуковского* — «Песня»

*С Миленой поздною порою, Капниста* — «Вздых»

*Роняет лес багряный свой убор, Пушкина* — «19 октября»



На смерть королевы Виртембергск<ой>, Жуковского — «На кончину ее величества королевы Виртембергской»

На воспоминанье кн. Одоевск<ого>, Лермонтова — «Памяти А. И. Одоевского»

Пушкина, Ненастный день потух. Туманной ночи мгла — «Ненастный день потух, ненастной ночи мгла»

Второй перевод Греевой <элегии>, Жуковского — «Сельское кладбище». Перевод 1839 г.

Я берег покидал туманный Альбиона, Батюшкова — «Тень друга»

О сжальтесь надо мною, о дайте волю мне, Хомякова — «Просьба»

Когда для смертного умолкнет шумный день, Пушкина — «Воспоминанье»

<Ермак> Катенина — очевидно, «Эклога», так как произведения под названием «Ермак» у Катенина нет.

Каприз, Пушкина — «Румяный критик мой, насмешник толстопузый»

Солдат, Дельвига — «Отставной солдат»

Сторож ночной, Жуковского — «Деревенский сторож в полночь»

Олег, Пушкина — «Песнь о вещем Олеге»

или «Олегов щит»

*Пир на Неве, Пушкина* — «Пир Петра Первого»

*К статуе Петра Великого, Ломоносова* — «Надпись к статуе Петра Великого», пятая  
*Домик поэта в Обуховке, Капниста* — «Обуховка»

*К статуе играющего в бабки, Пушкина* — «На статую играющего в бабки»

*О милых призраках, Жуковского* — «Воспоминание» (процитировано неточно: О милых спутниках)

*Последние стихи, Державина* — «Река времен в своем стремленьи»

*Элегия болевшего ногами поэта, Языкова* — «Крейцнахские солеварни».

## О сословиях в государстве

Печатается по *РМ* — черновому автографу (*ЛБ*, М. 3213. 15).

Рукопись — единственный источник текста — не датирована. Впервые напечатана В. И. Шенроком в «Сочинениях Н. В. Гоголя», изд. 10, т. VI, М., 1896, стр. 427–432. Отрывок «Каковы же и в чем отношения ~ не иначе как священ <но>» (стр. 490–491) написан Гоголем на полях без какого-либо знака; место, к которому он относится, определено по смыслу.

Для статьи характерна религиозная идеализация сословного строя России. Говоря о том, что в идеальной монархии каждое сословие должно быть организовано отдельно и иметь свое совещательное учреждение (вече), Гоголь тем самым воспроизводит реакционно-утопические мечты славянофилов.

По содержанию статья тесно связана с «Выбранными местами из переписки с друзьями» (особенно с письмом «Занимающему важное место» и «Русской помещик») и с перепиской Гоголя, относящейся к середине 40-х годов. На основании этой связи датируется

приблизительно 1845–1846 гг.

Интерес Гоголя к теме, которая трактуется в данной статье, отразился и во втором томе «Мертвых душ». В примечаниях В. И. Шенрока («Сочинения Н. В. Гоголя», изд. 10, т. VI, стр. 781) отдельные мысли статьи сопоставляются с речью генерал-губернатора в конце «Заключительной главы» второго тома «Мертвых душ».

## **Приложение I**

### **Оглавление <V тома собрания сочинений.>**

**П**ечатается по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе ПД, ф. 652, оп. 1, № 74.

Рукопись эта с некоторыми ошибками была напечатана в подстрочном примечании к письму Гоголя к А. О. Россету от 28 февраля 1847 г. Шенроком в «Письмах Н. В. Гоголя», т. III, стр. 378–379. Шенрок сообщал, что рукопись хранилась в альбоме К. А. Бутенева — сына посланника в Риме в 1840-х годах.

Оглавление написано на грубой почтовой бумаге и, очевидно, попало в альбом как реликвия, наряду с волосами Гоголя.

Предполагая, что рукопись представляет

собой оглавление второго издания «Выбранных мест», Шенрок выражает удивление по поводу смешения в ней названий статей из «Арабесок» и «Выбранных мест». Между тем настоящее оглавление несомненно представляет собой проект V тома, который Гоголь думал прибавить к четырем томам, изданным Прокоповичем в новом собрании, задуманном Гоголем в 1850 г. и осуществлявшемся в 1851 — начале 1852 годов. В это время, очевидно, и было составлено оглавление.

Кроме статей из «Арабесок» и из «Выбранных мест...», Гоголь наметил для V тома и ввел в оглавление новые статьи: «География России», «Древняя Россия», «Что такое долг» и «Искусство есть примирение с жизнью» (Письмо к В. А. Жуковскому от 10 января 1848 г.).

Характерно, что, замышляя том, объединяющий его публицистику, Гоголь намеревался нарушить единство циклов и «смешать» «Арабески» с «Выбранными местами».

Полемика, развернувшаяся вокруг «Выбранных мест», убедила Гоголя в невозможности скорого и полного переиздания книги.

В соответствии с новыми настроениями, которые овладели им после критики его взглядов, развернувшейся в связи с выходом в свет «Выбранных мест», он сосредоточивает свое внимание главным образом на вопросах искусства и науки, не включая в программу ни статей, трактующих вопросы о взаимоотношении крестьян и помещиков и вызвавших особенное негодование Белинского («Русской помещик» и «Сельской суд и расправа»), ни запрещенных цензурой статей.

Идея объединения «Выбранных мест» с «Арабесками» в новый цикл могла привлечь писателя как возможность «оправдаться» от обвинений в отступничестве, больно задевавших Гоголя (см. И. С. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания. Сочинения, т. XI, Л., 1934, стр. 434–435), и как способ вывести из состава тома, долженствовавшего представлять «теоретические понятия» Гоголя «о литературе и об искусстве и о том, что должно двигать литературу» статьи, которые шли в разрез с его взглядами конца 40-х — начала 50-х годов (статья о Пушкине из «Арабесок»).

Замысел статей о географии и истории России («Древняя Россия») был связан с интересом Гоголя к статистике и истории в конце 40-х годов. Сохранились черновые записи Гоголя, в которых он сообщает о своем интересе к древнерусской истории и желании заняться ею по первоисточникам (печатаются в IX томе настоящего издания).

Гоголь умер, не осуществив издание V тома. Новые статьи, очевидно, не были написаны; во всяком случае до нас они не дошли.

### **<предисловие к V тому собрания сочинений>**

**Р**укопись не сохранилась. Печатается по тексту, опубликованному в Сочинениях Н. В. Гоголя, т. I, 1855, под ред. Н. Трушковского.

## Приписываемое Гоголю

Источник текста — С, т. е. Современник, литературный журнал, издаваемый Александром Пушкиным. Первый том, Санкт-Петербург, 1836, стр. 302 (История средних веков), 317 (Первый день светлого праздника), 318–319 (заключительная заметка).

В библиографическом отделе С, кроме заметок Пушкина, все остальные рецензии писаны Гоголем; из десяти восемь находятся в черновых рукописях Гоголя; весьма вероятно, что и эти две мелкие заметки, а также заключение писал Гоголь. Известно, что эти заметки не принадлежат Пушкину. Вместе с тем трудно предположить, чтобы для двух кратких заметок привлекался новый рецензент, а заключение было бы написано не тем лицом, которому принадлежат все рецензии. Тот факт, что в «Записной книге» Гоголя мы не находим этих заметок, не исключает возможности, что они были написаны на отдельных листках, до нас не дошедших.

Имеются и внутренние основания приписывать эти рецензии Гоголю. По кругу своих интересов именно Гоголь должен был дать



отзыв об «Истории средних веков» Циммермана, так как соответствующий раздел всеобщей истории был предметом курса, читанного им в Университете. Заключение, содержащее суммарную характеристику русской литературы, соответствует взглядам Гоголя, высказанным в его критических статьях. Мысль о том, что первое место в литературе занимает роман и повесть, отвечающие «всеобщей потребности», сожаление о том, что историческая тема только «урывками» появляется в произведениях последнего времени, находят соответствие, например, в статье Гоголя «О Современнике», написанной в форме письма Плетневу. Здесь Гоголь на первое место выдвигает повесть, которая в литературе представлена «гораздо значительней и богаче, чем когда-либо прежде», так как «несколько молодых писателей показали особенное стремление к наблюдению жизни действительной». В той же статье Гоголь пишет и об исторических произведениях, как о необходимой части проектируемого журнала-альманаха.

Поскольку, однако, нет документальных

данных для того, чтобы считать бесспорной принадлежность этих статей Гоголю, они печатаются в разделе приписываемых ему.

Из этих трех заметок одна (на книгу «Первый день светлого праздника») была введена в Собрание сочинений под ред. Н. Тихонравова (изд. 10-е), другая (заключение) приведена Н. Тихонравовым в примечаниях к тому V, стр. 661, и третья перепечатывается после С — впервые.

## **Приложение II**

### **Письмо В. Г. Белинского Н. В. Гоголю от 15/3 июля 1847 г.**

**П**ечатается по тексту, опубликованному в «Литературном наследстве» № 56, В. Г. Белинский, т. II, М. Изд-во Академии Наук СССР, 1950, стр. 571–581.

# Иллюстрации

1. Н. В. Гоголь. Акварель И. Жерена. 1836 г.  
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР

2. Начало статьи «Несколько слов о Пушкине» (Наверху отрывок: «На бесчисленных тысячах могил...») Автограф. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина

3. Из статьи «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году». Автограф. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина

4. Из статьи «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность». Автограф. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина

5. Из статьи «Учебная книга словесности для русского юношества». Автограф. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина

# Выходные данные

Печатается по постановлению Редакционно-издательского совета Академии Наук СССР

РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЯ: Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ

Тексты отдельных произведений подготовили к печати и комментарии составили:

Статьи из «Арабесок» — О. Б. Билинкис (текст) и Г. М. Фридлиндер (комментарии).

«Женщина», «Борис Годунов», статьи и рецензии из «Современника», рецензия об альманахе «Утренняя заря» — О. Б. Билинкис (текст) и Б. В. Томашевский (комментарии).

«О поэзии Козлова», рецензии, не вошедшие в «Современник», и «Петербургская сцена» — Б. В. Томашевский (текст и комментарии).

«Выбранные места из переписки с друзьями», «О Современнике», «Авторская исповедь», «Учебная книга словесности...», «О условиях в государстве» и приложения — Л. М.

Лотман (текст и комментарии).

Редактор издательства А. И. Корчагин  
Оформление художника Н. В. Ильина  
Технический редактор А. А. Киселева  
Корректор В. Г. Богословский

РИСО АН СССР № 5031. Т-07726. Издат.  
№ 3506. Тип. заказ № 365.

Подписано к печати 18/X 1952 г. Формат  
бум. 60 × 92<sub>1</sub>/16. Бум. л. 25,5.

Печатн. л. 51 + 5 вклеек. Уч. — изд. л. 49,5 +  
5 вкл. (0,7 уч. — изд. л.).

Тираж 6000. Цена по прейскуранту 1952 г.  
25 руб.

1-я типография Издательства Академии  
Наук СССР. Ленинград,  
Вас. Остр., 9-я лин., д. 12.

# Примечания

Эскиз этот составлял введение к Истории Малороссии; но так как вся первая часть Истории Малороссии переделана вовсе, то он остался заштатный и помещается здесь как совершенно отдельная статья.

[^^^]

Под именем Пушкина рассеивалось множество самых нелепых стихов. Это обыкновенная участь таланта, пользующегося сильною известностью. Это вначале смешит, но после бывает досадно, когда наконец выходишь из молодости и видишь эти глупости не прекращающимися. Таким образом начали наконец Пушкину приписывать: Лекарство от холеры. Первую ночь и тому подобные.

[^^^]



Мне прежде приходила очень странная мысль: я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись. Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами, — прошедши которые, зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам. Потом постепенное изменение ее в разные виды: высокое преобразование в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшеюся до необыкновенной роскоши аравийскою, потом дикою готическою, потом готико-арабскою, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кельнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, по-

том древнею греческою, в новом костюме и наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать всё.

[^^^]

## 4

Статья эта писана давно. В последнее время вкус в Европе улучшился и особенно в нашей любезной России. Многие архитекторы уже ей делают честь; из них должно упомянуть о Брюлове, которого здания исполнены истинною вкуса и оригинальности.

[^^^]

## 5

Впрочем, любители музыки и поэзии могут несколько утешиться: недавно издано прекрасное собрание песен Максимовичем, и при нем голоса, переложенные Алябьевым.

[^^^]

Шлегель.

[^^^]

Миллер.

[^^^]

Тацит.

[^^^]

О готах: Прокофий, Иорнанд, Гиббон.

[^^^]



Шлегель.

[^^^]

О гуннах и об Аттиле: Иорнанд, Детине, Фишер.

[^^^]

Конрад Геснер.

[^^^]

Новые прелестные стихотворения Козлова — «Субботний вечер», перевод и мелкие с трогательным посвящением — Прекрасным цветом, брошенным на гроб

*Той красоте, которой много  
Российский жертвовал Парнас,  
Когда туманною дорогой  
Брела поэзия у нас.*

Находится в таких-то книжных лавках.  
Продается по такой-то цене.

[^^^]

*Прощальная повесть* не может явиться в свет: что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни.

[^^^]

Статья содержит распоряжения по делам семейственным. <VI пункт не должен был по замыслу Гоголя включаться в текст книги. См. примечания, стр. 778, 779.>

[^^^]

Маркиз Кустин\*.

[^^^]

На завещанье не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред того, пред которым ни один человек не бывает прав.

[^^^]



*Выноска к оде Ломоносова на рождение Императора Павла.* Рождение императора Павла I было радостнейшим происшеств<ием>, какое когда-либо запомнит Россия, по сказанию всех современников. Все единомысленно видели в нем восстановление дому Романовых, который, кажется, ежеминутно готовился угаснуть за неимением наследников мужского пола. Все слышали, что родился тот, который потом упрочил надолго и дом царский, подарив России мужественное и сильное царское поколение. Вот причина, почему вся эта ода у Ломоносова исполнена такого восторга и силы, и он пророчит младенцу всё, что только можно пожелать совершеннейшему государю.

[^^^]

*Перед этим начато: 0*

[^^^]

*Перед этим начато: Четыре*

[^^^]

*Далее было:* Предметы для лирического поэта.

[^^^]

В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 223.

[^^^]

В. И. Ленин. Соч., т. 20, стр. 223–224.

[^^^]

См. В. И. Ленин. Соч., т. 16, стр. 108.

[^^^]

Доклад т. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». 1946, стр. 23.

[^^^]



Здесь и всюду ниже приняты следующие сокращенные обозначения архивохранилищ:

Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Москва — ЛБ

Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград — ПБЛ

Институт русской литературы Академии Наук СССР (Пушкинский Дом). Ленинград — ПД

[^^^]

Еще раньше, до выхода «Арабесок», Сенковский в своей «Повести» («Библиотека для чтения», 1834, т. VII, ноябрь, стр. 91–92) глумился над Гоголем как над «отчаянным сочинителем исторических сказок», «сшившим по ошибке в одну книжку второй том „Истории походов Саладина против крестоносцев“ с третьєю частью „Новых сказок для детей“».

[^^^]

«Телескоп», 1835, ч. XXVI, № 8, стр. 603. Ср. В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. 2. СПб. 1900, стр. 236.

[^^^]

Черновые наброски, расположенные на листах, оборванных в длину почти пополам (лл. 50 об. — 42 об. и 40 об — 38 об.), не воспроизводятся, поскольку текст их не может быть полностью восстановлен. Эти наброски неточно напечатаны в Соч. Н. В. Гоголя, изд. 10-е, т. VII, стр. 920–940.

[^^^]

В первом томе означены звездочками: Кантемир, ч. I; История поэзии Ст. Шевырева; Воспоминания о Сицилии А. Черткова. Во втором томе отмечены четыре книги.

[^^^]